
*Мы на земле,
где вы живете...*



ЗЕМЛЯКИ

Нижегородский альманах
Выпуск тридцать пятый (№ 2, 2023)

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2023

Главный редактор *О.А. Рябов*

Шеф-редактор *А.И. Иудин*

Составители *А.И. Иудин, О.А. Рябов*

Общественная редколлегия:

В.Н. Безденежных, Н.А. Бенедиктов, С.А. Горин,

Е.Н. Крюкова, З. Прилепин, В.И. Седов, Г.В. Щеглов,

Е.Р. Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя: 603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги». Тел. (831) 412-16-04

E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

353 Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск тридцать пятый (№ 2, 2023). Составители: А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород: издательство «Книги», 2023. – 480 с.

В очередном выпуске альманаха наряду с новыми работами известных писателей представлены тексты молодых авторов.

На страницах сборника читатель найдет материалы, связанные с наследием известных литераторов прошлого, мемуары, а также произведения для семейного чтения.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

© Иудин А. И., Рябов О. А. Составление, 2023

© Издательство «Книги», 2023

ISBN 978-5-94706-272-4

СОДЕРЖАНИЕ

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ	
ОРЕХОВ И БАБА-ЯГА	6
ШЕСТИСОТЫЙ	11
СИВКА И БУРКА	17
Владимир АВETИСЯН	
ЧАРУСА	25
Вероника ВОРОНИНА	
ГОРИ-ГОРИ ЯСНО	42
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СУДЬБУ	46
Геннадий ЕМКИН	
ЗАПАХ ХЛЕБА	49
ОКНА С СИНИМИ НАЛИЧНИКАМИ	54
Денис КРАСНОВ	
ТИМУР И МОЯ НАГРАДА	58
Сергей ШУСТОВ	
НА РЯБЧИКОВ	66
ЗАМОК	75
ДАЧНОЕ ЧТИВО	87

Лирический портрет

Владимир АЛЕЙНИКОВ	
ДЛЯ СВЕТА И ЗОВА	102
Николай РАЧКОВ	
...ДО РАССВЕТА, ДО ПЕРВЫХ ЛУЧЕЙ	109
Маргарита ШУВАЛОВА	
НАШИ ДУШИ – ДЕТИ СУМАТОШНЫЕ...	115

Из свежей прозы

Дмитрий ТАРАСОВ	
ПАРНОЕ МОЛОКО	120
Дмитрий ИГНАТОВ	
РЯБИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ	139
Степан РАТНИКОВ	
ТЕНЬ МАТЕРИ	167
Вячеслав МИХАЙЛОВ	
ПОСЛУШНИК И ГАСТАРБАЙТЕР	176
Наталья ВЕСЕЛОВА	
МИЛАЯ МИЛА	190
Владимир КУЗИН	
ВСТРЕЧА	225
Роман СТЕПАНОВ	
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ	233
Лайсан НИГМАТУЛЛИНА	
ЗАПАХ ЖИЗНИ	255
Светлана ЖИВНАЧ	
ПРОБУЖДЕНИЕ	268

Николай ЛЕОНТЬЕВ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОН	271
---	-----

Лирический портрет

Светлана КЕКОВА ЛЮБОВЬ ОТБРАСЫВАЕТ ТЕНЬ...	275
Виктор ЛЯПИН СВЕТ ПОДОРОЖНИКОВ	279
Галина ТАЛАНОВА ...И ЖДУ, ЧТО ВЕТЕР ПРИНЕСЁТ ОТВЕТ	284

Из будущих книг

Олег СУХОНИН НЕ СУДИТЕ АФРОДИТУ СТРОГО	290
--	-----

Стихи по кругу

Надежда КНЯЗЕВА	307
Анастасия РОСТОВА	308
Виктория БЕЛЯЕВА	309
Андрей АЛЬПИДОВСКИЙ	310
Андрей БОНДАРЕНКО	312
Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ	313
Вадим БОРЗИХИН	313
Александр ГРИГОРЬЕВ	314
Екатерина ГРОМОВА	316
Петр РОДИН	317
Николай КАМЭНИН	318
Рустам МАВЛИХАНОВ	319

Юбилеи

СОРМОВСКАЯ «ВОЛГА». Старейшему литературному объединению в Нижнем Новгороде исполнилось 95 лет <i>Предисловие Николая Симонова</i>	320
Николай КОЧИН	322
Борис ПИЛЬНИК	323
Фёдор ЖИЖЕНКОВ	324
Александр ЛЮКИН	324
Лазарь ШЕРЕШЕВСКИЙ	325
Василий ОСИПОВ	326
Виктор КУМАКШЕВ	327
Александр ФИГАРЕВ	327
Владимир МОЩАНСКИЙ	328
Николай СИМОНОВ	329
Виктор АВДЕЕВ	330
Георгий ВОЛКОВ	331
Александр БОРОДИНОВ	332
Александр КОЛЕСОВ	332
Валерия КОМКОВА	333
Юрий СИМОНОВ	334

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА «МНЕ ЖАЛЬ СУРОВЫХ И НАДМЕННЫХ...» К 120-летию со дня рождения Е.А. Благиной	336
Вениамин ХАНОВ РЯДОМ С НИМ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИЛСЯ ЧИЩЕ ДУШОЙ Воспоминания об А. Л. Яценко	350
Владимир СЕДОВ А ЧТО У ВАС? (Памяти Георгия Сергеевича Демурова)	361
Людмила КАЛИНИНА ПОЭТ, КРИТИК, МИСТИФИКАТОР...	365

Далекое — близкое

Сергей БЕРЁЗКО МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ МОЕГО СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА	372
Андрей ЗЮЗИН ИЗБА И ВРЕМЯ	404
Алексей ФУНТ БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА	412
Сергей УТКИН ИСКУССТВО ПАМЯТИ	417

Семейное чтение

Анна ЧЕРКАШИНА БАБУШКА ВАЛЯ	419
Наталья КАДОМЦЕВА СЕРЫЙ ДРУГ	426
Сергей БЕЛОВ РЕВИЗИЯ	436
Ольга КОСОВА СКАЗОЧНЫЙ МИКС	443
Валерий БОХОВ РОССЫПЬ	457
Евгений АЛЮТИН ДОБРЫЙ ГНОМИК ВАСЯ	464
Татьяна КОТОВА, стихи	471
Григорий ГАЧКЕВИЧ, стихи	472
Любовь СИДОРОВА, стихи	473

Прощальное слово

Людмила КАЛИНИНА СОВЕРШАЯ ЖИЗНИ ВЕЧНЫЙ КРУГ... О поэте Александре Фигареве	475
---	-----

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ

ОРЕХОВ И БАБА-ЯГА

Один из самых запоминающихся сказочных персонажей (я имею в виду русский фольклор) – конечно, Баба-яга. И настолько часто она фигурирует в сказках, притом в настолько разных ситуациях, что образ её, сформировавшийся ещё в детстве, почти у всех очень ярок, но очень противоречив: она и помощница, и хулиганка, и злодейка.

Для Алексея Орехова Баба-яга ассоциировалась всегда с Викторией Николаевной Покровской, которая когда-то давным-давно, совсем в детстве, жила в другом доме, что через дорогу. Но и дорогой тот тупик, ту улочку, на которой они тогда жили, было назвать трудно, потому что назывался он Тупиковый проезд и за день по нему проходило две-три машины, не больше. Сын Виктории Николаевны Николай был парализован и лежал в кровати не вставая уже несколько лет. Все соседи и во дворе Покровских, и во дворе Алексея звали Викторию Николаевну Бабой-Ягодкой: ну, а как же – «виктория» это же такая большая сладкая садовая ягода. А для маленького Алёши Баба-Ягодка тогда, ещё в том самом далёком детстве, почему-то стала Бабой-ягой: ну так переделалось у него в голове это прозвище. К тому же помнил он, что дома у Покровских сто-

яли две пустых небольших деревянных бочки, которые у маленького Алёши Орехова в голове преобразовывались в знаменитые ступы Бабы-яги, на которых она должна куда-то обязательно улетать. Да и сама Виктория Николаевна внешне выглядела очень даже страшненько: вся в черном, голова платком черным повязана, горем согнутая – горюя трудно ходить с высоко поднятой головой.

Сын Бабы-яги, Николай Покровский, когда-то учился вместе с Алёшиной мамой в университете и был в неё влюблён; по словам очевидцев, это были такие тёплые и страстные отношения, которые прямиком вели к свадьбе. Но вот – после института случился у Николая инсульт, его парализовало, и оказался он прикованным к постели. Мама его, Виктория Николаевна, иногда вывозила сына на инвалидной коляске погулять, и сидел он, грустный, в этом кресле около подъезда. Алексей хорошо помнил эту картинку, несмотря на то что было ему тогда пять или шесть лет. А потом и на коляске возле подъезда Коля перестал появляться.

Дом Бабы-яги был щитковый, в два этажа и два подъезда, постройки пятидесятых годов, из тех, что называются «народной стройкой». Такие и сейчас можно встретить даже в центре больших городов – сохранились ещё. Во дворе мальчишки каждый день собирались и играли в стрелы, прятки, чижа, мастерили ходули, луки, рогатки – интересно им тогда вместе было. Виктория Николаевна любила ребятишек и часто привечала их: выходила из дома, угощая их либо печеньем, либо дешёвыми конфетами. Но по-особому она относилась только к Алёше Орехову, называла его «Алешик – Золотой Орешек» и часто приглашала в дом. А уже в прихожей говорила ему шепотом:

– Коля тебя звал, подойди к нему – он рад будет.

Алёша шел в комнату, подходил к постели больного и с минуту стоял молча; больной тоже молчал, из-под одеяла торчала голова, заострившаяся, осунувшаяся, желтая, но глаза горели. Больной Коля даже не улыбался – не мог. Баба-яга давала Алёше яблоко и приговаривала:

– Ну и хорошо! Ну и спасибо!

А потом мама вышла замуж, и Алёша с мамой и новым папой переехали в новую квартиру на другом конце города;

так кончилось детство Алёши, в котором остался старый двор с друзьями и Баба-яга с её сыном Колей: школьные годы – это уже не детство, а школьные годы.

Алёша не раз спрашивал у мамы про своего папу, но та каждый раз отвечала, что того убили и она расскажет ему всё в подробностях, когда он вырастет. И вот Алёша вырос, а мама так ему и не сказала ничего вразумительного про папу – просто отмалчивалась. Алёша с годами и вовсе перестал её расспрашивать про папу, понимая, что это маме неприятно.

Алёша Орехов потом совсем вырос, и женился, и стал жить уже своей семьёй в новой своей отдельной квартире с женой Леной, и родился у них мальчик, которого тоже называли Алёшей. Работал Орехов на оборонном заводе, где изготавливали радиолокационные системы для армии, а про это говорить вообще было нельзя, потому как это военная тайна, в смысле государственная. И мы про это писать не будем. А вот Лена его была очень красивой и умной, и работала она директором школы. Хорошая пара была.

Вот тогда и произошла та неприятность, которую никто не ожидал.

Маленькому Алёше было четыре года, его водили в детский сад, а по вечерам папа или мама после работы забирали мальчика домой. Но однажды случилось непредвиденное: мама зашла за своим сынишкой в садик, а воспитательница ей заявила, что Алёшеньку забрала бабушка.

– Какая бабушка? – с ужасом спросила Лена и осела на детскую скамеечку.

– А приходила старушка такая, вся в черном, – отвечала воспитательница Надя, – сказала, что она Алёши Орехова бабушка и пришла за ним. Алёшенька подбежал к ней, как к давно знакомой, взял её за руку и спросил: «Пойдем?» И они ушли – оба такие довольные, видно было, что они хорошо знают друг друга.

– Какая бабушка? – уже заголосила Лена. – У него никаких бабушек нет. Что вы наделали? Вы же отвечать за это будете.

Лена тут же стала звонить своему Орехову по мобильному телефону. Орехов примчался на своей машине минут через десять. Он был очень напуган. К тому времени около Лены собрались уже и директриса садика, и ещё одна воспитательница, и медсестра. Увидев такое собрание, Орехов взял себя в руки и строго всех попросил:

– Я прошу всех помолчать, чтобы я мог поговорить с Надей.

Все замолчали.

– Надя, расскажите мне всё в подробностях. Когда это произошло? Как?

– Часа в четыре. Все дети гуляли, когда она пришла.

– Надя, опишите мне её в подробностях: как она была одета, что она говорила и прочее.

– Старушка была маленького роста, в каком-то не по росту черном поношенном пальто, черной допотопной черной шляпке с пёрышком, и под мышкой у неё что-то было: то ли палка, то ли зонтик. Лицо сморщенное, подбородок торчал как-то, и нос у неё был крючком, как у хищной птицы или у Бабы-яги. На картинках в детских книжках Бабу-ягу такой рисуют.

– А что она говорила?

– Да ничего она не говорила. Только попросила позвать Алёшу Орехова, сказав, что она его бабушка. Да, когда Алёшенька подбежал, она пробормотала: «А вот и мой Алёшик – Золотой орешек». Потом взяла его за руку, и они ушли.

– Я всё понял, – сказал Алексей, – стойте все здесь, я скоро буду.

Старый дом в Тупиковом проезде как стоял, так и стоял на своем прежнем месте. На скамеечке около подъезда сидела Баба-яга, а рядом с ней сидел маленький Алёша и грыз яблоко.

– А вот и папа, – сказал мальчик спокойно, увидев Орехова, не слезая с лавки и болтая ногами, – как ты и говорила.

– Что же ты делаешь, старая дрянь, – злобно обратился к Виктории Николаевне Алексей, – ведь люди переживают.

– Во-первых, я не дрянь, а Баба-яга, не забывай этого, а то в следующий раз может что-то и нехорошее случиться.

А во-вторых, что же, я не могу под конец жизни своей со своим единственным правнучком пообщаться? Ты ведь уже догадался про всё?

– Догадался-догадался. Теперь догадался.

– Так а что же тебя смущает и расстраивает, мой дорогой Алешик – Золотой Орешек. Ты радоваться должен, что сегодня тебе вся правда открылась. Ты же всегда хотел её узнать, правду?

– Хотел.

– Ну вот и узнал.

– Да не так хотелось, Виктория Николаевна.

– Ты уж зови меня как в детстве – Бабой-ягой.

– Не могу уже.

– А что так?

– Лучше скажи мне, где Коля похоронен, – я вдруг захотел сходить к нему на могилку.

– Это хорошо. Вот вместе и ходим – покажу тебе. В субботу заезжай.

– Хорошо, заеду.

– Тогда забирай сыночка нашего Алёшеньку и беги. Лена-то твоя там, наверное, заплакалась-изрыдалась вся, поторопись.

ШЕСТИСОТЫЙ

(Из цикла «Жмуркин и Криворотов»)

Многие просто не понимают, какая глубокая пропасть лежит между продуманным и коварным враньём, преследующим личные цели, а зачастую и несущим за собой серьёзные политические и финансовые катастрофы, и легкой, ни к чему, кроме хорошего настроения, не призывающей фантазией. Эти два жанра схожи на первый взгляд, и ими владеют в совершенстве одни и те же люди, которые в них хорошо разбираются. Надо быть очень внимательным, когда сталкиваешься с ними, чтобы не угодить в ту пропасть. А ещё надо помнить, что где-то рядом стоит и хитрость, которой, как правило, пользуются недалёкие женщины, но про это как-нибудь в другой раз.

Мишка Жмуркин постоянно врал, но за его враньём не стояло никаких глубоких меркантильных интересов – он просто хотел повисить градус беседы, заложив в неё какие-нибудь сомнительные факты в виде загадок, а потому надо относить его вранье к разряду фантазий. По большому счёту большинство жанров настоящего искусства – это тоже фантазии.

Илья Криворотов, много лет знавший Жмуркина и считавшийся его близким и единственным другом, хорошо знал эту особенность Мишки и соответственным образом относился к нему и его сентенциям. Жили они с детства в одном дворе в соседних домах и встречались почти ежедневно, то предварительно договорившись, то случайно. В тот тёплый летний вечер, когда Жмуркин поведал Илье

историю о своем шестисотом «мерседесе», они просто столкнулись у мусорных баков, заполняя их отходами своего домашнего быта. Как всегда, они деланно обрадовались, будто не виделись год, хотя ещё утром вместе пили пиво на Средном рынке, после чего уселись на скамеечке покурить. Тепло, липы цветут. Скамеечка была капитальная, неприподъемная, с чугунными литыми боковинами и крашеными деревянными рейками сидушек – из тех, что ещё при Сталине в парках выставляли. А теперь она стояла прямо под окнами Жмуркина.

– Послушай, Михаил, – начал Криворотов, – а ведь этой лавки вроде бы не было ещё вчера? Тут же стоял твой шестисотый «мерседес» – наверное, больше года стоял.

– Ну, стоял – а вчера его в ремонт утащили и лавку эту поставили, чтобы место не занимали другие машины.

– Договорился?

– Договорился, – ответил Жмуркин, почесал нос и продолжил, – то есть не я договорился. В общем, тут такая смешная и странная история, что и рассказывать не хочется.

– Что это?

– А то это! Давно ещё, случайно узнал я, что во дворе политехнического института стоит и ржавеет совершенно бесхозный ЗИЛ-111, тот самый, в котором должен был Брежнев ехать, когда на него покушение было совершено. Помнишь ту историю: какой-то лейтенант на Красной площади в Леонида Ильича стрелял? А убил он только водителя да космонавта какого-то ранил, Терешкову, что ли. Вот тот самый простреленный ЗИЛ-111, весь в дырках от пуль, и стоял во дворе политеха. Уж как он там оказался – не знаю, но проректор политеха по АХЧ Вадим Иванович Салов был моим хорошим знакомым, и он мне предложил по дешёвке купить эту игрушку: машина списана уже была, а институт избавлялся от всех непрофильных активов. Так это узаконенное воровство тогда называлось.

– Интересно, у нас в Нижнем Новгороде брежневский ЗИЛ простреленный стоял?

– Да, стоял и ржавел. Да что ты – я слышал, что как-то раз какие-то ловкие парни умудрились подводную лод-

ку на «Красном Сормове» купить и утащить её в Черное море. Вот скажи мне, что вперёд надо: машину покупать, а потом на права сдавать или всё же права надо вперёд? В общем, решил я на права сдавать, а мне медицинская комиссия справку, в смысле разрешение на получение прав, не дала! Открыли там местные врачи мой военный билет и говорят: «Михаил Петрович, у вас такое заболевание головного мозга, что за руль вам нельзя!» «Как же так – нельзя?» – спрашиваю я. «А так, – отвечают они, – у вас стоит освобождение от воинской службы по причине заболевания сосудов головного мозга. Видите: в военном билете у вас стоит штамп с номером параграфа, по которому в вас серьёзное заболевание». И начали они мне какие-то медицинские слова говорить и номера параграфов и статей. «Видите: стоит тридцать восемь дробь восемь, а это значит, у вас в любой момент может случиться потеря сознания. Понимаете? А если во время езды по скоростной трассе такое случится?» – «Это что – значит, я идиот, что ли?» – «Нет, не идиот, просто вы можете внезапно потерять сознание».

Я понимаю так, что когда-то мой папаша или дядька мой подсустились и постарались освободить меня от службы. А может, и без них, а просто прямо после контузии на космодроме в Плесецке, когда выписывали мне этот «белый билет», вместо плоскостопия или косоглазия, которые идут под параграфом тридцать восемь дробь семь, мне по ошибке поставили дробь восемь, то есть сумасшествие. Пришлось мне тогда побегать, к серьёзным людям обращаться, чтобы всё исправить. В конце концов исправили, и права я получил без всяких сдач вождения и правил движения. Так вот, я тогда непонятно зачем купил этот брежневский ЗИЛ, а зачем – не понял. Но как раз в тот момент рассказали мне про одного коллекционера из Риги, который раритетные автомобили покупает для своей забавы – и такие коллекционеры бывают на свете. Позвонил я ему, приехал он к нам в Нижний и ЗИЛ тот купил у меня.

Много чего интересного рассказал мне этот рижский коллекционер. У него и «хорьх» Гитлера в коллекции есть.

А кроме того, по секрету, он мне чуть ли не шепотом рассказал, что у нас в городе продается ещё один раритет: «мерседес» шестисотый, которым когда-то пользовался то ли Шеварднадзе, то ли Гайдар – не понял я. Да это и неважно! Просто сейчас этим «мерседесом», по его словам, пользуется наш местный воровской авторитет, а как его найти, чтобы договориться о продаже, этот рижский коллекционер не знает. Так вот, я его успокоил и сказал, что найду я ему этот шестисотый.

А ты знаешь, что такое настоящий бронированный «мерседес»? Он же весит пять тонн, это почти как КамАЗ! Их проваривают изнутри листовой бронированной сталью, стекла пуленепробиваемые в пять сантиметров толщиной. Ты знаешь, что президент Рузвельт ездил на бронированном «кадиллаке», в котором до него ездил Аль Капоне, самый известный американский гангстер из Чикаго, пока для президента не сделали специальный бронированный «линкольн» президентский. Там двигатель, в этом шестисотом, триста сил, и то они сгорают от перегрузок.

В общем, поговорили мы с этим рижским автолюбителем, и позабыл я про тот разговор. А разговоры, как и мысли, оказываются материальны: прошла неделя, и я случайно наткнулся на этот шестисотый. Зашел как-то раз я в казино «Дамский клуб» – нет, не поиграть, я же не играю, ты знаешь. Зашел я, чтобы с другом встретиться и рюмку коньяку с ним выпить – он по телефону пригласил, мы с ним вместе в институте учились. Отдыхал он там с двумя своими коллегами, все трое рафинированные такие, прилизанные, в белых водолазках, красных пиджаках с золотыми пуговицами – было видно, что жизнь у них удалась. Я тоже был неплохо одет, но не так. И вот между делом они проболтались, что у их шефа беда: сгорел двигатель на «мерседесе», то ли крышку блока цилиндров разбило, то ли поршни заклинило – не разбираюсь я в этом, только машина на выброс. «Мерседес» тот и был как раз нужный мне шестисотый. А ещё я расслышал, что шеф их – Тимоха Серый. Помнишь такого?

– Ну, помню, конечно! Его застрелили недавно.

– Правильно! А тогда он был ещё жив и контролировал полгорода, а ещё нефтеперегонный завод в Кстове, а ещё и химический комбинат в Дзержинске, и ещё немножко. У него семь бригад было. Так вот, эти ребята, с которыми я повстречался в тот вечер в «Дамском клубе», были бригадирами Серого. Натура моя противная, кто тянул меня за язык: пообещал я сделать им машину, найду, мол, я им новый двигатель для их шестисотого. А через два дня у меня под окном стоял этот огромный зверь, красивый, черный, будто лакированный. И номера – 666. Помнишь? Я не видел, как его затащили к нам во двор, но говорили мне женщины наши дворовые потом, что на платформе специальной его привезли, на каких асфальтовые катки возят, да ещё и кран подъемный ворочался тут. Разворотили они тогда и половину палисадника, и кусты сирени помяли, но в тот же день и обустроили всё красиво и повзрослому. А потом патруль полицейский стал у нас во дворе каждую ночь дежурить, сидят в машине, в карты играют. А днем тоже – каждые два часа заходят парой. Наши женщины быстро выяснили, чья это машина, и решили они, что у Тимохи где-то рядом любовница живёт. Потом, правда, и другие варианты появились, но это не в тему.

Но мне никто не звонит, никто не приходит, ни о чём не напоминает – я и забыл думать про машину ту. Ан нет – прошло пару недель, и приносят мне на работу, в телецентр уже, ключи от машины. Мальчик молоденький пришел, ключи отдал и спросил:

– Когда?

– Скорее! – ответил я ему.

– Тимоха просил передать, чтобы не заморачивался, – если не получится, можешь машину себе оставить, дарит он тебе её – он себе уже новую взял, лучше этой, – и ушел тот паренёк совсем.

Только я после этого стал изредка тряпочкой замшевой протирать машину – всё же дорогая вещь и моей к тому же нечаянно стала. И честно я после этого стал всем говорить, что у меня шестисотый «мерседес», и не врал при этом. Да, ещё позвонил я своему знакомцу из Риги, тому коллекционеру. Только он ответил мне, что машина ему

теперь не нужна, он уже что-то поинтереснее надывал. А три дня назад приходят ко мне домой два проходимца каких-то, негодяи просто, и говорят:

– Твой «мерседес»?

– Мой, – говорю.

– Арсена знал? – спрашивают.

– Нет, – говорю, – не знал.

– Он вор авторитетный, убили его вчера! Вот мы на гроб ему собираем. Гроб стоит три штуки баксов, и две мы набрали – дай штуку.

– Что же он за вор такой, если за всю свою жизнь на гроб себе не наворовал, – отвечаю я им, потом беру на пушку, и добавляю: – сейчас я Тимохе позвоню, он вам одолжит.

Только эти охламоны слышали про Тимоху, как сдёрнут по лестнице вниз – видимо, ещё не прознали, что Тимоха тоже убит. Всё равно я в тот же вечер позвонил своему однокашнику, с которым когда-то в казино «Дамский клуб» заходил, пожаловался ему. И вот вчера забрали мой шестисотый; как они его увозили – не знаю. Всё равно я с чистой совестью могу теперь всем говорить, что «когда у меня был шестисотый “мерседес”, я долго не мог найти для него новый двигатель».

СИВКА И БУРКА

(Из цикла «Жмуркин и Криворотов»)

Это только кажется, что все умные русские люди в глухих деревнях родились, а потом в город переехали, – среди городских тоже встречаются. Вон Сергей Сергеевич Кругликов из двадцатого дома всё наоборот сделал: здесь, в городе, родился, всю жизнь настоящим большим спортом занимался, а после, пока его не выгнали отовсюду, он ещё и в школе успел простым учителем физкультуры из любопытства простого недолго поработать. Потом уже купил он себе домик в деревне и уехал туда жить, а что – ему при его особой олимпийской пенсии на всё хватает. Он всё же настоящим олимпийским чемпионом по лыжным гонкам был, специалисты помнили про то.

К тому же город почти всегда приучает человека к рациональной и законопослушной жизни при объективном течении времени, а в деревне и чудеса, и неожиданные превращения куда чаще случаются. А события всяческие неприятные тихо незаметно и начисто забываются.

Как-то раз к Сергею Сергеевичу в деревню чересчур расторопный журналист Коля Боровков приехал, пообщался недолго с чемпионом, а потом в газете про него написал. А написал он про то, как у учителя физкультуры Кругликова после лыжного контрольного забега школьников-десятиклассников на пять километров результаты у половины участников были такие замечательные, что им всем лежал прямой путь в олимпийскую сборную; Сергей Сергеевич просто пожалел тогда своих подопечных

учеников и отмерил на глазок дистанцию почти в два раза меньше положенного, чтобы не мерзли ребятишки на тридцатиградусном морозе. Стоял он честно на финише с секундомером в руке и честно всем время отщелкивал, а потом результаты в департамент образования и сдал. Только в городском департаменте образования, куда результаты попали, тоже в спорте немного разбирались и разглядели чиновники в результатах зачетных соревнований прямое жульничество.

Так Коля Боровков как бы облил помоями олимпийского ветерана, опубликовав всю эту неприличную правду в солидной областной газете. Только Сергея Сергеевича мало опечалила эта опубликованная правда. Он в своей богоспасаемой деревне Благовещенье гнал самогонку на своем самогонном аппарате из красной меди, присланном ему друзьями из Испании, на весь район, настаивая его на еловых почках, и готовил наливки для женского пола из клюквы, брусники и морошки. А по вечерам резал из липы фигурки олимпийских Мишек и ушастых Чебурашек, которых деревенские хозяйки удачно возили на рынок; липу и осину сушить, а когда надо, и в родниковой воде замачивать, его местные умельцы научили. Не денег ради резал он эти игрушки, а для собственной радости.

Жизненный опыт у Сергея Сергеевича был такой богатый, что очень скоро стал он как бы здешним деревенским «гуру», то есть учителем: а что, если он не только с разными умными людьми всю жизнь общался, но ещё и во многих странах за границей побывал. Приходили местные к нему советоваться по любому поводу – посоветуются-посоветуются и уходят довольные с бутылочкой собственноручно Сергеем Сергеевичем изготовленного продукта.

А потом странные вещи и чудеса вокруг него стали твориться, которые Сергей Сергеевич долгое время не очень-то понимал и даже сам стал побаиваться своего открывшегося качества – правда, виду не подавал, храбрился. Хотя все неожиданности легко объяснялись – по крайней мере сам он для себя всё в конце концов решил. Жила когда-то, ещё задолго до того, как он этот дом купил, в нём местная травница, старуха, которая всяческие народ-

ные снадобья готовила, а, как известно, они, эти травницы, заговорами искусными владеют и заговорить могут не только траву, но и место какое-нибудь, например дом. Вот в дому-то у Сергея Сергеевича чудеса всякие изредка и случались.

В основном чудеса эти заключались в том, что у потребителей его продуктов (имеется в виду самогонка) получались отключения памяти – у кого на пару часов, у кого на день, а у кого и на всю жизнь. Такая беда приключилась и с тем журналистом Боровковым, который гадость про него в газете написал: нет, там никакого вранья не было, но не надо смаковать такие вещи попусту. Так вот, в памяти у Боровкова стали после того визита провалы образовываться, а иногда и откровения непонятные в сознании возникать, причем в состоянии совершенно трезвом, что его пугало, естественно.

Вольно или невольно, но тесные профессиональные и товарищеские связи для обоюдной пользы возникают почти во всех видах человеческой деятельности, а уж журналистика, которая держится на фактах и слухах, не может без такого взаимного человеческого общения вообще обойтись. Понятное дело, что Илья Криворотов, спортивный комментатор и спортивный репортер номер один в городе, который помнил, а когда-то и тесно общался с Сергеем Сергеевичем, быстро разыскал Колю Боровкова и дотошно расспросил его о жите-быте бывшего олимпийского чемпиона. Выяснил он тогда, что главное, ради чего Боровков ездил к олимпийскому чемпиону, в его репортаже не отразилось и теперь уже никогда и не отразится; а этим главным была волшебная самогонка, которую изготавливал Сергей Сергеевич и которую сам Боровков и видел, и пробовал.

– Илья, – окликнул Боровков Криворотова, когда тот уже выходил из редакции, – называются у него эти напитки «сивка», «бурка» и «каурка». Запомни!

– Хорошо, что сказал, – откликнулся Илья.

Этот любопытный факт еще больше озаботил и мотивировал Криворотова; он спешно разыскал своего товарища по перу и топору (так они с молодости называли стакан)

Мишу Жмуркина, тоже известного и практикующего журналиста, репортёра с областного радио. Миша быстро откликнулся, выторговав у друга полчаса, чтобы переодеть рубашку и повязать другой весёлый галстук. В тот же день, не откладывая мероприятие в долгий ящик, они отправились в деревню к Сергею Сергеевичу Кругликову.

Все знают, как спонтанно происходят такие загадочные, совсем не профессиональные журналистские вояжи, похожие на соревнования по спортивному ориентированию: иди туда – не знаю куда, получи то – не знаю что.

Приехали друзья в деревню Благовещенье, зашли в единственное в поселке присутственное место, продовольственный ларёк «Добро», купили бутылку водки и пакет детских пряников, показали продавщице Зое свои журналистские удостоверения и выяснили всё, что им хотелось узнать. А узнали они, что Сергей Сергеевич очень уважаемый человек в округе, водку он не пьёт, а очень любит всех угощать, но лучше без привычки особой и даже уверенности в необходимости этого акта его напитки новичкам пробовать не стоит, а лучше свою водку пить.

Сергей Сергеевич на задах большого участка, около полуразвалившейся черной баньки, которой по назначению сто лет уже никто не пользовался, сидел, скрючившись на скамеечке, и резал из белоснежных чурбачков липы какие-то заготовки для будущих своих поделок. Друзья между лопухов и крапивы, пригибаясь под раскидистыми ветвями старых цветущих яблонь, прошли по тропинке к сидящему хозяину, а тот, издали заприметив их, уже встал и, широко улыбаясь, приветствовал.

– Илья, что же ты забыл меня? Я тебя жду-пожду, а тебя всё нет. Приезжал вместо тебя какой-то мелкий пакостник. Пойдем в избу.

– Сергеич, ты не прав – удалился ты сюда почти секретным образом и никому не доложил, а обязан был как олимпийский чемпион. А во-вторых, только благодаря этому твоему пакостнику мы и узнали, где ты обретаешься, и сразу к тебе. И вот ещё, познакомься – мой друг Михаил Жмуркин, тоже журналист, только с радио, и тоже, как и все мы, пакостник, только, наверное, уже крупный.

В избе пахло деревом старого деревенского дома, печкой и сухими луговыми травами – незнакомый и специфический тёплый набор. Сидели за столом большим, кондовым из плотной доски-шестидесятки – такой стол с места легко не сдвинешь.

– Чего будете пить, гости дорогие – чай или кофе? А может, моей домашней попробуете?

– Сергеич, мы про твою домашнюю слышали, а потому с собой и захватили простенькую магазинную.

– Ну, это вы напрасно. Я ведь умею различать гостей и знаю, кому что можно и кому что нужно. Знаю я, знаю! Простенькую, магазинную у Зои брали? Вижу по пряникам. Она вам подсказала, что я её не пользую? Сказала. А что же вы тогда не пробуете сами её? Ради приличия принесли?

– Ради приличия, ради приличия. Ну, так давай чаю своего, местного – ты ведь, наверное, и в этих напитках толк знаешь, травяной какой-нибудь.

– Знаю, знаю я толк.

– А мне кофе, если можно, – заметил Жмуркин.

– Вечно ты, Миша, влезешь со своими капризами, – процедил Криворотов.

– Ну почему же с капризами – человек честно признается в своих пожеланиях, а не идёт на поводу присутствующих. Так ведь, Михаил?

– Конечно так.

– Хотя лукавишь ты, Михаил. Хочется тебе моей попробовать. Ну да ладно – сначала чай и кофе.

На столе быстро образовались большие бокалы, банка растворимого кофе, круглый цветастый заварной чайник, мёд и вчерашние, чуть зачерствелые лепёшки. Разговор вели в основном Сергей Сергеевич и Криворотов, вспоминали старые годы, местных спортивных героев прошлых лет: Татьяну Аверину, Галину Быстрову, Гарика Напалкова. Было тепло и уютно. И вдруг Жмуркин неожиданно встрепенулся и спросил

– А может, я всё же попробую вашей, Сергей Сергеевич?

– Да конечно, а то я всё жду-пожду, когда же вы к главному вопросу перейдёте. Вам, Михаил, чего на закусочку – мясца вяленого или прошлогодних рыжиков солёных?

– Если можно – рыжиков хотелось бы попробовать, а то я вообще не помню, когда ими угощался.

– Сейчас всё будет.

На столе появилась бутылка с розовой жидкостью, три объёмистых рюмки и тарелка с солеными грибами, политыми ароматным подсолнечным маслом и посыпанными красным репчатый луком.

– Сергеич, – обратился тут к хозяину Криворотов, – а скажи на милость, раз уж мы и к этой стадии нашей встречи постепенным и естественным образом перешли, – вот этот напиток, который ты на стол выставил, это «сивка» или «бурка»?

– Нет – это у меня для дорогих гостей, «розовая» называется. А откуда ты про «сивку» и «бурку» слышал?

– Так это мне твой мелкий пакостник рассказал.

– Ах он, негодяй. Так вот почему он решил мне отомстить – напечатал эту гадость. Ну да бог с ним. Этот твой приятель журналист, который у меня тут в гостях был, он как снег на голову свалился и сразу стал наседать, даже на меня. И что я олимпийский чемпион по самогоноварению, и что я на продажу гоню, и как я умудряюсь с местными властями это улаживать, и что у меня с ментами – «вась-вась». В общем, неприятный разговор, а про школьные соревнования те он просто между делом спросил, а я и рассказал, что ничего особенного там не было – обычная школьная практика. А про самогонку я ему сказал, что налью сейчас такой, что он весь наш разговор сразу и позабудет.

– В смысле?

– А в том смысле, что существуют разные способы очистки и настойки на разных травах этого напитка: можно изготовить его таким образом, что выпивохи (назову их так) после приема определённой дозы могут позабыть всё! А может кое-кто позабыть дорогу к дому. Вот слышал про Агасфера, старого-престарого еврея, который не может найти дорогу к своему дому уже тысячу лет, так вот он, по моему представлению, выпил изрядную долю «сивки». А «бурка» отбирает память: у кого-то насовсем, а у кого-то избирательно. То есть если я правильно буду угощать

гостя, то он может позабыть не всё, а только то, что нужно, – например, то, что случилось вчера, или наоборот – в прошлом месяце. Сумею я так сделать. Вон видишь – на стеллаже рядом с книгами две глиняные бутылки, серая и коричневая: это «сивка» и «бурка». Я здесь за последние пять лет столько экспериментов провел, что ни один академический институт не сумеет столько провести. Знаешь, сколько у меня пациентов желающих? – в очередь стоят, и отбоя нет. Вот я и нашел такие ингредиенты, если по-научному всё это называть.

– А как же ты их искал?

– Экспериментально. Вот ты слышал, что старухи своё добро самогонное на дубовой коре настаивают? Так у человека после приёма такого напитка сразу ноги отнимаются, и он идти не может. А вот если ту же дубовую кору в болотной воде, где много метана (его ещё веселящим газом зовут), выдержать, там образуются какие-то специальные алкалоиды; если эту кору потом для настоя использовать, то эффект получается совсем другой. Только что я рассказываю – это мои секреты, и они тебе не нужны.

– А при чем же тут сказка русская про «Сивку-Бурку, вещую Каурку»?

– Не знаю, при чем тут сказка. Сивый – это цвет такой, бурый – тоже.

– А каурый?

– Каурый – это тоже масть такая лошадиная, рыжая.

– А я думал, что люди, которые твоей самогонки выпьют, улетают, как на том сказочном коне, далеко-далеко. Ну, так я про твои эксперименты: у тебя есть этот третий напиток «каурка»?

– Нет ещё. То есть есть, но я ещё не прошел все стадии эксперимента.

– В смысле?

– А в том смысле, что это божественный будет напиток. В смысле – он уже есть, но только я боюсь им пользоваться.

– Что это?

– А то, что после «каурки» у меня тут два человека самоубийством покончили. После «каурки» это получилось или на роду у них было так написано – не знаю. От «каурки»

возникают в голове пациента (его пока что можно так называть) галлюцинации, видения и какие-то ассоциации, которые явственно прогнозируют и предсказывают будущее человека, и он узнает то, что с ним будет завтра, или через месяц, или через год, в общем, то, чего не следует знать.

– Так, значит, вещая она, твоя «каурка», если про будущее можно узнать? А почему же нельзя ею пользоваться-то?

– Вещая-вещая! А потому и нельзя; потому что человек, который знает, что с ним произойдёт, теряет смысл жизни, он перестает бороться, стремиться, мечтать. А человек, не имеющий мечты – жалок. Это – смерть, старик. Ну, так что – по рюмочке «розовой» давай? И я с вами за компанию. Не бойтесь – сами оцените, каким должен быть этот божественный напиток – тепло будет. Я вам, как тому пакостнику, не дам «сивки» или «бурки» – на это надо настрой определённый иметь.

– Сергеич, я бы ещё чайку твоего на травах выпил. А потом мы с Михаилом магазинной вашей, что у Зои взяли, там во дворе у тебя попользуем и травкой закусим. А ты, Миш, как?

– Я тоже думаю, что так разумнее будет, – ответил чуть-чуть очумевший Жмуркин.

Но, конечно, ничего из запланированного у друзей-журналистов не получилось, потому что после Зоиной магазинной хорошо прошла и бутылочка «розовой», а потом и «сивки» они знаменитой пригубили. Не знаю уж, сколько они пригубили, но то, что они никогда уже больше ни при каких обстоятельствах не вспоминали о том, что бывали в гостях у Сергея Сергеевича, это точно. А откуда я всю эту историю знаю? Так я задолго до визита друзей навещал олимпийского чемпиона, бывал у него и «каурку» его знаменитую пробовал. Потому я знаю про многие такие вещи, о которых так просто и не расскажешь.

Владимир АВETИСЯН

ЧАРУСА

Сказ

1

Слыхали новость?.. Наше Фофаново попало в Книгу рекордов Гиннесса! И документ есть, где чёрным по белому записано: дескать, в названной деревне отмечена рекордная плотность дураков на квадратный километр! Подпись, печать, всё чинно-благородно! Во, брат, с какого боку к нам слава-то прилипает!..

Не все знают, что раньше деревню называли Лежередово. По преданию, Пэр Дове – старинный дворянский род обрусевших французов, которые обосновались в России ещё при Петре I. Слово «пэр» намекало на то, что в роду были представители высшей знати Франции, имевшие привилегии суда. Одному из потомков этого рода, Леже Пер Дове, за его неназванные заслуги перед государем было даровано имение в Макарьевском уезде Костромской губернии. И называлось оно, как и следует полагать, Лежепердово! Тут нечего и лукавить: наш могучий русский язык поначалу жесток к заимствованиям, не сразу жалует сироту, одевает её в лохмотья, наделяет обидной кличкой и пускает в мир: коли полюбят его таким, пусть живёт, а не понравится, туда ему и дорога! Вот и с французской фамилией владельца имения вышла такая петрушка: Леже Пэр Дове обернулся Лежепердовым – так, не мудрствуя лукаво, окрестили деревню. Может, в этом не было желания

какого-нибудь местного Смердякова покривляться, грубо позубоскалить над французом и этим снискать расположение малокультурных людей. Так ли было или не так, не скажу, мой барин. Зато откроюсь тебе как на духу: дураков у нас в Фофанове – отсель до Москвы не перевешаешь. Истинный Христос говорю. Пройдись по деревне, оглянись и сразу увидишь небольшую стайку: ходят так, будто из-за угла пустым мешком пришиблены! Это «ряхи». За ними следом чешут «ангельские сопли»: эти, брат, как рожены, так и заморожены! Меж ними затесались «тух-тыри»; у них в чердаке несколько стропильцев недостаёт, где – двух, где – трёх, а где и вовсе прореха. Не отстают от них и «божьи букашки» – эти ещё в щенках заморожены да смолоду запуганы, и только из жалости Господь их милует. И под венец вам – особая масть – фофаны: из дураков не вышли, но и в умницы не попали; хоть мужиков взять, хоть баб, в кого ни ткни – просты как дрозды.

Над нашими чудиками вся округа смехом бока себе отсадила – ну артисты! Кому бы с десяток навалить займы без отдачи, да кто ж на такой товар позарится!

Чай, и ты, браток, наслышан про «золотой-то колодец» в Фофанове! Ну как же?! Сколь из него утопленников повытаскивали! Ты спросишь, почто ж они туда полезли? Знамо дело: за африканским золотом! И то сказать, откуда в российских колодцах взяться африканскому золоту? Ну дурью маются, убогие люди, – что с них взять, милой? Охота бы в сердцах напустить палы на худую траву, да суд людской – не Божий, – Господь милостив и уж надежду-то убогим всегда оставляет!

А началась эта история, дай бог памяти... Ну, в те времена, когда как среди чудной фофановской братии – как благодать Христова! – блистал один алмаз несравненный – кузнеца Изота Демидова дочь. Настёной звали. Да что имя – пустой чох, если к нему не привязан маленький довесочек, языковая кудринка; людей всё больше по этой-то кудринке и разбирают. Скажешь, где Иван? Спросят: какой Иван? Ну, этот, что Кувалдой кличут!.. А, Кувалда! Ну, так бы сразу и говорил... Вот и про Настёну-то люди не сразу смекают, пока не добавишь: Чаруса... А, веришь ли, эта Чаруса была

редкая красавица – глаз не оторвать! Бела, румяна – кровь с молоком; глаза – голубой магнит; губы – маков цвет; два тугих яблока задорно играют под девичьим платищем... А ножки-то, ножки!.. Кажись, от самой шеи идут – стройные, гладкие, литые... Какие мастера их вытачивали?! Да не из драгоценного ли сандала?! Ну, словом, писаная краля! А вот умишком-то, прости господи, – фалья: такое-то чудо не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Расспросить о ней, так и мать родная скажет: с лица-то хороша, а поведись – пяти пальцев без спотычки не сосчитать; про дело и говорить нечего – пошлёшь за соломой, мякины принесёт, а вдобавок и лоб себе расшибёт на ровном месте...

Чудны дела твои, Господи! На кой ляд человеку столь щедрый портрет лица, когда в голове у него всего одна извилина, да и та, кажись прямая? Иная сердобольная душа не удержится да участливо заметит: «Эх, милая, к твоей бы прелести да щепотку ума...»

А у неё на то и ответ готов: мол, нам и не нать лишняя ума – от неё одна сухота. Во!

Что тут скажешь, даже у самого Творца бывает недогляд. Жаль, теперь умишко-то ей и кузнец не прикуёт, – даром что отец родной.

Иных послушаешь, так бают: куда, мол, красивой бабе ум-от? Ведь мужики на внешнюю пригожесть западают. Умных да разборчивых мало, а зрячих глупцов – хоть пруд пруди: к Настёне липнут на каждом шагу, табунами за нею ходят – даром, что фалья...

Нет, с красотой жить – оно, конечно, приятно! Только одной ею сыт не будешь – надо и работать. Вот и решил Изот Демидов пристроить дочь в родной колхоз. Сам он в почёте был: работающий, безотказный да и мастер, каких днём с огнём не найти. Приходит он к председателю, – так, мол, и так, Аристарх Герасимыч: всю жизнь я на колхоз горбатился, здоровье своё гробил, а теперь пусть и колхоз меня уважит – мою Настёну к делу приставит.

Как тут откажешь заслуженному человеку – по отцу и дочери честь:

– В секретари не возьму, сам понимаешь... А вот на ферме как раз доярок не хватает. Пусть попробует...

Определили Чарусу в доярки. Стала она коровам вымя подмывать да хвосты закручивать, Господи благослови! Да тут, как бес из табакерки, завалилась к ней однажды Нюрка-Самопал – тоже, брат, из наших чудиков:

– Эй, ты, Мерлин Мурло, негоже тебе с такой-то красой коровьи зады нюхать! Ты это... пробивайся выше! Славу ищи!

– А чё для этого делать-то надо?

– Ну, знаешь, это важный секрет! Откроюсь тебе, как лучшей подруге... Только, чур, никому!

Глаз у фали загорелся: валяй, матка, а я в долгу не остаюсь! Та ей и выдаёт свой рецепт: нужно резко подняться надои да выскочить в передовики! А там, глядишь, и к ордену представят... Учужала перспективку-то?!

Как не учужать! Фаля наша губищу-то и раскатала: ох, как повесит она яркий орден да на свою тугую грудь... Ох, да как выйдет на танцы – все девки в клубе попадают от зависти, а парни, как бешеные псы, сцепятся из-за неё и начнут друг дружку рвать... Во кино-то!.. Всё, мол, Нюрка, выкладывай свой секрет, а я уж не подведу!..

Самопал, глазками опасливо по сторонам водит, цену себе набивает – мол, секрет-от не для чужого уха!.. Слушай моё «золотое слово» да мотай на ус. Коровушки, как и люди, большие лакомки – любят что-нибудь вкусненькое. И, знаешь, лучшее лакомство для них – минеральные удобрения! Подсыплешь им в корм горстки две, и, глядишь, молоко пойдёт рекой, – не выдоишь, матка, устанет рука!..

Сказано – сделано. И в одну ночь двенадцать голов божьей скотинки закрыли глазки да легли на салазки. Беда со смехами, ей-богу!

Как доложили об этом председателю Аристарху Герасимычу, у того челюсть отвисла аж до пятой пуговицы: ах, старый ты пень, нашёл кому скотинку доверить! Ведь знал, что кривое веретено не надёжа? Поди, и сам ждал дурной вести, как вол обуха. Поделом тебе!

Взмолились колхозные управленцы: избави нас боже от этой чумы – не ведали такого сорок два года, а хоть и век, так нужды нет. Подали дело в суд, да потом раздумали: что уж с фали-то возьмёшь?.. Так и списали коровёнок под

несчастный случай, а Чарусу эту рассчитали, поклявшись не забыть её трудового героизма до самой гробовой доски.

Ну, девице всё трын-трава: я пташка вольная! Да с моей-то красотой я везде себе занятие найду. Во!

Натянет модные чулочки да юбочку выше колен, глазки-магниты подведёт, волосы русалочки по плечам распустит и айда в клуб – женихов травить! Сколько ж их на деревне передралось из-за неё! Вон Мохов с Чоховым, две воли – как сойдутся на танцах – кричи караул! Понаставят фингалов друг другу – считайте, мол, у кого их больше-то? Оба ведь – уж в который раз! – замуж её звали! Кузнец устал сватов выпроваживать: встретит, приветит, а как дело доходит до главного, Настёна в отказ: мне, говорит, не к спеху замуж-от! А если и надумаю – только за принца, и точка! Ну, тут мать её, тётка Авдотья, в слёзы – мол, фаля ты горемычная, ни в корень, ни в пристяжку... Какой путный принц на тебя позарится?! А ей что! День мечется, другой бесится, третий на карачках лазит – ей, дескать, фигуру надо блюсти... Мать плюнет в сердцах да отойдёт.

Месяц за месяцем, так и минул год. Старики вымерли, нас не дождались, молодые родились, нас не спросились. История с почившими коровками улегалась, ровно её и не было. А тут слух пошёл, что в колхозные детские ясли требуется прачка. Долго искали человека на это место. Кузнец опять к председателю: Герасимыч, милоч, не поминай старое, не держи зла на мою Настёну – молодо-зелено, с кем не бывает. Пускай в прачках себя покажет – тут-то от неё беды не будет... Если надо, сам за нею пригляжу, ей-богу! Словом, уговорил, взяли девицу в прачки.

Дело немудрёное: выстирай, высуши да выгладь. Господи благослови, вроде уж наладила! Да тут опять Нюрка-Самопал – ровно чёрт ею вертит! – заявила в ясельки: эй, мол, Софья Лорен, ты тута утюги катаешь, а того не знаешь, что в магазин сапожки импортные завезли, как раз на твою ногу! Бросай всё и беги, а то не достанется!..

Фаля-то враз очутилась у прилавка. А про включенный утюг, что оставила на белье, так и не вспомнила... Пока выбирала да примеривала, пока домой за денежками бежала, тут по деревне и крик пошёл: ясельки горят!!! И ветер,

как на грех, поднялся – пламя вмиг раздуло до небес... Едва успели спящих детушек из кроваток вытащить!..

Ну и ну! В деревне народ гудит: подать на дуру в суд! Да пусть заодно и Аристарх ответит по закону – не он ли туда эту полоумную пристроил! Мало ей было наших коровушек, теперь и малых детушек чуть не погубила!..

Но дело опять до суда не дошло: председателя паралич разбил, да и тётка Авдотья кинулась в ноги колхозным правленцам, вымолила у них прощение... Что, мол, с дуры взять!

Дура душой, а завяжет узелок – и десять умных не развяжут!

Видит Настёна, комом сваялось её счастье в Пучках. Пристала к матери: уеду в Москву, авось там найду, чего здесь не сыскала! Мать ей: тебе только в горохе сидеть, а не Москву смешить! Ну, дочь к отцу: батя, не отпустите в Москву, руки на себя наложу! Во!

Ладно, думает кузнец, белый свет на волю дан; пушай едет! Чай и Москва – русская земля; авось столица выучит, выучит да ума прибавит.

Уехала... Месяца три от неё ни слуху, ни помину. Думали, сгинула, как француз в Москве. Ан нет!

Случилось, однажды вечером по телевизору конкурс красоты передавали. Глянула тётка Авдотья на экран, и тут её как варом обдало – Настёнка!!! Заверещала, затопала – Зотей, мол, беги скорее, дочку нашу по телевизору кажут!.. Прибежал кузнец, глянул – и точно она! Истинный крест! И ведь что: из Москвы да на всю Россию кажут... А может, и на весь мир!!! И усатый Якубович цветы ей подносит да в подарок шубу дорогую на плечи накидывает... Ну дела!

Не то смеяться, брат, не то плакать: наша, деревенская фаля – и вот, на тебе! – московская краля!!! Ай да Настёнка, ай да Чаруса!

Уж и лето в разгаре: волнами ходят клевера на фофановских лугах, сладким дурманом веет с полей; за околицей буйно цветёт «девичья краса» – среди всех здешних цве-

тов пышная эта гвоздичка особенно трогает душу – ровно без неё померкла бы краса русского лета!

Шла как-то тётка Авдотья с фермы домой, уставшая да грустная, и что-то захотелось ей свернуть с дороги в поле. А там прямо ей под ноги – «девичья краса», сплошным ковром! Встала, зачарованная, и все мысли о дочери Настёне: где уж ты теперь, цветочек мой, краса ненаглядная, на кого ж ты мать-отца променяла? Поплакала тётка Авдотья, отвела душу, потом нарвала букет «девичьей красоты» и вышла на дорогу. Идёт, про себя тихо напевает: потеряла я колечко, мол, со правой руки... Так незаметно и очутилась у родного дома. Отворяет калитку, а на пороге, глядь, её Настёна стоит! Да не одна: в обнимку с каким-то человеком... Лицом черён, как бес, прильнул к Настёнке и лижет её, ровно корова своего телёночка...

Свят! Свят! Свят! – у тётки Авдотьи дыбом встала бровь: не видывала очьми такого дива, не то что глазами! Настёна, доченька, да ты ли это? Та ей в ноги: я, говорит, а то кто же; со мной жаних мой, звать его Батиста Менгистович, он у меня принц чистых кровей; в Москве выучился и скоро уедет к себе на родину. Во!

Мать окаменела от такой вести, стоит и только глазами хлопает: мол, не про этого ли принца ты всё баяла? Дочка хитро щурит глаз: может, и так. Мы с Батистом приехали, чтобы свадьбу сыграть как у людей. Во!

Тётке Авдотье ровно ушат холодной водицы на голову – хоть стой, хоть падай! Выронила из рук букет-от, и рассыпалась «девичья краса» на чёрные ботинки заморского гостя... Засуетился новоявленный зять, бросился цветы подбирать, а сам с будущей тётки глаз не сводит, так и сверкает жемчужными зубами, ровно понравиться её хочет... А что тёща-то: ни жива ни мертва – Господи, думает, в чём же я пред тобою провинилась, за что мне такой подарочек? И как я теперь людям в глаза-то посмотрю? – а у самой аж слёзы градом и ноги как не свои... Настёна со своим хахалем подхватили обмякшую мать под руки да скорее в хату – ой, мол, мамынька, что уж ты так обмираешь-то? Уложили на кровать, подали воды. Едва тётка Авдотья отошла, перевела дух и опять в слёзы: доченька, мол, опомнись, на кой

ляд тебе сдался этот нерусский? Нешто своих кобелей не нашла бы? Вон Гришка Жохов але Санька Чохов, чем они тебе не пары? Лапоть знай лаптя, а сапог сапога, а эта ворона нам не оборона!

Тут и принц входит – лёгок на помине: собрал букетот, вручает Настёне да в щёчку её этак нежно чмокает. Будущая принцесса отвечает ему тем же. Ну чисто ангелы! Голуби Моисея! Тётка Авдотья презрительно морщится: батюшки-светы, нешто, мол, с таким лахудром охота лизаться?..

– У нас, мамынька, любовь...

– Ага, влюбилась, как мышь в короб свалилась! Ты хоть знаешь, какой он веры, какого племени, еретик але крещёный?..

– Какая разница, мамынька! Наша пьянь вон вся крещёная, а толку-то...

– Ой, не скажи, дочка, – пусть бы хромой, слепой, да чтоб уж свой, православный!

Ну, тут Настёна в слёзы: что уж ты, мамынька, родной-то дочери хромым да слепых наваливаешь? А если вот человек стоит, здоровый да богатый! Хоть и не русский, зато на мне одного золота с полкила висит – все его подарки: принц ведь, говорю, у него там целый дворец!

– Какой такой дворец, где ты его видела?

– Он мне фотографии показывал, даже кино снято, как он богато живёт! И мне, что только ни пожелаю, тут же покупает, на цены не глядит! Пусть он и не православный, зато здоров и богат, и всё то при нём крупное, горячее, и это самое... Как прижмёт – любая догадается, для чего она создана. Во!

– Пророк Наум, наставь её на ум! – перекрестилась тётка Авдотья. – Господи, прости и помилуй нас грешных!

Видит Настёна, расслабилась мать; ну, мол, надо её уж до конца «добивать»; подходит к жениху, берёт его за руку, подводит к матери: дозволей Батисту поцеловать тебя по своему обычаю и назвать второй мамой, как у них там заведено.

Тётку Авдотью как шилом подняло с кровати: Настёна, ты это, мол, не балуй, – умру, сраму не оберёшься!

– Ну, мамынька, не ломайся, он ведь не жаба какая – поцелует разок, с тебя не убудет! Если бы ты знала, как сладко он целуется!

– Ой, не дури и эту морду бесстыжую от меня убери! – тётка Авдотья сползла с кровати и опасно отошла к печке.

А Настёна этак игриво подмигивает жениху, дескать, неча на неё глядеть, хватай да целуй! У зятя похабно заиграл глаз, а чёрные руки с жёлто-розовыми ладонями шаловливо потянулись к неподатливой тёще.

Видит тётка Авдотья, нет спасения христианской душе от басурмана, да и откуда оно возьмётся, коли родная дочь сама толкает своего охальника на срам. Делать нечего, хватается она кочергу и со всего плеча – хрясть! – дорогому зятю по хребтинушке! Тот взвыл да и заметался у дверей, ровно чубарый мерин под кнутом.

– Мамынька, пощади! – Настёна кинулась матери в ноги. – Не губи моего счастья, але я тебе не дочь уже?!

– Ты фашиста, мамка! – заорал новоявленный зятьёк. – За что Батиста убивает... Батиста любит Анастасия!!! – на его мясистых губах аж пена взошла.

Тётка Авдотья выронила кочергу из рук и отошла. Тут зятьёк ровно осмелел, стал подступать всё ближе: глаза как уголья, руки дрожат, языком облизывает губы... Дьявол, кажись, и тот краше будет! В ужасе тётка Авдотья зажмурилась, осеняя себя крестным знаменiem: сгинь, мол, басурман, нечистая сила, тьфу тебе, тьфу!!! Не тут-то было: наскочил на неё чёрный демон, вампир кровососущий, сгрёб в объятья да и накрепко присосался... Как ни билась, как ни трепыхалась жертва, а не вырваться уже – и растаяли стены крепости ровно воск от пламени свечи... Настёна кричит своему: Батиста, стоп, хватит! – еле отцепила заморского клеща от почти бесчувственного тела матери...

Битый час откачивали тётку Авдотью. Сбежались соседи, фельдшера вызвали, сделали укол... Очнулась она лишь тогда, когда услышала голос мужа: Авдотьюшка, матушка, ты меня без ножа зарезать надумала? Радовалась бы, что дочь объявилась – живая, здоровая, да ещё и с женишком!.. Эх, бабы, что вы за народ такой...

– Чему тут радоваться, Зотей? – шевеля синими губами, еле слышно выдавила тётка Авдотья. – Ты бы спросил у неё, где эта сорока нашла такую находку?.. И что мы теперь людям-то скажем?..

– Ладно, мать, ты уж зря не возбуждай, – утешал жену Изот Демидов. – Ей ведь с ним жить. Наше дело родительское: вырастили, выкормили, а дальше уж своя голова на плечах, – пусть делает, как знает... Мы ей теперь не указ.

Тут Настёна встрянула, мол, не беспокойся, мамынька, мы вас не стесним – как сыграем свадьбу, так через неделю он меня в свою Африку и заберёт – во дворце буду жить, в золоте купаться!..

Ой, что тут началось – уж лучше бы Настёна про эту Африку не заикалась: мать побелела вся, вскочила с кровати да упала лицом на пол:

– Ты что это надумала?! Костями лягу поперёк дороги, а не пущу! Нет тебе моего родительского благословения, слышишь?! И пущай он один катится в свою Африку без нашего добра! Ты ему так и скажи, мол, обычаи у нас разные и мы друг дружке чужие. Ты умишком-то своим пораскинь: там ведь не Россия, кто тебя защитит, кто из беды выручит – мамка с папкой далеко!

Слушал Изот жену и вроде понимал её правоту: немыслённая ведь дочь, и этот её чёрный друг, что неуставной плуг, завезёт на край света, и поминай как звали... Эх, дать бы ему от ворот поворот! Только один Бог знает, как оно лучше-то: а может, и к нашему берегу привалило хорошее дерево? Ну какая в том беда, что чернокожий, был бы человек хороший да чтоб нас, стариков, уважал...

– Ты уж смирись, мать, – видно, доля у нашей дочери такая...

– Зотей, батюшка, да как это мы своё родное дитя спроведим в тьмутаракань?!

– Я сказал: цыц! – прикрикнул Изот Демидов.

– Ты как хошь, Зотей, а я свою кровиночку этому людоеду не отдам! – криком на крик отвечает тётка Авдотья.

– Ох, и упрямая же ты баба! Здесь не торги, чтобы один дешёво давал, а другой дорого просил. Девка сама выбра-

ла по себе затычку, и бог с нею! Наше дело стариновское: встретить да приветить! Полно-ка дурить, давай вставай – надо на стол собирать, зятя привечать... Всё ж таки принц! А я пока в магазин сбегая...

3

В пятницу Фофаново вздулось, как тесто на опаре: и в том конце, и в этом разыгрались гармошки, зачастили визгливые припевки пьяных баб; повсюду – крики, смех, собачий лай... Деревня пропивала Чарусу. Местный чудик Гринька-Фельдфебель с похмелья тыкался от забора к забору – люди, мол, что это за праздник-от? – Ну как же, отвечали ему, разь ты не знаешь? Свадьба у Чарусы... За прынца заморского выходит, говорит, в золоте буду купаться!..

– Ишь ты, в золоте!? Сталина на вас нету! За что боролись, ядрёна вошь?!

Как уж ни противилась этой свадьбе тётка Авдотья, да перед людьми стыдно: единственное ведь дитя, улетит в эту Африку – может, и не придётся больше свидеться. Грех свадьбу-то не сыграть, хоть самую скромную, как у людей...

Ну, покрутились, достали кое-чего, накрыли столы, созвали гостей – не срамиться же перед африканским прынцем!

– И-их! Последний денёк я с вами гуляю, дивчаты, – уезжаю насовсем в ихнюю Африку!

– Слышь, Настёна, а чё ты там потеряла? – вскидывает бровь гармонист Лёха Кудрин.

– Да скучно мне с вами, Лёха! И давай не трави мне душу, выпей стопку за меня да шибче ударяй по басам!

Опрокинул гармонист Лёшка Кудрин поднесённую стопку, рванул меха своей хромки и пошёл чесать по кнопкам – тятками, тятками – ровно по бабьей душе прошёлся босиком... Взвизгнули бабы и пустились в пляс – с притопом, с галопом, с пьяной удалью: эх, русского, русского, русского дай!.. А за русского мать не ругает никогда!!!

К ночи деревня оттопалась и утомонилась; свадебные гости разошлись на ночлег, а молодых, как уж заведено, проводили в баньку.

Стояла тихая звёздная ночь, светила полная луна, и где-то совсем рядом грустно пиликал одинокий кузнечик...

Добротная банька у Демидовых – по-белому: просторно, чисто и светло. На окошке розовая занавесочка; большой котёл с кипятком, и вода холодная в бочке запасена, а в углу венички берёзовые – всё как полагается...

Только молодые вымылись, выключили свет да легли – чу! – кто-то стучится в оконное стекло. Настёна подняла край занавесочки: кто, мол, и чего надо? Ответа нет. Только слышно, как нервно пиликает кузнечик. Видно, показалось, что ли? Но нет, стук повторился, а за ним и голос, вроде как знакомый:

– Здорово, – говорит, – масквичька, эт я...

– Кто ты?

– Санькя Чохов, але не узнала?

– Ну, здравствуй, Санёк, чо надо-то?

– Я это, поздороваться пришёл, но ты больно неласково встречаешь старого дружка, – чуть ли не стоном вздыхает за дверью Санька.

– Ну, поздоровался, а теперь чеши отсюда, а то ты у меня – во где! – Настёна полоснула себя ребром ладони по горлу.

– Вон как ты заговорила. А мне бы охота с твоим мавром побазарить...

– Я тебе сказала: базарить нам с тобой не о чём, чеши отсюда! – вспыхнула Настёна.

– А если я с ним познакомиться хочу, расспросить, к примеру, как там, в столице нашей Родины, – остались ещё русские невесты, але все уже за мавров повыскакивали?..

– Дурак ты, Санька, и не лечисся!

– Пусть мы дураки, пусть рылом не вышли, но и у нас своя гордость имеется...

– Да пошёл бы ты со своей гордостью к такой-то матери! Тоже мне...

Санька замолк. Не так он представлял свой разговор с Настёной, не с того надо было начинать, да что уж теперь изменишь. И его понесло:

– Эй, стахановец хренов, чо засел, как фриц в дзоте, или ты думаешь, я тебя оттуда не выкурю?! Ты русских плохо знаешь...

Настёна припала к окну:

– Санька, паразит, какая вожжа тебе под хвост попала! Не будь скотиной, уйди ты Христа ради!..

– Это как же: я уйду, а другой будет стаханить да жать, где не сеял?!

– Он теперича мой законный муж, ты можешь это понять?

– Как не понять, понимаем, – зло усмехается Санька. – Ты только не сразу ему отдавайся, сперва отмой его от сажи да отпарь хорошенько...

– Без советчиков обойдёмся как-нибудь! – отрезала Настёна, а сама уж чуть не плачет.

Санька опять замолк; слышно, как в темноте чиркнул спичками, закурил:

– Ты что думаешь, я к тебе вот так, из дурости пришёл? Ошибаешься. Хочешь, откроюсь тебе как на духу... Когда ты в Москву подалась, понял я, что жизнь мне теперь не мила. Веришь ли, готов был руки на себя наложить... А как увидел тебя по телевизору – появилась надежда! Вот, мол, поеду в Москву, разыщу её и привезу обратно. Не успел! Ты сама приехала, да ещё маврика с собой привезла... И вот ты здесь, рядом, я слышу твой голос, твоё дыхание, и в мыслях у меня одно: ну, Санёк, это твой последний шанс – или пан, или пропал! Гришка Мохов тебя враз из сердца вырвал, уехал на Север, женился... А я однолюб, что ли, на других девчонок смотреть не могу, ровно пелена на глазах – повсюду мерещишься ты, хоть умри! Пусть выйдет твой африканец, я ему всё объясню: если он человек, то наверняка поймёт, что не надо ему вставать между нами, поймёт, что третий – лишний и должен уйти. А если не выйдет, ты мой характер знаешь: я тут бензинчику припас, целую канистру, дверь уже подпёр, – оболью баньку и подожгу! Мне терять нечего: у меня из-за тебя вся жизнь враскат...

Слушает Настёна – аж сердце замирает от таких речей: вот страсти-то! И ведь точно обольёт и подожжёт – от него,

дурака, всего можно ждать. Выпустить, что ли, Батиста, пусть поговорят... Нет, раздерутся, да ещё поубивают друг друга...

– Ты что, жалеешь его? – сурово вопрошает Санька.

Настёна молчит: как не жалеть – кто же ещё тут за него заступится?

– Понятно, – заключает Санька. – Ну, раз тебе он так дорог, тогда сама выйди, поговорим...

Вот дурак-то, пристал как банный лист. Нет, не оставит он нас в покое, думает Настёна, придётся выйти, может, как-нибудь уговорю, что ли...

Она поднялась, молча накинула халат на голое тело; Батисту наказала запереть за нею дверь: откроешь, когда постучусь... И вышла.

Накинув щеколду, Батист метнулся к окошечку: в лунном свете промелькнули белые ноги Настёны, донёсся её приглушенный голосок:

– Санька, ты чё меня позоришь-то? Что тебе надо?

– Сама знаешь...

– Дай слово, что потом сразу же уйдёшь...

– Как скажешь, моя царица, – слышалось в ответ.

Две тени оторвались от баньки и растворились в звёздной тишине.

Долго ждал Батист возвращения молодой жены, всё прислушивался к каждому шороху, пристально вглядывался в сумрак ночи; наконец, хмель и дневные хлопоты взяли своё, – он заснул прямо у окошечка, на полу.

Был уже полдень, когда нырнувший в баньку солнечный лучик разбудил Батиста. Он вскочил, ужаленный мыслью, что проспал и Анастасия не смогла достучаться до него... В гневе он помянул крепким словом своего негр-итянского бога, впопыхах оделся и выскочил из баньки.

Яркий дневной свет заставил его зажмуриться; сразу же удивила подозрительная тишина: он открыл глаза – ни души вокруг, ровно всё вымерло, и будто не было здесь вчера никакой шумной свадьбы, а всё только приснилось...

Принц подошёл к колодцу возле дома, поднял ведро холодной воды и жадно прильнул губами, заглатывая про-

хладную влагу крупными глотками – ровно внутри у него выжженная африканская пустыня! Чу! – за спиной послышался чей-то робкий кашель. Обернулся – тёща стоит: скукожилась как мокрая курица, лицо осунулось, голова виновато склонена набок, – ни слова не говорит, точно горем прибитая, – стоит и только скорбно прижимает к груди маленький свёрточек.

– Здравсти, мамка, – несмело поздоровался Батист. – А где будит мой Анастасия?..

В ответ бедная женщина бухнулась ему в ноги: мил-человек, ты уж прости нас, ради Христа, – виноваты перед тобой, наш грех – каемся...

Батист подумал, будто она прощения просит у него за удар кочергой.

– Ничего, мамка, я не обидна на тебя, – он попытался поднять её с колен. – Где будит мой Анастасия?

– Нету её, мил-человек, зови не зови, не придёт она, ушла навсегда – с другим, – отвечает тётка Авдотья, а сама так и застыла на коленях, протягивая обманутому принцу свёрток. – Видишь, чего отчебучила, фаля горемычная. А как она поначалу о любви своей твердила, да ведь как скоро и остыла. Вот, возвращает она тебе твоё золото... Тут серьги, кольца, часы, браслет, ожерелье – всё в целости и сохранности. Нам чужого не надо.

До принца, наконец, дошло, что его оставили на бобах. Схватился за голову и заревел, что тебе раненый вебрь в лесу, и ну чесать матом на своём тарабарском языке... А бедная тётка Авдотья всё поддакивает:

– Правильно, милок, ругай, ругай, так нас, так! Только и ты вину с себя не снимай – чёрт ли тебя понёс на наш дырявый мост? Что ж, может, оно и к лучшему, мил-человек! Ты ещё молод, и на нашей фале мир клином не сошёлся. Ехал бы ты на свою сторонущку, может, счастье тебя там дожидается. Правду говорят: кисни опара да на своём квасу! Вот, забирай-ка своё добро, да иди с богом!.. И не поминай нас лихом!

Принц молча поднял женщину с колен, взял у неё из рук свёрток с украшениями, развернул его и долго разглядывал, ровно хотел убедиться, всё ли на месте; вдруг резко

повернулся, шагнул к колодцу и – фрр! – швырнул всю горсть в его тёмный зев...

Тётка Авдотья аж взвизгнула: да что ты, мол, наделал-то, батюшка! И вокруг колодца волчком – люди, мол, сюда, сюда, помогите!.. Ой, что делается!

Принц вошёл в дом, взял свой плащ и чемоданчик – и вон из деревни. За околицей остановился, в последний раз повернулся лицом к Пучкам, приставил руки ко рту ковшом и что есть мочи проорал:

– Анастаси-и-и-я!!!

4

С тем и канул африканский жених. А Чаруса-то, красавица наша, с Санькой Чоховым сошлась... Вроде зажили, и всё бы хорошо, да тут Фортуна снова показала свою слепоту: когда через положенное время повезли Настёну в родильный дом, то, веришь ли, разрешилась баба... негр-итёнком! Ой, что тут было! Посрамлённый отец наотрез отказался принять новорождённого. Пусть, мол, валит к своему негру! Развожусь, – и танки наши быстры!

Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры! С горя Санька Чохов ушёл в запой. Валялся пьяный где попало – белый свет ему уже не мил. И вот однажды вытащили его мёртвым из демидовского «золотого колодца»: чай, не хватило на водку, вот и полез добывать африканское золото...

Не прошло и месяца, как из того же проклятого колодца вытащили и самого Изота Демидова. Видать, тоже нырнул за африканским золотом, да вот и он не рассчитал свои силы... За ним через месяц вытащили труп ещё одного «золотоискателя». Местный сельсовет с милицией решили колодец засыпать, да тётка Авдотья не дала. Сперва, говорит, надо золото вытащить. А вдруг хозяин заявится – ну-ка, мол, верните моё золото! Тут она ему и укажет на колодец: своими руками туда швырнул, вот, мол, сам и доставай!

Делать нечего, колодец сверху накрепко забили досками, чтобы дети не провалились; на том и решили – больше к этому делу не возвращаться.

А Чаруса-Настёна вскоре выскочила замуж за какого-то вдовца-генерала, с ним и уехала на Дальний Восток. Маленький Батист остался с бабушкой Авдотьей. Бегаёт по деревне курчавый смуглый мальчуган: шустрый такой, смышлённый, и голосок звонкий, так и щебечет на русском – от сверстников ни в чём не отстаёт!

– Батюша! – ласково зовёт его бабка Авдотья. – Сбегай в магазин за хлебом, принеси воды, подай курицам... Господи, что бы я без тебя делала?

И Батюша любит свою бабу, жалеет. Вот уж привалило счастье на старости лет – есть хоть кому ей стакан воды подать!

Однажды заваливается мальчишка в избу, – грязный весь, мокрый да в ссадинах, вода с него ручьём, – стоит перед нею и дрожит, ровно знобит его от холода... Батюша, милай, что с тобой? Але обидел кто?! А у мальчика зуб на зуб не попадает – как с мороза, хоть и лето на дворе. Ну, и выяснилось, что узнал он про заколоченный колодец да про отцовское золото. Обвязал себя верёвкой и спустился вниз с фонариком... Всё дно прочесал и вытащил всё-таки золото: часики, браслеты, кольца, серьги, ожерелье!.. Протягивает бабке Авдотье. Та глянула и тут же бухнулась на пол без чувств... Соседи прибежали, откачали старушку. А уж как узнали про золото, так и ахнули: ну Батюша, ну мужик! Правду говорят, что родная кровь – не водица: вот вам и доказательство – только родному сыну удалось взять заколдованный отцовский клад!

После этого случая колодец у дома Демидовых наконец-то засыпали: мало ли чудиков, ещё вздумают полезть за африканским золотом!..

Вероника ВОРОНИНА

ГОРИ-ГОРИ ЯСНО

Надежда Васильевна, довольно уже! Что вы заладили: «Петенька то, Петенька сё! Пообщайся с ним, пожалей его, ему так плохо?» Напомните-ка, сколько лет вашему племянничку? 60! А вам 75, и вы все еще с ним нянчитесь: и вы, и его нынешняя жена, и мать его, ваша сестра такая же была. Теперь и на меня, дочь, пытаетесь повесить вашего драгоценного Петеньку.

Надежда Васильевна, хватит его оправдывать! Спросите его, почему сам не звонит? Почему не звонил все эти годы? Хорош, нечего сказать. Сначала нагадил, а теперь имеет наглость просить помощи! Да не напрямую, а прячась за чужой спиной! Повезло ему с вами. Жаль, у меня таких заступников не было. Как нагадил? Я расскажу. Какие оправдания вы ему тогда найдете?

Вы, хоть и уезжали из города на много лет, знаете, что родители развелись, когда мне было восемь. Несколько предразводных месяцев я всю жизнь буду помнить.

Когда ваш драгоценный Петенька пришел прощаться, он очень пафосно убеждал меня, что, хотя они с мамой расстались, я остаюсь его любимой маленькой девочкой. И мы обязательно – обязательно! – будем часто видеться и общаться. Бла-бла-бла...

А я и поверила, как дура. Подцепил меня ваш Петенька как рыбу на крючок. Оставил в капкане на много лет, как истекающего кровью зверя. Знаете, сколько я ждала, что он позвонит хотя бы на день рождения?!

Что, Надежда Васильевна? Мама мстила, не давала видеться? Непреодолимые препятствия? Что, «пули свистели над головой», как в том мультике? Ну-ну.

Года через два-три мы встретились в больнице, где я лежала с серьезной пневмонией. Он был с новой женой и маленьким ребенком, а я – в полуобморочном состоянии после процедур. Меня под руки вели в палату – возникла серьезная аллергия на одно из лекарств, еле откачали. Ваш Петенька шел по коридору навстречу и демонстративно крикнул: «Что вы сделали с моим ребенком!» С его ребенком, ха! Знаете, что было дальше, Надежда Васильевна? Ничего! Я провела в той больнице ещё два месяца. И он ни разу – ни разу! – ко мне не зашел.

Что вы говорите, Надежда Васильевна? Ну, разумеется, валите все на маму! В больницу тоже она его не пускала! День и ночь караулила у дверей, лишь бы не пустить! Вы сами-то себе верите? Подумайте об этом, а я продолжу.

Тем летом, когда я окончила первый класс, оставалось ещё два-три месяца до развода. Мама с вашим драгоценным Петенькой чуть не каждый день скандалили насмерть, доходило и до битья посуды, порчи имущества и даже до рукоприкладства. Все катилось под откос.

Ладно бы просто ругались. Их бесконечные крики и взаимные оскорбления у меня на глазах – я даже представить не могла, что можно так лишать друг друга человеческого облика и превращать в мусор.

Однажды мама заперла папу в туалете за то, что он сидел там слишком долго, и, глумясь, выключила свет – ваш Петенька в долгу не остался. Выпив, начал угрожать маме топором. Мы с ней убежали в ночь к бабушке с бабушкой. Он не раз снился мне потом, несущийся следом с этим тесаком.

А тем временем ваш Петенька с родителями вывозили из нашей квартиры мебель, вещи. Когда мы с мамой наутро вернулись, не было холодильника и стиральной машины, маминой лисьей шубы. А на двери моей комнаты появился замок – до сих пор не понимаю, зачем им понадобились детские вещи, но вывезли в итоге почти всё: игрушки, одежду, школьные принадлежности, книги.

Я плохо понимала, что происходит. С моих собственных фотографий той поры на меня глядит затравленный зверек: сутулый, вжавший голову в плечи, глаза испуганные и тоскливые. Но родителям было не до меня, бабушкам с дедушками тем более. Папины родители активно участвовали в войне против мамы. А мамыны просто жили своей жизнью, не особо вовлекаясь в наши дела. И для тех и для других я не имела значения или даже была досадной помехой.

Что-то вы говорите, Надежда Васильевна? «Не может быть»? Да что вы! Вы шокированы? Я тоже была шокирована и по детской наивности думала, что так не бывает: чтобы отец бегал с топором за женой, а потом обворовывал своего ребенка. Продолжаете защищать вашего Петеньку? А меня тогда никто не защищал!

Я даже представить не могла, что бывает хуже. Оказалось – бывает! Однажды в воскресенье к нам пришли родители вашего Петеньки. Галина Васильевна, как вы помните, любила командовать. Давила мужа и сына, а они помалкивали и подчинялись. Она заметила, что папа без обручального кольца, и подумала на маму. А мама говорила, что папа кольцо пропил. И эти трое – ваш Петенька с родителями – насели на нее с претензиями, пытались выбить, вернее, выдавить признание в краже. Причем насели в прямом смысле слова: папа и дедушка прижали маму к дивану, зажав руки и ноги, а бабушка уселась сверху и начала душить. У меня на глазах! Я боялась, что ее убьют. Забилась в угол и не знала, что делать. Мама кричала, чтобы я звала на помощь. Эти трое, ваши родственнички, пытались ее заткнуть и сами орали что было мочи. Как сейчас помню: я по стеночке выбралась на открытый балкон, под которым уже собирались прохожие – так громко разносились крики. Люди внизу смотрели на меня и ждали. У меня за спиной душили мою маму – слышны были ее крики и стоны, а я замерла на балконе и не могла вымолвить ни слова. Просто стояла, растерянно глядя перед собой...

Вам страшно, Надежда Васильевна? А мне как было страшно! Нет, я ничего не придумала и мне не показало-

лось! Вам не нравится? И мне не нравилось, когда все это происходило!

И вот теперь после всего этого ваш Петенька вдруг обо мне вспомнил – три десятилетия спустя! – когда сам слег. Как удобно! А вы, Надежда Васильевна, вернулись через столько лет и, не желая разбираться, кинулись помогать племянничку.

Вы не знали? Вам жаль? А мне не жаль. Я просто хочу покончить со всем этим. И с этим кошмаром, и с вашим Петенькой, и за компанию с вами.

Что у меня тут есть: зажигалка. Огонь – прекрасное очищающее средство для всякой дряни и мерзости. Иногда я так понимаю инквизиторов, так понимаю! Жаль, что нельзя все плохое в жизни просто взять и выжечь. Но вас-то, Надежда Васильевна, вас-то с вашим драгоценным Петенькой еще как можно!..

* * *

Я дописываю эти слова, откладываю ручку, перечитываю. Текст вылился из пальцев за считанные минуты, как кровь из свежей раны. Звонок родственницы по отцовской линии должен был стать «миротворческой миссией», но привел к обратному эффекту. Над раковиной рву листы пополам, потом ещё раз, чиркаю колесиком зажигалки. Гори-гори ясно!

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СУДЬБУ

Пробуждение было тягостным: Катя сразу вспомнила вчерашний вечер и отвратительный разговор с Пашкой. Вновь окатило волной стыда и унижения от его слов. Девушка сразу выгнала парня, а вот от гадкого чувства избавиться не смогла. Пашка ей так нравился!

Не вставая с кровати, Катя потянулась к тумбочке за книгой, с горечью спросила: «Почему это со мной происходит?» – и открыла наугад.

Сказы Бажова она всегда любила, а образ Хозяйки Медной горы полнился древней силой, пленительно волновал и тревожил, как предание о таинственном сокровище на дне колодца. Вот ты стоишь на самом краю, не решаясь заглянуть в глубину, – и тебе одновременно жутко и невероятно важно узнать, что там.

Девушка не смогла взять в общагу зачитанный домашний томик. Зато здесь совсем рядом была студенческая библиотека.

Бажов открылся на странице, заложенной кем-то забытой распечаткой. Распечатка была густо правлена от руки. Катя не заметила ее вчера, когда брала книгу в библиотеке. Девушка отложила лист, с закрытыми глазами отметила пальцем место на открытом развороте и прочла: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет».

Шепотом повторяя прочитанное, Катя машинально потянулась за отложенной распечаткой – по виду то ли конспектом, то ли заготовкой к докладу или реферату, – бегло проглядела первые строчки:

«...Мифологические персонажи сказов Павла Бажова являются образными персонификациями природных сил. С этой точки зрения Хозяйка Медной горы, хранительница драгоценных пород и камней, которая предстает перед людьми в виде прекрасной женщины, а порой в виде ящерицы в короне, ведет свое происхождение от “духа местности”».

Катя замерла, боясь спугнуть тайну, притаившуюся на дне колодца. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, она принялась читать дальше. В конспекте говорилось о том, что, хотя Хозяйка и создана творческой фантазией Бажова, на его сказы заметно повлияла мифология древних финно-угорских племен, живших на Урале с незапамятных времен.

У богини древних жителей Урала были тяжелые и толстые, как железные цепи, косы, спускавшиеся с небес до самой земли. И у любимой Катей Хозяйки Медной горы красивая иссиня-черная коса.

Верховная богиня угров наделяла новорожденных людей душами, причем считалось, что души могут принимать облик ящерицы. В ящерицу превращалась и сама богиня. И Хозяйка Медной горы, как знала Катя, часто показывалась людям в виде огромной ящерицы. А свитой ей служили разноцветные ящерки, которых Малахитница звала то своим войском, то слугами, то детками.

В распечатке было много правок, некоторые строчки оказались густо вымараны. Но сквозь разрозненные, исчерканные записи поблескивали осколки древнего мифа.

Одним из имен верховной богини угров было Калташ-Эква – калька с имени богини-матери древних коми Кылдьсь-инь, что значит «определяющая судьбу женщина». Она записывала жизненный путь людей на «святой бумаге».

«Определяющая судьбу женщина, – прошептала Катя, – святая бумага». Но мысли снова вернулись ко вчерашнему, волной накрыли стыд и гнев. Девушка решила задать второй вопрос: «Что мне теперь делать?», не глядя ткнула пальцем в конспект. Взгляд скользнул сперва по одной строчке, потом охватил весь абзац:

«Ханты усть-казымского Приобья называют Калтась Матерью-Землей. Если в доме кто-то долго болеет, проводится обряд захоронения куклы, на которую переносится хворь. Здесь богиня выступает как заступница от болезней...»

Катя вскочила с кровати и кинулась к шкафу с одеждой...

Кукла, торопливо скрученная из любимого красного шарфа, получилась отличная. Было даже немного жаль ее «хоронить». Но Катя, добравшись до пустыря, решительно взялась копать ямку – то здесь же найденной палкой, то прямо руками. А забрасывая землей куклу-шарф, мысленно послала ей всю свою обиду и боль, приговаривая: «Потому что тут моей судьбы нет».

Девушка поднялась с земли, вытирая руки влажными салфетками и прислушиваясь к себе. Внутри осторожно разжималась тугая пружина, начинала разливаться хрупкая тишина. Катя вынула из рюкзака книгу, открыла наугад: «Тепло от него, будто на пригревинке сидишь да ещё кто тебя мягким гладит». Она улыбнулась. Кате вдруг стало так хорошо, будто к ней через темноту времени протянулась чья-то теплая благословляющая рука. «Спасибо», – тихо сказала девушка, сама не зная кому.

У ее ног проскользнула ящерка.

Геннадий ЁМКИН

ЗАПАХ ХЛЕБА

(Из цикла «Генкино лето»)

Запах хлебов, вынимаемых бабушкой из печи, мне помнится и сейчас.

Белых, тех, что, выпукло поднявшись золотисто-коричневыми верхами, с бугристо запёкшимися наплывами по краям, опираясь на которые, словно на высвобожденные из тесноты плечи, они, и подвинутые уже из печного нутра на шесток, всё ещё, кажется, поднимались, высвобождая из высоких форм истомлённые жаром, ноздревато-белые, пышные свои тела.

Но особенным был и запомнился мне больше всего сытный запах ржаного, именно ржаного хлеба. Круглые, внушительных размеров караваи, выпекаемые из посаженных в широкие, низкие формы (похожие на сковороды с невысокими бортами) обваленных в муке колобов теста, уместающихся ещё в ладонях. При выпечке они поднимались вверх не так торжественно и пышно, как ситные пшеничные, а неторопливо основательно, по-хозяйски, свободно раздававшимися в стороны, с растрескивающимися от бродящего в них жара и силищи покатыми куполами верхов.

От трещин, возникающих на тёмно-коричневых, а часто близкими и к черноте корках, невозможно было отвести глаз. Они, то пройдя по самому верху хлеба неглубоким овражком, то, будто земля в засуху, разбежавшись беспорядочной сеткой, а иногда словно вогнутым лезвием хищного серпа чиркнутые под самую верхушку и приподняв

одну половину хлеба над другой, как береговой обрыв, притягивали взгляд. Именно по таким вот аппетитным трещинам мне всегда и хотелось разломить круглый, тяжёлый, жаром ещё томящийся хлеб.

Проснулся я оттого, что за простенком, разделяющим дом на две половины, малую – с широкой, белёной, занявшей почти половину её печью и крепким столом, основательно вставшим ближе к углу под бабушкины иконки, и горницу, бабушка то заслонке голос даст, то шоркнет по поду хлебными формами, выдвигая их из печного нутра, а может быть, и от завладевшего уже всем домом кисловато-терпкого, крепкого духа ржаного хлеба.

Чувство обиды, обиды и досады, вмиг пришедшие с горьким осознанием того, что рыбалку я всё-таки проспал, несмотря на то что и просыпался-то даже от привычного тихого тиканья ходиков, чуть не через каждые пятнадцать-двадцать минут, но под утро всё же вовсе уснул... Уснул так, что проспал всё напрочь! И предрассветное серое время, когда бабушка вставала к дойке, и сам рассвет с его протяжными, удаляющимся в конец улицы «му-у!», взблеиваниями, ленивым, беззлобным и без куража ещё, роняемым пастухом через зевоту, так – «для, разговору и порядку»: «Куды-ы-т-твою-едрёна-матрёна-курва-взад-то... Я те повертаю, зараза!» И то заревое, тишайшее время проспал, когда самый-самый клёв! И то, как дедушка, уходящий задолго ещё до гимна на работу в пожарку, при которой кроме огромной красивой красной пожарной машины с водителем в брезентовом костюме и в блестящей каске была ещё и конюшня. В конюшне вечно хрумкали сеном старенькие уже Орлик и Машка, а на длинных телегах стояли две большие, не красные, но тоже пожарные бочки. Вот в конюшне мой дедушка и работал то ли пожарным, то ли конюхом.

Но запах хлеба, этот необыкновенный хлебный дух, что царил в доме, волшебным образом, вмиг сделал ничтожными и досаду на то, что сам проспал, и обиду на бабушку за то, что она, пожалев, не разбудила меня, когда и проводила уже Зорю с овцами в стадо. Даже мысль о

том, что все караси, которых я с вечера ещё прикормил на клёвом месте в Колхозном пруду, теперь точно Лёшке достанутся... Все эти мысли и чувства, стали уже не такими важными.

Сегодня бабушка пекла хлеб!

Естественно, что, понимая всю важность события, я тут же проявлялся возле неё. Бабуля, прихватив через фартук из формы очередной коричневый бокастый каравай, держа его на одной руке, сперва оглаживала, а затем ладонью, прихлопывая его понизу со вьевшейся в него присыпкой муки, определяла – «вызвенел хлеб или нет?», то есть упёлся ли он. Совсем уже не вмоготу – до сглатывания сытного, хлебного духа, становилось, когда бабушка, наговаривая что-то, метёлочкой из нескольких куриных перьев, повозив ту в блюде с постным маслом, помазывала ею горячие хлеба, выложенные на постеленное на стол полотенце. Но, увы... Все, исходящие божественным ароматом караваи, после смазывания их, укрывались полотенцами, и все мои мольбы «отломить кусочек» упирались в бабушкино: «Погоди уж, милóй! Погоди уж. Хлебушку-то постоять надо! Это ить не блины да ватрушки! Это ить, аржаной, а не пшаничный хлеб-от! Ить он доходит, родной! Стоит вот, вздыхает и доходит. Вот, вechóp уж и дойдёт. А и стадо вechóp-от пригонют! А то чего уж, хлеб-от покалечим зазря, и дед то чего скажет, придёт с пожарной? И-и-и... и не проси, милóй!»

Впрочем, бабулино сердце всё же, вопрекор дедовыми строгостям и необходимостью «хлебу дойти», позволяло ей, пусть и не так, как мне представлялось – разломить тёмно-коричневый, не остывший ещё, духовитый хлеб по тем самым трещинам, где запеклись шершавые, хрусткие, горячие корочки гребней. И торопясь, торопясь откусывать от неё и, чтобы не обжечься, шумно при этом втягивая и выдыхая воздух, переваливая языком от щеки к щеке, вместе с хрустящими краешками и вправду, сыроватый ещё, горячий хлебный мякиш.

Бабушка отрезала от чудесного, круглого, коричневого каравай ржаного хлеба, всего лишь краюху, толщиной

в мою ладонь... Проглатывал я этот сыроватый ещё, горячий хлеб в два не укуса даже, а набивания рта ароматной мякотью, при этом шумно, как и представлялось мне, часто вдыхая и выдыхая, чтобы охладилось во рту и не обожгло горло и язык. Видимо, при этом я строил такие гримасы, что бабушка, утирая руки фартуком, глядя на меня с улыбкой, повторяла: «И-и-и! Говорила ить, говорила! Всё невтерпёж! Нету в тебе угомону! Вот проси другой раз-то, проси... Ну дед, вылитой дед – торопышник!»

Переживая, что моё ожидание награждено лишь в малой степени, и на своё: «Ох, и вкуснющий, баушка! Ну, ещё ма-аленький кусочек, а, баушк?..», получив окончательное: «И-и-и, и не проси, милый!» – некоторое время, печально вздыхая, я всё же не уходил из кухни и, стоя недалеко от стола, переступая в нужном месте с одной поскрипывающей половицы на другую, делал вид, слушая их грустные голоса, что занят исключительно этим и за ради того никуда и не ухожу, не терял ещё надежды...

– Баушк, а баушк! А вот здесь надо половицы гвоздями к лагам притянуть! Они и не станут скрипеть-то! – деловито заключал я, давно уже заметив, где по треснувшей вокруг шляпок гвоздей коричневой, половой краске, где по впадинкам в ней, что те ровной строчкой от простенка до печки забиты по два, а то и по три, во все доски, кроме этих двух, что враз по центру от порога идут через всю кухню.

– Да сколько раз уж, милый, сам-от их и тянул! Да вынаются всё, настырные. Сами-от и вынаются! Что грибы махоньки, опёшки – вынуты и стоят, смотрют – под ногти кинуться. И-и-и! И ни пол ужо ни замыть, ни пройти без спотыку было. И чево уж им стало? Уж и чево... Вот сам-от давно уж и не окорачиват их. Почитай, всю жизнь дружка дружке и играют. А то и втроём примутся, как дед-от, своей неправильной, вместо в войне оставленной, окликнет какую, так втрое и завздыхают...

– Да ты, касатик, и не стой, и не пой мне поллом-от! К вечору хлеб-от и дойдёт! Иди уж, милый, на свою

рыбалку-то! Иди уж. Азё!* – переходя иногда на родной мордовский язык (который я понимал немного, но разговаривать не разговаривал) уговаривает бабушка. – А то уж и вентири-то с дедом, во-он каки на пруд давече ташили. Иди, касатик! Да не убалуй, как днями, Зорьку-то с овцами не встретить из стада! Ладно, дом-то свой знают, а ну надумают заблукать... Ступай, милый, ступай с богом!

Вздохнув расстроено напоследок и переведя взгляд от стола с хлебами, накрытыми уже вышитыми полотенцами, вверх на того самого Бога, который за огоньком от маленького фитилька лампадки, стоя в углу на полочке, над столом, меж двух других иконок, смотрел на меня грустно и всё понимая, я отправлялся по своим делам.

* Азё – иди (морд.).

ОКНА С СИНИМИ НАЛИЧНИКАМИ

(Из цикла «Генкино лето»)

Удивительно, что иногда, коснувшись бог весть когда минувшего, память вызывает к жизни такие детали, краски, голоса, запахи, что, кажется, ты и не вспоминаешь, а просто живёшь в нём, решительно помня вчерашнее, остро ощущая настоящее и загадывая не дальше завтрашнего утра: «Выползков набрал, навозных тоже. На навозников лучше клюёт. Но зато на половинки выползков иногда такие карасищи попадаются! Не проспять бы... Закат красным сгорел... И сейчас небо – вон, ни тучки! Все звёзды лучиками дрожат, шепчутся, наверное... Точно тихая будет погода, карасиная... Лешка бы место моё не занял... эх, не проспять бы... не проспять... не проспая-а...»

Впрочем, иногда можно и о вечере среды задуматься – в среду в клуб кино должны привезти из райцентра. Индийское, двухсерийное! Говорят, «до шестнадцати», но кого из взрослых интересуют наши «не до» пять, шесть, семь лет до тех шестнадцати? А если и не пустят, так станем другое «кино» ждать – взрослые парни обычно после клуба своё «кино» устраивают. После кино реже, правда, чем после танцев. Мы потом с пацанами увиденные приёмчики повторяем и заучиваем. Пригодятся. Ещё бы! Мы ведь тоже с парнями вон с того конца улицы дерёмся. Не так, конечно, сильно, как взрослые... Вот и хочется по-настоящему научиться, как они. Чтобы – шик-блеск! Чтоб как в кино!

Лёжа у открытого окна в кровати, на спинке которой отблескивают лунным светом никелированные шары, я вспоминаю, как ехал сегодня не просто на телеге (обычное, меж-

ду прочим, дело!), а на огромном раскачивающемся возу накошенной травы, держась за берёзовый гнёт и верёвку. И никакие корабли и океаны мне вовсе не представлялись. Мне было зыконно здесь, на макушке воза, под высоченным небом, над полевой бескрайностью, над цветением лугового разнотравья долгой пологой лощины, сбегаящей к ручью, в которой мы с бабушкой косили траву. По правде, я только учился вести косу правильно – не загребать ею траву на себя, стараясь, держа её пятку чуть по-над землёй, не задирая кончик её, но не дай бог и опустить! Тогда вообще беда... и делай вид, что просто встал передохнуть или там пот утереть, заправиться, стараясь незаметно для бабушки, шедшего впереди, если он вдруг обернётся, вытянуть крепко вошедшее в землю остриё косы...

Ах, как мне хотелось быстрее, быстрее научиться косить так же, как бабушка! При косьбе он, ни капельки не хромающий, как обычно, на свою вполовину ненастоящую ногу, уходя от меня к ручью, вроде и без замаха, лишь поводя плечами и, казалось, совсем без усилий, под звонкое «ш-ш-и! Ш-ш-и! Ш-ш-и!» укладывал вздрогнувшие травы, роняющие не высохшие ещё матово-жемчужные росы. Травы, успевшие и охнуть только вслед звонкому лезвию, не осознавшие ещё случившейся беды, не успевшие даже упасть, подхватывались низом косовища и сносились им прочь от корней своих и, безвольные уже, ложились на стерню невысоким, ровным, сырым валком.

У меня же пока получалось отлично, только заведя лезвие косы за высокий сочный, не задеревеневший ещё стебель конского щавеля, чиркнув по нему с потягом косовища на себя, поверзнуть его, хрустко охнувшего и взмахнувшего напоследок лопушистыми листьями с той высоты, с которой он над травами луга, как дозорный, только что пристально осматривал округу.

Мне восторженно было вот здесь, над жёлтым-жёлтым полем горчицы, убегающим от лощины далеко-о, на во-он какой угор, в самое небо! Над тёмно-зелёным полем клевера. Над шумящей на ветру раздавшимися уже в ширину поникающими листьями выбросившей первые метёлки кукурузы. Здесь, с поднебесной своей высоты, видя дальше

заовражье, где Ваня хромым с сыном пасут сегодня, как говорит мой дедушка, «общественное стадо», которое нам, между прочим, как он же говорит: «Через три дни пасть идти!» А бабушка говорит: «Ужо через три избы! Слышь-ка, дед? Через три избы черёд-от ужо!»

Опьянённый запахом свежескошенной травы, с кружащейся от укачивания головой, с онемевшими от долгого напряжения руками, я, счастливый и уставший, всё же часть пути до дома, привыкая после качки заново идти по прямой, иду уже пешком. Это из-за того, что в деревне дороги не такие ровные, как в полях, а с колеями, с ямками, и воз может запросто перевернуться. Да и бабушку чтобы не волновать. А то начнётся, как в прошлый раз, – и мне, и дедушке достанется:

– Ну что ты всё поперёк да поперёк! Сколь говорено, убьёсси-и ить, идол, с высоты-то! Ить ей-богу, убьёс-си! Что матери-то плакать стану, подумал? А городской ить, умный... А ты чево, чёрт старый? Ты-то? И-и их! Вот отец-то ужо приедет, ей-богу в город возверну. Вот те крест, возверну! Плакать потом матери-то! А?..

Впрочем, бабушка добрая, очень даже добрая. Когда дед наказать за что хочет, ну, там разное... так она меня всегда защищает. Городская, лукояновская бабушка тоже добрая. У неё и фамилия даже – Добряева. Обе хорошие!

Лежу – это уже сегодня, после сенокоса, – опять переглядываемся со звездами, и думаю уже про завтрашнее утро: «Так, червей набрал. Перловку запарил в китайском термосе. Сухарей – прикормить – взял. Вентери ещё проверить не забыть, что с дедом ставили... Сухарей в них подсыпать... только бы Лёшка опять, гад... моё место не за-анял... непроспа-а-а...»

А наступающая ночь полна тех запахов, которые мне никогда уже не услышать. Впрочем, так же, как не забыть, в какую бы даль их ни развеяло...

Сгружаемую с телеги траву для просушки мы с дедом и бабушкой раскладываем сплошным ковром и во дворе, и на улице перед домом с разбежавшимися по тёмным брёвнам каждого его венца длинными трещинами, хранящими в глубине своей, так же, как и морщины на лицах стариков, пережитое время. И если бы не три оконца в синих фигурных наличниках –

одно в малой и два в большой половине, – которые в летнюю жару, распахивая белые рамы, выпускали на расправу ветру ситцевые занавески, то вид у дома, пожалуй, был бы суровым. Для просушки травы использовали и огородный забор, и завалинку, и поленницу у сарая, укрывая их сплошными зелёными воротниками. Развешанная на них трава хорошо продувалась и сохла без нашего участия. А вот разложенную на земле, её приходилось несколько раз на дню ворошить.

Острый терпкий, запах скошенной травы, привезённой поздним уже утром, днём, уносимый порывами ветра, вбирающий в себя запах горячей пыли, скрадываемый запахами дыма и готовящейся еды, перебиваемый выхлопами проезжающих машин и тракторов, конечно, не терялся в них полностью, но он не был таким отчаянно-пьянящим, как в наступающих безветрии и тишине позднего вечера.

В ночь же он загустевал и, наполненный шорохами, шёпотами, вздохами, становился словно осязаем. Казалось, проводи по воздуху ладонью перед собой, и, проступив из ниоткуда, набухнут и, отяжелев, сорвутся ей вслед, одна за другой, крупные капли...

Через несколько дней выдохнувшая всю влагу трава превращается в сено. А сено пахнет уже прошлым. Тонко так пахнет, тревожно, невозвратно.

И даже в ночь, когда разразится гроза и от сгустившихся душных запахов станет беспокойно, смятенно, маетно, и тогда, сквозь скрытую в невесомых телах боль и муку, ни один скрученный или согнутый стебель, ни одна бездыханная травинка, и ни один из блеклых, с вывернутыми плечиками и покалеченными шейками цветков, вздрагивая от пробегающих по кровле дождевых зарядов – «Ш-ш-ш... Ш-ш-ш... Ш-ш-ш...» – не может, не может, не может вспомнить, что было там, до этого мгновенного, звонкого – «Ш-ш-ши!», в которое упирается их память... Даже тогда можно уловить лишь след тех острых, терпких, горьких, отчаянных запахов, которыми бредила в ночь разложенная у дома под окнами с синими фигурными наличниками, скошенная утром трава.

Денис КРАСНОВ

ТИМУР И МОЯ НАГРАДА

Тимур Климентьевич вошёл в мою жизнь размашистой походкой, выплыв из полумрака школьного коридора в сопровождении галдевшей ребятни, буквально хватавшей его за рукава элегантного серого пиджака. Больше всего он был похож на кичливого студента или старшеклассника, осаждаемого любопытной мелюзгой, и при первом впечатлении казалось, что ему приходится отмахиваться от этой навязчивой компании чёрным портфелем, широко ходившим по изогнутой амплитуде в такт его вольному шагу. Он почти не смотрел по сторонам через линзы затемнённых очков, но при этом коротко, одними губами бросал ответы на сыпавшиеся отовсюду вопросы, которых было не разобрать в царившем на перемене гвалте.

Когда вся эта шумная процессия миновала и вошла в один из распахнувшихся кабинетов, я перевёл зачарованный взгляд в проём оставшейся приоткрытой двери и увидел, как человек в пиджаке по-хозяйски раскрыл портфель на учительском столе, авторитетным движением руки поправил очки и роскошную тёмно-пепельную шевелюру и степенно продолжил говорить что-то дальше.

– Кто это? – изумлённо покосился я на стоявшего рядом одноклассника.

– Кажется, новый учитель физкультуры.

– Такой молодой – и уже учитель?

– Так он вроде тренер по ушу и джиу-джитсу.

Мне это ничего не объяснило, но тут заверещал звонок, умчавший нас на занятие.

Физкультура, ушу и пиджак незнакомца не уместались у меня в голове, и с тех пор я начал невольно к нему приглядываться. Со временем образ этого необычного, модного учителя, который, как выяснилось позже, преподавал ещё и биологию с географией, стал для меня воплощением той новой, непонятной и влекущей свободы, о которой нам столько вешали в те смутные девяностые. Вот я вижу его в спортивном зале облачённым в белое кимоно, подоткнутое чёрным поясом; вот он снова, раскачиваясь, плывёт по коридору в своём представительном костюме; вот его облепляют и всерьёз выслушивают уже не только школьники, но учителя и даже сама директриса, сухая строгая женщина, наводившая на всех ужас одним своим присутствием.

Однако Тимур (далее для краткости буду называть его так) с одинаково ровным, немного отстранённым выражением лица общался со всеми – и именно так же он впервые, несколько лет спустя, заговорил со мной, представившись как новый учитель географии. Точнее, представился он тогда всему нашему классу, но его лаконичные слова запомнились как обращённые ко мне лично:

– Правила у нас будут простые. Я не ору, но хочу, чтобы мой предмет вы знали. Давайте интересно проведём это время.

Признаюсь, поначалу мы как-то легкомысленно отнеслись к такому доверительному тону, по-ребячески истолковав его как повод для вседозволенности. Иногда, когда на уроке становилось слишком шумно, Тимур хлопал ладонью по столу и произносил всего два гулких слова: «Хорош галдеть!» После этого в классе водворялась такая тишина, что было слышно, как гудят на потолке лампы дневного света.

При этом Тимур и впрямь никогда не переходил на крик да и во всём остальном сдержал своё обещание. Урок за уроком, сквозь плоское разноцветье географических карт стали проступать наглядные, выпуклые контуры реальной, пульсирующей жизни, скрытой в слоях земной коры и атмосферы, пространство между которыми заполняли страны и люди – такие же или почти такие же люди, как мы, как наши родители,

учителя и директриса. Увлекательный баритон Тимура расширял границы нашего прежде закрытого города до размеров земного шара, который становился всё ближе, доступнее и понятнее.

Казалось, наш учитель ведал всё обо всём, что творилось на каждом квадратном сантиметре школьного атласа, и обширность познаний Тимура – на радость всем нам – частенько вынуждала его отклоняться в сторону от основной темы занятий. Именно эти лирические отступления заставляли меня с особым трепетом заглядывать в расписание уроков на неделю вперёд и мысленно обводить в кружок географию, разместившуюся аккурат посередине учебных будней – третьей по счёту в среду.

Суждения Тимура порой оборачивались тонкой самоиронией, которую, конечно, мы тогда не могли оценить в полной мере. Однажды, рассказывая то ли о путешествии по Центральной Азии, то ли о своих восточных корнях, он как бы случайно обмолвился:

– Конечно, для человека моей внешности, да ещё по фамилии Элькинд, нет ничего удивительнее, чем смотреть в свой паспорт и понимать, что ты – русский.

В дальнейшем Тимур Климентьевич Элькинд, этот настоящий русский человек, старался больше не ступать на столь зыбкую, неблагодарную почву, но в тот момент его краткое замечание послужило для меня полезным уроком, выветившим поразительную многоликость нашей страны, органично сотканной воедино силами различных, часто не похожих друг на друга национальностей. Сами фамилии моих друзей и одноклассников: Марзан, Баранов, Заруба, Кулиев, Сумский – говорили о правде, заключённой в словах нашего мудрого учителя. Мы были разными, но были вместе.

До сих пор жалею, что те уроки житейской географии с Тимуром продлились всего один год и в дальнейшем мне уже не довелось внимать его рассказам за школьной партой. Однако судьба приготовила неожиданный сюрприз, который я смог оценить лишь впоследствии.

Подходил к концу десятый, последний год учёбы в родной школе, все мысли крутились вокруг предстоявших вы-

пускных экзаменов, но, по счастью, главные, вступительные испытания, к тому моменту остались уже позади. Это было крайне изматывающее время: методичная, изнурительная подготовка к районным и областным олимпиадам, причём сразу по двум предметам, обернулась желанным призом, но не оставила практически никаких резервов для ещё одного сверхусилия. Билеты на поступление в вуз были в кармане, и до выпускных ещё можно было успеть зализать раны. Медальная мотивация также никуда не девалась, но тут прилетела новость, которая повергла меня едва ли не в отчаяние.

Одним февральским днём директриса вызвала меня в кабинет и, обласкав похвалой по случаю олимпиадных свершений, спокойно заявила:

– Ты и сам понимаешь, как много поработала школа на твои успехи. Теперь настало время и тебе поработать на наше славное имя. Через три дня Тимур Климентьевич везёт лучших учеников в Москву, на всероссийский форум. Один из конкурсантов по английскому языку не сможет поехать, и тебе нужно достойно его заменить. Это большая честь и ответственность, прошу срочно начать подготовку.

Три дня на подготовку к федеральному форуму?! Я еле сдержал нахлынувшие эмоции, но, покорно согласившись, выбежал из учительской и помчался со своим горем прямо к Тимуре. Он сидел за небольшим монитором в своём уютном продолговатом кабинете и, мгновенно уловив мой смятенный вид, снял очки и зажал глаза двумя пальцами, заранее принимая всю боль на себя и давая мне выговориться.

Когда мой словесный порыв иссяк, Тимур оторвал руку от лица, вернул очки на переносицу и устало произнёс:

– Я тебя прекрасно понимаю и вот что я тебе скажу. Ты удивишься, но многие сейчас хотели бы оказаться на твоём месте. Ведь ты уже поступил в университет, скоро получишь свою заслуженную медаль, а теперь тебе ещё и предложили за счёт школы съездить в Москву. Да это же просто праздник! А то, что осталось всего три дня на подготовку... Так это тоже по-своему неплохо. Во-первых, попробуй поменять установку – это не «всего», а целых три дня, к тому же ты освобождён от уроков. А во-вторых, с учётом этих

сроков тебя в школе никто и не попрекнёт, если что-то вдруг не сложится. Получается, ты везде в выигрыше. В общем, не теряй ни минуты, сейчас же принимайся за дело. Если нужен компьютер, приходи сюда и работай.

Поддержка и доверие Тимура совершили своё целебное действие: отойдя от первичного потрясения, я в тот же день поднял на уши библиотеку и учителей, накопив кучу материала для конкурсного доклада. На следующее утро я вновь явился в кабинет Тимура, и он, заведя азартный румянец на моём воспрявшем лице, удовлетворённо отметил:

– Вот так-то лучше. Ещё два дня впереди – какое раздолье.

Поднявшись из-за стола, Тимур освободил мне своё кожаное кресло, и тут я совсем растерялся. Ни у меня, ни у многих моих друзей тогда не было не только своего компьютера, но и никакого серьёзного опыта общения с монитором, кроме гонок и стрелялок, ради которых, признаться, мы только и ходили на информатику. Усевшись на тёплое место учителя, я тупо уставился в мерцавший передо мной экран и со стыдом признался, что даже не знаю, с какой кнопки начать работу над текстом.

– Не волнуйся, – понимающе сказал Тимур. – Самый лучший компьютерный урок – это практика. Я и сам так учился, методом пробных нажатий. Короче говоря, заводишь новый файл в папке... Да-да, вот здесь. Потом двумя мышинными кликами открываешь его... Ага, вот так. Видишь мигающий курсор? Теперь здесь и будет возникать твой шедевр. Вот вкратце и всё – остальному научишься по ходу дела. Я рядом, обращайся.

С содроганием, словно постепенно погружаясь в студёную воду, я начал касаться скользких клавиш, опасаясь, как бы неосторожное нажатие не вызвало непредсказуемой реакции сурово гудевшего устройства. Мне отчаянно хотелось не подвести своего учителя, не загубить его рабочую машину каким-нибудь неловким движением. Набегавшие одна за другой волны экранного света вызвали резь в глазах, всё тело влажно провалилось в обмякшее кожаное сиденье, а руки, повиснув на подлокотниках, затекли и с трудом проводили импульс до кончиков дрожавших пальцев.

В таком оголённо-нервном состоянии я беспрестанно дёргал Тимура, и он, отрываясь от своих бумаг, хладнокровно щёлкал по нужным местам и попутно учил меня компьютерной грамоте. Завершив первую в своей жизни страницу, я с ужасом обнаружил, что потратил на неё больше двух часов, но дальше дело зашло легче, и на следующий день мой первый многостраничный труд был благополучно готов, распечатан и заботливо упакован Тимуром на конкурсной дискете.

И вот мы уже мчимся в ночном поезде в манящую столицу, и Тимур, деловито хлопая купейными дверями, пересчитывает по головам всех своих подопечных – десятка два таких же счастливиц, как и я. Наутро бесконечные приземистые полустанки, неопознанно пролетающие в темноте, начинают сменяться циклопическими очертаниями многоэтажек, и сквозь снежную дымку, наконец, прорастает величественная громада вокзала с горящими жизнеутверждающими буквами – МОСКВА.

Бодрый, с иголки одетый Тимур утверждает, что дорога до гостиницы займёт около 27 минут, и мы, нимало не сомневаясь в прогнозах нашего предводителя, ныряем многоглавой ордой в разбуженное метро и, действительно, через 27 минут (находится кто-то, дотошно засёкший время) вступаем в наше останкинское пристанище.

Через час с небольшим Тимур собирает всех у себя в номере, вычерчивает контуры предстоящего дня и между делом ставит нас в тупик, указывая на банки с консервами:

– А теперь скажите, у кого есть открывашка? Разумеется, никто и не подумал взять, вот и я тоже... Ладно, обойдёмся одним ножом. Кто попробует?

Все вокруг нерешительно молчат, и я вызываюсь стать первым. Вонзаясь в жестяную поверхность, я с надрывом корёжу скрежещущий металл, и Тимур, не в силах глядеть на такое издевательство над возмущённо забулькавшей рыбой, останавливает меня и объясняет:

– Знаешь, в чём тут ошибка? Ты затратил много сил, затупил нож – а выхлоп совсем небольшой получился. А нужно делать так, чтобы минимум усилий давал максимум результата. Как в любом единоборстве.

Тимур берёт нож и мягкими подсечками, словно подлезвием масло, а не металл, в три-четыре движения плавно выписывает на жестянке ровный полукруг.

– Ну вот, как-то так, по принципу гильотины. Давайте перекусим, и пора отправляться на форум. Примерно сорок три минуты – и будем на месте.

На этих словах наше неутолённое любопытство переливается через край (откуда такая точность?), но учитель, смиренно улыбаясь, лишь кратко изрекает:

– Да, сорок три. Ну, самое большее – сорок четыре.

И снова он оказывается прав (43'10''), и лишь несколько лет спустя, уже студентом колеся по златоглавой, я узнаю секрет из обычных для каждого москвича карт метро с временными промежутками, нанесёнными между станциями. Вскоре интернет-карты и вовсе сотрут в порошок все секреты, но тогда, в 2001-м, магия Тимуровых предсказаний подчиняет столичные кольца и надёжно скрепляет наше школьное братство. Если и такой огромный город можно просчитать и измерить, то, выходит, не так он и страшен, как видится на расстоянии. Значит, нечего бояться и конкурсных испытаний, даром что съехала на них вся Россия.

Но, сколь бы ни был я вдохновлён постоять за честь школы, скомканная подготовка всё же даёт о себе знать, язык не слушается, а мыслям не хватает стройности и глубины. Я чувствую, что проиграл, ещё по ходу выступления, и это скверное ощущение только усугубляется, когда я покидаю поле битвы и встречаю радостного Тимура.

– Уже несколько призовых мест у нас сегодня! – восклицает он, но, замечая мою понурую фигуру, сразу меняется в лице. – Что, не получилось дать бой? Ничего, не всегда же выигрывать. Поражение тоже учит, и иногда даже больше, чем победа. Нужно только правильно его принять и стать сильнее. Помнишь, как у Пастернака? «Но поражения от победы ты сам не должен отличать».

Он успокоительно хлопает меня по плечу и уносится куда-то в будущее – сразу на несколько месяцев вперёд. Позади и трудная зима, и тот горький форум, и выпускные экзамены. Светит мягкое солнце, мы расслабленно идём по майскому городу и беседуем о чём ни попадя. Понимая,

что прощание с школой означает скорое расставание с Тимуром, я осмеливаюсь задать ему вопрос, который уже давно меня терзает:

– Тимур Климентьевич, а почему вы не преподаёте в каком-нибудь вузе? Вы об этом никогда не думали?

– Конечно, думал. Только это не для меня.

– Почему?

Мы подходим к школе, и встречающая нас детвора буквально не даёт прохода своему учителю. Слова уже не нужны, но Тимур, приветствуя всех и поглаживая по голове самых маленьких, всё же отвечает мне:

– Понимаешь, вот люблю я с ними возиться – и всё тут. Это же просто счастье.

«Конечно, счастье», – вторю я сейчас, спустя годы, Тимур Климентьевичу и мысленно жму ему руку. Иметь такого наставника, находиться с ним рядом и видеть его пример – это и было тогда нашим общим счастьем. Дипломы и медали давно заняли подобающее им место на дальних полках и задворках памяти, а волшебное школьное зазеркалье лишь мерцает в отблесках отдельных лиц и событий. Тот же московский форум запомнился ярче иных побед и успехов, ведь случившееся поражение обернулось моей неожиданной наградой – драгоценным жизненным опытом, раскрывшимся благодаря чуткому учителю и просто умному человеку.

Много позже, уже работая в другой школе, Тимур Климентьевич скажет:

«В занятиях боевыми искусствами важен поиск самого себя. Путь воина – это стиль жизни, это путь от себя поверхностного к себе глубинному. Каждый раз я стараюсь стать спутником для своих учеников в этом пути, хотя бы часть дороги идти вместе».

Так и есть. Даже если нашим путям больше не суждено пересечься, часть дороги под названием Жизнь была пройдена вместе, и оставшиеся на ней следы уже никогда не сотрутся.

Спасибо за все уроки, сэнсэй. Это были уроки настоящего воина и педагога.

Сергей ШУСТОВ

НА РЯБЧИКОВ

Рябчик, доложу я вам, – птичка доверчивая, глуповатая. Мало кого из лесных обитателей можно так близко подманишь, ежели изображать самоё жертву. Свистишь, бывало, в манок – а эти дурачки бегут, к тебе чуть не на ружье садятся да в глазки заглядывают. Потому – и обидно их стрелять. Жалость берет за душу.

Вот, доложу я вам, в позапрошлом годе был у нас казус с этими рябчиками. Страху натерпелись! А потом, через них, этих дуралеев, божьих птичек, к Богу и вышли! Прямым! Вот оно как! Расскажу по порядку, не сомневайтесь!

Наладились мы с другом закадычным, Мишкой, на рябчиков. Срядились по осени, сентябрь уж к концу подбирался своему. Почему – Мишкой? Дык его в деревне все так кличут: дескать, Мишкой – и всё. Кричат, бывало – Мишкой, иди сюды! Мишкой, подсоби, родимый! Да-да, никак не склоняется (или как там говорят умные люди?), прах его задери! Да бес его знает почему! Может, он сам в детстве себя так самоназывал. Вся деревня друг друга знает сызмальства. Вот и помнят детские клички да погонялки.

И вот, доложу я вам, срядились мы с Мишкой не куды-нибудь, а прямо к Черной Заводи. Место гиблое, трясиновое. Одна, прах её задери, ольха. Но вокруг, как кругами, «на островах», стало быть, ельники. А рябчики такие пестрые места ох как любят, недаром что и сами пестрые да рябые. Что за острова такие? Дык это у нас так

кличут гривки, горбки посреди болот. Там, где повыше. Там всегда сосна да ёлка растут, а ольшаники им места уступают.

Осень уже заканчивает свои дела, солнце греет слабо, только где на припёках, бабье лето серенькое, скоро уж, глянь, и снежные мухи запорхают. В лесах тихо. Иной раз лося можно услышать – хрипит, вздыхает тяжело, гон у них. А мы с Мишкой шоркаем полегоньку. В котомочках у нас за плечами заедки припасены, в термосочке старом, китайского образца, – крепкий чай на травах. Красота!

День – залюбуешься. И так на душе радостно и спокойно, доложу я вам, как только иной раз в бабье лето и бывает. Когда чувствуешь, что последние теплые денечки, скоро снег ляжет – и тишина зимняя наступит, как словно отдых в природе. Сон её. А позади столько всего – и разлив Свечи, и икрометанье шуки, и гомон высокий журавлей и гусей, и истошный гвалт лягв и первый лист на дикой смородине. Теперь уж этого только ждать да молить, чтобы Бог тебе еще годок отпустил. Хотя бы до весны этой самой.

Пришкандыбали мы полегоньку на место, к Черной Заводи. Там Свеча делает загиб – и в одном месте глубокий омут. Вода черная, а в ней кружит всякий мусор лесной, хвоя да желтые листья с берез да ольх. И только видишь иной раз, как снизу вдруг всплывает что-то большое, черное, страшное... Хлобысь по воде хвостом! Голавль! А то, еще громче, бобер! Развелась их там – страсть, доложу я вам!

Посидели мы с Мишкой, полюбовались на красоты, послушали тишину. Чаю отхлебнули для святости.

– Ну, брат, куды двинемся?

– Дык надо бы проверить дальний угол, за вторым поворотом, давно туда собирались наведаться. Пока грязь-то нет. Позднее – вдруг раскиснет всё, дожди али снег пойдут, по соплям туда не добраться! Там вроде должны увалы пойти, выше местность-то забирает!

– А давай!

А меня еще тогда как кольнуло, сомнение закралось. Не знаем мы ведь тот угол, прах его задери! Ни разу там не бывали. Туда километров семь, не меньше. Такие там

глухомани, такое куролесье! Как бы не плутануть там! Мишком нет-нет да и стукнет топориком по стволу – зарубочку сделает, чтобы, стало быть, обратный путь пометить.

Нашли, наконец, чудное место.

– Давай тут побродим! Манок-пищик доставай – посвистим. Должен рябчик тут обретаться, прах его задери!

– А давай!

А место-то, хоть и чудное – высокие гривы с ельником пошли, – а совершенно незнакомое. Только на свой обратный след и надеемся. Плутать-то в осеннем чернолесье по болотинам кому охота? Мишком пищик свой продул, проверил запасной (тот необходим, потому как частенько манки засоряются в карманах и котомках, ан чистить их в разгар охоты некогда, доложу я вам).

День тихий, светлый. Паутинка летит, на слабом солнышке играет. Тишина такая, что слышно, как лист падает, весь его путь с шорохом – от вершины до успокоения.

Решили пока вместе походить. Иной раз на рябчиков охотятся так: одни гонят, как зверя, в нужную сторону его. А другой сидит в нужном месте – ждет. Они, рябчики, когда выводками, держатся иной раз плотно, друг от друга не улетают. Но эта охота добычлива, когда охотников много. Да и чтобы рябчики в достатке водились. А сейчас вот ни одного не слышим.

Свистит петушок (самчик, стало быть) очень нежно, тонюхонько. И ежели манок годный, в тон птице попадает, то петушки бегут на его зов: разбираться с соперниками. Порой и курочка следом слетит – полюбопытствовать. Так вот и идешь чутко по лесу, слушаешь. А посвистишь – отклика жди, не торопись.

Начал Мишком посвистывать. И минут через двадцать вроде – откликается петушок. Мы продолжаем, затаились, ружья наготове. Тишина. Мишком опять – тоненько, нежно. Чу, петушок ближе. Вот пересвистываемся, а я все пытаюсь определить, с какой стороны подлетит. А может, прибежит? Они нередко по земле скорокопыткой бегут, с остановочками, прислушиваются к голосу соперника, голловенку набок склоняют забавно.

И вроде уж совсем близко дурачок. Я ружье припас. Вот, сейчас!

И тут Мишком такой, весь белый сделался, оборачивается ко мне и шепчет изменившимся голосом:

– Кто-то большой там ходит, прячется!

– Где?!

Меня как холодной водой обдало, прах задери! Мурашки побежали по спине. Затаились за выворотнем еловым, ждем. Чуть не трястись стали – неприятный озноб навалился.

Вдруг – опять тот же свист, тонкий. На рябчика и похожий вроде, как подражает кто. Но и не рябчиковый вовсе! Словно на наш манок откликнулся, но – сомневается.

– Он нас перекликает! Нас подманивает! Моему пищику отвечает...

Тут меня, прах его задери, такой страх взял, что ни разу ни до, ни после не случался.

– Смотри, смотри! – чуть шепчет Мишком, в ружье вцепившись белыми пальцами. – Вон там, за березками!

И я гляжу, прах меня задери, кто-то черный зашевелился в ложбинке – и вдруг поскакал со всей дури через тонколесье, с шумом, хрустом. Только замелькало – прыг, прыг, прыг! При каждом прыжке существо издавало какие-то жуткие крики, типа А!.. А!.. А!.. У меня волосы дыбом, аж картуз приподняло.

– Ах ты ж, мать твою так и растак! Человек вроде!

– Чупакабра, прах её задери!

Мишком первый очухался, в себя пришел. Ружье отпустил, а я трясусь весь как осиновый лист на ветру.

– Пойдем следом... Он нас боится. Надо поглядеть поближе – кто это.

– Ты сдурел, прах тебя задери! Я отселе тикать буду назад, вот только штаны проверю – нет ли чего там лишнего!

И всё это мы – шёпотом, таясь, глаз не спуская, однако, с той стороны, куда ускакала эта чупакабра. А там – тишина. Словно привиделся нам обоим весь этот ужас только что... Ни осинка не шелохнется, ни птица не прокричит.

И тут, словно специально, чтобы допугать нас до самых пяточек, заныл, застонал кто-то в противоположной

стороне! Тоскливо так, аж до печенок! Путь к нашему отступлению отрезает. Мы опять инстинктивно (как говорят умные люди) присели за выворотень, стали, как пеньки, незаметными. Мишкой мне шепчет, чуть не крестясь:

– Жолна это! Я его знаю! Жолна!

Умные люди бы ежели были с нами (это я теперь, уже шуткая, про горожан говорю), тут бы лапти-то в стороны и отбросили со страху окончательно. Кто такой еще? Что за жолна?!

А знающие люди, лесовики, вроде как мы с Мишкой, смекнут сразу: жолна – это черный дятел. Размером с ворону. Здоровый, с красным пятном на башке. Только он так орать заунывно в осеннем лесу умеет. Страх и тоску нагоняет, прах его задери!

Ну, тут мы вроде и успокоились. Странное дело – этот страшный, как у мертвеца, крик черного дятла успокоил нас с Мишкой. Наверное, потому, что нашли мы этому второму ужасу разумное объяснение. Подвели под ум. Нельзя в лесу рассудка-то терять никак! Насчет мертвеца – вы, наверное, улыбнулись, а я читал в хорошей книге у писателя и охотника Джима Корбетта: никто не слышал во всем белом свете, как кричат мертвецы, а однако все представляют довольно ярко!

Пора к первому ужасу нам вернуться, доложу я вам. Отвлеклись. Заспорили мы с Мишкой. Он говорит:

– Надо проверить, нас двое, ружья с нами...

– А что наши ружья? – отвечаю ему тихо, все поглядывая в ту сторону, куда «чупакабра» ускакала. – Чем они тебе помогут, прах их задери?! В них картечь – шестая дробь! Тока рябчика сшибать нашими мелкокалиберками!

– Пойдем, потом жалеть будем, маяться над разгадкой! Пойдем – нас двое! Хотя бы следы посмотрим...

Словом, разобрало его любопытство. Но, доложу я вам, – пополам со страхом. Не без этого, прах его задери!

И мы, крадучись, с ружьями наперевес, пошоркали в ту же сторону, куда черт этот ускакал.

И тут выходим неожиданно на поляну, на большой бугор. Словно расступился весь этот темный лес разом, вдруг, как в сказке, доложу я вам. И на холме – терем.

Высокий, красивый, с маковкой, сверкающей под лучами неяркого уже солнышка. Как просияло вроде всё вокруг! Ах ты батюшки-святые! И – как по заказу – клин журавлей большущий в небе плывет, окликает нас сверху серебряными трубами своими.

Правая рука сама креститься начала. А Мишкой и говорит:

– Э, брат, мы, похоже, к Степанидиной обители вышли! Бают про неё в народе, слышал. Но с нашей, западной стороны, никто сюда сроду не ходил! Крюк мы с тобой километров двенадцать дали, не меньше!

Оглядываемся, озираемся. Вокруг храма – постройки, несколько свежих, из струганого бревна. Всё добротное, справное. Где-то телок мычит. Куры кудахчут. А вон и псинка забрехала, нас учуяла. Выходит из одной постройки женщина, вся в черном. Собака (вроде даже пойнтер!), прочуяв хозяйку, к нам с лаем усиленным устремился. Матушка, куды мы попали? Куды ветром занесло?

Женщина идет к нам, отгоняя собаку, смотрит открыто, без боязни, кланяется поясно:

– Да, верно! К матушке Степаниде вас Господь привел! Пойдемте, самовар поставлю, устали, чай, охотнички! Откуда идете?

Мы всё наперебой с Мишкой и рассказали. Всё – да не всё. Сбивчиво, правда: слишком много впечатлений (как говорят умные люди в таких случаях) навалилось на нас с ним в эти два-три часа. Провела она нас в светлую трапезную. Чисто вокруг, иконы смотрят на нас темными словно укоряющими ликами. Непривычно, доложу я вам. Матушка (Ксенией зовут) варенье выставила, коврижки какие-то сладкие, самовар кипит. Рассолодели мы в тепле да уюте.

– Сейчас сестры придут трапезничать, вы уж вот здесь, за перегородочкой, садитесь. Никого не смутите, и вас не смутят. Батюшка, отец Алексей, поговорит с вами...

Ксения хлопочет, видно, что рада гостям. Чай заваривает.

– Часто ли к вам паства ходит? Много ли паломников? – Это мы для вежливости спрашиваем с Мишкой. – Далеко уж вы забрались больно! Ни дорог к вам нет, ни тропинок.

Ксения отвечает, улыбаясь:

– Кого нужно, Бог сам приведет! Мы живем тут сестричеством, девять нас сестер. И батюшка, духовник наш. Сейчас придет к вам, поговорить желает. Молочком забеливайте, своё, свежее.

Тут батюшка и заходит в трапезную, крестится долго на все стороны, благообразный такой, но уж очень худой. Борода одна белая, и всё.

Подсаживается к нам. Расспросы вежливые, осторожные.

– Никогда с той стороны, – показывает в наше направление, в сторону Свечи, – к нам не хаживал никто. Чудно.

Сам улыбается, приятной такой, доброй улыбкой. Нас развезло в тепле да с еды, сидим носами клюем, неловко как-то перед людьми, что нас приняли так славно, доложу я вам. Вошли сестры. Перед трапезой все встали, стали распев красивый какой-то петь. Батюшка Алексей руководит, главный голос ведет. Приятно это всякой русской душе, доложу я вам.

Но вот Мишкой толкает меня в бок:

– Обратно нужно подаваться! Долго идти, в темноте прошаримся до утра.

И вдруг мы словно разом оба вспоминаем тот, первый, ужас. Из-под выворотня который. И – словно холодок по спине, а волосы снова дыбом. Куды пойдем в ночь, коли там чупакабра скачет какая-то, стережет, должно быть... Охватил нас опять первобытный страх. И совсем уж было собрались мы осторожно так рассказать батюшке (он с нами чай пьет, беседу ведет) о встрече с неведомым, как вдруг за стеной, за окном, громко и страшно:

– А!.. А!.. А!..

И кто-то скачет по ступенькам крыльца, что в трапезную ведет. Как вроде ступеньки считает. Снизу вверх. Так малые дети делают, когда в классики играют, прыгая на одной ножке... Тут мы и обмерли с Мишкой.

А сестры и батюшка как ни в чем не бывало продолжают чай пить да коврижками закусывать. Лишь одна Ксения встала, пошла к дверям. Слышим её ласковый голос с крыльца:

– Николенька, Николенька, пойдем чай пить, пойдем, родимый! Сымай вот чижолко. И сапоги сымай! Пойдем, родимый!

И вводит она в светлый круг (а уже генератор они включили, мы сразу поняли, что обитель без электричества, глушь несусветная!) какого-то не-то ребенка великовозрастного, не-то мужичонку мелкого. А он всё:

– А!.. А!.. А!..

Батюшка – к нам:

– Николенька это, божья душа, отрок блаженный, умом тронувшийся. Живет у нас. Годков уж семь, почитай! Из Неверова он. Там не хочет жить, уж куда его только не приглашали светские-то люди и власти. Только у нас вот спокойно себя чувствует, нет приступов сильных. Гуляет везде, но расписание знает – когда служба, когда всенощная, когда трапеза. Выхлопотали мы его к себе. Нам не в тягость, а всё указание Божье порадеть за немощного...

Сестры усаживают блаженного Николеньку, а тот и руки помыл уже, утерся полотенцем, на нас и не глядит. Чаю наливают ему, молока, коврижку отрезают, еще что-то там.

А батюшка Алексей продолжает:

– Живет с трудниками, в отдельном пристрое, где овчарник у нас. Там двое трудников всегда и живут, помогают по хозяйству, спаси Бог, – на пасеке, со скотинкой, крышу вот перекрыть взялись. Он с ними сдружился, слушается их. Но больше всего – сестру Ксению. И знаете что? Птичек разных умеет подманивать – любо-дорого послушать! Только где запоет какая, засвиристит, он тотчас отзовется. Скопирует. Да так ловко, что птицы иной раз ему на голову садятся, вот что делает, шельмец...

И так нам стало нестрашно вдруг. Откланялись, сестер поблагодарили, к ручке батюшки приложились.

– А то оставайтесь ночевать, братья! У нас в этом тереме и комнатка для вас найдется, как раз над трапезной. Куда вы в ночь-то? А утром, помолясь, и в путь!

– Пойдем мы. Хорошо у вас, славно! Да домой нужно, хозяйки за нас беспокоятся.

И хоть у Мишкой только престарелая мать в качестве хозяйки, бобылем живет, книжник, прах его задери, а нужно

домой. Потому как не страшно уже, ни дорога, ни лес. Да и добрым людям досаждать не дело совсем. Ксения и говорит:

– Пойдемте-ка, я вас на нужную тропинку наставлю. По ней шесть километров пройдете, а там, у ручья, как перейдете его, поворот направо будет. На лесовозную дорогу. Так по ней к своей Свече и выйдете, к мосту. Вот сестры вам в дорогу коврижек выдали. С Богом!

Батюшка вышел на крыльцо с нами, перекрестил нас на дорогу. А ночь уже на дворе. Прохладно. Но небо чистое, светлое от луны, только мелкая рябь – как на пере маховом у рябчика – от облачков.

– Господь привел вас сюда, он и обратно сопроводит. Ничего не бойтесь, ступайте смело! Вон и луна вам вместо фонаря... – И улыбнулся по-доброму.

И так нам хорошо сделалось, что поскакали мы вперед, как... только и смеялись всю дорогу над своей «чупа-каброй», доложу я вам, над своей дуростью, над верой в силы темные. Нет их, этих сил, прах их задери. Сами мы их фантазируем себе.

Напоследок, когда уж огни нашей деревушки показались в ночи, Мишком вдруг остановился, меня остановил и, глянув мне в лицо, сказал как-то серьезно так:

– А знаешь, как имя Ксения переводится с греческого? – (Мишком начитанный, даром что один живет, дел особых по хозяйству не знает, время на книжки тратит вольготнo.) И продолжает: – Есть два толкования. И одно противоречит другому. Первое – «гостеприимная, любящая гостей».

Мне интересно:

– А второе?

Мишком вздохнул, достал сигаретку из пачки, постучал по коробке (всю дорогу не смолили, шли без дыма):

– А второе – «чужая». Вот так-то! Как всё в нашей жизни – выбирай что хочешь, сам. Прах тебя задери! – передразнил, стало быть, меня...

И закурил.

ЗАМОК

Замок у Зинаиды Петровны сломался, как всегда, неожиданно. У нее в жизни почти всё происходило неожиданно. И печально. Неожиданно и печально умер муж. Неожиданно прибилась уличная собачка. Которая столько печали наделала поначалу сердобольной Зинаиде Петровне – что их бы хватило на целый автобус граждан, едущих на кладбище. Неожиданно и печально она осталась в этой жизни одна – дочка утянулась с семьей в другой город и даже писать перестала. Поэтому и от замка женщина привычно не ожидала, конечно, приятных известий.

– Вот, сломался, – констатировала она, поворачивая ручку его то в одну сторону, то в другую с одинаковым печальным результатом. – Что-то нужно предпринимать... Но что?

Гибель свою замок заранее не афишировал. Ведь как обычно ломаются так называемые английские замки? В них сначала что-то посвербит, что-то где-то заест, потом вроде ничего, потом опять застопорится, язычок разболтается, короче, предупреждают хозяев. Что, мол, готовьтесь. Скоро. А тут разом, без уведомления. И Зинаида Петровна оказалась застигнутой врасплох. Ни запасного замка у нее не было припасено, ни даже худой щеколды, чтобы временно наложить на злосчастную входную дверь. Которая в данный момент оказалась полностью раскрытой по типу заходи кто хочешь, бери что хочешь!

«Позор семьи» – маленькая собачка – так ласково называла Зинаида Петровна свою подопечную, найденную два года назад на улице близ помо йки, крутилась, как всегда, под ногами в прихожей и жалобно подтягивала.

Ей, похоже, также не нравилась вся эта история с замком. Так как уже полчаса как дверь на лестничную клетку оставалась открытой, а по подъезду иной раз проводили на прогулку таких кобелей, что мама не горюй! И «позор семьи» была в ужасе от созерцания того факта, что между кобелями и её драгоценной и хрупкой жизнью нет теперь никаких преград. Дверь гостеприимно открыта, а следовательно, нужно уходить спасаться хотя бы в туалет. Там еще шпингалет действует пока что. Но в данный момент, несмотря на весь страх и ужас, «позор семьи» все еще надеялась, что хозяйка захлопнет вот сейчас дверь и хотя бы припрет её изнутри стулом.

Мысль, посетившая голову Зинаиды Петровны, была не нова. Такие мысли (или примерно такие же) возникали у всех домовладельцев, у которых неожиданно и разом ломался замок на входной двери. Они шли к соседям.

Вот и Зинаида Петровна, заложив какую-то варешку между стояком двери и ею самой, чтобы она не открывалась по своей воле, робко постучалась в дверь на лестничной площадке этажом ниже. Всё время, пока она стучалась в ожидании ответа, она чутко, как сторожевой на посту, наблюдала и слушала движения в подъезде. Женщиной она была мнительной, скрывать нечего. А кто сейчас не мнителен, скажите на милость? Время такое.

За дверь, куда решила обратиться за помощью наша героиня, жил вполне среднестатистический мужчина. Звали его Степаном. Жил он с престарелой мамой. Работал то там то сям. Попивал. Потуг изменить жизнь к лучшему не предпринимал. Ходил всегда в майке и темно-синих трениках с белыми лампасами и с оттянутыми коленями. Обожал темное пиво и футбол.

Однако, к чести нашего Степы, руками он был наделен. Весь подъезд, например, знал давнюю историю, когда мальчишки выбили в том же подъезде мячом окно, так Стёпушка, душа безотказная, на просьбы жильцов откликнулся в ту же секунду – и окно починил. Своими руками и материалами. Последнее – немаловажно. У Степана водилась даже такая хитрая и тяжелая вещь

как «ношадка». Это такая, кто не знает, коробка с ручкой, в которую понапиханы гвозди, дюбеля, полотна пил по металлу, скобы, дверные ручки, те же шпингалеты, задвижки, саморезы и прочий технический вздор. И даже молоток. Это чтобы не бегать каждый раз туда-сюда, а степенно поставить «ношадку» подле объекта работы – и солидно починять, никуда не дергаясь, а только меняя сигарету в углу рта.

Вот к Стёпушке (как его ласково звали те жильцы) и постучалась наша Зинаида Петровна.

Несколько слов о самой героине. Женщина средних лет, махнувшая на себя рукой. Жиличка тихая. В наличии любимая собачка. Двухкомнатная. С лоджией. Распашонка. Окна выходят на юг и на север. Летом жарница. Мебель старого, брежневского формата. Шикарный резной буфер, с потайными дверцами и шкафчиками, наследие прабабки. Хобби – вязание крючком и бисероплетение. Подруг немного, разве что две. Живут поблизости. Вместе иногда выгуливают своих собачек. Работает в расположенной не-далеке больничке в регистратуре. Любит смотреть сериалы про любовь. Вроде в основном всё...

Дверь открыла престарелая мамаша.

– Ась?

– Степана можно ли на минутку?

– Ась?

– Степана (Ивановича, что ли?) позовите! – погромче уже.

– Ага, ага, чичас. Стё-ё-ё-ё-ёпан! Иди-ка!

Вышел Степан, в майке и трениках. Вполне трезвый. Без сигареты. Типа чё надо?

– Степан, выручайте, у меня замок входной сломался. Как-то бы поставить! Беда, дверь отходит, не могу до магазина сбежать даже... Заплачу (ударение на «у», многозначительно).

– Запасной есть?

– Ой, нету.

– Деньги давай, пойду куплю. Или старый посмотреть?

– Давай уж новый, там, наверное, не починить уже ничего...

Ладно, сговорились. Степан взошел наверх, был испуганно облаян «позором семьи», взял деньги, покрутил для проформы ручку сломавшегося объекта.

– Сейчас схожу, тут рядом. Дома будешь?

– Да куда я выйду с расхлебленной дверью-то.

Через полчаса закипела нехитрая работа. Подле Степана, накинута еще сверху на себя вытертую спецовочку с надписью на спине «Облгаз», гордо стояла «ношадка», набитая разнообразным барахлом. Лизавета была заперта в туалете, но оттуда подавала признаки жизни в виде захламляющегося от мелкой злобы лая.

Старый замок вынули и сложили в новую коробочку, изпод только что купленного. Связку ключей Степан вручил довольной хозяйке. Взял по-божески. Зинаида Петровна от счастья обладания наконец-то замкнутым пространством даже чаем напоила спасителя. Пили из чайного сервиза, хозяйка достала по такому случаю из брежневской стенки. Расположились в гостиной (как её именovala сама хозяйка). Степан, тот все оглядывал нехитрое жильё, прихлёбывая с шумом чай и треская овсяное печенье.

– Картина, смотрю, у вас интересная! Кто это?

– Ой, автора не знаю. Но прабабка говорила, что кто-то известный. Картина ей тоже по наследству досталась, стала быть, старинная. Называется «Крестьянский отдых».

– Да уж видно!

На картине, действительно, ближе к зрителю располагались пьющий из кринки молоко седобородый старец, рядом – малец с куском каравая, оба они сидели в тенечке, под раскидистой ветлою, а поодаль – снующая вокруг коровы крестьянка в белом платочке. На дальнем фоне бродило стадо, чернелся лес и летали какие-то крупные птицы. Картина дышала покоем, зноем и умиротворением.

– Прабабка называла её по-своему. «Пейзане». И еще добавляла, что какой-то музей из столицы просил несколько раз продать, да та не отдала.

Чай допили. В прихожей распрощались, еще раз проверив для верности, как крутится ручка замка и хорошо ли высовывается язычок.

– Ну, до свиданья! Не ломай! Этому сносу не будет!

– Большое спасибо, Степан! Что бы я без вас делала?

Степан с «ношадкой» погрохотал к себе наверх. Лизавета была выпущена, уже охрипшая, из сортира – и долго нюхала те места, где ступала нога ремонтника.

Примерно через месяц квартиру Зинаиды Петровны обнесли.

– Уж чего у меня брать-то?! – горестно восклицала она, делясь горем-бедой с подругами в этот же вечер. Они выгуливали собачек по свежему снегу. Собачки пластались между собой, но потом опять резвились как бы друзьями. Лизавета исправно ходила в детскую песочницу, тут хозяйка никак не могла её ни отговорить, ни отучить.

– Взяли-то что? – сочувственно охали подруги.

– Проверяла раз сто! Телевизор, новенький, прошлый год купила, помните его, да в ящиках буфета вышарили заначку. Небольшую, слава богу. Надоумил Господь на карточку все перевести.

– Ну и не тужи! Главное, тебя дома не было – а то бы убили, борони бог! Это сейчас быстро! Чай, телевизор-то купишь, как без сериалов!

– Ой, забыла! Картину еще эту, «Крестьяне»-то, сняли! Уж она-то кому понадобилась?

– Вот те раз! Дорогая, что ли?

– Думаю, может, за ней сейф искали? Я в сериале одном видела: там за картиной в стене прямо сокрыты были драгоценности! Сняли, посмотрели да уж заодно и её... умыкнули...

– Вот что народ творит! Какие безобразия!

– И что интересно, дверь целёхонька! Замок открыли!

– Да ты что?! Отмычники орудуют! Заявление написала в полиции?

– Да вот думаю. Завтра пойду.

– Надо. Даже не думай. По свежим следам.

На следующее утро, еще до своей смены в регистратуре, Зинаида Петровна уже в отделе полиции, в качестве потерпевшей. Но еще только первый этап мытарств – пишет заявление, по форме. Майор, молодцеватый, улыбочный,

в хорошем настроении (уж что там у них было, раскрытие какое важное?):

– Пишите, что пропало! («Пиши-пропало», – мелькнуло в возбужденных мозгах Зинаиды Петровны.) Замок вскрыт? Дверь выломана?

– Замок цел. Открыли ключом.

– Когда замок меняли? Кто имеет доступ к ключам?

Короче, докопался до замка. Ехать на место преступления, видно сразу, желания нет. Сейчас прямо тут раскроем непотребство! Вечером, после работы уже, принесла Зинаида Петровна коробочку из-под замка в отделение, как было велено. Принял участковый, другой хлопец. Тоже ничего, понятливый.

– Сколько ключей у вас сейчас?

– Дык вот они, все тут. А... нет, один-то я отцепила, в кошельке лежит.

– Стало быть, пять в сумме. А в инструкции написано – шесть!

– Э... Как шесть?

– А так. Кто имел доступ?

Тут всё и раскрылось. Поехали «по горячим следам» к Стёпушке, сизокрылому голубю. Дверь открывает престарелая мамаша:

– Ась?

– Сын дома?

– Ась?

– Твою мать, Степана зови!

– Да, да, чичас, Стё-ё-ё-ё-ёпан! Иди-ка!

Вышел Степан. Всё при нем: майка, треники, сигарета. Изобразил удивление гостям. Но поздоровался с Зинаидой Петровной как с доброй знакомой.

Участковый всё ему на пальцах обрисовал. Степан понырил буйную головушку.

– Черт попутал, праститебольшенебуду! Телек продал вчера, на радиорынке. Картину сейчас принесу. Деньги – вот!

Участковый – к Зинаиде Петровне:

– Заявление на грабеж, на этого гражданина, писать будете? Заявлять официально, до суда доводить?

– А как можно?

– А всё по-братски замаять. По-добрсоседски, так сказать (участковому, чувствуется, вся эта канитель не нужна, зачем тут еще домовника рисовать в отчетах, откуда только взялся, дьявол его дерит!).

– Не буду заявлять. Стёпа, ну как так можно?

Стёпушка готов в ноги пасть и руки целовать избавителям от греха.

– Завтра куплю новый телек. Завезу после обеда. Проститерадибога, спасибоспасибо... есть же добрые люди...

А тут и мать из-за косяка:

– Ась? Стёпан, что опять натворил, супостат? Ишь ты... – И Стёпана сухоньким кулачком по спине мелко и бойко хрясь-хрясь-хрясь!

Успокоили старушку. Зинаида Петровна, с деньгами и с картиной под мышкой, поднялась к себе. Участковый. Но напоследок, в подъезде уже, без свидетелей, грозно и назидательно высказал Зинаиде Петровне:

– Замок меняйте к чертям! Мой вам совет! Может, он слепки ключей сделал? Ненадежный тип, ей-богу!

И округлил глаза. Для пущей важности.

Дома Зинаиду Петровну встретила радостная Лизавета. Вместе поужинали, вместе отметили приобретенный покой и счастье одна – рюмочкой коньяка «Шустов», другая – курьей гузкой, вынутой из холодильника. Слава богу, гвоздь в стене для картины торчал в полной целости и сохранности. «Пейзане» вновь повисли на своем законном месте. И Зинаиде Петровне показалось даже, что седобородый старец, наливающий из кринки молоко, весело подмигнул ей – дескать, тётка, не унывай, бывает и хуже!

Подруги очень осудили Зинаиду Петровну за её пацифизм и непротивление злу насилием.

– Экая толстовка ты, однако, мать! Надо было писать заяву!

Но тут они заспорили, как нужно говорить правильно: толстовка или толстовица. Ведь толстовка-то явно не последовательница Льва, а верхняя одежда. Короче, отвлеклись.

Своих жаждущих крови подружек Зинаида Петровна не осуждала. Но вот к словам участкового прислушалась. И решила менять замок. Решительно.

На следующий день, благо был её законный выходной в регистратуре, она пошла в торговый центр. Тот располагался в двух шагах от её дома. Удобно. Нашла там отделчик неприметный, где торговали всякой всячиной – от метизов и москатели до этих самых замков. Встретил её приветливый мужчина лет под пятьдесят. Приятный такой, вежливый, несуетливый. Что редко у продавцов, согласитесь?

– Здрасьте! Вот мне бы замочек подобный, – и достает коробочку (надоумили её брать такого же размера, чтобы дверь дополнительно не портить, не сверлить зря).

– А... Помню, помню... Тут на днях такой же брал молодой человек. Всё в руках вертел. Говорил, что старый сломался у соседки, вот новый буду ставить. У вас, что ли?

– Да, это мой сосед.

– Не подошел?

– Просто поменять еще один решила. А тот в другое место поставили. (Соврала, чтобы не объясняться чужому человеку.)

– Ну и славненько. Сейчас принесу.

И удалился в подсобку рядом. А сам через дверь открытую поглядывает искоса на Зинаиду Петровну.

– А вы случаем не в регистратуре ли нашей поликлиники работаете? Я вас там видел!

– Да, да, там.

– Я еще тогда на вас внимание обратил.

– А что это вы обратили?

– Женщина, смотрю, очень уж приятная. Аккуратная да ладная такая. Вот бы мне такую в жены.

– Э-э... Как это вы решительно... (Зинаида Петровна стушевалась, куда это мужик клонит, пошла здоровым румянцем.)

– Ну, я же вижу, что вы одиноки. Замки редко женщины покупают. Дело это мужское, уж вы поверьте. Впрочем, извините, я уж тут сгоряча выдал. Давно вас наблюдаю просто... Простите великодушно. А кстати, замок-то вам не поставить ли?

– Хм... (Зинаида Петровна вновь замешкалась.)

– Давайте вечером сегодня я загляну да и поставлю. Что вам мучиться? Когда вам удобно? Напишите адрес вот здесь, прямо на старой коробочке. Где-то ведь рядом живете? А мне не составит труда...

– Спасибо...

– Меня Ерофеем зовут. Забавное имя мамаша присвоила, царство небесное ей. А вас, простите?

– Э... Зинаида Петровна. Можно... Зина.

Короче, вечером этого дня произошло в квартире номер 12 на третьем этаже весьма примечательное событие. О таких событиях даже в песне поется одной:

– Просто встретились два одиночества...

Замок Ерофеем поставил в пять минут. Причем без всякой «ношадки». Всевозможные пассатижи и прочая мелочь нашлись у него непосредственно в обильных карманах громадной спецовки. Затем он её снял. И оказался в приятном глазу пиджаке и при галстукке в скромную полосочку. А еще, когда он только позвонил в дверь, первое что сделал – протянул галантным жестом изумленной Зинаиде Петровне букет красных роз. Это было так трогательно! Лизавета было взялась гавкать на незнакомого мужика, но удивительно быстро притихла и подалась на кухню. Где уже вкусно пахло какой-то стряпней и разливался аромат свежемолотого кофе арабика.

В гостиной, где расположился гость и где хозяйка ставила в старинную вазу красные розы, Ерофеем обратил внимание на картину:

– Какая интересная у вас картина? Кто автор?

– Даже не знаю. Но прабабка называла её «Пейзане».

– Чудесная! Как схвачена атмосфера! Особенно колоритен вот этот старец! Так и хочется попросить у него молочка!

– Вы действительно хотите молока? У меня есть только кефир!

– Ну что вы, Зинаида Петровна! Давайте-ка за знакомство выпьем по рюмочке коньяку. Я вот «Шустов» пятилетний люблю, вот принес с собой. Добрый коньячок!

– Ерофей, голубчик, давай на ты. Раз уж до коньяка добрались.

Они чокнулись и разом опрокинули рюмашки внутрь. Стало еще теплее.

– А теперь – за замок! Чтобы стоял крепко и долго! И больше уж не будем. Я вообще-то пью очень редко. Просто уж такой случай сегодня...

Зинаида Петровна, ой, пардон, просто Зина тут как-то внезапно поняла, что попала в хорошие и добрые мужские руки.

Но тут на кухне что-то мощно загремело, раздался визг, а Зина изменилась лицом и опрометью бросилась туда:

– Лизавета, скотинка неукротимая, столкнула поддон с пирогами!

Следом поскакал и разгоряченный Ерофей. Вдвоем они ползали на четвереньках по кухне, отдуваясь, собирая с полу мятые пироги, дожидавшиеся своей очереди к духовке тихо-мирно, пока «позор семьи» не решила их проверить на зуб прямо сырыми. Лизавета суежилась подле, изредка радостно подтягивая. Она твердо уверилась, что выволочки ей сегодня точно не будет. И можно творить свою волю.

За чаем да за пирогами не заметили, как время летит. Ворковали и вспоминали каждый своё – да исповедывались по очереди друг другу. Тут разговор опять-таки зашел о замке, будь он неладен! Зачем менять нужно было? Вроде бы и не ломаный прежний. Плохо закрывал? Заедало язычок? С какого перепугу?

Тут простодушная Зина всё добросердечному Ерофею и выложила. Тот замолчал, нахмурился:

– Зря ты, Зина, заяву не накатала на этого мерзавца! С ними нужно поступать строго, по закону!

– Ну, оступился парень раз, что уж ему жизнь портить судимостью-то? Повинился, раскаялся, чуть в ножки не падал. Говорит, мол, бес попутал (или что там говорят с того самого перепугу в таких случаях прижученные к стенке мошенники?). Да он еще и не от мира сего, какой-то странный. С престарелой мамой... Не того....

– Вот мы его и должны *того!* Зря, ой зря! Таких нужно наказывать! Иначе что же по стране пойдет, какие поветрия? Всех бандюганов прощать?

А тут в дверь с новым замком как раз стучат. Это бандюган Стёпушка припёр новый телевизор. Плазму. Краше прежнего. Ерофей сурово к Зине, прямо в прихожей:

– Это он?

– Ага.

– Что же мы, молодой человек, как себя ведем?! За такие вещи надо морду бить!

Стёпа вроде мирно настроен, но не стерпел. Он принес тут плазму южнокорейскую, а ему в морду хотят насовать:

– А ты кто такой? Откуда нарисовался?

Зина уж и не рада телевизору, как бы не раскокали сейчас прямо у дверей.

– Степан, голубчик, прinesi его в гостиную, пожалуйста!

А Ерофей:

– Э, нет, шалишь! Подарками хочешь отдариться?!

Должен же он показать, кто сейчас стал в доме хозяин? Перед Зиной выказать себя во всей мужской красе!

– Ставь тут, подлец! Как у тебя только наглости хватило одинокую женщину обидеть, скотина?!

Стёпа разнутрился тоже (вроде всё замяли по-хорошему, а тут опять двадцать пять, тятина-телятина, не ожидал такой струи!).

– Ты чё прешь? Ты ваще кто? Прокурор?

– Ах ты ж, мать твою! Ну-ка жопу в горсть – и на хрен отсюда быстро сбрызнул! А завтра на тебя, сука, заяву накатаем как пить дать! Обрадовался гусь, что из воды сухим выбрался!

Стёпа не стерпел, за пиджак дядю незнакомому сграбастал, лацканы рвет.

– Ты чё? По сопатке захотел?

– Ах ты... ж... сука!

Зина чуть не в слезы, ладно, хватит, уймись уже. А тут уже не уняться. Только мордобой!

Справа – хрясь по уху. Другой, охнув, на-а-а!!! Коро-че, у одного глаз подбит. Второй юшкой утирается, губу

расквасили. Что-то упало тяжелое с антресолей, грохот. Срам от соседей! Зина плазму «Самсунг» собою закрывает, всё-таки материальная ценность!

Вытолкали Стёпу. Тот еще долго в подъезде огрызался и кровью плевался.

– Ну зачем ты так, Ерофей? – Зина укоризненно. – Дай-ка на глаз примочку приложу, вот, давай-ка, холодненькая!

Лизавета всю эту сцену наблюдала из кухни, через закрытую, но полустеклянную дверь. Она горячилась и хотела помочь. Но слышался только лай и взвизгивания при каждом ударе соперников.

Ерофей, придерживая примочку на глазу, пошел смотреть масштаб разрушения в прихожей, вернулся, так сказать, на поле битвы.

– А замок-то, глянь, Зина, своротили! Похоже, это когда я его уписал в ухо, он и налетел, ручка заедать стала!

– Да что ж это такое будет-то? Когда эти мытарства мои закончатся?!

Это причитает Зинаида Петровна. И подумывает уже о том, чтобы выгнать этого доброго и положительного мужчину Ерофея к чертовой матери! Насовсем! Жили вдвоем с Лизаветой – проживем и дальше!

Только вот с замком-то что делать?

ДАЧНОЕ ЧТИВО

– Чем там дело-то кончилось? – заговорщически подмигнув, спросил Изволенский у Мартынова.

– О чем это вы, батенька? – недоуменно отвечивал Мартынов.

– Так вы же, голубчик, у Чубыкиных позже меня с дачи съехать изволили. Не так ли?

– Да вроде и так? Что с того?

– Так, стало быть, и в туалет чубыкинский заглядывали уже после меня...

– Не пойму я вас, хоть убейте меня, Осип Спиридоныч! Куда вы клоните? Что за шарады тут раскидываете загадочные? И при чем здесь чубыкинский сортир, прости господи?

– Эх! Жаль. Очень жаль... Я ведь и автора-то, увы, не знаю.

– Какого автора, позвольте вас спросить? Что-то совсем вы меня заинтриговали своими вокруг да около... Экий, право, путаник!

– Да вот уж так, не знаю вовсе! Не успел прочесть вовремя! Да-с!

И Изволенский, тяжело вздохнув, с нахлынувшими чувствами вдруг сильно сжал руку своему собеседнику.

– Ведь такой сюжетец, надо вам сказать! Лихо закручен! Просто Агата Кристи какая-то!

Мартынов вынул осторожно руку из дружеского пожатия и с некоторой опаской посмотрел прямо в глаза Изволенскому. А тот вздохнул вновь и закончил:

– Видимо, так вся история для меня и канет безвозвратно в Лету! Даже если мы вновь соберемся, голубчик, с вами к Чубыкиным на их чудесную дачу...

Примерно такой разговор мог бы состояться между двумя знакомцами-господами, посетившими дачу общего знакомого где-то в позапрошлом веке, расположенную, в свою очередь, где-то между древними русскими городами Тверью и Смоленском.

Однако действие нашего повествования происходит... Да, впрочем, происходит оно тоже в давние поры, но все-таки ближе к дням сегодняшним. А суть разговора – ровно та же. Разве что обороты речи менее цветисты и более прямолинейны.

Итак, мы начнем, пожалуй...

Давно это было. В старые годы. Когда на дачах жили сплошные интеллигенты, которые на своих шести сотках ухаживали за тремя кустами плетистых роз и основные продукты питания везли с собой из города. Так как рядом с дачей никаких магазинов не предвиделось.

Дачи в то время были похожи одна на другую. Это сейчас каждый уважающий себя дачник воротит на своем участке в полгектара размером башни с бойницами и шестиметровый забор из красного камня. Раньше такого ужаса не было. Соответственно и завидовать соседям повод не представлялся. В среднем по стране. Были, конечно, дачи небожителей – всяких там писателей – лауреатов Сталинской премии, заслуженных врачей или выдающихся ученых-ядерщиков. Но речь тут не о них. Да и сами эти крутые дачи были, во-первых, немногочисленны, а во-вторых, тщательно скрыты от любопытных глаз в вековых сосновых борах за опять же высокими заборами.

Вообще дача и забор – слова-побратимы. Одно без другого существовать не может. Но есть ведь еще одно, очень известное культурное изобретение! Столь же тесно связанное и с дачей, и с забором вокруг неё. Это, извиняюсь за выражение, сортир. Типа туалета. Они раньше, в старые времена, также не отличались разнообразием вариаций. Будочка с вырезанным сердечком на скрипучей двери – вот и весь антураж. Внутри, кстати, тоже излишеств не наблюдается. Сейчас уж таких монстров и не встретишь. Их бы хоть одну – в музей, что ли... В назидание потомкам! А то разговоры вечные идут, что-де нет прогресса ни

в чем. А я вам, батенька, так скажу: посмотрите на туалет доперестроечной поры и на то же самое (по функционалу) на современной даче. И сразу всё станет понятно: прогресс есть!

Но речь сейчас не о прогрессе. Занятная история эта произошла на скромной дачке одной моей знакомой супружеской пары, где-то в Н...й области Средней России-матушки.

Супругов Чубыкиных в дачном поселке знали все – от мала до велика. Знали даже окрестные собаки, так как все объедки со своего стола супруги исправно выкладывали за калитку, чем очень ободряли в непростой их жизни. Бывало, уже с раннего утра паслось у входа в чубыкинскую усадьбу изрядное стадо этой братии, жаждущей завтрака и нервно перелайвающейся между собой.

Хлебосольством Чубыкины славились не только среди братьев наших меньших. Гостей гостило летней порой у супругов не меньше, чем собак (обычно добавляют – нерезанных, но мы избежим этой некрасивой метафоры). Нередко навещался к ним давний друг семьи некто Изволенский. Своей дачи не имеющий. И вообще – имеющий против всяких дач известные предубеждения. Что-де пустое это все и недостойное настоящего творческого человека. Однако же – большой любитель постоловаться за гостеприимным и полным разнообразных яств чубыкинским столом. Тем более что Ираида Аркадьевна с молодости слыла большой мастерицей пирогов, расстегаев и прочих кулебяк.

Заглядывал к супругам и Мартынов. С этим гражданином судьба свела хозяина еще во времена студенчества: вместе жили в одной комнате в общежитии, вместе позволяли себе разнообразные излишества (ах, молодость – златые годы!), вместе езживали в стройотряды и даже диплом списывали друг у друга (частями).

Бывали и другие гости – всех не перечислишь. Случись это все в более древние времена, в славные годы помещичьих усадеб, чаепитий на террасах с белыми колоннами, поединков в лаун-теннис, катаниях на лодках по прудам и затонам, тайных любовных свиданий в ротондах старого

барского сада, неспешных прогулок в котелках и с непрерывными тростями по вековым липовым аллеям и охот с борзыми, доезжачими и оглушительно трубящими рогами посреди бескрайних русских полей, мы бы с великим удовольствием описали вам, дорогой читатель, всю ту прелесть, которую... Впрочем, и описывать её нет никакого смысла, ибо всё уже прекрасно разрисовали в ярких красках господ Помяловский, Тургенев, Гончаров, Набоков, да хоть бы и Чехов!

Правда, нигде у перечисленных классиков, увы, не затрагивалась даже вскользь тема туалета. Не правда ли, странно? Ведь даже обычная простоватая дачка на шести сотках земли и сейчас, в наши беспокойные времена, никак не может обойтись без оно́го. Пусть и предмета, так сказать, низшего свойства. Но – обязанного, как ни крути, быть! Иметь заслуженное место.

И вот в этом месте (уж простите за невольный каламбур!) нашего повествования мы вновь возвращаемся к воображаемому диалогу между господами Изволенским и Мартыновым, данному в самом начале рассказа. Этот диалог, как мы помним, оставил Изволенского неудовлетворенным (так как он так и не получил ответов на свои странные вопросы), а его визави, мосье Мартынова – обескураженным (так как тот так и не понял сути вопрошаемого). Давайте, дорогой читатель, попробуем разобраться в этой ситуации. И, кстати, к чему автор здесь припелл тему туалета?

– Я помню, что Чаплин представил Лоусона как «славного парня». Сказал даже о нем весьма одобрительно – молодчина! Беда только – пьет!

– Да кто же сейчас не пьет, позвольте вас спросить? Взять хотя бы вас, уж извините за прямоту!

– Напрасно вы так! Я сторонник трезвости! Ну, разве что в молодости было дело... Ах, опять вы уходите от темы разговора! Я вас столь же прямо спрашиваю – отчего же так пил этот Лоусон? Я тогда не успел выяснить...

– Да позвольте, какой-токой Лоусон? Не знаю я никакого Лоусона! Чаплина вот знаю. Великий актер! Нашим – поучиться!

– Так вы же подвизались у Чубыкиных ровно в то же время, в июле, что и я, позвольте вам заметить!

– Ну и что с того?

– Хм... Однако... А в туалет вы там хаживали? Уж извините...

– Что за черт? Впрочем, конечно... Куда же без него... Да еще при Ираиды Аркадьевны-то харчах, прости господи!

– Там у них, пардон, книжка лежала. Без обложки, как назло. Вот я там зачитался рассказом, у которого начало отсутствовало. По известным причинам.

– Ах вон вы куда клоните! Теперь припоминаю, как же! Меня самого заинтриговала участь этого старикана. Его вроде и взаправду Лоусоном звали. Припоминаю...

– Ну, так и что же? Отчего он запил-то?

– Припоминаю, что автор так и сказал как отрезал: мертвецки пьян раза два или три в неделю! Это всё виноваты...

– Не томите, ради всего святого! Кто? Кто же?..

– Эх, запомятовал! Автор две причины называл, точно! Но я помню только Этель... Кажется, её так звали!

– Да кто же она?

– Она дочь старикана одного, старжила острова. Полукровка. И он, этот чертов Лоусон, втрескался в неё по уши и потом, после свадьбы уже, увез её с острова.

– Куда?

– Да к черту на кулички! Не знаю я... Точнее, не помню. Вроде как страдала она шибко по этой тропической родине своей и своему престарелому папо...

– Эх, да что же такое? Как развязку-то мне узнать?

– А я и сам прочесть успел только пару страничек, уж вы извините...

– Почему так? Не заинтересовались?

– Напротив! Но к Чубыкиным прибыла целая делегация, от родственников жены, как я понял. Уж какие там стояли нежные стоны и слышались лобзания! Тётка еще привезла в подарок шарпея. Ужас! Я весь в его слюнях ходил, гадость какая!

– И что с того? Почему рассказ-то не довелось...

– Да сами посудите: в туалет каждый раз чуть не очередь стояла! Когда моя подошла, там уже Лоусон исчез, зато возник какой-то мистер Купер! Его убили во сне!

– Какой ужас!

– И не говорите! Но почему его убили во сне – я так и не понял. Ибо его подозрительный друг, имя не помню, оказался ни при чем. Хотя и, как указал автор, ожидал увидеть труп – и даже стал более счастлив после такой гадкой развязки сюжета. Когда на следующий день заглянул в этот храм уединенного размышления, там уже другой рассказ вскрыли.

– Вы хотя бы догадываетесь, кто автор всего этого? Этой книжки? Ведь занимательно написано! Добротное, свежо, ярко, сочно! Вот ведь черт! Как узнать?

И Изволенский опять погрузился. Мартынов же, силясь что-то вспомнить из прочитанного в июле, стал гадать:

– Весьма похоже на иностранцев! Наши так не пишут. Опять же экзотика сплошная: Апия какая-то... Это что за диковина такая? Вроде как столица Папуа – Новая Гвинея. Нет?

– А мне кажется, это острова Самоа. Там еще Гоген писал прекрасных туземок с натуры.

– Позвольте не согласиться, Гоген жил на Таити.

– Да, да, всё время путаю с Гаити, черт ногу сломит с этой экзотикой! Так вы склоняетесь к тому, что – француз?

– Вы об авторе? Да, скорее всего. Наверное, Мопассан. Или – Альфонс Доде.

– Нет, тут что-то не то... Фамилии же всех персонажей, которых мы с вами помним – англосаксонские! Это явно англосакс! Не станет никакой уважающий себя француз строчить исключительно о заканальских «друзьях».

– Ну уж и не знаю, что вам сказать. Да и бог с ним, с автором.

– Нет уж, я готов убится, лишь бы узнать – кто? Да и концовки рассказов мне очень даже жгуче безразличны, поверьте! Ваш вот рассказ; пардон, не ваш, а вами прочитанный, мне неведомый, тоже меня задел за живое! Говорите – Купер убит во сне?

– Точно. Прямо ножом в сердце. В своей собственной кровати. Бедняга! За что, мало понятно... Я еще отметил себе – крис!

– Крис Купер? Превосходный актер! Я видел его в драме «Красота по-американски». Он там постоянно размахивает пистолетом. И в конце концов убивает главного героя...

– Позвольте, при чем тут Крис Купер?

– Да вы сами только что сказали о нем!

– Нет же! Я говорил про крис!

– Что – крис?

– Нож так назывался там, у них, в этом Апия. Этим крисом и убили Купера!

– Но ведь не детектив же?

– Не похоже. Никто ничего не расследует. Никаких сыщиков. Одни догадки. И недомолвки автора-хитреца. Просто труп – и всё. Догадайся, мол, сама!

– Да вот так-то, батенька! Подложили нам с вами подлинную свинью наши дражайшие Чубыкины! Нет бы «Сказки дядюшки Римуса» предложить ко всеобщему обозрению...

– А я вам больше скажу! Уж извините мне эту скромность: больше одной-двух страниц за один присест, прости господи, не одолеваю. Что там рассиживаться? Зашел – и вышел! Сделал дело, как говорят в народе, – гуляй смело. Тем более что и комары не дают долгонько-то сидеть! А этот случай особый – сижу, бывало, страниц по пять. А то и боле! И взять с собой в комнату, право дело, неудобно, чтобы дочитать. Ведь обнаружат пропажу! Она там одна на всех, как на грех! Начнутся расследования – кто взял да зачем? Стыда не оберешься! Опять же – гигиену и санитарииу никто не отменял!

– Может, вспомните – кто же там у Чубыкиных после нас столовался? Не одни же, чай, женины родственники? Нам их не достать, увы...

– А вот, кстати, интересный разворот – был там Митенька, очень образованный юноша. Прелюбопытнейшее создание! Он параллельно жениным родственникам проходил. По статье друг сына. И кушал всегда очень плотно. Прямо-таки сочно кушал, со всхлипами какими-то

задушевными. Этот-то персонаж уж точно посещал злачное место не по разу в день!

– Это уже крайне занято! Его можно найти – и поспрашивать осторожно...

– Хорошо хоть, что не сестра старшая Сан Саныча! Сказывают, она у них часто гостит, порой по месяцу выгнать не могут! Вот уж кто книгочей, да к ней же не подступишься с такой-то деликатной темой!

– Это уж как пить дать!

Собеседники надолго замолчали. И задумались каждый о своем.

В то лето, в тот знойный июль, дом Чубыкиных был полон как никогда. Буквально яблоку негде было упасть. В саду, впрочем, яблок висело немного: сам хозяин, Сан Саныч, жаловался каждому вновь прибывающему гостю, что поела нынче яблонный цвет боярышница. Уж какой тонкий знаток природы был (в глазах гостей прежде всего) хозяин дачи, а боярышницу проглядел. Навила эта белая бабочка гнезд на антоновках и штрефлингах, наоткладывала внутрь их яичек – и, пожалте, остался тонкий знаток без яблочных компотов. Так что падать было особо нечему. Кроме разве что настроения Сан Саныча. Очень уж он свой сад любил. Всё цитировал, бывало, понаехавшим гостям свой любимый афоризм из Сенеки (а может, Цицерона):

– Кто имеет сад и библиотеку, тот уже счастливый человек, более ему ничего и не надобно!

Ираида же Аркадьевна каждый божий день затевала сложную стряпню, но всякий раз упор делала на быстрые углеводы: всё у нее было пышно-тестяное, сладкое до притори, бисквитно-кремовое да еще и обсыпанное ванильной пудрой. Гости трескали и отдувались, впрочем, всегда искренне нахваливая кулинарные таланты и изыски хозяйки.

Митенька, друг сына, ставший постепенно вообще другом семьи, так вообще отъедался на дармовых харчах – и за месяц приобретал лоск и блеск, утерянные в городской среде, а также известное пузичко, которое не всякий ремешок отваживался поддерживать.

«Рыхлая нынче молодежь пошла!» – глядя на Митеньку, с аппетитом пожирающего сдобный кекс, думал Сан Саныч. И вспоминал годы своей голодной юности, когда вместе с закадычным друбаном Мартыновым они тайком, будучи в стройотряде, били из рогаток голубей на элеваторе, а потом всю ночь ощипывали их и готовили «рагу» на костре. Кормились плоховато тогда. Зато все были стройные, поджарые, подтянутые, состоящие из одних мускулов. Ни о каких прослойках жира никто и слыхом не слыхал! Рыскали что те тургеневские гончие и борзые по огородам местных жителей и вынюхивали, что бы спереть втихомолку. Где огурец попадался, а где и зазевавшаяся дура-курица. Славные и трепетные были времена!

Когда же приехала погостить старшая сестра хозяина (уже упоминавшаяся мимоходом здесь, в нашем повествовании), состоялась весьма неприятная культурная стычка, затронувшая боком сразу несколько гостей.

Дело было поздним вечером, когда все собрались на террасе. Ираида Аркадьевна раскладывала по розеточкам сливовое варенье прошлого года исполнения, кто-то читал газету, пристроившись под самую лампу, кто-то неторопливо вел беседы, обсуждая, в частности, полдненную прогулку на весельной лодке по ленивой реке. Привычно выли комары. В кустах отцветшей спиреи надсажалась садовая камышевка.

Строгая и чопорная сестра (вдовья матрона лет под шестьдесят), приезжавшая к брату каждый июль-август из столицы отдохнуть от «испорченного воздуха и нравов» (как она сама выражалась), вдруг обратилась шепотом к разморенному духотой Сан Санычу с неожиданной темой:

– Дорогой мой, что у тебя творится в клозете?

– А что? – встрепнулся испуганно хозяин. И, отгоняя комара от носа, встревоженно добавил: – Доска прогнила? Кто-то провалился? Бумага кончилась?

– Вот-вот, – строго продолжила сестра. – О бумаге и речь! Ну как так можно? Книги – святое, можно сказать, культурную ценность, – класть в туалет на непотребные дела! Это – позор! Вы же интеллигентные люди! (И она мельком бросила пренебрежительный взгляд в сторону

Ираиды Аркадьевны, воюющей с трехлитровой банкой засахарившегося варенья.)

Сан Саныч и сам нередко размышлял над этой деликатной темой, всякий раз вынимая из своей обширной библиотеки (Цицерон!) самую затрапезную и явно отжившую свой век книжонку. Чтобы препроводить её в последний путь. То есть – в уличный туалет, на полочку.

– Так позволь, милочка, чем же?.. Как выходить нам из положения? Не газетами же?..

– Это – позор! Я повторяю! – Голос сестры усилился, и уже многие на веранде с интересом прислушивались к разговору. – Так нельзя! Это какое-то средневековье! Ты бы еще затеял сжигать их на костре прилюдно!

– Остынь, голубушка! Это же книжки, прошедшие естественный отбор. (Сан Саныч любил щегольнуть между делом своим «биологическим» прошлым, как-никак окончил естественный факультет!) Они уже никуда не годятся, растрепанные, без обложек даже, только место занимают и портят вид всей полки.

– Как можно общепринятого мэтра новеллистики поместить в сортир? Бросить, как шелудивого щенка, в выгребную яму! (Сестра распалила себя до уровня праведного гнева!)

– Этот-то? Да он – английский шпион! Всю жизнь против нашей России-матушки козни плел!

– Ужасные вещи ты говоришь, братец! Так нельзя! Сокровищами человеческой мысли, накопленной веками, ты заставляешь бедных людей подтирать, извините... нет, это совершенно невозможно! Геббельс какой-то! Должен же быть, в конце концов, какой-то орднунг!

От Геббельса Сан Саныч сразу же пришел в крайне агрессивное состояние. И из робкой обороны перешел в атаку:

– Что ты сама-то городишь?! Делаеть тут на людях из мухи слона! Меня осрамила! Вези тогда из своей цивилизованной (он чуть было не сказал в пылу – сраной) Москвы туалетную бумагу! Да побольше! Увейся ею как гиляндой! Мы тут с радостью примем! С поклонами! Да!

Ираида Аркадьевна испуганно лила заварку мимо чашек. Гости переглядывались! Тема затронула всех. Встрял

неожиданно и Митенька, нацелившийся было на сектор смородинового пирога.

– Газетой – вредно! В типографской краске много свинца! Тут до рака сфинктера недалеко! (Митя был чужд всяких приличий и пристойностей.)

– А вот раньше, в догазетную еще эпоху, люди пользовались для этих целей лопухи! И ничуть не стеснялись! Дешево и сердито! Всегда под рукой. И фитотерапия явная, полезная для кожи! Проще надо быть, я вам скажу! Лопушком или мать-и-мачехой – милое дело! – Это внес свои девять копеек кто-то из жениных родственников, очень начитанный насчет здорового образа жизни товарищ.

Голос подал несколько туговатый на ухо еще один дальний родственник. Он здесь, у Чубыкиных, бывал редко, всё достраивал и перестраивал собственную дачу где-то в Подмоскowie.

– А вот я, помнится, у себя в туалете в бытность за два месяца проштудировал солидный справочник по строительным материалам! Очень полезное, надо вам сказать, занятие! Обоюдно полезное! (В этом месте все поразмыслили вскользь – что имелось в виду под словом «обоюдное»?) Так потом без всяких помощников и советчиков построил добротный сарай на участке, всё по правилам и нормам! Очень полезное занятие! Уверяю... Вот скажите-ка мне, любезные, сколько брусев 100 на 100 будет в кубе? Что? Да, шестиметровых, конечно! Стандарт! То-то! Никто и не знает! А я вам доложу: ровно семнадцать штук! Ни больше ни меньше!

– Ах, опять вы, дядюшка, за своё! Вам бы только шерхебель в руки да молоток на шею!

Словом, за чаепитием все сидели красные, распаренные, пыхтели и старались не смотреть друг на друга. Сестра, заварившая всю эту кашу, вообще ушла с гордым видом из-за стола к себе в комнатку, на мансарду, с видом попранной невинности. Хозяин обдумывал паллиативы. В самом деле, нехорошо! Но как же, что же? Проблема настоятельно требовала разрешения.

В городе неугомонный Изволенский откопал Митеньку. Тот согласился на встречу. Изволенский тут же бросился

названивать другой заинтересованной стороне. Мартынов вяло поддержал идею встретиться узким кругом. Митенька предлагал – в кафе, в глубине души надеясь вкусно откусать на халяву. Он мало понимал, что от него нужно двум взрослым мужикам. Но чутко чувствовал заинтересованность и потому выгадывал хоть какие-то преференции для себя.

– Я всегда довожу любое дело до конца! До логической развязки! – горячо уговаривал друга Изволенский. – Нужно знать правду, в конце концов!

«Вот ведь муха осенняя! – думал Мартынов, кладя раскаленную телефонную трубку. – Настырная козья морда! И чё привязался?»

Но согласие на встречу дал. Встретились в кафе «Литературное». Дошлый до мелочей и символов Изволенский предложил именно тут. Митеньке было все равно где, лишь бы накормили.

Изволенский сразу же представился журналистом, пишущим на темы молодежи. Вкрадчиво, пока Мартынов изучал поданную карту меню, был задан первый вопрос молодому человеку, призванный снять у того напряжение:

– Нам интересно прежде всего, что читает современная молодежь? Как далеко ушла она в своих пристрастиях и вкусах от отцов и дедов? Вы же оканчиваете второй курс филфака, не так ли?

Митенька, которому меню почему-то не дали, несколько расслабился и пустился в рассуждения. Тем временем вдумчивый Мартынов уже подзывал к компании официанта. Было заказано немного (Мартынова загодя назначили ответственным по матчасти). Митеньке предполагалось подать салат, десерт и кофе. С него и хватит, с наглеца, – еще до встречи вынес вердикт главный организатор Изволенский.

– Мы ведь были знакомы ранее? Кажется, я видел вас на прелестной даче наших общих друзей – Чубыкиных? Вы – друг их сына, не так ли?

Митенька окончательно рассолодел, поняв, что ничего плохого два мужика от него не потребуют, и принялся с увлечением за салат. В перерывах между глотками он об-

рисовывал вкратце состояние проблемы со стороны читающей молодежи:

– Читают в основном западных. Кое-что даже – в самиздате. Один загорится какой-нибудь новинкой, все следом мусолят, иной раз ничего толком и не понимая. Взять, скажем, нашумевший роман Мерля «За стеклом». Там описываются студенческие волнения в Сорбонне. Фигня, честно говоря. Но поскольку есть тема наркотиков, секса и вседозволенности, народ бросается читать.

Мартынов выразительно взглянул на предводителя. Изволенский все никак не подбирался к сути встречи. Какое им сейчас дело до мелкобуржуазных выступлений «неинкорпорированных интеллектуалов» (Мартынов сам только что прочел этот никчемный, кстати, романишко). Нужно решать вопрос с дачным чубыкинским чтивом да и расходиться по домам с миром.

Митенька, однако, вошел в роль:

– А так читают мало. Некогда. Жизнь нельзя упускать из-за книг.

Изволенскому, наконец, надоели философствования молодого филолога.

– А что вы, например, сами читали? Вот у тех же Чубыкиных наших любимых – у них ведь прекраснейшая библиотека! Летом, среди июльского зноя, праздности и неги, разве не самое время предаться чтению?

Молодой филолог стал вспоминать прошедший июль. Мелькнуло множество ярких и прекрасных картинок, включая смородиновый пирог Ираиды Аркадьевны.

– Да я там на велике по округе колесил! Всё в основном на речке гулял... Хотя погодите-ка! У них в сортире (тут Митенька откровенно и вполне искренне захихикал) лежала замызанная книжица...

Изволенский и Мартыновым аж вздрогнули от ощущения близкой удачи!

– Что там? Что за книжица?

– Рассказики небольшие. Но забавные. Мне достался сначала один, а когда я увлекся сюжетом, на второй заход попал уже к концу второго... Как-то так! – Тут Митенька, добравшийся уже до мороженого, вновь захихикал.

– Там был некто Лоусон, – осторожно подтолкнул Митенькины воспоминания Изволенский. – Что с ним стало? Я тоже про него прочитал в начале рассказа...

– Его бросила молодая красавица. И он стал пить как черт.

«Боже, какая банальщина, – устало подумалось вдруг Мартынову. – И вот из-за этой банальщины мы тут ошиваемся уже битый час!»

Тем не менее глаза Изволенского горели огнем.

– Что с ним стало в конце концов?

– С кем?

– Да с Лоусоном этим, черт бы его побрал!

– Так он утонул!

– Сам? Или помогли?

– Он привязал к ногам камень, обернутый в куртку, и утопился.

«Станный, однако, способ, – подумал внезапно Мартынов. – Это как же нужно ухитриться привязать к своим ногам камень и утопиться? Сложная телесная комбинация! Это не Муму утопить!»

Изволенский pokrылся бисером пота, словно проводил допрос в участке. Или его самого кто-то с пристрастием допрашивал.

«Уж не тронулся ли он и сам умом? – подумалось уставшему от всего этого дознания Мартынову. – Поди, придется домой везти дурака на такси да и сдавать с рук на руки жене...» И он стал пристально вглядываться в изменившиеся черты лица друга. Тот жадно отхлебнул кофе, обжегся, выругался – и вновь пристал к уже накормленному и сыто икающему Митеньке:

– А что там за второй рассказик? Вы его упомянули...

Тут уже насторожился Мартынов. В его памяти четко всплыла картина трупа Купера, лежащего в своей кровати с воткнутым в грудь крисом.

– Начало я не знаю. Его уже не было. Там были два персонажа. Одного звали как-то сложно, Уимблдон какой-то... Второго – проще. Не помню...

– Купер! – встрял Мартынов.

– Да, да, кажется так. Его убили.

– А за что? Кто убил? Этот самый Уимблдон?

– Нет. Его убил местный туземец.

– Вот черт! Что они-то не поделили?

– Вот об этом страницы как раз и отсутствовали! Нужно расспрашивать других, кто был там на даче, у Чубыкиных... Кажется, сестра...

– Да господь с вами! – Мартынов не смог удержаться от предостережения. – Зачем нам чубыкинская сестра?

– Причем туземца этого, который убил, этот Уимблдон решил оправдать каким-то образом. Взять под свою защиту. Было понятно, что он ненавидел всю дорогу зарезанного Купера...

– А знаете ли вы, Дмитрий, автора? Кто написал-то эти сочные рассказы?

– Да, знаю. Я спросил у Сан Саныча.

Изволенский с Мартыновым многозначительно переглянулись. Всё-таки соблюдение известного этикета мешает разрешению многих вопросов. Как истинные джентльмены они никак, естественно, не могли поступить таким прямолинейным образом, как поступил простодушный Митенька. Ему прощительно. Но уважаемым в обществе мужам выказывать своё дурацкое любопытство, а уж тем более – бескультурье и невежество, это, пардон, увольте!

– Ну так и кто? Поведайте нам, неучам!

– Сомерсет Моэм. Сейчас вновь входит в моду. А был, между прочим, английским шпионом!

«Ах он сукин сын! – неприязненно подумал Изволенский. – А пишет, сволочь, сочно. Не отнять!»

«Нужно спросить в районной библиотеке», – подумал Мартынов. И, подозвав кстати пробежавшего мимо официанта, резво и весело спросил:

– Сколько с нас, милейший?

Лирический портрет

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Коктебель

ДЛЯ СВЕТА И ЗОВА

1

Вздохнуть бы о прошлом,
Да что ему вздох? –
Меж пришлым и дошлым
На грани эпох
Ненужным и лишним
Упрямо стою –
И ведомо вышним,
О чём я спою.

Но слишком известно,
Что песня и боль
Всегда поднебесны –
И вкривь, а не вдоль,
При доме – вне дома,
Вне правил и благ,
От смуты и дрёмы –
На пядь иль на шаг.

И слишком знакомы
Приметы беды –
От зимнего грома
До талой воды

Легло расстояние
Без троп и дорог,
И слава – за гранью,
Свидетелем Бог.

Да много ли надо? –
Лишь выйти, пойми,
Из чуда и сада
Для встречи с людьми! –
Когда бы не слово,
Что сделал бы я
Для света и зова
В кругу бытия?

2

Душа устала от невзгод –
Так что ж ей всё бормочется?
Кого ещё переведёт?
Ответствуй, переводчица!

Не то хандра её грызёт,
Не то забыться хочется, –
Кого ещё перевезёт?
Ответствуй, перевозчица!

За ночью ночь впитались в кровь,
За тенью тень мерещится, –
Куда же рвёшься вновь и вновь?
Ответствуй, перебежчица!

Была с любовью ты в ладу,
А всё ж легко ли плачется?
Куда идёшь ты, как в бреду?
Ответствуй, передатчица!

Была ты верою жива,
Царица, не приспешница, –
Так что же дышишь ты едва?
Ответствуй, пересмешница!

Была надеждой ты сильна,
Хозяйка, не подёнщица, –
Зачем же мечешься одна?
Ответствуй, перегонщица!

За мигом миг, за часом час,
За днями дни растаяли, –
И видеть суть в который раз,
Казалось бы, не чаяли.

За годом год, за веком век –
Не жертва неизбежному,
И чуют путь меж древних рек
Дано тебе по-прежнему.

3

Продолжение вечной темы,
Общей драмы и зимы
В дни, где помнить будем все мы
Света рвение и тьмы.

Снова жертвой стало время
На юдольном алтаре,
Чтоб немислимое бремя
В каждом пряталось ребре.

Торопились, пропадали,
Всё же выжили – и вот
То, о чём и не гадали,
Кровь отравленную пьёт.

Утоли мои печали,
Припади-ка к роднику,
Где когда-то мы встречали
Всё, что сгинет на веку.

Фантастическое проще
Всей реальности прямой –
Чьи-то ссохшиеся мощи
Так и просятся домой.

И когда найдём однажды
Грань меж чуждым и родным,
То поймём истоки жажды,
Зреньем подняты иным.

4

Не для тебя,
Не для меня –
Всё возлюбя
Или кляня, –
Или храня
В темени лет,
В семени дня
Имя и свет.

Утихомирь
Пыл свой, птенец:
Времени ширь –
Делу венец;
И наконец
Выбери сам
Путь свой, гонец,
По небесам.

Но для земли
Сердце оставь –
Здесь и вдали
Веру прославь;
Не прекословь
Зову с высот –
Всюду любовь
Душу спасёт.

5

К югу и за холмы,
За перепады краяй.
С умным лицом зимы,
С тысячью персонажей,

Стоптаных башмаков,
Сорванных капюшонов,
Сталкиваясь, толков,
Ветер летит со склонов.

Балка, пещера, щель –
Всё для его свирели, –
В яблочко, в сердце, в цель,
Чтоб доказать на деле,
Что неспроста знаком
С гаммой своей, с азами,
С облачным молоком,
С поднятыми глазами.

Как это он успел
Власть наиграться, зная,
Что не напрасно смел,
Сор на пути сметая,
Что, проторив тропу,
Выдув подобье шара,
Грохнет с небес в толпу
Тяжесть такого дара?

Будет ещё блажить,
Струны перетирая,
Где обречён прожить,
В жилы простор вбирая,
Где ни к чему, пойми,
Чей-то огонь бенгальский, –
И, молчалив с людьми,
Ветер летит февральский.

6

Не месяц, не луна,
А ровно половина
Светила, и она –
Как веская причина
Того, что быть должно,
Что сбудется упрямо, –

И с нами заодно
Довлеющая драма.

Прозрачность, белизна,
Тускнеющая млечность,
Беспечность, новизна
И жизни быстротечность,
И вместе с тем – испуг,
Дряхлеющее тело,
Покуда лунный круг
Не полон до предела.

Тогда-то и войдёт
Густеющая сила
Предвестницей высот
Во всё, что с нами было, –
И вот уже летишь
К чему-то непростому,
Где в жилах ощутишь
Струение истомы.

А там уже – ищи,
И втянуты в движенье
Сквозь робость – не взыщи!
Всевластьем притяженья
Сквозь оторопь, сквозь век,
Сквозь сонные виденья
Земля и человек,
А с ним – предубежденья.

7

Считанные минуты,
Считанные часы –
Для непогоды, смуты –
И вековой красоты.

Всё на пути омыто
Влагой с дневных небес
Вот и довольна свита
С вестью наперевес,

Честью древесной, грустью
О золотом былом,
Где протянулся к устью
Впалой реки излом,

Где посреди растений
Знаешь о том, что жив, —
И от пустых ступеней
Медлит уйти отлив,

Где далеки от сути
Мысли — и, видит Бог,
Рати ночной и жути
Старый открыт порог,

Но и тогда, пожалуй,
Вздых или гнев сдержи,
Выплеск тоски немалой
Нитью страстей свяжи.

8

И мёд тягуч, и вкус изюма сладок,
Но всё-таки проточная вода
Несёт с собой тревожащий осадок
Того, что нам не снилось никогда.

И впитывает камень обомшелый
Какую-то неизвестную соль —
И рушится, сродни вселенной целой,
Куда-то в глубь — туда, где боль и боль

В своём оголены переплетенье,
Где жилы их пресыщены огнём,
Внушающим то ужас, то смятение, —
Но, кажется, мы выживем и в нём.

Николай РАЧКОВ

Тосно, Ленинградская область

...ДО РАССВЕТА, ДО ПЕРВЫХ ЛУЧЕЙ

* * *

Люблю в речах слова простые
О жизни... Я и по сей день
Люблю негромкую Россию,
Страну забытых деревень,

Страну лугов и перелесков,
Речушек малых и дорог,
Страну полей с волнистым блеском,
С житейской горечью тревог;

Страну, где флагами не машут,
Не лезут на телеэкран,
Где косят всё ещё и пахут,
Где скот пасут среди полян;

Страну, где нет хвальбы и срама
Ополоумевших эстрад,
Где предкам у святого храма
Достойно спится средь оград.

Где прямо за клочком усада
Стоит серебряная рожь,
Где философствовать не надо
Зачем и для чего живёшь...

* * *

Я уязвлён и временем жестоким,
И тем, что всё бесправнее оно.
Прошло очарование Востоком,
Очарованье Западом – давно.

Души не тронут ни Шахерезада,
Ни пылкая Джульетта наших дней.
Повсюду запах денежного смрада,
Стал торгашом лукавец Гименей.

Летят тревожней, траурнее вести,
Вино свободы выпито до дна.
Да о какой вы там кричите чести?
В тротил, в пластид завёрнута она.

Восток и Запад... Как в глобальном тире.
А я ржанных полей упрямый сын.
И мне всё горше размышлять о мире
Среди своих берёзок и осин.

* * *

Мне всё больнее за Державу,
Когда, забвением дыша,
Её величие и славу
Вражды подтачивает ржа.

Очнись, опомнись, россиянин!
Ты, претерпевший столько бед,
Не зря, не даром осиянен
В веках знамёнами побед.

Да, тьма библейская нависла,
Повсюду гром... Пора тебе
И правды обрести, и смысла,
И воли в собственной судьбе.

Храни свой род под небосводом,
Своею шествуя тропой.
И будь народом,
будь народом,
А не базарною толпой.

* * *

Скоро утро, но ещё ночь.

В. Крупин

И вблизи, и вдали
Скачут вороги к нам на гнедых.
И свои помогли –
Снова Родине дали под дых.

Рвут державную статью,
Не осталось почти деревень.
Всё равно я опять
Твёрдо верую в завтрашний день.

Эти страсти старые,
Как поток лицемерных речей.
Это всё до поры,
До рассвета, до первых лучей.

И светлей на душе,
Всё мы сможем, мой друг, перемочь.
Скоро утро уже,
Но пока ещё ночь, ещё ночь...

* * *

*Буду Родину от грязи
Отмывать, начав с себя.*

Н. Зиновьев

Один поэт-мессия,
Любя её, любя,

Решил отмыть Россию
И начинать с себя.

Он в этой смелой фразе,
Конечно же, удал...
Я тоже всякой грязи
В сей жизни повидал.

Шепча одно, не скрою:
«О Боже, помози...»,
И тут и там порою
Шагал я по грязи.

Но я, отнюдь не праздный,
За все мои года
Свою Россию грязной
Не видел никогда.

* * *

Лиде

Нет, это было не во сне.
О нас с тобой ходили толки.
Не позабыть те встречи мне
В районном небольшом посёлке.

Я был заезжий человек,
В тебя без памяти влюблённый.
Под фонарём зелёным снег
Был удивительно зелёный.

Ты так была юна, свежа,
Ты завораживала взглядом.
Казалось мне, твоя душа
С моею шла по снегу рядом.

Где те счастливые года?
Да разве вспомнить эти дали,
Над чем смеялись мы тогда,
О чём беспечно так болтали,

Где обнимались в прошлый век
Мы там под топодем иль клёном...
Но помню:
был зелёный снег
Под фонарём, таким зелёным.

Патриарх XVI века

Да, я в простом хитоне, и правда моя проста.
Я так же, как вы, к иконе прикладываю уста.

Зачем мне все блага мира, коль я небесное зрю?
К чему патриарху порфира? Порфира к лицу Царю.

Мне царский трон неудобен, не надобен вовсе он.
Царю сей трон подобает, зачем Патриарху трон?

Пред Божьим судом едины и Патриарх, и Царь.
Я есмь человек, раб Божий, каким я был создан встарь.

Я слабая лишь пылинка у Вечности в колесе,
Ответчик перед Всевышним, такой же я, как и все.

Коль ты есмь Царь, то земные по чести дела верши.
А Патриарх – для души человека, для вечной его души.

Для сирого и владыки спасение – два перста
Во имя Отца и Сына, Содетеля всех – Христа.

И одеянье зримо того раскрывает суть,
Кого небеса венчают на самый почётный путь,

На самый суровый в мире, и в этом мире, и в том –
За каждое слово, за паству ответить перед Христом.

Сижу не в золотой палате, золотая к лицу Царю.
Христос не сиял во злате, я это вам говорю...

* * *

Им снится, чудится, пророчится
 Неисполнимое опять.
 О, как им взять Россию хочется,
 Как хочется её распять.

И люто закричать: «Виктория!»,
 Чтоб пламя радости из глаз.
 И нравы наши,
 и история
 Уже оболганы не раз.

Растёт духовная агрессия
 Как повторенье старых драм.
 Лукавый вирус
 чужебесия
 Уже давно запущен к нам.

...Но ленинградские и курские
 В своём краю,
 в родном доме
 Пока мы помним, что мы русские, –
 Не взять Россию никому.

Маргарита ШУВАЛОВА

Кстово

НАШИ ДУШИ – ДЕТИ СУМАТОШНЫЕ...

КОТЯ

Под дождя ночного всхлипы
 Томен ход часов.
 За окном слезятся липы
 И не видят снов.

Кот слоняется бессонно
 По моим следам.
 Нам одним, неутомным,
 Сон не по зубам.

На тарелке пепла горстка,
 Пепел на полу...
 Да, дружок мой, все не просто...
 Завтра уберу.

Уберу, забуду, брошу
 Свой словесный бред...
 Глаз сочувственных горошин
 Пониманья свет:

– Утро вечера мудрее,
 Ночь дождям верни.

Смерть и любовь

Гроза

Разве нам Божий свет не отрада?

Тучи небо надолго закрыли,
Проливаясь уныло дождями.
Стало больше воды, меньше пыли,
Сбито лета дыханье ветрами.

Нам, живым, все не так, не в угодую:
 Ни жара не мила, ни прохлада,
 Только душам, обретшим свободу
 Думать больше об этом не надо.

В стае белой своей им не грустно,
 Одинокством неогорчимы –
 Нет ни боли, ни страха, ни чувства,
 Что не поняты и не любимы.

Пролетая сквозь нити тугие
 Между небом и мокрой землёю,
 Души-птицы глазами другими
 Видят странных людей под собою...

Нет улыбок и света на лицах
 Разве там, на земле, света мало?!
 Как слепые, бескрылые птицы
 В тьме густой ищут выход устало...

С неба льются лучи золотые
 И горит перед ликом лампада...
 До чего же мы глупы, живые,
 Если нам Божий свет не отрада.

* * *

Вечера об эту пору – душевные,
 Не спасают даже тени крон...
 Мы с тобою никому ненужные,
 Маемся, на грани двух сторон.

Далеко ли, близко ль эти стороны –
 Встреча не случится ретивой .
 Скоро осень, закружатся вороны
 В стаях над речною тетивой.

И июлем ниц цветы склонённые,
 Кто-то в поле выкосит с плеча.

Так же все с глазами воспаленными,
 Будут просыпаться по ночам

Наши души – дети суматошные –
 До морозов, до больших снегов.
 По одной – бегут столбы дорожные,
 А в другой – звенит набат веков.

Лишь усталый вздох далекой женщины,
 Долетит, как первый луч в рассвет.
 И судьбинной встречей не отмеченный,
 К ней всю жизнь свою идет поэт.

Из свежей прозы

Дмитрий ТАРАСОВ
Санкт-Петербург

ПАРНОЕ МОЛОКО

1

С одутловатой маской вместо лица, распухшее от воды, тело прибило к берегу возле деревни Введенское. Берег был частью двора местного мужика Андрюхи – он-то, подцепив утопленника багром, и вытащил его из воды, затем погрузил в тележку и вывез на единственную улицу с двумя колеями от колес и кустистым лопухом вдоль обочин.

Будь Андрюха пьян, что было делом обыкновенным, его наверняка не удивила бы такая «находка». Какая разница между ужасами в гудящей голове и ужасами наяву? Теперь же, трезвый, он не знал, что и думать, и от растерянности только шмыгал носом...

Из года в год здесь звенела тишина – в оставленной наедине с природой крохотной деревеньке. До поры до времени, пока кто-нибудь не проедет, а такое случалось редко, от жары и безветрия дремала на дороге пыль. Не считая Андрюхи, жили в Введенском одни бабки. Их избы стояли лицом к дороге, а земля сбегала к реке Оредеж крутым спуском, из-за чего они ходили туда лишь по крайней необходимости. Так что утопленнику, можно сказать, повезло: окажись он в другом месте, любая из местных старух вряд ли бы его обнаружила.

– Эй, молодежь, выходи по одному, – заорал Андрюха вдоль улицы. – Новостя есть!

Обыкновенно тугие на ухо, тут они, как будто слово «новостя» чудодейственным образом улучшало слух, разом высыпали на дорогу, и Андрюха зачем-то начал считать:

– Одна, две, три...

Насчитал шесть, хотя всего было восемь – значит, кто-то на самом деле плохо слышал.

Самая бойкая из них, Иваниха, еще издали подала голос:

– Чего, черт, разорался? Что за причина срочная?

– Языком хочу почесать. Самому-то с собой никак, – он поглядывал по сторонам на стекающееся местное население, и на его рябом лице все явственнее проступала ухмылка.

После непереносимых охов и ахов вперемежку со спорами Иваниха вдруг заявила:

– А я ведь его видала.

Все глянули на ее крупную с покатыми плечами фигуру, на белесое и плоское, словно блин, лицо, а она, уже с уверенностью, продолжила:

– Точно, он. Мальчонка, из дачников, которые в Вырице снимают.

– Откуда знаешь?

– Дак к Федосевне как-то заходила, а энтот и еще один там толкутся... Помню, день теплый был, с солнышком, с дождем...

Андрюха аж зажмурился, представив, как на выцветшее от зноя небо наплывают тучи, как из них начинает лить со всей силы – и уже нет духоты, нет пота со лба, нет дремотной вялости...

– А чего ты лыбишься? Или забыл? – Иваниха кивнула головой на утопленника.

Андрюха почесал в затылке, с растяжкой произнес:

– Давай телефон.

– У самого имеется.

– На моем денег нет, а тебе внук завсегда кладет.

Чтобы позвонить, Андрюха отошел в сторону, поскольку не доверял этим «глухим» бабкам. Врачей набирать не стал – какие уж тут врачи? А шериф – так он называл

местного участкового – был «вне зоны». Небось, ездит по деревням, подумал Андрюха, и теперь придется ловить попутку. А поймает ли или нет, кому ж об том известно. Да и не всякий такой «груз» возмет...

Не прошло, однако, и получаса, как им повезло: из-за поворота дороги в облаке поднятой пыли появился трактор с груженым прицепом. Андрюха замахал рукой, и шумно тархтевший мотор смолк, а на землю прыгнул молодой тракторист с красным от жары лицом.

– Чего надо? – он мотнул головой, но мокрые до корней кудряшки светлых волос не шелохнулись.

– А того, что мертвяк у нас, – Андрюха выругался.

Парень присвистнул и проговорил растерянно:

– Так это... в полицию надо.

– Не глупее тебя, – отрезала своим басовитым голосом Иваниха.

Оказалось, что трактористу по пути – в Вырицу. Вместе с ним Андрюха поднял тело в прицеп. Пришлось разгребать кочаны капусты, которые, как их ни положи, все норовили скатиться.

– Ты присмотри тут, – сказал парень.

– За жмуриком? – развеселился Андрюха. Держась за борт прицепа, он начал размещаться на валких кочанах, как вдруг вспомнил: – Ты бабушку посади к себе.

– Зачем это?

– Она знает, куда ехать, – коротко бросил он и тут же крикнул в сторону выстроившихся у обочины старушек: – Иванова Ксения Тимофеевна – прошу в экипаж!

Иваниха немного поворчала и уселась. Снова затарахтел мотор, и, покосившись на водителя, она сказала:

– Видать, капуста ранняя.

– Ага. Сорт «Золотой гектар» – слыхала?

Она оставила его без ответа. И потом все время смотрела в открытое окно, куда врывался густо пахнувший травами ветер.

– Едем-то далеко? – спросил тракторист, когда впереди показались первые дома Вырицы.

– Ты ехай, я покажу... Там посерединке поселка дом старый с башенкой на углу...

– Федосевны, что ли? – перебил он.

– Ее... Как догадался?

– Да я сам с Вырицы. В детстве, помню, ходили к ней, молока парного ждали. Она-то бабка добрая, часто просто по целой крынке наливала.

– Это верно, – основательно подтвердила Иваниха. – У нее что ни корова, так прям молоком истекает.

Хоть на дороге и лежал асфальт, временами сильно трясло. До Вырицы, правда, было рукой подать. И вот уже ехали по улицам, вдоль которых тянулись бесконечные дачи, то старые с вычурными наличниками и балконами, то недавно построенные из белого и красного кирпича наподобие детских кубиков...

2

Его имя звучало совсем по-взрослому, отчего все вокруг сокращали Вениамина до Вени. И это ему совершенно подходило – голубоглазому, светловолосому божеству с бледной, почти прозрачной кожей. «Ангелочек», – иногда называла его мама, на что он лишь недовольно передергивал плечами, считая такое обращение каким-то женским.

Родители сняли для него дачу до конца лета. Сначала Вения, сделавшись бледнее обычного, громко негодовал, затем со слезами на глазах упрашивал оставить его дома, поскольку в этой Вырице тоска смертная, а смирился, да и то больше для виду, после того как мама сказала, что на даче по соседству будет его друг Саша. Говоря по правде, они не были друзьями, просто часто встречались, как встречаются подростки, которые живут в одном доме и учатся в одной школе.

То, что его вывели из привычного круга общения, было не самым страшным. Главная неприятность состояла в другом: мама, совершенно по-иезуитски, вознамерилась отобрать у него мобильник – дескать, будет он точно так же, как в городе, «сидеть в телефоне».

– Одни ноги оттуда торчат, – пошутила она, хотя шутка в таком серьезном деле была абсолютно неуместна,

и продолжила, как ей казалось, риторическим вопросом: – Зачем же тогда дачу снимать?

Поскольку не существовало ни малейшего шанса сдвинуть маму с принятого решения, Веня не стал возражать. Он занял оборону, пытаясь выторговать более выгодные условия сделки:

– Я не смогу тебе звонить, и ты мне не сможешь.

– Буду тебя навещать, – холодно парировала мама и вышла из комнаты, оставив его наедине со всеми своими убедительнейшими доводами.

Вообще Веня любил городскую жизнь с ее плиткой на тротуарах, снующими туда-сюда машинами, чахлыми деревьями вдоль пыльных газонов и совсем не понимал, в чем прелесть деревянного дома, русской печи, озер, полей, рек и прочих перелесков. Когда кто-нибудь говорил при нем «природа» или он читал это слово, то невольно морщился, будто ему за деньги предлагали ненужное и даром.

Удивительно, что мама, чьими заботами Веня очутился в этой деревенской ссылке, тоже никогда не разделяла восторгов по поводу так называемой природы. Тогда, размышляя он, зачем она отправила его сюда... Может, ей надо было от него отдохнуть, может, избавиться на время... Или то, что общество считает полезным для детей, пусть даже их родители придерживаются иных взглядов, все равно необходимо выполнять...

Если утром и днем разные дела еще отвлекали Веню, то по вечерам от тоски было некуда деваться. Вот и теперь, сидя в почерневшей от дождей беседке, положив подбородок на руки, а руки на перила, он с грустью смотрел в сторону запада, где солнце садилось в лес за рекою, и нелюбимая им природа погружалась в то, что зовется белой ночью.

Почему мама так редко приезжает? Всего три раза, хотя прошла уже половина лета... Да и то: всегда она поутру, всегда придумывает себе дело, – а спросишь, какое дело, засмеется, или замашет руками, или скажет нелепость, так что и самой стыдно.

Как раз завтра Веня ждал маму – разумеется, торопливую, с поцелуями на лету, с порхающими словами, и,

разумеется, без ночевки. Он опять спросит об отце, и она опять ответит, что отец человек военный, что как же он приедет, когда занят на службе («на государевой», зачем-то прибавляла).

– Вечно он на службе! – Веня ударил кулаком по перилам, вскочил и бросился в сад. На крыльце дома он увидел хозяйку, Аллу Романовну, которая в такое время обыкновенно уже ложилась. Независимо от погоды, пусть самой сухой и теплой, у нее на ногах были резиновые сапожки чуть выше щиколотки, а на голове какой-то стародавний чепчик.

– Ты чего тут? – спросила Алла Романовна как-то неопределенно.

– Вышел воздухом подышать, – с напускной бодростью отпартовал он.

– Нагулять сон, – уточнила она.

Веня знал, что можно нагулять аппетит – так мама иногда выражалась, – но чтобы сны нагуливать... Осмыслить новую комбинацию слов не получилось, ибо Алла Романовна без паузы продолжила:

– А у меня – нагуливай не нагуливай... Заснула-то сразу, да спала недолго. Знаешь, почему? – она хитро прищурилась.

И хотя Веня промолчал, подразумевая, что разговор ему скучен, этой старой женщине его согласие и не требовалось.

– Бесы приснились. Кто в котелке старинном, кто с тросточкой, а иные, как и положено, с рогами и копытами. Когда глаза открыла, то думала, что исчезнут. Нет, тут они. По комнате скачут и слова непонятные выкрикивают...

Была хозяйка сумасшедшей – взрослые так говорили, и Веня за ними повторял. Боязни, однако, у него не было: тихая старушка, бормочет что-то, порой даже смешно выходит. Мама, та вообще считала ее нормальной, просто со странностями. Эти странности иногда ее забавляли, особенно рассказ Аллы Романовны о том, как однажды только случай спас ее с дочкой от гибели...

Дело было в Гражданскую войну. То белые захватят их село под Одессой, то красные, то немцы, то отряды батьки

Махно. Естественно, голод, и чем дальше, тем более лютый. В конце концов настал день, когда махновцы выгребли последнее зернышко. Тогда Алла Романовна, взяв пятилетнюю дочку Лену, пошла на берег Черного моря, чтобы ее утопить и самой утопиться. Другого выхода не было. Дочь стала лепить что-то из песка, в то время как Алла Романовна смотрела на нее, плакала и мысленно прощалась с единственным ребенком. В этот момент, надо же такому случиться, по берегу изволил гулять Немирович-Данченко. Он остановился невдалеке от Лены, залюбовавшись тем, какими ладными получались песочные фигурки, и потом заявил Алле Романовне, что у девочки безусловный талант и ее нужно отдать в художественную школу. Все расходы и хлопоты Немирович-Данченко брал на себя, равно как и переезд матери с дочкой в Москву.

– Так благодаря великому режиссеру и, как оказалось, не менее великому провидцу, – заканчивала повествовать хозяйка дачи, – моя Лена стала художницей.

Этот рассказ, который Веня слышал уже не единожды, пестрел нелепостями, от которых даже ему делалось смешно. А мама, сосчитав в уме, сколько десятилетий минуло с Гражданской войны, сосчитала и возраст хозяев дачи – выходило, что дочка и тем более Алла Романовна давно отметили вековой юбилей. Веня от души посмеялся над фантазиями больного ума. Тем не менее, как выразилась мама, история становления советской власти на Украине отнюдь не противоречила тому, что Лена действительно писала картины. Они висели по всему дому, особенно густо в хозяйкиной комнате и в гостиной...

Покончив с бесами из кошмарного сна, Алла Романовна вспомнила о творчестве дочери.

– Ленушка моя работает над новым полотном. Говорит, историческое и многофигурное. Кстати, – Алла Романовна хлопнула себя по бедру, – она же завтра приезжает!

– А когда будет? – озабоченно спросил Веня.

– С утра и будет.

Пару раз Веня уже видел, как общаются друг с другом мама и тетя Лена, и зрелище ему совсем не понравилось.

Понимая, что завтра им не разминуться, он окончательно расстроился и, опустив глаза, побрел к себе в комнату. Там он зажег настольную лампу, открыл книгу, читая которую с начала лета продвинулся не дальше сотой страницы. Сейчас удалось осилить еще две, перебраться на третью, но тут-то зевота его и одолела. Небрежно побросав одежду на стул, Веня из-за духоты накрылся только легкой простыней и замер на спине, проверяя, нагулял ли сон.

3

Проснулся он оттого, что показалось, будто кто-то на него смотрит. «Мама», – то ли произнес, то ли подумал он сквозь дрему, но, открыв глаза, обнаружил лишь добрый взгляд Федосевны с портрета, висевшего напротив кровати. Эта Федосевна жила через два дома на той стороне улицы. По договоренности с мамой она каждый второй день приносила ему парное молоко в пластиковой бутылке из-под кваса. Иногда он сам заглядывал к ней, пару раз вместе с Сашей, и тогда Федосевна наливала им сверх оплаченной мамой меры. В иные дни в избе было не протолкнуться от тех, кто приходил за молоком или поболтать с разговорчивой хозяйкой. Особенно запомнилась дородная бабка, которую остальные называли то ли Иванова, то ли Иванна: говорит громко, а что именно, не разберешь. Веня все удивлялся, как ее другие понимают...

Корову, что поила пол-Вырицы, Веня ни разу не видел, знал только, что кличка у нее Березка – из-за черно-белого окраса, напоминавшего березовую кору. Однако сегодня – Федосевна сказала, что ближе к вечеру, – она обещала показать Березку и еще добавила, что будет ее доить. Увидеть, как из коровьего вымени струится то самое, что затем стоит в магазинах, расфасованное в литровые упаковки, было для Вени сродни цирковому фокусу. Будущее представление казалось ему совершенно отдельным от той дурацкой природы, которой его пичкали в Вырице. Правда, он боялся разочароваться – вдруг пойдет как-то не так? – и в то же время с нетерпением ждал назначенного часа. Решил идти с Сашей – так надежнее, – к тому же

будет ему сюрприз, городскому бездельнику, который знать не знает, откуда молоко берется. Вот только прежде надо маму встретить...

Мама появилась вскоре. Вначале Веня, уже умытый и причесанный, услышал ее голос, который о чем-то громко сообщал хозяйке, а после, выбежав из своей комнаты в коридор, увидел ее саму, возбужденную от дороги и свежего деревенского воздуха.

– Ну, Вениамин, рассказывай, – произнесла она с той строгостью, которую ради шутки порой любила напустить на себя.

– Прошу, Людмила Николаевна, – со столь же наигранной интонацией он распахнул дверь в комнату.

Они болтали обо всем на свете: как дела у старшего брата, который уже учился в институте, у его девушки с редким именем Изольда, как поживает бабушка в далекой псковской деревне, чем заняты его школьные друзья, каким именем сосед назвал подобранного на улице щенка, почему мама опять привезла столько еды, ведь ему хватает, и зачем новая книга по школьной программе, когда он еще не дочитал предыдущую.

Веня спросил об отце, ожидая, что мама, как всегда, отмахнется – он на службе. Ответ, однако, настолько его ошеломил, что он замер в неудобной позе, склонив туловище в одну сторону, а голову в другую, и лишь хлопал глазами.

Когда, сменив тему с удивительной легкостью, мама стала рассказывать о подруге, которая – ты только подумай! – отправилась покорять горные вершины, – Веня продолжал сидеть не шевелясь. И лишь после того, как она закурила, выпустив дым в открытую форточку и беспечно стряхнув пепел в предназначенное для еды блюдо, он встал и, пробурчав, что скоро вернется, вышел в коридор. Там его словно бы приманил к себе чулан в нише под лестницей, ведущей на второй этаж. От нечего делать он уже давно изучил здешние тупички и закоулки: швабры и лопаты с налипшей землей, старые тряпки, воняющие гнилью, разноцветные пластиковые сетки с шелухой от лука, рулоны рубероида, от которых едко несет смолою, рабочие рукавицы, что-то круглое, похожее на сдутый мяч

и душно пахнущее кожей... Словом, не так много вещей, как запахов, которые, соединяясь, сгущали воздух до такой степени, что хотелось зажать нос бельевой прищепкой, которые, между прочим, валялись тут же – поверх то ли покрывала, то ли облезлого ковра.

Впрочем, сейчас Веня не замечал всех этих неудобств. Сказанное мамой стучалось болью в виски, а в ногах была такая унижительная слабость, что, не разбирая места, он рухнул на сложенные в углу чулана мешки из-под картошки. И тут же поднялось вверх облако пыли, впитавшее в себя грязь, шелуху и еще что-то невыносимо кислое. Вытянув ноги, Веня прижался к стене...

В окружавшую чулан тишину вдруг вторглось шарканье по полу резиновых сапожек, а следом раздалась более молодые шаги.

– Вы не видели Веню? Так неожиданно исчез...

– Пожалуй, в беседке сидит – он там любит.

– Раз в беседке, значит, побеседуем, – произнесла мама со своей неизменной иронией.

Вернулась она минут через пять – по «чуланному» времени, которое, чувствовал Веня, заметно отличается от привычного. Вместе с маминым голосом в дом проник еще один, настолько сиплый, будто простуженный, что принадлежать он мог только тете Лене.

– ...и сразу назад засобирались, – закончила она фразу, начатую за пределами Вениного слуха.

– Я бы рада, но дела в городе, – соврала мама, как врала всегда, когда ее уговаривали остаться на даче.

– Не отпускаю вас, – подала голос Алла Романовна. – Мы сейчас стол прямо в саду накроем. На воздухе, в тени яблонь – правда, хорошо?

Разумеется, мама отказалась и от этого предложения. Так могло продолжаться бесконечно, если бы, как догадался Веня из своего укрытия, ее внимание не привлек пейзаж, который на днях повесили в коридоре, – густой, яркий, с ядовитыми красками.

– Ах, какая удивительная живопись! Как точно переданы малейшие оттенки цвета, как трепещет листва, как гнутся деревья... Я преклоняюсь перед вашим талантом!

И тут Веня закрыл руками уши. Ощущение глухоты было тем приятнее, что он об этом мечтал, да не мог исполнить, при всякой встрече мамы с тетей Леной. Ему почему-то был нестерпим всегдашний мамин восторг по поводу самой незамысловатой картины. Она словно бы выступала в роли этакой девочки, которая восхищена уже одним тем, что ее слушают взрослые люди. Как-то он поинтересовался, зачем мама так делает, и получил странный ответ: «В школе я ходила в художественную студию. Все говорили, что хорошо писала... Но, понимаешь, в жизни женщины многое решает то, за кого выйдешь замуж. Как знать, кем бы я стала, окажись рядом со мной живописец...»

Когда Веня разомкнул слух, мама собиралась уходить.

– Думаю, он к другу пошел, больше некуда... До свидания, до свидания... – она кого-то поцеловала. – Обязательно, как только выберусь, обязательно...

Едва дверь за ней закрылась, возник сиплый шепот, будто хозяйкина дочь знала, что их подслушивают.

– Вечно ты, мама, ее уговариваешь... Пустая, легкомысленная дамочка. Вдобавок платит за дачу вдвое меньше положенного.

– У нее такой симпатичный мальчик, что...

– Что ты посчитала возможным, – перебила дочь, – устроить его на полный пансион за те же гроши.

– Леночка, перестань, мне и без того бесы снятся...

Старческий голос удалялся и стих, а после, уже из комнаты, раздалось сипло и едва различимо:

– Бесы не во снах, они, мамочка, в нашем саду... Как что?.. Трясут яблони...

Дверь в их комнату захлопнулась, прищемив хвост фразы. Хотя и так было ясно: камешек в Венин огород, поскольку однажды художница видела, как он сорвал яблоко – всего одно, совсем зеленое, и лишь затем, чтобы кислый вкус перебил другой – от ненавидимого им горохового супа. И больше ничего, дорогая тетя Лена. Откуда такие фантазии? Для чего наговариваете, для чего вы...

Слезы хлынули из глаз, и Веня, вытирая их ладонью, выскочил в коридор, оттуда на улицу и вот уже спешил к Сашиному дому. То, чем обидела мама, вмиг улетучилось,

исчезло, стерлось из памяти. Остался лишь змеиный шепоток – и вранье, вранье, вранье...

На середине пути он вдалеке заметил женскую фигуру и побежал со всех ног, пока не прижался к маме заплаканным лицом.

– Ну что ты, что? – она гладила его по голове, задавала какие-то пустые вопросы, лишь бы успокоить, а он только трясся всем телом и ничего не мог сказать.

– Пойдем, сынуля, пойдем, – тем же участливым тоном продолжала она. – Мне, знаешь, уже пора ехать.

Только на автобусной остановке Веня справился с чувствами. Теперь, казалось, он все объяснит, однако едва объяснять начал, как мысли и слова понеслись в разные стороны. И вышло нечто чудовищное в своей бессвязности, а закончилось и вовсе мольбою:

– Мама, заberi меня отсюда! Я очень прошу. Не могу здесь больше. Заberi прямо сейчас!

Она спокойно ответила, что сейчас никак нельзя, что надо потерпеть, что деньги заплачены до конца лета, что в Вырице здорово – птицы поют и кругом зелень.

– И вообще, я же тебе говорила, какая дома обстановка, – мама строго на него посмотрела, сузив огромные серые глаза, которые так отличались от его небесно-голубых.

Несмотря на то что Веня тотчас заявил о готовности ждать и день, и другой, и даже неделю, ее пальцы с легкостью высвободились из объятий его ладошки. В нетерпении она стала глядеть в конец улицы, откуда вот-вот должен был показаться автобус. И как бы Веня ни вставал на пути ее взгляда, стараясь привлечь к себе внимание, единственное, что он услышал, были короткие наставления, чтобы не думал скучать, больше бывал на воздухе, читал книги и держал глаза сухими, ведь мужчины не имеют права плакать.

То ли действительно помогли мамини слова о мужчинах, то ли ритмичная ходьба рассеяла мрачные мысли, то ли они сами собой рассеялись, – но только плакать Веня перестал.

Сосновый бор, через который он теперь шел, был как раз посередине между двумя дачами – его и Сашиной. Они часто встречались на здешних тропинках. В ожидании товарища, чьи опоздания давно вошли в привычку, Веня ходил от сосны к сосне, переступая через узловатые корни, и вдыхал сложную смесь запахов, которые казались ему нестерпимо скучными – щекоочущий ноздри от хвои, смоляной от деревьев, едкий от сухого подлеска. Честное слово, в чулане пахло лучше! Сама собою родилась фраза, вполне книжная, которая именно этим ему и понравилась, и он даже записал ее в тетрадку: «Вот вырасту, стану вспоминать юность, и первое, что вспомню, будет Вырица, а именно этот бор и мое невозможное одиночество».

Саша жил на даче, которую много лет назад купил его отец Виктор Пятницкий. Правда, сам хозяин здесь показывался редко: будучи капитаном научно-исследовательского судна, он почти всегда был в море (стоявший на комоде в гостиной портрет красавца в белом морском кителе всегда восхищал Веню). Зато, что ни лето, дача наполнялась родными и близкими капитана. Была здесь и суетливая, похожая на карманную собачку, жена Пятницкого; и трое детей: кроме Саши его старший брат Володя, увлеченный яхтами парень, и младший Федор, который в силу возраста был чересчур говорлив; и множество всякой родни – дяди, тети, бабушки, племянники... Одни приезжали, другие уезжали, создавая впечатление, будто Пятницкие держат гостиницу. Дом, однако, вмещал всех: огромный, старый, он состоял из объемов самых причудливых форм, которые, по всей видимости, были пристройками разного времени.

– Сашка, это я! – крикнул Веня из-за ограды и хотел уже открыть незапертую калитку, потому что на его зов обычно выходил мохнатый грязно-белого окраса пес неизвестной породы, которого совсем не хотелось видеть, – как вдруг на крыльце собственной персоной появился друг и тихо спросил:

– Ты чего орешь?

Вид у него был хмурый и какой-то растрепанный.

– Спал, что ли? – поинтересовался Веня с легкой иронией.

– Разве нельзя? – ответил он вопросом на вопрос, после чего вернулся в дом.

Спустя минуту Саша вновь стоял на крыльце – в шортах, футболке и кроссовках. Его спортивное облачение насторожило Веню: однажды, одетый так же, как сейчас, приятель выкатил из дома два велосипеда и предложил отправиться вдоль реки Оредеж. При этом он утверждал, что вместе с братьями освоил маршрут еще прошлым летом и тогда в каждом населенном пункте их встречали разве что не с цветами. Хорошо, поехали. Местами грунтовая, местами с разбитым асфальтом дорога то приближалась к реке, словно хотела стать набережной, то отступала от берега. И вот на пути первая деревня – с заколоченными через одну избами. И первый житель – без цветов, без хлеба-соли, зато в дым пьяный. Пошатываясь, он вышел на середину единственной здешней улицы, растопырил руки в стороны, не давая им проехать. Этого показалось ему мало, и он схватил с земли здоровенную корягу и метнул под колеса Сашиного велосипеда. Что стало причиной такого враждебного поведения, осталось загадкой, поскольку, не дожидаясь следующей коряги, они развернули своих двухколесных коней и во весь опор понеслись обратно в Вырицу...

Вспомнив тот случай и название негостеприимного села, Веня не смог сдержать улыбку:

– Снова хочешь на великах в деревню Введенское?

– Не на великах, а по ягоды, – поправил Саша и, подпрыгнув, сорвал шишку, отчего еловая лапа плавно качалась, словно желая доброго пути. Перед Веней тут же поплыли знакомые до отвращения картинки соснового бора – все эти стволы, ветки, кусты, корни... Он попытался возразить:

– Может, на реку?

– На реку потом.

Саша отличался упрямством. В остальном же он был обычным парнем, каких в каждом классе с дюжину, и ровесники ценили его за надежность, прямоту, за то, что всегда поддерживал любые игры и дурачества.

Сейчас, быстро сообразил Веня, самое подходящее время отвлечь друга от «ягодных» мыслей рассказом о походе

к Федосевне. Он начал было излагать свой план на вечер, когда Саша, толкнув его в плечо и крикнув: «Наперегонки!» – очертя голову понесся вперед. В ту сторону даже смотреть не хотелось, и Веня дал себе слово оставаться на месте. Однако не успел Саша скрыться за ближайшими деревьями, как, пусть и с неохотой, он уже шел следом.

По тропинкам, усыпанным хрустящей под ногами хвоей, изрезанным кривыми сосновыми корнями, Веня бродил с всегдашним чувством тоски по оставленным в городе делам и привычкам. Изредка он поглядывал на товарища. А тот знай себе перепрыгивал от одного черничного куста к другому и набирал горстями спелые ягоды. Его рот и пальцы вскоре сделались кровавого цвета. «Дракула», – думал Веня, вспоминая недавно прочитанную книгу о вампире в образе трансильванского аристократа, как вдруг в его мысли вторгся неожиданно близкий голос:

– Лопай, а то скоро сезон пройдет.

– Понимаешь, – Веня помедлил, – когда каждый день одно и то же, пусть самое вкусное, от него уже тошнит.

– А я могу разом хоть килограмм, хоть два...

Наверное, он столько и съел, потому что внезапно остановился и, чтобы побороть икоту, надолго задержал дыхание. Глаза его вылезли из орбит, покраснели щеки... Но вот он резко выдохнул, затем вдохнул и с радостью произнес:

– Отпустило. Теперь точно хватит.

– Очень полезная ягода, – съязвил Веня.

Потом они некоторое время молчали, прежде чем Саша, усмехнувшись, спросил:

– Здоровы ли безумная Алла и живописная Елена? – так, не без доли изящества, он именовал хозяев Вениной дачи.

– Все у них нормально, – ответил Веня с напускным безразличием.

Идти до оредежского пляжа не больше четверти часа. Саша был в ударе: без остановки рассказывал о «своих»

сумасшедших, сравнивая их с Аллой Романовной. По его классификации «люди нездоровые» делились на психопатов и тех, кто одержим какой-нибудь навязчивой идеей. Среди родни Пятницких таких набиралось человек пять, и для каждого из них у Саши была готовая характеристика. Особо он остановился на Алексее Владимировиче, дяде по материнской линии. Мало того что тот был жаден, так еще вел учет всему на свете. В первую очередь, конечно, считал деньги, однако не упускал из виду и более отвлеченные вещи: сколько деревьев растет вдоль дороги, сколько пролетело за окном птиц, сколько ступенек на лестнице, сколько проехало автомобилей в одну сторону и сколько в другую.

Когда они переходили дорогу, Саша так увлекся жизнеописанием дяди, что не заметил, как из-за поворота на полной скорости выехал трактор. Водитель дал по тормозам, высунулся из кабины и прокричал что-то ругательное. Он был молодой, светловолосый, с красным от гнева лицом. Шедший в задумчивости Веня только и успел что сделать пару шагов назад, пропуская уже набравшую ход машину.

И хотя Саша сразу вернулся к своему рассказу и был занимателен, изображая и голос дяди, и манеры, и то, как в такт подсчетам двигается сверху вниз его указательный палец – раз, два, три... – Веня в сторону товарища почти не глядел. В голове снова возник подслушанный на даче разговор, и он представлял себя то возле дома, то на крыльце, то напротив хозяйки, то рядом с ее дочерью... Как ему туда возвращаться, как видеть этих людей, как смотреть им в глаза? Единственный выход – уехать. Но мама запретила... Может, она и поменяла бы решение, сумеет он тогда открыться... Но ему никогда не повторить тех слов, которые с такой отвратительной легкостью произносила эта, как выражается Сашка, живописная, а на самом деле...

У Вени получился такой внутренний звук, будто он задыхается. Еще чуть-чуть, и могли брызнуть слезы – хорошо, Саша не видел! – а ведь мама говорила, каким выдержанным должен быть настоящий мужчина.

– Ну что, Александр, как настрой? – Веня, сам не заметив, перешел на мамин тон и хлопнул друга по плечу. Тот с недоумением на него покосился:

– В смысле?

– Да просто... – Веня замылся, потому что в голову должно лезть что-то мамино. И вдруг, в какой-то непонятной связи с тем, что ему вспомнился кровожадный граф Дракула, слова появились – собственные, горячие:

– Понимаешь, не люблю я эту Вырицу. Все равно, в какую погоду и когда. Нет, – прервал он себя, – хуже всего вечером в дождь... Одно исключение – здешний пляж. Оредеж разливается, берега красивые, кругом песок, вода чистая...

– Ты ж плавать не умеешь, – рассмеялся Саша.

– Какая разница? – Веня сделал обиженное лицо. – А откуда ты знаешь, что не умею?

– Сам признавался.

– Может, я пошутил, может, плаваю получше других?

– Да ну тебя, – махнул рукой Саша и побежал к воде, уже видневшейся в просвете между деревьями. Веня бросился следом, заметно отставая от быстрого товарища.

Там и сям, постепенно вытесняя траву, лежал песок. Когда же дорога резко устремилась вниз, песок желтел уже повсюду, раскинувшись широкой волнистой полосой. Справа пологий пляж замыкали заросли невысокого камыша; по другую руку берег был круче и весь порос стройными соснами; одна из них, точно привлекая к себе внимание, стояла у самой воды; несколько других, чуть-чуть до нее не добежав, сбились в кучу – все одной высоты, все с поклонами в сторону Оредежа. Их стволы бурого цвета были необычны: выше земли на метр-другой начинались корни, кривясь словно бы в шутовских усмешках, отчего казалось, будто именно тут сказочное сумело одолеть скучную жизнь...

Как всегда, остановились возле кривлявшихся сосен. Саша раздевался медленно и с едва заметной улыбкой поглядывал на Веню. Тот сидел, прислонившись к стволу дерева, горбился, обнаруживая под футболкой линию казавшихся беззащитными позвонков. Худые руки обхватывали острые, в желтоватых синяках колени. Сняв обувь, он по

щиколотку зарыл ноги в песок и наблюдал за тем, как, стоит лишь пошевелить пальцем, сразу образуются сыпучие оползни.

– Сидишь и думаешь, как бы побыстрее отсюда свалить, – заключил Саша.

– Вот и нет, – Веня вскинул голову. Его задело не столько сказанное, потому что это было правдой, сколько та легкость, с которой, оказывается, можно проникать в потаенные мысли.

– Да я не в обиду, – поспешил успокоить Саша. – Моему папе здесь тоже не нравится. Ни дача, ни вообще... Как ты заметил, он сюда и не ездит.

– А где он сейчас? – Веня вернулся к своей песочнице.

Саша полистал мобильник, протянул его небрежно: «Тут последние фотки из морского похода... Изучай!» – и побежал вниз, с криком и брызгами кинулся в реку...

Белоснежное судно с плавными обводами корпуса то шло по океанским волнам, то заходило в порт с лазурного отлива водою и рядами яхт вдоль пирса, то стояло у причала на фоне черного неба и усыпанных огнями небоскребов. И под каждым снимком была надпись: Бордо, Лиссабон, Ресифи, Буэнос-Айрес, Огненная Земля, станция «Беллинсгаузен»... А потом пошли фотографии капитана. Виктор Пятницкий везде выглядел безупречно: на капитанском мостике, в кают-компании, среди экипажа, на улицах Рио-де-Жанейро. Даже снега Антарктиды были ему к лицу...

Его папа тоже был капитаном – не на флоте, а в армии. Казалось бы, пустяшная разница, но она имела решающее значение. Да и как их сравнивать? У Пятницких дружная семья, трое детей. А он один... К тому же мама с папой вечно что-то делят, как выражаются у них в классе, в контрах... Мама, конечно, не первый раз о разводе говорит, но теперь, похоже, окончательно... И куда ему деваться? На дачу нельзя и сбежать нельзя. Хотя, даже если сбежишь, что делать дома? Без отца, с нервной мамой, от которой одни лишь упреки...

– Вот назло им всем, – проговорил Веня вслух и начал раздеваться. – Пускай потом вспоминают, но назад не вернешь...

Его охватила такая острая жалость к себе, как будто все уже случилось и родители, которых помирила смерть сына, пришли на могилку.

От кладбищенского видения, с плачущей мамой и безутешным отцом, его вернул к действительности раздавшийся с реки крик:

– Вода теплющая! Просто парное молоко!

Веня замер со снятой футболкой в руке, затем схватил Сашин телефон и быстро глянул, который час. Как его уго-раздило забыть?! Ведь можно опоздать к Федосевне, а после жди такого случая...

Он опять надел футболку, взял кроссовки, решив, что по песку быстрее двигаться босиком. Добежав до сосны на самом верху склона, он оглянулся на продолжавшего купаться Сашу: сильным током воды его отнесло далеко от пляжа, и теперь он греб против течения – неумелыми саженками, изо всех сил, – но не двигался с места. И хотя Веня собирался пригласить его с собой, сейчас он подумал о том, что товарищу гораздо интереснее плавать. Да и вообще, слишком много у него счастья...

Дмитрий ИГНАТОВ

Воронеж

РЯБИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ

Солнце только показалось из-за горизонта, а Никитична уже была на ногах. И хотя ноги всё чаще подводили – то зашоркают разóm, то на ровном месте заплетухнутся, то колени разболются к перемене погоды или так, – но поддаваться их прихотям Никитична не желала. Да и как тут поддаваться, когда делов-то кругом! Курей накорми, двор приberi, огород какой-никакой, да есть – со всем управляться нужно. Хотя и не лето – середина октября, – но всё же.

А тут на днях дёрнул её чёрт рябины набрать. И зачем бы она нужна была? Пусть бы птицы склевали, порадовались в холодное зимнее время. Но уж больно красивые крупные грозди свешивались с веток почти к самому морщинистому лицу Никитичны. Ни грибов и ничего другого ей в тот день так и не подвернулось. А рябина так манила своими ярко-красными ягодками. Набрала Никитична тогда целую корзину. Зачем? Она и сама не знала. Ещё не дойдя до дому, принялась себя ругать. «Куда пру? Позарилась, как сорока. Мало мне всё вечно. А теперь что же? Тащить тяжело, а выкидать жалко. Ладно. Варенье сварю».

Вспомнила, что давно собиралась мешок с сахарным песком до путя довести. От долгого хранения содержимое его слиплось, склеилось большими сахарными комьями,

почти что каменюками. Приходилось каждый раз с самого верху ложкой наскабливать. Ни чаю свободно не попить, ни печево присыпать. Давно бы весь его переколупать, да не с руки и повода не было. Так и откладывалось.

Провозившись до ночи с сахаром, Никитична окончательно приморилась. Не помнила даже, как стянула мужнины сапоги и улеглась на скрипучую кровать. Ночью пробудилась только ненадолго от какого-то шума. Кажись, гроыхнуло, но, не поняв, что именно и где, сразу снова уснула. А утром перво-наперво принялась за варенье.

Перебрала ягоды. Намыла банки. Закипятила воды. И тут почудилось ей, будто кто за окошком прошёл. А потом ещё раз в ту же сторону. И ещё. Да, не почудилось. И кто бы это мог быть? Никитична и в прежние-то времена на отшибе жила. А как все в города подались, тогда и во все. Со всей деревни один дом её обжитой. Никого кругом.

Вышла Никитична на крыльцо. Смотрит – снова по дорожке человек идёт. Чуть сутулится, но вроде молодой. И одет по-военному, да не по погоде.

– Чего круги наматываешь? – окликнула его. – Мож, в дом зайдёшь? Замёрз, небось?

Посмотрел он на Никитичну молча. И так, сквозь как бы. Словно и речи человеческой не понимает. А глаза такие... Голубые, что ли. Ясные. И как огнём электрическим светятся. Посмотрел он и дальше двинулся. «А куда? Тропинка-то эта на болота ведёт. По ней раньше все по грибы, по ягоды ходили. А этот не местный. Поди, ещё и юродивый. Сгинет по незнанию». Решила так Никитична и пошла следком.

Тропка узкая. Глубже в лес зашла и стала промеж деревьев петлять. Впереди спина чудного незнакомца маячит. Никитична позади, подотсталая – за молодым не угонишься. Да и осторожничают. Опасливо, но любопытно. Впрочем, неизвестный ни разу и не обернулся.

Вышли к воде. А он, не разбирая дороги, так в неё и пошёл. Мужнин сапог Никитичны в жижу чвякнул. А парень даже под ноги не смотрит.

– Эй! Куды ты прёсся?! Там же ж самая топь! – Нет. Не оборачивается. Не слышит.

Пригляделась Никитична и тут же обомлела. Перекрестилась аж. Незнакомец этот идёт, а воды не касается. Не то что по колено не уходит, а даже ряби после него не расходуется. Натурально, аки по суху. Чертовщина какая-то!

Дошёл он таким макаром до самой середины, куда и самый скаженный охотник не сунется, и тотчас пропал. Растворился в воздухе, как и не было. Тут Никитична уже во второй раз перекрестилась. И стоит в тишине и в одиночестве. Ждёт чего-то. Да только ничего странного больше не происходит. Тина на воде покачивается. Камыш чуть колышется. Лягушки квакают. Птицы в ветках изредка голос подадут. Желтеющая листва шумит. Не на что смотреть, в общем. «И чего стою как дура? Тьфу!» Плюнула Никитична. Пошла домой варенье доваривать. Только не до него уж...

Никак у неё странный случай из головы не идёт. Даже молитвенник старый нашла. Мать-покойница частенько его открывала, шептала под нос себе. А муж, когда жив был, не особо это дело приветствовал. «Ересь всё это!» – говорил. Может, так. А может, и не так. Да только что там читать, тоже знать надо. Не всё ж подряд – от корки до корки. А тут ещё и написано не по-человечьи. Язык сломать можно. «Ну её к шуту!» Закрыла Никитична книжицу. Полезла на чердак, где мужнино ружьишко хранилось, завернутое в промасленную рогожку. Ружьишко-то понадежнее будет... Достала. Вот оно! Лежит как новёхонькое. Муж к вещам трепетно относился: берёг, ухаживал. Хоть сейчас заряжай да на охоту. А чем заряжать-то? Крутнулась Никитична по хате, вытащила из трюмо надорватую картонку с патронами. Штук шесть и осталось-то... Зарядила два жакана, взвела курки, как муж показывал. Села с ружьишком в руках, задумалась. А оно стрельнёт ли вообще? Мож, от времени и порох-то негодный стал. Испытать бы... Пошла во двор. Наметила себе мишень – старое ведро с дыркой на полдна, пристроенное на заборе. Вскинула оружие. Приклад в круглое плечо упёрла. Прищурилась. Дыхание затаила... И не выстрелила. Забоялась чего-то.

Стала по обыкновению с хозяйством управляться. Пока курям еды задала. Пока листья насорившиеся со двора

смела. Пока то да сё. Уже и день к вечеру. Темнеет. И сама устала. Так до варенья руки-то снова и не дошли. Ружьишко подле кровати в углу поставила. Дух перевела. Улеглась. Уснула.

А утром первым делом за ягоды. Что ж такое? Перебирала ж вчера вроде... А они не перебраны. Али слепая такая стала, что с ветками всё поскидала... Заново занялась. Ну, теперь уж точно сделала. Глядь, а банок нет! Ну, банки-то уж точно она вчера намывала. Не могла же запомнить? Точно намывала. Как раз и этот странный за окном маячил... Поставила воды. Взялась банки по-новой подготавливать. Глянула в окно. И точно – по дороге вчерашний парень идёт. И прямо к дому.

Оглянулась Никитична, хотела припасённое ружьишко взять. А нету ружья-то! Куда девалось? А незнакомец уж на крыльце. Уже в дом входит. И спокойно. Как к себе. Сел на табурет у кухонного стола и смотрит своими глазюками светящимися внимательно и задумчиво так.

– Ты чего пришёл-то? – спрашивает Никитична. Только потом сообразила, что как-то шибко грубо это у неё получилось. Но парень и ухом не повёл. Привычный, видать.

– Приглашали же, – отвечает.

– Так то вчера было.

– Вчера? – переспросил, а сам будто не понимает. – А... Ну да... Наверное.

Разглядывает гостя Никитична. И правда военный, что ли? Кителёк с глухим воротом по самую шею. Брючки в цвет, явно форменные. Но не галифе, а как штатские. Парадные, что ли? Судя по обуви – так да. Не сапоги, а почти туфли лаковые. Само то по болоту расхаживать! Станный вид, в общем. И ткань-то у одежды сама блекло-серая. Кто в такой ходит? И ни тебе погон, ни лычек... На плече только... то ли квадратики, то ли ромбики нашиты в форме птички, якоря или чего-то такого. Моряк али лётчик? Не поймёшь.

– Ты, что ли, в звании каком? – уточнила Никитична уже мягше.

– Капитан, – говорит.

– Подводник, што ле? – решила угадать хозяйка.

– Наверное... Уже да...

Ну вот как такого понять? Решила ещё спросить:

– И откуда же ты сюда свалился?

Гость ничего не ответил. Молча пальцем вверх указал. Ну точно – контуженный. Выпрыгнул с самолёта, а парашют не раскрылся. Вот он, видать, головой обземь и шандарахнулся. Но вроде не буйный. Сидит спокойно. По сторонам оглядывается. Интересуется вроде как.

Совсем потеплела Никитична. Жалко парня-то.

– Давай тогда хоть чаем тебя напою. Варенье у меня только не сварено ещё... Ну ничо, можно с сахаром. Хлеб маслом намажу. Поешь?

Незнакомец головой замотал.

– Спасибо. Но мне пора. – Встаёт и к выходу. Хозяйка следом. Проводить же нужно.

– Ну, завтра заходи, что ли...

– Завтра? – обернулся. Опять не понял чего-то. – Да. Зайду.

– Недалеко живёшь-то? – полюбопытствовала Никитична.

– Там, – махнул в сторону.

– На болотах?

Кивнул парень в ответ и так же не торопясь по тропинке зашагал.

«Станный он всё-таки, – рассуждала Никитична, пока с вареньем возилась. – И зачем сказала, чтобы завтра заходил? Кто таков? Откуда? Ходит кругами... Нужен он тут больно! Зачем сказала?... Как чёрт дёрнул!»

Вспомнилось, что давеча видала, как незнакомец по болоту шёл. Всё же, думала, привиделось! Отгоняла от себя. Да какой там! Она же не самогонку, в самом деле, а варенье варит. Такое просто так не привидится. Точно – чёрт! Не зря говорят, что черти добрых людей искушают по-всячески. Показывают им разное. Он, может, и меня саму утопить хотел? Да, видать, Бог миловал! Перекрестилась опять Никитична. Продолжила вареньем заниматься.

А получилось оно красивое. Ягодки плотные. От кипятка запрозрачевели. На свету янтарём горят. Красота –

да и только! Шесть банок без малого. Вся корзинка ушла. И песку три кило.

Облизала Никитична ложку. Кастрюлю сполоснула. Села. На банку смотрит. Любуется.

«Загляденье! Да поем ли... Тут жить-то остаётся до следующего понедельника». Вдохнула. С такими скорбными думами о вечном и спать легла.

А утром уже и не до вечного. Курей покорми, двор прибери... Солнышко осеннее не греет совсем, но светит ярко. Дом золотым сиянием наполняет. Щурится Никитична. Улыбается невольно.

Глянула на полку, куда варенье ставила, да и оторопела. Нету! Ужель украл кто? Смотрит, а и банки-то на месте. Вот они наготовлены – все шесть штук – невымытые только. Бросила взгляд на корзинку в углу – и тут совсем обмерла. Полная ягод стоит. Всё такая же – с ветками. Как только что принесена. Ну точно – чёрт шалит! Кинулась к окну. А там он как раз. Уже не спеша по дороге шагает.

Проверила Никитична щеколду на двери. На всякий случай ещё и тяжёлый засов опустила, которым прежде отродясь не пользовалась. Поспешила за ружьишком. А оно всё там же – на месте – на чердаке в рогожку завернуто. Взяла. Слезла. А незнакомец уже на кухне на табуретке сидит, на стол локтем облакачивается.

– Здравствуйте, – говорит. Издевается, ясное дело.

– Ты чего меня путаешь? А? – строго спросила Никитична, а сама ружьём в парня грозно тыкает. Даром что не заряжено. – Куда варенье моё девал?

– Никуда не девал, – спокойно ответил незнакомец, словно вовсе и не испугался. Скорее заинтересовался только.

– А кто девал? Я вчера только варила, а сегодня его уже нет.

– Конечно, нет. Вы же сегодня его ещё не варили. Откуда ему взяться?

Так убедительно он это сказал, что Никитична даже внутренне согласилась по первости. А действительно, откуда? Не варила же! Аж ружьё чуть вниз опустила. Только через секунду опомнилась.

– Ты мне тут зубы не заговаривай! Признавайся давай!

– Пойду... – проговорил незнакомец, поднимаясь с места.

– Куда пошёл?

– Пора мне...

И, не обращая внимания на нацеленное оружие, бесшумно в сени вышел. Ни дверь, ни половица даже не скрипнула. Вот уже и за окном с дороги на тропинку свернул. По-за деревьями к болоту идёт. Никитична к двери. А там и щеколда, и засов – всё на месте. Как она изнутри заперла, так и есть. Ну чёрт! Как пить дать, чёрт вредливый!

* * *

Застоялось в этом году бабье лето. Вроде бы и снегу пора лечь, а даже дождей нет. Это оно приятно, конечно, да как-то не по правилам.

– Аномалия, – донёсся до Никитичны незнакомый хрипловатый голос.

– Ничо! Разберёмся! – бодро ответил другой, явно помоложе.

У входа скрипнули доски. Кто-то пару раз сильно стукнул в дверь.

– Хозяева есть?

Никитична обернулась. «Неужто снова лукавый шалит? Вроде нет. Он тихо заходит...» Пошла отворять. Сняла засов, щеколду повернула. На пороге стояли двое в шапках. В руках длинные тонкие палки, за плечами – рюкзаки. Один пониже и постарше – в очочках круглых. «На дохтура похож». Другой высокий и худосочный – вроде студент или солдатик молодой. Ружьё у него на плече ещё.

– День добрый, бабуля! – улыбается молодой. Старый важно кивнул, что-то под нос пробурчал. Никитична в ответ поздоровалась. Эти вроде не странные. Одеты по-людски хотя бы.

– Мы это... Из исследовательской группы...

– Из геологической партии, – поправил похожий на доктора.

– Ну да... – осёкся молодой. – Только это... Запутали тут у вас чутка. Дорогу не подскажете? У нас и карта имеется.

Высокий достал из-за пазухи сложенный в несколько раз лист.

– Отчего ж не подсказать? Подскажу. Заходите. Присядете хоть... В ногах правды нет.

Эти гости были попонятнее предыдущего. Бегло осмотрелись. Рюкзаки в углу свалили. Прочие вещи – сверху. Сели за стол. Сразу на нём карту свою расстелили. По всему видать – деловые. Ну, и от чаю отказываться не стали. Всё вежливо, обходительно.

– Что-то я ни одного местного ориентира на карте не вижу, – посетовал тот, что постарше был.

– Истинно – белые пятна, – поддакнул второй.

Никитична мельком глянула на план местности.

– Да вы, может, не туда смотрите. Вот же дорога наша обозначена. Луг, лес. Это вот болото, поди... А вот тут примерно дом мой.

– Так эта точка в двадцати километрах! Как же это мы так... – почесал репу молодой.

– Да уж не знаю, как это вас угораздило два десятка вёрст кругаля отмотать...

– Всё в навигации дело, – пояснил тот, что на дохтура смахивал, достал компас и на стол положил.

Стрелка у прибора крутилась безостановочно, как заведённая.

– Сломана, видать, ваша навигация, – оценивающе проговорила Никитична, – ишь как бесится.

– Бесчинствует, положительно, – подтвердил старший и перевёл взгляд на товарища. – А я вам говорил, батенька, кругами ходим!

– А вы, бабушка, откуда в картах так разбираетесь? – удивился тот, глянув на хозяйку.

– Я не в картах, а в местности разбираюсь. Муж тут смолоду охотился. Ну, и я...

Геологи переглянулись. Вот, мол, бабка, даёт. «Таёжница!» – посмеиваются.

Дальше сидят, чаёвничают, какие-то свои разговоры разговаривают про азимуты и напряжённость магнитных полей.

Никитична тем временем продолжает вареньем заниматься. Ягоды в очередной раз от веток обобрала. Погля-

дывает в окошко изредка: не явится ли чёрт опять. Нет. Пустая дорога. Опаздывает, что ли? Уже и гости засобирались. «Спасибо за чаёк, – говорят. – Пойдём. Попробуем дотемна к основному лагерю выйти».

Собрались. Оделись. На дороге ещё жестами пообсуждали чего-то. И пошли по тропинке, по которой чёрт гулял. Ну куда их всё несёт? Топь же там. Топь! Неужель не догадываются, что надо повдоль леса крюка дать, чтобы болото обогнуть? Подождала Никитична с четверть часа: не воротятся ли назад. А самой тревожно. Нет. Нейдут. Варенье с огня сняла. Набросила душегрейку. Сама пошла.

На улице не зябко вроде, а колотит. Нервное. Чувствует своим женским чутьём неладное что-то. Не заметила, как промеж деревьев и кустов к воде вышла. Слышит, поодаль что-то плещется. Присмотрелась – молодой геолух это. Почти под воду ушёл. Одни руки на поверхности да часть головы в шапке. И уж не кричит, а хрипит только. Воды с тиною нахлебался.

Хотела было Никитична тоненькую осинку накренить, чтобы парень ухватился. Да куды там. Сил-то бывших давно нет. Пока подходила, пока нагибала, он совсем под воду ушёл. Одна шапка осталась... А в паре шагов – вторая. И палки эти их длинные. Оба, видать, чуть в сторонку с кочки шагнули да сразу и ухнули.

Вернулась Никитична в дом сама не своя. А там уже чёрт сидит. Как раз за столом, где геологи чай пили. На стаканы пустые смотрит.

– Ну, как прогулялись? – спрашивает. Вроде как издевается, но грустно как-то.

– Гад же ты, – не сдержалась женщина. – Сколько душ на этом болоте загублено!..

– Не знаю... Это неинтересно.

– Что ж тебе, рогатый, интересно? – удивилась Никитична.

Даже злиться на своего незваного гостя сил у ней больше не осталось. Плюхнулась рядом на соседнюю табуретку.

– Интересно, инвариант ли это...

– Инва... Чего?

Молодой человек ничего не стал больше говорить. Ушёл ясным взглядом куда-то. В какие-то свои inferнальные мысли. Будто и не тут он вовсе. А потом очухался, сказал загадочно: «Вот завтра и посмотрим...» – и растаял. Как есть рассыпался в невесомую труху и исчез.

Всю ночь Никитична проворочалась. Никак уснуть не могла. Всё дневные страсти из головы не шли. Вроде приснула, да тут уже и первые петухи. Пора за работу браться.

Тому, что варенье не поварено и ягод опять полна корзина, Никитична даже не удивилась. Ладно уж. Как бы чего похуже не приключилось.

Принялась за привычные дела. Туда-сюда крутится. В окошко поглядывает. Снова чёрта своего ждёт. Без него вроде как и непривычно таперича. Смотрит, а к дому вчерашние геологи идут. Живые только. Да, точно они. Один пониже да постарше, похожий на дохтура. Другой повыше и помоложе, солдатик или студент. Дом со вниманием изучают, к двери направляются.

Никитична от окна отпрянула. Боязно со вчерашними покойниками всё-таки встренуться. Они уж и в дверь барабанят! А тут и чёрт откуда ни возьмись. Сидит себе спокойно.

– А вы им не открывайте, – советует.

Не привыкла Никитична чертей слушать, но тут спорить не стала. Самой отворять страшно. Притихла. Ждёт, что дальше будет. Стук прекратился. Ну, геологи, стало быть, люди образованные, интеллигентные, хоть и покойники, в дом ломиться не стали. Напротив крыльца потоптались, в карту свою посмотрели, руками поводили. Вроде как решали, куда дальше им деваться. Туда же и пошли, как вчера, – по тропинке через лес к болотам – в самую топь.

Никитична аж вздохнула с облегчением. И только молодой человек скорбно повторил:

– Инвариант...

– А по-человечьи?

– Неизменность. Отсутствие альтернатив. Единственная возможность.

– Безысходность, что ли?

– Ага... – ответил парень и задумчиво посмотрел в окно. Никитична тоже задумалась.

– Так что же они? Души такие неприкаянные, которые будут вечно кругами ходить и в болоте топиться? – озвучила она пришедшее ей на ум предположение.

– Можно и так сказать.

Гость, назвавшийся капитаном, которого женщина накрепко записала в злые духи, теперь показался ей разочарованным и печальным.

– Слушай, а ты сам-то не утопленник часом?

– Можно и так сказать... – повторил молодой человек то ли в ответ на вопрос, то ли подытоживая собственные мысли.

– Бедные, – сочувственно проговорила Никитична. – Это ж надо цельную вечность... Изю дня в день маются...

– А вы разве нет?

– А что я? – не поняла женщина. – Я в болоте не топились!

– Не топились... Но вы снова всё забыли.

– Что забыла?

– Этих людей. Меня. Наш разговор...

– Ничего я не забыла! – нахмурилась Никитична. – Я ещё из ума не выжила!

– Конечно, нет. Но, вероятно, человеческое сознание построено на восприятии постоянно меняющейся реальности. А когда попадает в инвариант...

– Ты мне тут словами мудрёными не щеголай!

– Ну, хорошо... Давайте с начала... – вздохнул парень. – Знаете, сколько раз вы пытались спасти этих двоих? – Он кивнул в сторону леса, где скрылись геологи.

Никитична хотела возразить, что впервые увидала их только вчера, но неожиданно для самой себя ответила: «Третий десяток пошёл...»

Вспомнилось ей в одночасье, как много дней прошло. Одинаково по-осеннему прозрачных, светлых и солнечных. Вспомнилось, что каждый день пыталась она сварить своё злосчастное рябиновое варенье. Как приходили к её дому заплутавшие геологи. И как потом, что бы она ни предпринимала, они всё равно тонули в болоте. Раз даже

скалкой одного саданула – того, что на дохтура смахивал. Всё бесполезно. Тонут, и всё. Как мёдом им там намазано.

– Что ж делать-то?

– Ничего, – спокойно ответил капитан. – Занимайтесь своими делами. У вас вон ещё... Варенье недоварено.

И пропал снова. Куда он всё время? И спросить боязно. Да и неловко. У всех же, действительно, свои дела. У него, стало быть, свои – чертовские. А у Никитичны целая корзина ягод опять не перебрана. Надо доделать уже...

* * *

Да. Задержалась осень в этом году. Никак проходить не хочет. Одна радость – погода хорошая. В огороде делов почти не осталось. Самое время заготовками заниматься. Вот бы ещё не странности эти.

Рассуждает так Никитична мысленно, а сама ягоды перебирает. Сама не помнит, в какой уж раз. Ну и что с того? Доделать же надо. Пропадут же иначе.

Делает. Ни на что постороннее и потустороннее не отвлекается. Вот и стук в дверь опять. Понятно – снова покойнички балуются. Никитична даже в окошко не смотрит. Надоест – сами уйдут. Да только не уходят что-то. Стук только сильнее сделался. Ногой долбят, кажись. Сказались совсем?

– Оглохли, что ли? Или померли все? – раздалось из-за двери. – Открывайте!

Нет. Это точно не утопленники. Те повежливее были.

– Да иду я! Иду! – отозвалась Никитична. Руки вытерла, пошла к двери.

А за ней офицер стоит. Только не какой-нибудь, а самый настоящий: в фуражке и с лычками. Ну, по этому-то сразу видно, что капитан. А по синему кантику – какой именно капитан. Хоть в реглане и галифе, но никакой не лётчик и не моряк. А совсем наоборот – оперуполномоченный.

Прошёл не здороваясь. В сапожищах прямо в переднюю. Глазами хищными по углам зыркнул.

– Ещё в доме есть кто?

– Да нет никого, милоч. Одна я.

Офицер хмыкнул с сомнением. Но смотрит: стол не накрыт, хозяйка вареньем занимается. Вроде поверил.

– Не видала тут, бабка, ещё кого недавно?

– Да нет. Сегодня вот ты первый зашёл.

– А что, ты кого-то ещё ждала?

Никитична посмотрела на гостя с недовольным прищуром.

– Никого я не ждала. Делать мне нечего, как ждать кого-то! А ты что? В женихи ко мне набиваешься? Говори, чего хотел.

Офицер рассмеялся. Должно быть, оценил характер. Заговорил более уважительно и миролюбиво. Этак с улыбочкой.

– Ладно... Ты скажи, не видала тут двоих в ватниках. Один помоложе, а другой постарше.

– Повыше и пониже? – уточнила женщина.

– Они самые, – кивнул офицер и сразу посерьёзnel.

– Сегодня ещё нет.

– Сегодня? Так они часто заходят?

Никитична не успела ответить, как в дверь постучали. Хозяйка сразу узнала этот стук. Сколько раз он уж раздавался? Ожиданно и неожиданно. Осторожный, робкий, почти жалостливый.

– Тихо! – вполголоса скомандовал офицер, а сам весь сжался от напряжения, вытащил пистолет из кобуры и настороженно взглянул из-за занавески на улицу, где покойники-геологи уже во всю руками водили, обсуждая свой маршрут. Вот определились. Снова отправились. В последний путь. Оперуполномоченный заволновался. Видно было, что он, словно охотник, боится упустить добычу.

– Из дома не выходить! Ждать здесь. Я скоро, – проговорил так же вполголоса, выскочил из избы и поспешил по тропинке следом за утопленниками.

Минут через десять – Никитична как раз с ягодами заканчивала – в прохладном воздухе раздались два гулких выстрела. А вскорости и офицер вернулся из леса. Сапоги до самого голенища в болотной ряске. Галифе по колено мокрые. Сам бледный и недовольный какой-то.

– Застрелил, что ли? – поинтересовалась Никитична, продолжая рассыпать рябину по банкам.

– Ушли...

– На дно ушли, что ли?

– Да... А ты откуда знаешь? – удивился офицер.

– Ну, милоч... – не отвлекаясь от своего варенья, ответила хозяйка. – А куда ж им, утопленникам, от тебя деваться, как не на дно?

– Ты что это имеешь в виду?

– Да ничего не имею. Говорю как есть. Утопленники они неприкаянные. Ходят тут изо дня в день да топнут. Места тут, видать, такие – нехорошие, гиблые.

– Нехорошие, значит? – пренебрежительно хмыкнул оперуполномоченный.

– Да ты не хмыкай! Сядь да обсушись. Скажи спасибо, что сам живой остался! А то сейчас бы шаболдался кругами, как эти... Да с чёртом ещё не встретился.

– С каким ещё чёртом? – уже откровенно насмешливо переспросил гость, пристраивая сапоги возле печки.

– Да кто его знает? Мож, болотный... Я в чертях не разбираюсь. Но то, что чёрт, – это точно.

Офицер сел у стола, закатал промокшие штанины, принялся разматывать сырые портянки.

– И как же он выглядит?

– Чёрт-то? Да навроде тебя. В форме даж.

– В какой форме? – заинтересовался оперуполномоченный.

– Да в серенькой такой... Только без погон. Без фуражки. И не мокрый. Да он и утонуть-то не может.

– Почему?

– По воде ходит и не проваливается...

– По воде ходит?... Слушай, бабка, ты мне этими религиозными бреднями зубы не заговаривай! – раздражился служака.

– Да больно надо. Сам расспросами отвлекаешь. Могу вообще молчать!

В образовавшейся тишине офицер задумчиво пошлёпал босыми ногами по струганному полу. О чём дальше говорить с полусумасшедшей старухой, он не знал. Ни-

китична покамест продолжала свои дела. Сняла с плиты подкипающий чайник. Плеснула в стакан кипятку, добавила заварки, поставила перед гостем. Потом ещё и старый тазик достала и подала. Опять же с горячей водой, но уже для ног. Пятки попарить от простуды – верное дело. Всё молчком, как и обещала. Обиделась, что ли? Вернулась к своим ягодам в банках. Офицер чаю отпил, а самому, видать, неловко, что хозяйку задел.

– А ты, что ли, с них варенье варишь?

– А то что же?

– Из рябины? Она же горькая!

– Это ежели просто так сахару сыпнуть. А я сначала кипятком зашпариваю. Вишь, как она в горячем живёт? Туда-сюда бурбулит. Как успокоится, я её ищю разок залью. А уже потом с третьей водой и сахаром – в вар.

Пока Никитична со знанием дела рассказывала рецепт, оперуполномоченный сидел и слушал. Чувствовал, как постепенно отогреваются его ноги, пил горячий чай. Смотрел на красные ягоды, которые, совершая затейливые кульбиты, то поднимались, то опускались в пузатых банках. И думал...

Тут точно творилось что-то странное. Выходит, пропавшие два года назад геологи – не погибли. Не саботировали работы. Не сбежали к китайцам. Всё это время они были здесь. Но что делали? Почему не выходили на связь? Нужно восстановить картину... В партии было пятеро. Тела троих нашлись в лагере. Записей там не было. Значит, бумаги унесли оставшиеся двое. Причастны ли они к смертям товарищей? Просто испугались? И куда направлялись? В сторону от лагеря... Но куда? Их уже не спросишь...

От уютного избяного тепла, горячей воды и ягодного духмана гость быстро угрелся. Чуть так и не сморился, сидя на табуретке. Уже смутно помнил, как хозяйка постелила ему на печи, как он пошутковал про Емелю, а потом с лёгким головокружением, словно всем телом съезжая вниз по пологой спирали, окончательно провалился в сон.

И вдруг очнулся, стоя посреди луга, упирающегося в лесную опушку с молодой сосновой порослью. Сзади лес и дальше лес. Над ним небо голубое, безоблачное. А под ногами

переросшая за лето сухая трава. Всё заполняется, вдаль уходит до самого края. И ветерок холодный в ней гуляет, шелестит, зиму надувает. Морозцем пахнет.

Офицер поёжился. Как он тут оказался? Вроде бы только что был в лагере потерянной экспедиции. Осматривал три скрюченных мумифицированных тела. Как они умудрились сохраниться да ещё и иссохнуть? За два года! В лесу! Загадка. И вроде вчера всё это было... А как же старуха? Он совершенно не помнил, как проснулся утром, как оделся, вышел и зачем снова пошёл осматривать место происшествия. Вот и ряд домов на противоположной стороне луга виднеется. И дорога слева идёт к бабкиной избе.

Пытаясь восстановить в голове последовательность событий, оперуполномоченный пошёл по дороге. Но с каждым шагом чувство, будто всё встречное он видит одновременно и впервые, и заново, не оставляло. Вот и дом знакомый. И крыльцо. Вроде уже и подходил, и в дверь ногой стучал. А как – не помнит. Странные дела. И место странное. Как вчера бабка сказал? Гиблое.

Вспомнил сразу вчерашних геологов. Шугнул он их, конечно, тогда неудачно. Думал, задержать, а они, наоборот – с перепугу припустили. Да прямо в воду. Но вот болото ещё разок осторожно проверить не мешало бы. Вдруг рюкзачок всё-таки всплыл. Офицер отвернул от Никитичного дома и зашагал напрямик к болоту.

А оно – всё такое же, как вчера. Мокрая земля, мхом густо поросшая, под ногами ходит. Кочки торчат. В чёрных прогалинах воды, как в зеркалах, небо отражается. А по их краю ряска чуть колыхнется. От вчерашних гостей – ни следа. Даже палки-щупы – и те пропали. Всё в себя болото затянуло.

Офицер прошёлся по краю болота, перед каждым шагом прикидывая, дотягивается ли рука до стволов тонких осинков или молодых сосёнок. Всё внимательно осмотрел. Нет. Ничего не видно. Хотел было назад к дому бабкиному вернуться, но услышал голоса какие-то. Засел за толстой сосной. Притаился. Голоса всё ближе. И вроде двое говорят. Смотрит, а это вчерашние его геологи. И приметы.

И одеты так же. Идут, как ни в чём не бывало. Живые! Как так? Неужели мистифицировали собственную смерть? Пройдохи... Ну ничего.

Офицер вжался в дерево. Пистолет наготовил. С геологов глаз не спускает, ждёт, что дальше будет. Они тем временем к воде подошли осторожно. Обсуждают что-то. В обрывках разговора про какой-то «эпицентр» речь. Ну, с этим ясно. Они же планировали метеорит упавший искать. Величины небывалой. И с массивным ядром. А в нём метеоритного железа, говорят... И чистейшего, без примесей, какого на Земле и не бывает. И с необычными свойствами. Не ржавеет, прямо как лучшая сталь. Структура там особенная, что ли... Дороже золота, в общем!

Так, значит, обнаружили они его всё-таки. Связали с источником магнитной аномалии. Там он – в самом центре болота. Как шлёпнулся, так и лежит. Туда и смотрели геологи, стоя у кромки болота, присматриваясь, каким путём пробираться будут. Прикинули. Двинулись, осторожно ступая по кочкам. Прощупывая дорогу впереди своими палками.

Пора! Офицер решил и оставил укрытие. Но стрелять на этот раз не стал. Просто громко приказал:

– Стоять! Не двигаться.

Пожилой замер, стал медленно поворачиваться на окрик. А молодой запаниковал. Дурак! Даже про щуп свой забыл. Метнулся вперёд прыжком на соседнюю кочку. И вместе с ней под воду целиком и провалился. Только трех на поверхности остался.

– Постойте! Послушайте, любезный! Вы не понимаете! – забормотал первый, завидев пистолет в руке оперуполномоченного. Сделал неловкий шаг в сторону, поехал всем телом, негромко охнул и тоже провалился по самую макушку.

«Что же эти учёные такие нервные?!» Офицер подскочил поближе. Упёрся ногой в поваленный ствол. Вроде надёжно. Одной рукой вцепился в тонкую осинку, другой – схватился за мокрую лямку рюкзака. Поташил на себя. Тщетно. Здоровый боров этот интеллигент в очочках. А трясина его уже цепко за ноги внизу ухватила. Не выпускает.

Ещё попытка. Ещё... Бревно под ногой оперуполномоченного, кажется, проседает, прокрутиться хочет. Осинка наклонённая трещит.

И вдруг голос. Вроде и не громкий, как над ухом самым, но всё вокруг заполняющий. Словно от самой воды идёт и по всему болоту распространяется.

– Бросьте этот рюкзак! В прошлый раз он уже утянул вас на дно. Забыли?

Оперуполномоченный руку не отпустил, но глаза поднял. На значительном отдалении, как раз в той стороне, куда геологи идти намеревались, виднелась человеческая фигура. Неизвестный стоял посреди болота, вытянувшись во весь рост, а потом зашагал напрямик к офицеру так ровно и так спокойно, словно ступал по твёрдой поверхности. И выглядел в точности так, как описывала бабка, – в серой форме непонятной принадлежности и без знаков различия. Голубоглазый. По виду лет двадцать пять, не больше.

А дальше неизвестно, что первое случилось: то ли бревно качнулось, то ли тонкая осинка не выдержала напруги, но с резким треском оперуполномоченный полетел в воду. В ту самую яму, где пару минут назад профессор в очках с рюкзаком своим сгинул. В последний миг успел ухватиться за крупный шмат какого-то дёрна. Завис подбородком над водой. В нескольких сантиметрах от неминуемой смерти.

Неизвестный же не торопясь подошёл к утопающему, встал на отъехавшее в сторону бревно, будто не весил ничего. Посмотрел на офицера сочувственно.

– Здесь полно топляка. А кислорода в воде мало. Пни и коряги покрываются растительностью сверху быстрее, чем успевают истлеть внизу, – пояснил зачем-то.

– Ты кто вообще такой? – спросил оперуполномоченный, стараясь не делать резких движений.

– Наверное, просто наблюдатель...

– Резидент? Чей? Немецкий?

– Нет... Берите выше, – неизвестный заулыбался.

– Английский? Американский?

Молодой человек отрицательно мотнул головой.

– Даже не китайский. Да и не резидент я. И даже не разведчик. И не шпион. И не лазутчик. И даже не диверсант. Говорю же – просто наблюдатель.

– Помочь мне, значит, не собираешься? – съязвил офицер.

– Нет. Только наблюдать, – на полном серьёзе ответил парень. – Но я могу вам подсказать. В следующий раз не ходите за этими двумя. Ничего ценного для вас они не знают. Да и прохода тут нет.

Оперуполномоченный сделал последнюю решительную попытку вырваться из трясины, но мокрая трава рвалась, пальцы скользили по склизкому грунту, набивающемуся под ногти, но не держащему человеческий вес. Трясина быстро уволокла его вниз. Пару минут над поверхностью ещё сжималась пятерня, хватающаяся за воздух. Шли пузыри. Но скоро и они пропали.

* * *

– Осень наступает по всей округе. Раздевает яблони в саду. Золотит рябины на полянах. Пунцовой краской расписывает осины на болотистом берегу. Да и от самого озера всё чаще по утрам тянет холодком...

Никитична банку морщинистой ладошкой потрогала – остыла уже – слила воду, новым кипятком заварила. Глянула на гостя. Необщительный он сегодня какой-то. Уже и геологи с утра в дверь стучали – ушли. И служака тот казённый у дома проходил несколько раз – всё по округе шагает, высматривает чего-то. А этот сидит – в блокнотик пишет. Под нос слова бубнит.

– Что ты там бормочешь? – спросила Никитична, вытирая руки полотенцем.

– Рассказ пишу.

– Писателем, что ли, заделался?

– Мне больше нечем заняться.

Хозяйка отвела от молодого человека недовольный взгляд, решила вообще на чёрта внимания не обращать, вернувшись к своим хлопотам. Дождалась, когда ягоды во втором кипятке успокоятся и остынут. Залила холодной

водой, добавила сахару, проварила. Стала раскладывать. Почти шесть банок вышло. Как обычно. Каждую любовно накрыла промасленной бумагой, аккуратно бечевой завязала. Стала на полке расставлять. А потом глянула снова на гостя.

– Отпусти меня...

Тот оторвался от записей, встретился своими ясными глазами со страдальческим взглядом Никитичны.

– Не могу.

И так горестно ей сделалось. Так пусто и безысходно. Инвариантно, как чёрт сказал бы. Тут бы и заплакать, но дверь с шумом распахнулась. Хозяйка уже и забыла про засов. Опять не закрывает. Всё одно устроили проходной двор.

Вместе с порывом прохладного ветра в хату вбежал оперуполномоченный. С пистолетом наголо. Фуражка чуть сбита на сторону. Ну, хоть штаны не сырые.

– Всем стоять!

Молодой человек закрыл блокнотик, медленно поднялся с места.

– Сидеть!

– Ты чо раскомандовался-то? Вбежал как оглашенный. Пистолетом своим тычешь, – возмутилась Никитична.

– Тут вопросы задаю я! – огрызнулся офицер. – Это, что ли, чёрт твой?

– Ну да. Орать-то чего так?

– А я думаю, – прищурился оперуполномоченный и ткнул стволом прямо в молодого человека, – что это агент вражеской империалистической разведки, который ведёт тут подрывную деятельность... Возможно, с применением гипноза и прочих психотехник.

– Я, наверное, пойду... – проговорил новоявленный шпион. – Как-то у вас тут нервно.

– А ну, ни с места! – рявкнул оперуполномоченный. И то ли в горячности, то ли оттого, что рука его, сжимавшая металл, и без того уже дрожала от холода, спохватую выстрелил. Аж сам опешил! Да больше даже не от самого залпа, а что пуля насквозь незнакомца прошла и угодила в грубо сбитый посудник. Одна из банок разлетелась со звоном. Ещё тёплое варенье тягучей струёй потекло с полки прямо на пол.

– Ты что делаешь, ирод? – всплеснула руками Никитична. – Сколько продукту перевёл!

– Да не верещи ты про своё варево... Всё равно оно у тебя горькое.

– Горькое? Почём тебе знать? Ты ж не пробовал ни разу!

– Он права, – подтвердил агент империализма, капитан неизвестных войск и чёрт в одном лице, – вы ни разу не попробовали.

– Отставить разговоры! Пошли! – приказал офицер, продолжая угрожать незнакомцу, будто в этом всё ещё был какой-то смысл.

– Куда?

– На болото твоё! Впереди пойдёшь...

– Это невозможно... Но давайте попробуем, – согласился молодой человек. Похоже, он был даже рад, что начало происходить нечто для него необычное и интересное.

– Да уж! – с раздражением одобрила Никитична. – Идите оба отсюда! Пока все банки мне не переколотили!

Визитёры, впрочем, и сами покинули избу без особых уговоров. Никитична же ещё немного поохала над внезапной утратой да пошла убирать осколки.

* * *

Вечерело. Через болота довольно резво пробирались две фигуры. Чёрт, как и было приказано, шёл впереди, невесомо ступая, проскальзывая над водой, не создавая даже мельчайшего шума. Следом, вытянув руку с пистолетом, аккуратно перешагивал с кочки на кочку оперуполномоченный. Они сразу оставили в стороне место, где погибли геологи, обошли болото краем и теперь плавно продвигались к центру болота по какой-то хитрой сходящейся спирали.

– А вы интересный человек, – первым нарушил молчание незнакомец. – Наблюдательный. С пытливым умом. С фантазией. Буквально ни разу не повторились.

– Оставь себе эти любезности. Я просто хочу разобраться, что за чертовщина тут творится, – холодно ответил офицер.

– Профессиональное... Понимаю. Но ведь вы уже сами поняли, что тут происходит.

– Завтра больше не наступает, – проговорил оперуполномоченный. Его спутник лишь молча кивнул в ответ. Оба не сговариваясь остановились у небольшого круглого «озера» посреди болота. Кочек и коряг здесь не наблюдалось. Ряска не покрывала поверхность. Как раскидало всё в стороны. А близлежащие камыши казались иссушены неведомым жаром. Только ровная прозрачная гладь воды, и под ней...

– Да, на метеорит не похоже, – озвучил офицер свои мысли.

Шагах в пяти от места, где он стоял, под водой лежал здоровенный металлический шар метров полутора в поперечнике. Блестящая, практически зеркальная поверхность в лучах заходящего солнца выглядела медно-золотой.

– Что это? Какая-то бомба?

– О! Это намного опаснее любой бомбы. Это космический корабль, – незнакомец заулыбался, а потом добавил с нескрываемой гордостью: – Ещё вы, кажется, хотели знать, кто я? Я капитан этого корабля.

Очень скоро солнце совсем скрылось за верхушками сосен. Диковинный объект тоже скрылся из виду. Но почему-то оперуполномоченному всё ещё казалось, что он чувствует невидимое тепло, исходящее из центра болота. Он сидел на сухом берегу у костра и смотрел на огонь. Чёрт, шпион, пришелец – кем бы он ни был – устроился напротив и тоже наблюдал за языками пламени, скачущими на сосновых ветках.

– Забавно... У вас есть шанс пообщаться с представителем внеземной цивилизации, а вы не знаете, что спросить. Признаться, и я не знаю, что вам рассказать... О пространственной и временной замкнутости Вселенной. О том, что Вселенная каждый раз схлопывается, чтобы всё началось сначала. А когда не схлопывается, мы помогаем ей...

– И как всё это закончить? – спросил офицер, не глядя на собеседника.

Пришелец растерянно пожал плечами.

– Не знаю. Но это иронично... Когда становишься всемогущим, по-настоящему осознаёшь, как мало можешь сделать. К сожалению, я такой же пленник здесь, как и вы... Но вы хотя бы можете умереть...

Оперуполномоченный уже не слушал объяснения странного молодого человека. Проведя сутки на ногах, он чертовски устал, и теперь его неотвратимо клонило в сон. Офицер закрыл глаза лишь на секунду, ощущая, что вот-вот провалится в забытие. А когда открыл их, был уже день. Всё тот же. С тем же лесом. Полем. Пожухлой травой. И ясным голубым небом над головой.

Не было ничего удивительного, что в это самое время пришелец лежал на подёрнутой ряской воде и смотрел на те же проползающие по небу облака. Он запомнил и выучил каждое. Тем более что за день их проходило всего-то двадцать семь штук. Это было одно из миллиардов чисел, хранившихся в бортовой памяти корабля. А теперь, значит, и в его собственной памяти.

Лишённый способности забывать, капитан помнил каждый день, хотя давно не различал их. А чтобы иметь хоть какую-то точку отсчёта, первым или даже нулевым стал называть день прилёта сюда. Это мог бы быть последний день...

Яркое воспоминание. Тысячелетняя миссия провалена. Предсказуемая, рассчитанная неудача. Лишь звено в цепи ожидаемых провалов, неминуемо приближающих к успеху. Командир наделяет штурмана капитанскими полномочиями, а потом даёт команду завершить тахионный манёвр и запустить самоуничтожение корабля. Он не боится смерти. Руководителя такого уровня в любом случае извлекут из микроволнового фона вселенной. Новый капитан такой привилегией не обладает. Но точно знает – всё обязательно повторится. Звёзды, планеты, а значит – и он сам.

Корабль – небольшой аппарат, не предназначенный для посадки, – скользит вниз по времениподобной траектории, входит в атмосферу, трётся об неё своими круглыми боками. Показатели внутри становятся несовместимы с какой-либо жизнью. Но пассажиры не испытывают боли. Их сознание давно переведено в цифровую форму, а общим

телом стал сам корабль. Первой отключается нейрокапсула командира экспедиции. Капитан, теснее связанный с системами управления корабля, получает шанс продлить свою агонию. Отсчитывая секунды до ликвидации, компьютер в то же самое время лихорадочно копирует оставшееся сознание в резервные подсистемы. Согласно протоколу, пока на корабле есть «кто-то» — он должен «жить». До самого конца. Который так и не настаёт...

Таймер замирает в нуле, фиксируя в памяти капитана символическое мгновение нового начала. Диагностика сообщает, что «система поджига заряда сгорела». Механическая поломка, которую уже никто не исправит. И каламбур, который никто не оценит.

Корабль с грохотом падает в болото, испаряя воду и высушивая камыши. По системе пробегает целая череда сбоев и автоматических решений, которые никто не принимал. В недрах аппарата опять включается тахионный индуктор. Окрестности озаряет голубоватая вспышка, за которой следует невидимое возмущение. Устанавливается радиус временного контура. Всё. Манёвр завершён. Аппарат стабилизирован и находится в состоянии равномерного движения. Компьютер считает, что полёт продолжается. Значит, полёт продолжается...

День 4827. Пришелец улыбнулся, представляя, что ведёт бортовой журнал. Совершенно бессмысленное занятие, учитывая, что каждая его мысль и так сохраняется в бортовой памяти. Мыслей-то полно... А вот надежды на то, что батарея когда-то разрядится, не осталось. Временной контур надёжно замыкает физические процессы в нескончаемом цикле. Подпитывает сам себя, не совершая работы. Система пришла в равновесие. «Живое» сознание функционирует. Вмешательство не требуется и блокировано. Компьютер справился и доволен собой. А капитан может расслабиться.

Что ему остаётся? Погрузиться в симулированную реальность. Или в виде проекции прогуливаться по реальности настоящей, но ещё более ограниченной. Да. Капитану было откровенно жаль людей, которые помимо собственной воли попали в радиус.

«Ладно эти двое геологов ничего не замечают, хотя, казалось бы, учёные. А как же милая пожилая женщина? А мужчина в форме? Наблюдать за их действиями интересно, но, кажется, они уже начали страдать от своего положения. А сколько таких ещё будет? Пока территория вокруг достаточно дикая, но когда-нибудь она окажется освоена лучше. Тогда несчастных случаев не избежать. Любой сможет нечаянно войти. Но никто не выйдет».

От грустных мыслей капитана отвлёк звук выстрела. Следом второй. А через какое-то время — третий. Пришелец поднялся с поверхности воды, стал всматриваться в опушку леса. Неужели служивый снова геологов пугает? Но нет... Незадачливых учёных на горизонте не было. Офицер выскочил к болоту один. Огляделся по сторонам. Быстро увидел знакомого, кивнул и отправился к шару уже знакомым окружным маршрутом. Надо же! С первого раза запомнил. Всё-таки выучка! Ничего не скажешь. Впрочем, на бледном лице оперуполномоченного всё равно читалось волнение. Он явно хотел что-то сказать, но не знал как.

— А вы молодец... — первым заговорил молодой человек. — Решительный. Всех перестреляли. Бабушку-то за что только?

Офицер облегчённо вздохнул. Тяжёлого признания получилось избежать.

— На всякий случай. Попробовать. Может, что-то изменится...

Пришелец молча покачал головой, и мужчина сразу приуныл. А потом твёрдо сказал:

— Надо это заканчивать, — поднёс пистолет к виску и выстрелил. Его высокая фигура пошатнулась, стала оседать на подгибающихся коленях. Шлёпнулась на спину, нелепо раскинув руки, застыл в красноречивой позе. Дескать, ну, извините, что так получилось. Это заставило капитана неловко улыбнуться. Эх, если бы всё решалось так просто.

* * *

Никитична уже запаривала ягоды в банках, когда в дом спокойно вошли два человека в форме. Что-то опаздывают

нонче. И почему вместе пришли? Неужель задумывают чего? Ну, хоть бы погром опять не учинили. Дебоширы форменные.

Но нет. Настроены вроде миролюбиво. Оба поздоровались, тихонько сели к столу, обсуждать стали чёт. Опять на учёные темы. Энергии, радиусы какие-то...

– Да... безвыходная ситуация, – задумчиво пробубнил оперуполномоченный.

– Есть один вариант, – так же тихо продолжил молодой человек. – У меня пока что остаётся доступ к нейросканеру и радиопередатчику. Можно попробовать нагрузить их, чтобы батарея просела до критического уровня.

Офицер закивал.

– Вроде ясно. А что для этого нужно?

– Чьё-то сознание. – Парень поймал вопросительный взгляд оперуполномоченного и сразу пояснил: – Устройство делает снимок памяти и создаёт полную нейронную схему носителя для дальнейшего переноса и запуска на любой небиологической базе.

– Ну?

– У меня не осталось нейрокапсул, куда получится сделать запись. Но это колоссальный объём данных. Если подключить радиопередатчик и выплюнуть всё в радиоэфир... Батарея разрядится. Компьютер отключит тахионный индуктор. Временной контур разомкнётся. И всё будет кончено... Правда, есть нюанс... В ходе копирования оригинал сознания стирается. А после обесточивания вырубится и мой мозг. Полное и безвозвратное сознательное развоплощение. Сначала вы, а следом я.

Мужчины ненадолго замолчали. Только Никитична гремела в тишине столовой ложкой, помешивая варенье.

– Да уж... Это страшнее, чем пуля в лоб... Но если получится, что будет с остальными? – офицер указал взглядом на хозяйку, полностью погружившуюся в свой кулинарный процесс.

– Никто не выйдет... Тут возможно существовать сколько угодно, но в конце энергия всё равно будет изъята. Вселенную не обмануть. Не исключено, что схлопнувшийся пузырь выбросит кого-то в пространства иных размерно-

стей... Не знаю. Мой демон Лапласа ограничен локальным горизонтом частиц.

– Ага! Демон! – оживилась Никитична. – Говорила же – чёрт это!

Оперуполномоченный раздражённо махнул на неё рукой. Помолчи, мол, тут дела серьёзные обсуждают. Вот тебе и выбор: небытие или иные пространства. Не знаешь даже, какой вариант лучше! А в итоге-то всё одно... И ладно б только за себя решать.

Офицер снова глянул на бабу, вернувшуюся к своей стряпне. Вспомнил вечных утопленников – геологов. Стоит ли объяснить им всё? Да и поймут ли? И зачем? Сколько ещё может быть жертв, пока эта язва тут открыта... Все войдут. Никто не выйдет... Нет, надо это заканчивать.

Он встал из-за стола, уверенно кивнул пришельцу, направился к выходу. Только в проёме уже оборотился, сказал с горькой усмешечкой: «Значит, так и сделаем... Сначала я, а следом ты», – и вышел.

Неизвестный молодой человек ещё немного посидел, наблюдая за Никитичной. Пару раз прошёлся по кухне. Всё думал о чём-то, касался пальцами разной мелочи, типа солонки или оставленной на столе ложки, точно стараясь запомнить каждую. А потом, поди что, тоже решил уходить.

– Всё забываю спросить... Вас случайно не Оксана зовут?

– Нет. С чего ты взял? – удивилась Никитична, завязывая бечёвку на банке.

– Просто... Она тоже варила варенье. Вишнёвое.

– Ну, мало ли кто варенье варит – улыбнулась женщина.

– Может, Светлана?

– А это кто ещё?

– Не знаю... Командир мой знал.

– Местная, что ли? С нашего района? – решила уточнить Никитична.

– С вашей планеты.

– Чудной ты, чертяка. Да мало ль кого Светланой зовут...

– А вас?

– А я Алевтина.

Пришелец кивнул и хотел уже последовать за оперуполномоченным, но хозяйка окликнула его. Почему-то Никитичне казалось, что видит она своего странного гостя в последний раз.

– Слушай, а какой же сегодня день... на самом деле?

Тот как-то долго смотрел на неё своими ясными голубыми глазами. Но не сквозь, как прежде, а прямо. Как в душу заглядывал. От чего внутри щемило. Затем чуть улыбнулся, тепло так, почти с заботой, и ответил:

– Третье сентября.

* * *

Когда солнце вновь показалось из-за горизонта, по всей округе уже лёг снег. Болото начало сковывать тонким ледком. Деревья стояли в белоснежном кружеве. Присыпало и поле, и дорогу, и двор. Расчистить его хозяйка утром так и не вышла. В доме было тихо и пусто. Только на покосившейся полке старого буфета стояли шесть банок рябинового варенья. Почти шесть. Без малого, конечно.

Степан РАТНИКОВ

Кириши, Ленинградская область

ТЕНЬ МАТЕРИ

Томный вечер последнего ноябрьского воскресенья пенсионерка Наталья Аркадьевна проводила – по сложившейся привычке – в скрипучем кресле напротив телевизора. Но не вязала, как чаще всего бывало, и не внимала мелькающим на выпуклом экране говорящим головам, а грустно смотрела в никуда, мысленно путешествуя во времени.

Вот она в сениях, заставленных контейнерами с рассадой, горячо обнимает самого желанного в своём доме гостя – единственного сына: он впервые за полтора месяца наведалься в гости к одинокой старушке и привёз ей давно обещанную пряжу и кое-какие продукты, но на мольбы остаться с ночёвкой, а не сразу же, как обычно, рвать когти в гремющий, гудящий и галдящий город, реагирует холодно, дескать, свободным временем не располагает, хотя на самом деле не имеет ни малейшего желания оставаться в этих опостылевших с детства стенах...

Вот он же, родненький сынуля, вспомнившись теперь как лохматый краснощёкий пятиклассник, сгорбленный сидит за заваленным тетрадками и учебниками столом, мусолит во рту засохший бублик, исподлобья глядит на квёлую родительницу, снимающую с себя поношенное пальто, и понимает: снова измоталась на треклятой работе и помогать с домашним заданием не возьмётся, тогда как отец наверняка бы уделил ему внимание, да только

уже третий месяц кряду проживает с другой женщиной, якобы не склонной к постоянному ворчанию...

А вот сын, уже без пары недель абитуриент, планирующий поступать – наперекор материнским наказам и вопреки учительским дифирамбам – всего-навсего в техникум, напоказ хлопает дверью и, толком не одевшись, мчит под проливным дождём к своей подруге, которую будущая свекровь посмела записать в распутные девки, даже не узнав её как следует...

– Мамулечка, прости меня, дурака, – с нотками искренности в голосе промолвил слащавый сериальный персонаж.

Наталья Аркадьевна будто пришла в себя, пробежалась взглядом по телеэкрану, чему-то улыбнулась и потянулась за исцарапанным мобильником. Всматриваясь в потёртые кнопки и аккуратно на них нажимая, она пожёвывала губу и прикидывала, с чего начнёт незапланированный вечерний разговор.

– Мама, что-то срочное? – послышалось на другом конце.

– Сынок, здравствуй! Срочное? Нет. Я так... Просто узнать, как вы там поживаете. Как сам? Как Никитушка?

– Мама, он же просил... много раз просил тебя не называть его так.

– Ой, пустая моя голова! Всё время забываю, – призналась Наталья Аркадьевна и пошевелила онемевшими пальцами на ногах, облачённых в шерстяные носки. – Не злись только. Ну, как вы?

– Нормально мы. Что с нами будет-то? – удивлённо произнёс сын, сидя на краешке огромной кровати. – Случилось бы что – сам тебе сообщил бы. Недели три назад все новости тебе рассказал. Пока всё так же. Чего называть-то зря, ещё и в такое время?

– Не злись только, – повторила мать, заёрзав в кресле и взглянув на относительно свежий снимок в нелепой пластиковой фоторамке, откуда на пенсионерку глядели её сын, красавица-невестка и внук-шестиклассник, который пошёл телосложением не в подтянутых родителей, а в круглолицую бабушку. – Голос твой давно не слышала. Не звонишь, не...

– Ты опять за своё?.. – в трубке раздался недовольный протяжный выдох. – Я ведь объяснял сотню раз: какой смысл трепаться попусту, если ничего особенного в последнее время не происходило? Знаешь же, как меня бесит вся эта болтовня телефонная. На чёртовой работе сколько трепаться приходится: этому позвони, тому перезвони... Не хватало ещё дополнительно что-то на себя свешивать. А когда знаешь, что всё равно ничего нового не услышишь, – тем более. Будет повод – наберу обязательно. Или в гости заскочу. Вживую пообщаться, за чашкой кофе, например, или чая, – совсем другой разговор. А так, от нечего делать, по телефону... Вот честное слово, бесит!

– Когда ж он будет-то, повод этот? – сказала куда-то в сторону Наталья Аркадьевна и подумала заикнуться о Дне матери, но не стала. – До января-то хоть заглянешь? Или как в последние годы: дела, суeta?.. – приуныла она.

– Откуда мне знать? Постараюсь, конечно, но с моей работой обещать что-то... Мама, ты такая странная. У тебя, вот честное слово, всегда всё просто: сидишь там себе, сериалы смотришь, чаи гоняешь, воду я тебе давно уже в дом провёл, дрова, когда попросишь, привожу, пенсия тебе четвёртый год сама на карточку капает, можно планировать что угодно, полная свобода действий. А я понятия не имею, что завтра будет, где мне предстоит оказаться, какие испытания меня ждут. Обо всём сразу и не расскажешь. Да и некогда: если минутка свободная выпадает – предпочитаю отдохнуть. Раньше-то сдуру думал, что собственный бизнес – это рай, а теперь понимаю: тюрьма тюрьмой. А забросить невозможно, иначе по миру пойдёшь! Жена, по крайней мере, точно к другому убежит. Тебе лучше и не знать, через что я каждый день прохожу. Меньше знаешь – крепче спишь.

– Понимаю. Жили б мы все вместе – не было бы у меня к тебе, сынок, никаких вопросов. Не лезла бы зря не в своё дело. А только помогала бы, когда надо. Но зачем я вам, молодым, нужна там? Мешаться под ногами? Вот ещё!.. Лучше в своём доме помру, – заключила Наталья Аркадьевна и взглянула на небольшие трещины в окошке, непонятно откуда возникшие ещё в конце лета, когда она ездила

на денёк к сыну. – Мне в деревне спокойнее, чем в городе. Да и Никитушке тут... Ой, прости, снова заговорила. Никите тоже тут нравится. Он сам это говорил, когда прошлым летом у меня гостил.

– Поверь, если б не вышка в соседнем посёлке, ты бы внучка ненаглядного никакими плюшками в свою деревню не заманила. Сдалась бы она ему без мобильного интернета...

– Неправда! Да и что плохого в этих ваших тырнетах, если мальчишка в итоге смышлёным растёт? Он уже больше меня знает. И никакой не лентяй, как ты его называешь. Просто дети за год в школе устают – отдых им нужен. Себя-то вспомни...

– Я и не забывал, – парировал сын. – Только домашнее задание, в отличие от некоторых, сам всегда делал.

– И всё равно внук у меня хороший. Жаль, что вы его ко мне надолго не привозите. Недельки на полторы всего. И то – раз в год. Когда на курорты свои летаете с невесткой.

– Мама, хватит уже причитать! Каждый раз одно и то же. Никита сам не хочет никуда с нами летать. Видимо, пирожки твои для него важнее, чем заграница и пляжи. А насчёт деревни... Нравится тебе там? Отлично. А я вот рад, что не живу там больше, что смог вырваться из этой дыры. Не вырвался бы – тебя да батю-покойничка, наверное, проклинал бы до конца дней своих... за то, что родили и растили меня там!.. Вот у Никиты сейчас... У него всё сейчас есть. Ему тут, в городе, не на что жаловаться. А у меня в детстве что было? Ничего! И никого, если по большому счёту, особенно в старших классах. Поэтому живи в своей деревне сама, если так нравится. Я тебе предлагал в город переехать? Предлагал! Однушку бы хорошую тебе купили где-нибудь рядом с нами. Но ты ведь упёрлась, сарай свой бросать не захотела. Могила отца, видите ли, рядом с домом!.. Хотя из города до кладбища максимум часа два езды. Ну, если на машине... И вообще, при жизни вы, значит, смогли расстаться, а теперь вдруг – любовь вечная. Вот честное слово, не понимаю я тебя. Никогда не понимал. И хватит своё «помру» везде совать. Тебе даже семидесяти нет. Ещё правнуков нянчить будешь. Помрёт она, ага...

– Ладно, молчу, молчу, – капитулировала Наталья Аркадьевна и почувствовала участвовавший стук большого сердечка о грудную клетку. – Как у вас там с погодой? У нас сегодня похолодало. Ощутимо так подморозило.

– Да твою же!.. Снова-здорово! Ну зачем, скажи, мне твоя погода? Я в интернете, думаешь, не могу посмотреть, сколько в вашей деревне градусов? Можно и не смотреть даже: у вас там всегда на пару-тройку градусов холоднее, ну, и снега больше, и белее он. Вот и всё! Да и живём мы, если ты вдруг забыла, не на черноморском побережье, а в северных широтах. Похолодало у неё там, видите ли. Удивила, прямо не могу! Давай ещё байку мне Расскажи про свой новый и чудесный сон какой-нибудь.

Наталья Аркадьевна не решалась вставить хотя бы словечко в оправдание. Но и обижаться на любимую кровинку не собиралась.

– Мама, говорю же: нет веских поводов – не надо меня отвлекать, – злился сын, поглядывая на обмотанную полотенцем супругу, которая только вышла из ванной и остановилась напротив кровати, недовольно закатив глаза. – Жива, здорова – вот и прекрасно. У нас тоже всё замечательно. Нового пока ничего не случилось. А случится – узнаешь.

– Давай заканчивай уже, – прошептала жена мужу, – пока она тебе всю плешь не проела...

– Короче, мама, всё. Мне завтра ехать с утра по делам – выспаться надо. Десятый час уже пошёл, если не видела. Спокойной ночи.

– Ты бы всё-таки заехал, – почти прокричала мать, боясь, что сын, как это частенько бывало, бросит трубку, не дождавшись ответного прощания, – на следующей недельке.

– Постараюсь. Но ничего не обещаю. Сказал ведь уже, – прострекотал он, жадно поглядывая на жену, дразнящую его своим шикарным телом. – Всё. Обнимаю. Давай. Всё. Пока.

– И я тебя, – ответила уже в пустоту Наталья Аркадьевна, – обнимаю, сынок. Храни вас всех Господь! А я уж как-нибудь...

Она прекрасно знала, что сына больше всего раздражают материнские выдумки про загадочные сны, в которых либо отец о чём-то предупреждал с того света, либо с Никитой что-то нехорошее приключалось, либо на деревню родненькую какая-то заморская чума надвигалась. Однако ничего с собой поделывать Наталья Аркадьевна не могла. Мысленно укоряла себя, сожалела об очередной высказанной нелепице, да только всё повторялось вновь и вновь.

Истории эти рождались в её голове словно механически – ради продления очередного телефонного разговора, которые сын постоянно спешил прервать. Почти всегда срабатывало: беседа затягивалась, но вместе с тем перетекала в иное русло, сопровождаясь руганью и обвинениями.

А вот невестке пенсионерка уже давно не звонила. Поначалу, с десятков лет назад, если не раньше, пробовала выведывать у неё хоть что-нибудь, но разговоры никак не ладились. Наталья Аркадьевна нутром чувствовала, что сыновняя избранница, помешанная на моде и любившая одеваться вызывающе, брезгует пухлой свекровью, принципиально не вылезавшей из лохмотьев, потому как деньги, видите ли, нужнее внуку – на сладости и прочие радости. И когда молодая да ухоженная в очередной раз миленько прожужжала, дескать, со всякими вопросами лучше обращаться к мужу, тревожить её перехотелось окончательно...

В ночь на понедельник морозец ударил с новой силой. С утра над ветхими деревенскими домишками вздымались густые серые клубы. Исключением на Центральной улице была лишь предпоследняя изба.

Только в среду, а затем и в четверг на отсутствие света в окнах соседнего дома обратил внимание Михаил Прохорович. Этот наблюдательный и отзывчивый дедок уже около полувека жил через двор от Натальи Аркадьевны. В одно время, вознамерившись избавиться от статуса безутешного вдовца, даже клинья к ней подбивал – ненавязчиво и безуспешно. Бывало, и о жизни её сына, выросшего на глазах у Михаила Прохоровича, осведомлялся, попутно узнавая последние городские новости.

Наталья Аркадьевна не открыла даже после того, как сосед начал неистово выкрикивать её отчество и что есть мочи колотить по задубевшей двери.

Скорая точно не забирала пенсионерку – деревенские знали бы, видели бы. Уехать к сыну Наталья Аркадьевна тоже не могла – больше суток у него никогда не гостила.

Михаил Прохорович сразу подумал о самом страшном. И оказался прав...

– Ты можешь мне наконец сказать, что произошло, кто звонил? Или так и будешь вечно молчать ходить? – негодовала невестка Натальи Аркадьевны, подводя глаза перед зеркалом и косясь на насупившегося мужа. – Может, мне вообще навсегда заткнуться?

Тот ничего не ответил и пошёл в прихожую, где несколько минут бесцельно протоптался, пару раз зарядив кулаком по стене и что-то жалобно проскулив: то ли «идиот конченный», то ли «идёт к чёрту всё». Затем спешно, совсем не по-деловому оделся и, не взяв с собой ни ключи от машины, ни папку с заранее подготовленными документами, убрался прочь. Дверь громыхнула на всю шестнадцатизатяжку. А по квартире пробежал сквозняк.

– Психопат несчастный! – огрызнулась жена и продолжила прихорашиваться перед намечавшейся встречей с подругами. – Никита, никогда не будь такой же истеричкой, как твой отец.

– Не бойся, не буду, – отозвался сын, который в преддверии контрольной по математике выглядел мрачновато.

Глава семьи не вернулся домой ни вечером, ни следующим утром.

Никита, проснувшись из-за громкого топота, запустил на своём новеньком смартфоне любимую игру и продолжил нежиться в постели. Отсутствия отца сын как будто и не заметил. Мать, наоборот, сильно волновалась, ходила из дальней комнаты на кухню и обратно, бубнила себе под нос что-то странное про деньги, заказы и море, но куда-либо звонить не торопилась.

– Никитос, мушкетёр мой пузатый, – окликнула она сына, остановившись в гостиной, – сбегай в бар на углу. Тебя там знают – не прогонят. Спроси, не приходил ли

к ним вчера отец. А если приходил, то что делал, с кем был. Я пока его напарника наберу. И ещё пару знакомых кое-каких. Запил, похоже, наш кормилец. Из-за работы, скорее всего. Подставил кто-нибудь. Или ещё какая педрушка приключилась. Чует моё сердце, запил, зараза. Столько лет держался, норму знал, а теперь вдруг снова, как после смерти батькиной... Никитос, ты меня слышишь?

– Слышу, слышу, – ворчливо отозвался тот.

– Ты одеваешься уже?

– Нет.

– Я не поняла...

– Да куда он денется? Придёт вечером.

– Ты в кого таким умным заделался? – повысила тон мать. – Тебя попросили по-хорошему: сбегай до бара, узнай...

– Не хочу я никуда бегать! Сегодня вторая смена, – напомнил ей Никита и блаженно вытянул ноги. – Ещё и дурак такой на улице.

– Хорошо же мы тебя воспитали. Вон какой заботливый сыночек у нас растёт.

– Спорим на миллион, что вечером придёт?

– Я тебе сейчас такой спор устрою, такой миллион у меня получишь – оплеух. Мало не покажется. – Мать заглянула в детскую и увидела, что Никита ещё даже не вставал. – Вот лентяй. Я с утра на ногах, а он... Ну-ка подъём! Живо! И – в бар. Бегом! Тебе, кстати, полезно. А игры твои никуда не денутся.

– Какой смысл туда переться? Говорю же, он вечером...

– Много говорите – мало делаете. Оба: что старший, что младший. Поумничать – этим вы в свекровку. В бабушку твою. Та молоть языком всегда горазда. Причём чепуху всякую. Вставай, я сказала!

– Разоралась тут, – пробурчал Никита, сползая на пол.

– Я всё слышу, – крикнула мать уже из кухни. – Ты моей добротой шибко не пользуйся. Зря, видимо, за тебя всегда заступаюсь, когда вы с отцом цапаетесь. Избаловала, смотрю, чересчур. Даже с Днём матери меня на прошлой неделе не поздравил.

– Ой, надо же. Будто бы умерла от этого. Никогда не поздравлял – и ничё!

– Я-то не умерла. А вот моё хорошее отношение к тебе на исходе.

– Да встал я, встал. Сейчас схожу в твой бар дурацкий, – ответил сын, потёр глаза и услышал, что мать уже с кем-то ласково мурлычет по телефону, обсуждая исчезновение своего мужа. – Ну вот, сама разберётся. Без меня. Сто пудов ведь разберётся. Или псих этот сам вечером припрётся. – Никита потянулся за валявшимися под стулом носками и тихо-тихо добавил: – А не припрётся – и фиг с ним. Зато орать не будет больше.

Никита вспомнил, как отец долго и нудно отчитывал его за пристрастие к компьютерным играм и грозил безжалостно удалить их к едрене фене, если до конца четверти не исправит двойки и тройки. А ещё – как отец называл почти всех приятелей сына тупыми юзерами и лузерами, в компании которых наверняка сам вырастешь бестолковым неудачником и, как следствие, наркоманом или бомжом.

– С таким папашей даже поговорить нормально не о чем. Одна работа на уме. Достал уже со своими нотациями, шуточками непонятными, смехом дебильным. А теперь ещё и эта вякать начала. Хотя в деревню к бабушке от них сваливай, – нащёпывал Никита, обуваясь. Он открыл дверь и, намереваясь садануть ею как можно шибче, не преминул напоследок рывкнуть: – Радуйся. Я пошёл. Всё!

Вячеслав МИХАЙЛОВ

Москва

ПОСЛУШНИК И ГАСТАРБАЙТЕР

В небольшой обители, расположенной в верховьях Волги, Виктора Осетрова прозывали среди братии и бывалых трудников вольным послушником: частенько пропускал он долгие монастырские службы с их совместными молитвами, песнопениями, славословиями из-за специфики своего послушания, сам которое испросил. Виктор хлопотал о том, чтобы исправно работали несколько автомобилей, пара тракторов, электрооборудование, водозаборные насосы, компьютеры, прочая монастырская техника, по мере необходимости устраивая ремонт – своими силами либо с привлечением сторонних спецов. Ещё приглядывал за ходом сооружения новых хозяйственных объектов на землях обители, и слово его было весомым при их приёмке. Реагировать на неполадки, поломки, разбираться с ними приходилось по большей части немедленно. Хорошо это понимал монастырский эконо, высоко ценивший инженерный универсализм, дотошность Виктора, и всячески оправдывал, защищал его, когда суровый настоятель почтенных лет, неплохо осведомленный о домонастырской производственно-управленческой биографии Осетрова, упрекал, бывало, в сердцах послушника-инженера: «Ну, зачем, скажи, тебе монастырь, коли не творишь молитвы, как положено, живёшь тут, почти как в миру жил, ночуешь только в персональной келье да ешь в трапезной!» По просьбе убедительной отца

эконома Виктор в таком случае кротко каялся, не пытаясь объясниться. Но образа жизни не менял. На упрек же настоятеля отвечал обыкновенно эконому – с налётом обиды, будучи с ним наедине и вполне откровенно. Тот терпеливо выслушивал. Ответ приоткрывал ещё одну причину пропуска монастырских служб, помимо хозяйственной надобности, и был приблизительно такой: «Что значит – зачем мне монастырь, отец Серафим? Затем же, что и всем тут – попытаться к Богу быть ближе. И молитва всегда со мной. Утром, вечером и днем – как отвлекусь от заботы, так скажу “Отче наш” про себя или просто молю Господа простить меня грешного. По завету Христову молюсь – без многословия, в уединении. Иначе трудно почувствовать Отца небесного... Сложно мне на общей молитве сосредоточиться, теряю смысл слов. Свой-то голос отвлекает, многоголосие – тем паче». А однажды прибавил к подобному ответу: «Как вспомнятся девяностые, я и в “Отче наш” пропускаю просьбу к Господу о хлебе насущном – небольшой, думаю, грех. Не поворачивается язык о том просить». Эконом усмехнулся с укоризной, сказав: «Попировал, нашалился, чай, в лихие годы», на что Осетров хмуро откликнулся: «Какие, прости Господи, лихие! То ли опасные и горькие, то ли удачные да бойкие – поди разбери, кто что имеет в виду. Подлые те годы были, прежде всего».

Со временем настоятель остыл, смирился с Викторovým укладом, но о постриге в монашество ему не напоминал, и Осетров разговор о том не заводил. Жил и жил в монастыре послушником.

Как-то посреди осени, когда урожай монастырский был убран, земли, занятые под огороды, кукурузу, однолетние травы, были вспаханы, эконом попросил Осетрова помочь агроному обители с новым земельным участком, находящимся километрах в трёх от основного монастырского комплекса, рядом с рекой. Смородина там вроде бы неплохо прижилась, а овощные – томаты, перец сладкий, картофель – чахнут второй год: и отдача мала, и удобрений жаль, да и трудов. Агроном считает, что почва там переувлажнена: то ли вода дождевая застаивается, то ли грунтовая вода близко подбирается к корням, а может, и то и другое.

После осмотра худородной земли и окрестностей Виктор привёл с собой крепкого молодого трудника; с ним вдвоём откопали лопатами несколько метровых шурфов в разных концах участка. Сделав в них замеры складным метром и далее посидев в келье за ноутбуком с часок, Осетров доложил при встрече эконому:

– Прав агроном насчет избыточной влаги на той земле. Дренажные канавы нужно выкопать и засыпать их дно небольшим слоем щебня. По прикидочному расчету получается, две вполне достаточно. И поторопиться стоит до слякоти и холодов – чтобы к следующему сезону дренаж работал.

– Успеем ли? – усомнился отец Серафим.

– Не успеем – отец агроном заругает, – улыбнулся послушник. – А копать лучше вручную.

– Кто же копать будет? – насторожился эконом. – Трудники сезонные разъехались почти все, а кто остался – на расхват... Со стороны придётся нанимать. Может, экскаватор заказать небольшой?

– Мини-экскаватор дороже будет, и после него всё одно поправлять, дорабатывать надо лопатами... Чертёжник сделаю простой, объём работы прикину и поеду в строительный кооператив к Семёнычу. Он подберёт людей. Скорее всего, гастарбайтеров среднеазиатских предложит. Если они за наличные работают, соглашаться?

– Меньше бумажной мороки, – кивнул отец Серафим. – Я казначея предупрежу насчет денег, если понадобятся. Втридорога не заломит твой Семёныч?

– Не беспокойтесь, не заломит, – пообещал Виктор, – давно его знаю, он прихожанин нашего храма, редко только захаживает.

– Тогда поспешай, брат честной, поспешай.

На следующий день Осетров созвонился с Алексеем Семёновичем, замом председателя кооператива, изложил суть дела, прихватил чертёжник с расчетом объёма работ и отправился на разъездном «уазике» эконома в путь.

Выезжая за пределы обители по делам, он обыкновенно менял подрысник и скуфью на неброскую гражданскую одежду по сезону, превращаясь из подтянутого русоволосо-

го послушника лет пятидесяти – с карими глазами, выдавшими немало книг, классической стрижкой и небольшой аккуратной бородой – в мирянина, похожего на доцента или моложавого профессора. Теперь же – как бывало при спешной нужде – поехал в своём монастырском облачении, полагая, что это ускорит проход к начальственному лицу и охранит избалованные пристойной речью уши от матерка, привычного в кругу строителей. Так и вышло: в конторе кооператива попадавшие навстречу работники дружно приглушали голоса или умолкали, оглядывая Виктора с интересом, а несколько посетителей в приемной уважительно пропустили его вперёд, хотя он о том не заикнулся.

Семёныч, небольшого роста энергичный здоровяк с заметным брюшком и взглядом командарма, радушно встретил Осетрова; взаимно осведомились о здоровье. Тем не менее, сославшись на авральную ситуацию, он быстро перешёл к делу: спросил чертеж, мельком посмотрел его, открыл на мобильнике калькулятор, сделал несколько вычислений и, закончив, сказал:

– Я предварительно говорил с бригадиром: Маликом зовут – из Средней Азии, земляками своими командует. В основном чернорабочие у него – выносливые ребята. По-русски знают десяток слов, но это неважно. Главное – пахут световой день и землю ворочают с малых лет. Тебе ж за недельку нужно управиться?

– Хорошо бы.

– Думаю, трёх-четырёх человек хватит. Работа будет стоить пятьдесят тысяч рублей наличными – меньше никак. Малику скажу об этом; попросит больше, конечно, но я найду нужные слова. В общем, пятьдесят, и точка... Хотел тебя с ним познакомить, но он на дальнем объекте сейчас. Номер телефона твой ему сброшу. Завтра встретишь его и ребят, покажешь место, расскажешь, что к чему. Через два-три дня пришлю самосвал щебёнки – это наш дар. Всё будет путём.

– Благодарствую, – сдержанно сказал Осетров и спросил: – По-русски Малик тоже кое-как?

– Не хуже нас с тобой говорит, пишет, – усмехнулся Семёныч. – Примерно ровесник наш – советского разлива.

Учился в русской школе, университет окончил в русской группе – историк. В институте академическом немного потрудился, пока науку у них не забросили, как и у нас. Грамотный мужик, хваткий. С ним и будешь общаться по своему дренажу, с ним и рассчитаешься.

Семёныч умолк на мгновение, заглянул продолжительно, тепло в глаза Осетрова и вздохнул:

– Эх, брат Виктор, поговорить бы нам с тобой не спеша за чаем хорошим и плюшками домашними о том о сём – давненько не говорили... Ехать мне нужно, в другой раз как-нибудь. Звони, если что.

Со второй половины следующего дня работа на участке уже пошла.

Малик, типичный восточный горожанин с бледным выбритым лицом, добротнo и даже щегольски одетый – от клетчатой тёплой кепки до коротких резиновых сапог с декоративными застёжками, – привёз на пожилой «Ниве» инструменты и троих смуглых черноглазых парней, сельских жителей по наружности. Он действительно свободно и без акцента говорил на русском, доволен был, увидев готовую, удобную для работы разметку дренажных канав на участке. Виктор напомнил на всякий случай их размеры, показал, куда вывозить на тележке извлеченный грунт, а Малик синхронно переводил его слова для рабочих.

Перед отъездом бригадир недолго переговорил со своими ребятами, что-то наказал им строго напоследок и, прощаясь с Виктором, сказал с улыбкой в глазах:

– Пристали кадры мои любопытные: спрашивают, мulla вы местный или кто. Я сказал, как у нас домулло медресе – преподаватель в мусульманской школе. Другой аналогии не нашёл – в исламе же нет монастырей. Предупредил, что вы заказчик наш, проверять работу будете.

– Ну и хорошо, – улыбнулся в ответ Осетров. – Побуду домуллоу.

Как и говорил Семёныч, работали гастарбайтеры бойко, умело, с редкими короткими перерывами.

Виктор завозил им днём на велосипеде свежий тёплый хлеб из монастырской пекарни и вечером заезжал на участок – поглядеть, как дело движется да присесть не-

подалёку на пенёк, полюбоваться красочным видом на пустынную реку, окаймленную желто-рыжим лесом с тёмно-зелёными сосновыми фрагментами, причудливой игрой цветов надвигающегося заката: от золотого и розово-фиолетового до сапфирового. Прохлада осенняя удалила уже комаров и остальную всю несметную рать насекомых – кого спать уложила, кого отправила в небытие. Ничто не мешало пребыванию в дивном земном уголке, редкие слабые птичьи голоса лишь добавляли очарования.

К полудню пятого дня дренажные канавы были выкопаны. Осетров показал рабочим, каким слоем щебня нужно засыпать их дно с выравниванием, а вечером позвонил Малику и договорился назавтра рассчитаться, уверенный, что всё будет доделано к тому времени.

Когда в условленный час подъехал на участок, издали увидел, что Малик уже на месте – громко и сердито отчитывает своих ребят, энергично жестикулируя, а те виновато помалкивают. Насторожившийся послушник приветливо поздоровался с примолкшим бригадиром, рабочими, пошёл осматривать дренажные канавы, а вернувшись, удовлетворенно сказал:

– Ну, что, Малик, сработали в общем как надо, если малых огрехов не считать. Спасибо за старание, парни, – поклонился слегка рабочим Осетров, а они в ответ почтилo приложили ладони к груди и тоже немного приклонили головы, косясь с опаской на бригадира. – Деньги за работу я привёз. Пятьдесят тысяч, как договаривались.

Малик вдруг раздраженно и решительно проронил:

– Придётся ещё десять тысяч добавить.

– Это почему? – приостановился послушник, полезший в карман за деньгами.

– Потому, что я с Семёнычем договорился за пятьдесят тысяч только выкопать и убрать грунт, – нервно ответил бригадир и зыркнул недобро на рабочих. – А эти лопухи щебёнку ещё уложили – не могли вам отказать.

– Семёныч при мне всю работу оценил с учетом укладки щебня, – возразил уверенно Виктор, решив, что ушлый бригадир нашёл повод получить сверх оговоренной суммы. – А с вами он иначе, что ли, условился? Быть не может.

Лицо Малика мгновенно загорелось, тёмные глаза округлились, сверкнули гневом.

– Думаешь, обдурить тебя хочу, монах? – воскликнул он яростно, с надрывом, и ударил Осетрова кулаком в подбородок.

Не растерявшийся Виктор успел уклониться, удар пришёлся вскользь; опешившие рабочие застыли в тревоге. Сделав два шага назад, он тихо произнёс:

– Зря вы это сделали.

Оттолкнув одного из рабочих, попытавшегося удерживать его, взбешённый Малик опять ринулся на Осетрова, и тут взметнулся чёрный рукав подрясника: подзабытым ударом в грудь послушник остановил бригадира, который разбросав руки, задохнулся, припал одним коленом на сухую лежалую траву и судорожно хватал ртом воздух, чуть постанывая.

Другой гастарбайтер потянулся было за лопатой, но бригадир, начавший приходить в себя, увидел это краем глаза и жестом дал знать: не дёргайся.

Отдышавшись, Малик натужно поднялся и остуженным голосом с напускной иронией сказал, взглянув на Виктора, готового ко всякому повороту ситуации:

– Не по Христу, не по Христу поступаете – он другую щёку подставлять учил, а вы по принципу «око за око, зуб за зуб» мне врезали.

– Да нет, партнер мой буйный, – возразил спокойно Осетров, порадовавшись, что бригадир очухался, но виду не подав. – Всё у нас было как раз по Христу – вы просто не заметили в ярости.

– Как это? Непонятно, – продолжил деланно и незлобиво иронизировать Малик.

– Очень просто, – пояснил послушник, не обращая внимания на ироничные нотки. – На первый удар я тем же не ответил, а отступил – другую щёку, стало быть, подставил, одуматься предложил. Вы опять на меня бросились. А во второй раз, и в пятый, и в десятый подставляться под удар Иисус Христос не учил. Ясно почему: подобная безответность плохо заканчивается и для того, кто её проявляет, и для ближних его и друзей.

– А что, разумное толкование спорного наставления Христа, на реальном примере к тому же, – оценил бригадир, потерев ладонью грудь. – Учение Христа богато разными толкованиями – Чехов ещё отметил через фон Корена в «Дуэли»... Ну, ладно, это всё отступление, – перешёл он сразу на серьёзный тон, и голос его заметно дрогнул. – На самом деле, Виктор, я хотел сказать... Вы меня простите. Чего разбушевался, не пойму. Нервишки, конечно, пошаливают: семья далеко, детей младших по телефону воспитываю, с работой тут не всё клеится. Но чтобы так! Как говорится, шайтан попутал. Простите... И забудьте про эти десять тысяч.

С годами у Осетрова при встрече с искренним раскаянием само собой возникало душевное волнение, перехватывающее горло и увлажняющее глаза. Это случилось и теперь – когда дослушивал Малика. Как сумел, придержал внешние проявления волнения и сказал привычные слова:

– Бог простит, и я прощаю. А насчет десяти тысяч... Сейчас позвоню Семёнычу, переговорю по поводу вашей с ним договоренности – надо же прояснить этот момент. Погодите чуток.

Виктор отошёл в сторону и после короткого телефонного разговора воротился, широко улыбаясь:

– Он сказал, запарка у них была, и вполне мог забыть об укладке щебня, когда оговаривал работу с вами, – такие дела, такое недоразумение... Ах, Малик, я ведь и вправду подумал грешным делом, что вы меня провести решили. Ну, слава богу, всё выяснилось.

Лицо Малика, в напряжении ожидавшего возвращения Осетрова, после этих слов просветлело, он молчал, не зная, что сказать, а послушник между тем достал портмоне, отсчитал деньги и протянул их ему:

– Вот, получите ваши шестьдесят тысяч.

Тот принялся упираться, отказывался брать такую сумму, говоря, что это неправильно, что возьмёт только пятьдесят, что монастырь не должен платить за забывчивость Семёныча. Послушник же уговаривал не противиться, взять шестьдесят тысяч, настаивая, что они заработаны, а Семёныча, говорил, понять можно – вертится как белка

в колесе. Наконец, Малик всё же взял шестьдесят, попросил Осетрова подождать пять минут, направился к своим ребятам и, быстро пообщавшись с ними словами и жеста-ми, вернулся.

– Погрузят инструменты, вещи свои в машину и прогу-ляются потихоньку к большой дороге, а я скоро догоню их на колёсах, – пояснил он и, малость помявшись, смущен-но добавил: – Мне Семёныч сказал, что вы до монастыря управлением занимались на производстве. Кое о чём спро-сить вас хотел...

Осетров заинтересовался, предложил не смущаться и спрашивать.

– Вы знаете, – продолжил поспешно Малик, – я начал работать в России наездами ещё лет двадцать назад, с кон-ца девяностых. Тогда здесь мало было мигрантов трудо-вых из Средней Азии – коренных жителей региона, а те-перь – многие-многие миллионы, в основном молодёжь. Сразу это бросается в глаза, особенно в Москве, Питере, других крупных городах. Точной цифры не знает никто – полно нелегалов. Зато точно известно, Средняя Азия – главный поставщик гастарбайтеров в Россию. Куда толь-ко не зашли – от Калининграда до Камчатки. Не только в городах, и в сельском хозяйстве работают всюду. Вы, ко-нечно, в курсе. Я за этим процессом давно слежу, анализи-рую... Почему едут и едут на заработки, известно: низкая зарплата, работы не хватает на родине, прирост населения каждый год изрядный, больше всего за счет села, а там с работой совсем туго – для освоения новых земель водных ресурсов нет. Почему именно в Россию едут – тоже не секрет: неплохо можно заработать – раз, дешевле, проще въезд-выезд и проживание относительно других вариан-тов – два, отношения с госорганами строятся по сходным понятиям – три, некоторые знают русский язык худо-бед-но, остальные прицепом к ним идут – четыре, диаспоры крепкие есть – пять и главное – востребован их труд. Вот скажите, Виктор, – возвысил невольно голос бригадир, – Россия что, не может уже прожить без миллионов гастар-байтеров? Прежде обходилась своими людьми и в ЖКХ, и в сфере услуг, и в сельском хозяйстве, и в строительстве,

а теперь нет? В советские времена строители российские ещё и наделали уйму всего в Средней Азии и не только.

– Вы меня огорошили прямо, Малик, – растерянно ска-зал послушник, чуть задумавшись. – Неважный я эксперт, изредка только – по старой памяти – интересуюсь обста-новкой в стране, какими-то деталями... Если только экс-промтом скажу... Обойтись без гастарбайтеров Россия, конечно, может. Но тогда ведь спотыкаться будут те самые ЖКХ, сфера услуг, строительство из-за нехватки рабочих рук – на убыль идёт потихоньку население российское, увы... Ясно, побуждать нужно всячески рождение деток. На полное государственное довольствие пора брать каждо-го младенца до окончания школы. И ещё модернизировать производства, трудоёмкость их снижать. Но почему пока не использовать труд мигрантов, тем более из бывших со-ветских республик? К тому же охотников немного среди местных на черную, утомительную работу за небольшую зарплату, а гастарбайтеры берутся за неё. Выходит, у пер-вых выбор есть, а у вторых он скуден очень – не по-люд-ски их не поддерживать.

– Это миф какой-то, – встрял Малик, не удержавшись, – что массовый приток трудовых мигрантов в Россию выз-ван нехваткой здесь рабочих рук. Смотрите: количество трудоспособного населения России и реальный валовый продукт российский в последние годы примерно те же, что были перед крушением Советского Союза – это по официальной вашей статистике. И где, скажите, нехватка российских рабочих рук? Нет её по существу или мала она совсем. Зато к созданию валового продукта в последние годы привлекались многие миллионы гастарбайтеров. Что так? Первое – очевидное: бизнесу российскому выгоднее их труд. Второе – главное: государство российское либо не желает, либо не способно организовать как следует ис-пользование труда своих людей. По-моему, не желает: рас-ходы, хлопоты непростые и бизнеса интересы ему больше по сердцу. Поощряет ещё приток мигрантов: бизнесу лег-че выбирать и цену их труда внизу держать.

– Вы недовольны будто, что люди ваши в Россию едут, – заметил недоуменно Осетров, когда бригадир

остановился. – Не отдыхать и гулять – из нужды выбираться. Или мне показалось?

– Последствиями я недоволен, – тотчас горячо отвечал Малик. – У меня в последние годы стойкое возникло ощущение, что русские – о россиянах речь – в большинстве своём устали от среднеазиатских мигрантов да и от прочих инокультурных мигрантов. Объяснимо вроде бы: другие обычаи, традиции, с русским языком обычно плохо, особенно у молодежи – оттого обособляются, кучкуются, кто-то на преступную дорожку выходит – в семье не без урода. Короче, малопонятные они в массе своей, чужие даже, и встречаются небезопасные. Но пока мало их было в России, местные этого почти не замечали. А много стало – часть семьи привозит, десятки тысяч каждый год получают паспорта российские, обживаются всерьёз – и чужеродность уже рядом, вокруг, уже напрягает, раздражает местных. И пугает: чаще стали сталкиваться с мигрантским грабежом, иным насилием. Конкурируют уже с местными кое-где за рабочие места. И готов в итоге неприязненный образ мигранта из моих краёв. Старательные дворники, вежливые курьеры слегка только и локально его поправляют. А как иначе при таком наплыве чужаков?! Будь на месте среднеазиатов китайцы, арабы, индийцы, та же история бы случилась, если не острее... Меня, кстати, этот образ противный тоже огрел. Дружок мой, Санёк, – вместе росли, дрались с пацанами из соседнего двора, в университете учились, не раз встречались после его переезда в Питер, созванивались постоянно, – в этом году перестал вдруг звонить. Я звоню, говорит нехотя, быстро сворачивает разговор. Спросил в чём дело, а он: «Не сердись, Малик, трудно мне: полгода назад наш с тобой земляк, гастарбайтер-юнец, напал на дочь – сумку выхватил, побил, а недавно с женой похожий случай». Так-то... А я, Виктор, – прибавил громкость Малик, – не хочу терять здесь друзей, не хочу, чтобы меня здесь сторонились. Я вырос в русской культурной среде. Люблю Россию не меньше, чем родину!.. Не хочу, чтобы русская усталость – не стоит она на месте, копится – обернулась конфликтом боль-

шим и таким разрывом, что совсем тут не отыщешь наших мигрантов.

Тронутый эмоциональным откровением бригадира Осетров взялся успокаивать и подбадривать его:

– Да, не волнуйтесь вы так, Малик, не преувеличивайте. Вы же историк по образованию – Семеныч мне говорил, – знаете прекрасно, веками жили русские бок о бок со множеством народов, разных по культуре, религии, обычаям и всякому прочему. Постепенно, не спеша притирались взаимно, обменивались традициями, мигрировали внутри страны, смешанные семьи возникали, спланивались на зло врагам, а русский язык всех объединял и объединяет. И теперь с новоприбывшими в российскую семью – на постоянное жительство и заработки – так будет, интегрируются за милую душу. А преступников к ногтю прижмём. Всё образуется.

Малик поморщился разочарованно и несогласно покачал головой:

– Не забывайте, народы эти числом невелики и на притирку, на культурный обмен предостаточно было времени – столетия. Вы верно сказали – постепенно, не спеша притирались, мигрировали внутри России – это ключевая вещь! Шёл органичный объединительный процесс при всех изъятиях... Возьмите татар, второй по численности народ после русских. Живут в России почти 500 лет, если считать от присоединения Казанского ханства, а первая татарская слобода возникла в Москве, кажется ещё при Иване III. За эти века расселились широко по России, и численность их выросла где-то от полумиллиона до пяти миллионов. По менталитету они сегодня гораздо ближе к русским, чем к единоверцам из Средней Азии, и язык русский – как родной... Сравните теперь: всего лишь за 20–25 лет мигрантов среднеазиатских – временно и постоянно проживающих – стало в России примерно в два раза больше, чем татар за 500 лет. Фантастическая скорость! Какая может быть притирка за такой мизерный срок?! Да никакой практически. И не нужна она особо такой огромной общине: своих вокруг полно, чувство локтя есть, можно обустраиваться и жить

привычным образом, своими устоями, своим миром, не заморачиваться освоением русского языка – знай минимум для работы, бытовых контактов, и всё. Так и живут... Естественным образом, в силу обстоятельств, живёт, крепнет, растёт в России, на всех её просторах, довольно обособленное и по большому счету чужеродное общество. Русскокультурные, вроде меня, на процесс не влияют – их мало очень. Не единое оно, с выходцами из разных стран Средней Азии со своими противоречиями; есть националисты, встречаются экстремисты – как в любом обществе... Ко всему прочему это и подарок врагу, что мечтает разжечь смуту в России – этническую, социальную, любую, – лишь бы ослабить, взять под контроль, разделить. Не находите?

– Погодите, погодите, Малик... – не удержался теперь Осетров. – А где же в вашем раскладе Средняя Азия сначала в Российской империи, а потом в СССР? Более века ведь притирались, а в советские времена вообще жили под флагом «дружбы народов», вместе победили в Великой Отечественной войне.

– Это лишь начальная притирка была, – сразу отвечал бригадир, ожидавший, похоже, такой вопрос. – Да, в Советском Союзе она шла недурно – в одну сторону смотрели, в общем. Притом Союз умел устроить, чтобы «где родился, там и пригодился». Отсюда и миграция была неспешная опять же внутри большой страны... Но прервалась притирка с крушением Союза. Сегодня в России обитают, работают мигранты из Средней Азии, что выросли в большинстве своём уже в независимых странах. Русские, русскоязычные разъехались почти оттуда – немного осталось... Причем росли – знаете, конечно, – на учебниках истории, где Российская империя и СССР в неприглядном свете изображены, однобоко, да и лжи хватает. Не было у этих поколений притирки до миграции в Россию за редкими исключениями. Следов прошлой притирки тоже незаметно.

Заиграл мобильник бригадира, и он встрепенулся, хлопнул себя ладонью по лбу: «Парни мои!» Быстро ответив, Малик взглянул с сожалением на послушника:

– На большую дорогу они уже вышли. Разговорились мы – время быстро пролетело. Я поеду.

– Да-да, конечно, – огорченно покивал головой Осетров. – Пора ехать... Вы меня, Малик, нагрузили прилично миграционной темой – не придавал ей особого значения. По-вашему выходит, нынешняя миграция коренных жителей Средней Азии в Россию противоестественно чрезмерная и поспешная, неважно контролируется у нас, обременительная, даже опасная для российского общества, государства российского. И для самих мигрантов тоже небезопасная. Так приблизительно, если коротко?

– В общем, да, – согласился Малик. – Вы простите, Виктор, ещё раз за то, стыдно вспомнить – правда... Если понадобится что сделать, звоните: у меня и плотники есть, и каменщики, и плиточники. До свидания.

Послушник тоже попрощался, добавив «храни вас Бог», и Малик направился скорым шагом к машине.

Наталья ВЕСЕЛОВА

Санкт-Петербург

МИЛАЯ МИЛА

Ночь долгая. Под одеялом у Бабушки густое и душное тепло. Они с Милой всегда спят на одном широком диване – так уж повелось с самого начала, с того дня, что Бабушка взяла Милу жить к себе. Того дня? Она едва ли понимает, что такое – *тот* день... Ну, *просто* день – что-то почти знакомое: это когда за окном становится светло-светло, и Бабушка – грузная, как узел с бельем, в одной длинной-предлинной рубашке, с растрепанной светлой косичкой через плечо, выбирается из уютной постели, пошире раздвигает тяжелые шторы и задумчиво говорит: «Ну, вот и еще один день пришел». Тогда Мила тоже выпрыгивает из постели, бросается к окну, тревожно смотрит в их скудный дворик, никого там не видит и начинает изо всех сил толкать Бабушку головой, вопросительно заглядывая ей в глаза:

– М-м? М-м? – громко стонет она.

Это Мила хочет спросить: «Кто? Кто пришел?» – но говорить ей так и не удалось научиться, сколько она ни старалась. Со временем она, правда, поняла, что «День пришел» – означает, что за окном стало светло, и он, этот День, будет здесь до тех пор, пока не стемнеет, – и тогда придет Ночь. И станет хлопать от сквозняка вечно открытая форточка, а в тревожных ночных отсветах наискось помчатся тучи больших белых бабочек. Миле их не достать, этих ле-

дяных бабочек. Правда однажды, когда Бабушки не было в комнате, она ухитрилась взобраться на подоконник, оттуда кое-как дотянуться до форточки – и одна бабочка села ей прямо на нос! Села – и сразу укусила ее маленький носик мгновенным холодом! А потом пропала... Нет, это оказалась совсем не такая бабочка, которую однажды посчастливилось поймать, когда во дворе было тепло-тепло, как у бабушки в кровати, и Мила часами просиживала у открытого окна. Бабочка долго летала перед ней – жирная, белая – и дразнила, дразнила Милу своей наглой легкостью. А Мила не будь душой: напряглась и – хват! Сильными пальчиками сжала белую пленницу намертво и отправила в рот – даже не поняла, как это получилось: ведь хотела только рассмотреть... Она не успела оценить – вкусно ли ей, когда в комнате откуда-то появилась Бабушка, всплеснула руками и кинулась к Миле с криком:

– Что ты делаешь! Выплюнь! Плунь сейчас же! Скажи: «Тьфу!»

Мила любила делать все наоборот – не по своей воле, а просто так выходило, поэтому она, как могла крепко, сжала челюсти – и тогда Бабушка принялась раскрывать ей рот насильно, запрокинув несчастной голову и зажимая ей нос.

– Какая гадость! – приговаривала она. – Какая гадость! Это же бабочка! Как ты только можешь! А если она какая-нибудь ядовитая?!

Зато так Мила узнала, что все белое и легкое, что летает днем и ночью, в жару и в холод, мимо их окна, называется «бабочка»...

Ночь скучная. Когда Бабушка спит, играть с ней нельзя, нельзя даже ее трогать: если ее разбудить, то она станет злая-злая и может даже больно и звонко шлепнуть Милу по голой попе. А Миле почему-то именно ночью не хочется спать. Она выпрастывает голову из-под одеяла и с тоской смотрит на недоступных бабочек, мчащихся в квадратике открытой форточки. Бойко и ритмично щелкает большая, злобная круглая штука под названием «будильник» – Мила его ненавидит и все время норовит бросить на пол, но в Бабушкином присутствии этого делать нельзя: сразу

получишь «по попе». Зато когда Бабушки нет в комнате, и Мила сталкивается взглядом с хищной мордой будильника – она с наслаждением швыряет его на пол и топчет, топчет – а он все не замолкает. После этого главное успеть отбежать подальше и, как ни в чем не бывало, усесться в кресло перед телевизором, чтобы Бабушка не знала, что это Мила скинула противную штуковину, а подумала бы, что она сама прыгнула на пол... Но та все равно откуда-то знает, что произошло, как будто стояла рядом и все видела. Мила совершенно не понимает, как такое возможно!

– Ы-а! – кричит она. – Ы-э! – ей хочется сказать, что это не она, не она, но, как всегда, стоит раскрыть рот – и оттуда вместо таких понятных ей человеческих слов вырываются странные гортанные звуки.

– Не ты, говоришь? – отлично понимает ее Бабушка. – А кто еще, интересно? Вот я тебе сейчас...

Мила стыдливо отворачивает голову, и женщина сразу смягчается:

– Ах ты, бедная моя девочка... И чем только тебе мой будильник не угодил?

Ее теплая ладонь ложится Миле на лоб:

– И какая же ты всегда горячая... Надо будет опять врачу показать тебя и спросить – нормально ли это? И ведь вроде здоровая... Бегаешь вон дай бог каждому...

Ночь тягостная. Звуки ее одновременно приманчивы и враждебны. Тысячи шорохов, стуков, вздохов, колебаний воздуха – все это слышит Мила, ведь она не умеет только говорить, зато все остальное делает лучше многих! Ей тревожно, сладко, мучительно, словно откуда-то доносится соблазнительный дремучий зов – пойти бы ему навстречу, но куда, куда? Да и страшно, тесно где-то внутри... Мила боязливо заползает обратно под одеяло, приваливается к теплему Бабушкиному боку. Тут безопасно, родной запах обволакивает чуткие ноздри... Спит Мила. Сладко спит, пока опять не приходит этот... которого зовут День.

Они с Бабушкой не всегда бывают только вдвоем. Иногда приходят другие Бабушки, и тогда все сидят за столом, едят, пьют и разговаривают. Мила тоже сидит за столом со всеми, у нее есть свой личный стул, который никто не тро-

гает, – она внимательно слушает, стараясь уловить смысл слов: не опасно ли что-нибудь для нее? А может быть, наоборот, – хорошо? Другие Бабушки тоже иногда к ней обращаются, в основном, предлагая что-то съесть, и Мила иногда соглашается, а иногда – нет, по настроению. Но ни одна из Бабушек, кроме ее собственной, ее не любит – это очень понятно. Да они этого и скрывать не собираются! Вот одна – от нее нестерпимо несет цветами, почти как от огромного красного веника, который однажды принес Бабушке ее Друг (который вообще-то хороший, но в тот раз Миле было не продышаться – даже все остальные запахи надолго пропали) – так вот, эта чужая Бабушка спрашивает Бабушку настоящую:

– Слушай, зачем она тебе? – и откровенно показывает на Милу. – Такой ужас...

– Действительно, – поддерживает ее другая. – Ради чего ты ее взяла?

– Очень жалко стало... – тихо говорит Милина Бабушка. – От нее племянница моя отказалась. Мужика себе нашла, а он ей – вот как ты сейчас: «Какой ужас!» Говорит, мол, либо она, либо я... В какой-то там приют ее сдать хотели... А я как в глаза ей посмотрела... Ей два годика тогда было уже, и такая домашняя... Ну как ее в приют! Совсем с ума посходили люди! Не позволила сдать – и ни разу не пожалела... Говорю ей: пойдешь ко мне жить? Буду твоей бабушкой... Уход за ней минимальный... Ну, шарахаются некоторые с непривычки... А потом – ничего... Привыкаешь ведь. Мы большие друзья, да, Мила?

– Кстати, насчет глаз – это правда, – неожиданно соглашается до того молчавшая самая маленькая Бабушка. – Просто васильки! И разрез такой красивый... Если б не всё остальное...

– Бр-р... Я лично никогда не привыкну, – упорствует та Бабушка, что вонючая. – Хотя она у тебя уже сколько? Лет семь, кажется? Ну, тогда недолго осталось – такие ведь, наверно, много не живут?

– Еще как живут! При хорошем уходе! – испуганно восклицает настоящая Бабушка, прижимая Милу к себе: – Не слушай ее, не слушай, хорошо? Ты проживешь еще

долго-долго, ясно? Мы всегда будем с тобой вместе... – и к подруге: – Хоть бы при ней помолчала! Она же все понимает! И теперь начнет мучиться!..

– Иди ты! – принужденно смеется та. – Понимает... Какие у нее мозги... Она даже не понимает, что такое – жить... А уж умереть... – и машет огромной рукой с длинными коричневыми когтями.

Напрасно она так думает. Мила прекрасно знает, что такое жить. Это когда ты просто ешь. И рядом – Бабушка. И приходит День. Творог со сметанкой на тарелочке... Смешные непоседливые пятнышки на спинке кресла – ты пытаешься их поймать, но они всегда убегают. И еще ты обнимаешь Бабушку, когда вы вместе смотрите телевизор – это такое окошко в коробке, где все мелькает, мелькает... Интересно... Жить – это еще когда пахнет курочкой, и тебе сейчас дадут попить теплого бульону... А потом День куда-то уходит, и вместо него откуда-то появляется Ночь. И это тоже неплохо, только по-другому. Это тоже – жить. Волноваться. Хотеть чего-то непонятного. То проваливаться во тьму, то выныривать туда, где ровно дышит Бабушка и летят белые бабочки... Однажды вынырнуть – и увидеть, что День уже пришел... Без тебя. А умереть – это, наверное, просто не вернуться из тьмы... Нет, Мила хочет всегда возвращаться... Она обязательно будет возвращаться... Тьма никогда не возьмет ее себе навсегда. Ни ее, ни Бабушку...

Тот дворик, что только и виден из двух их с Бабушкой окон – кухонного и комнатного, – очень маленький, даже Мила это понимает. «Наш колодец», – называет его Бабушка – а вот что такое колодец, не объясняет. Кругом высокие желтоватые стены, а посередине – будто бы диван, только жесткий (Мила однажды сбежала из дома через окно и попробовала на ощупь). Это – скамья; хотя у нее и есть крепкие ноги, она никогда не бежит, всегда неподвижно стоит под огромным кривым деревом. А дерево это очень красивое. И умное. Гораздо умнее Милы. Та относится к нему с уважением и, когда окно в теплое время совсем открыто, пытается крикнуть во весь голос: «Эй, дерево! Слышишь

меня? Я – Мила!» «Э-о-о! – вылетает из ее груди. – Э-э-а! А-ми-а!» Дерево не понимает Милу, но иногда машет ей своими мохнатыми руками. У него много рук, и всеми руками оно то ли приветствует Милу, то ли хочет схватить ее и съесть, и тогда становится шумно и страшно...

На другой стороне двора в желтой стене – два маленьких окошка. Когда приходит День – они темные, а если Ночь – светлые.

– Видишь те окна? – указывает иногда Бабушка, стоя рядом с Милой и глядя вместе с ней во двор. – Там живет наш с тобой Дима. Мой друг. Вон, вон его тень мелькает за занавеской!

Мила высвобождается. Она всегда так делает, когда совсем не верит в то, что говорит Бабушка. Когда ей абсолютно ясно, что такого не может быть. Например, те окна такие крошечные, а Друг – он же Дима – такой большой. Как он может поместиться в маленькое окошко? Вот она, Мила, сегодня хотела забраться в шкафчик на кухне – и не поместилась. А шкафчик-то ведь больше окошка!

– В том доме, за теми окнами, тоже есть небольшая квартирка, – толкует ей Бабушка. – Почти как наша с тобой, Мила. Только у нас одна комната, а там – две. Дима в них живет со своим внуком. Вернее, не со своим, а своей покойной жены. И они так плохо живут, Мила, – ты не представляешь... Он такой нехороший юноша, этот его Юрка! Так обижает моего Диму, так обижает... Ах, Мила, Мила, ничего-то ты не понимаешь, ничего не ответишь мне, не посоветуешь... А надо ведь что-то делать... Что делать-то, Мила?

Мила видит, что Бабушка расстроена, от всей души хочет ее развеселить, показать, что не нужен им никакой Друг и дела нет ни до какого непонятного плохого «юноши», им вдвоем так тепло и сытно, а когда Друг приходит – он столько съедает, что вдруг потом им с Бабушкой не хватит еды? И не будет ни творога, ни сметанки, ни курочки, ни тушеной рыбки? Но как донести это до нее, до глупой? Зачем она все время кормит ненасытного Диму, от которого пахнет... Ах, как странно пахнет от него! Когда Мила осторожно подойдет и прижмется к его плечу,

то запах – нюхала бы и нюхала! Хочется головой тереться – если б только он позволял! Зато когда вытащит вдруг свою противную игрушку... Мила прекрасно знает это мерзкое слово: «Опять ты за сигарету! – кричит Другу Бабушка. – Только в ее сторону дымить не вздумай: ты же просто убиваешь этим девочку!» Друг послушно выпускает вбок одну за другой тугие серые струи, но Миле все равно становится тошно и муторно, она отсаживается как можно дальше от них обоих, но совсем уходить не хочет – слушает... Она откуда-то знает, что Бабушке очень нужен этот Друг. Может быть, даже больше, чем она, Мила... И если он ей однажды скажет: «Или она, или я»... Но он не скажет, чувствует Мила.

– А она у тебя, кстати, не такая уж и глупая... – однажды замечает Дима. – Взгляд, между прочем, почти осмысленный... Ну, страшненькая... Но ведь не совсем же до безобразия... Вон какие глаза красивые – надо только разглядеть... И что лысая – тоже можно привыкнуть... Мы ведь подружмся с тобой, Мила, да?

«Если ты не будешь есть столько курочки», – хочет ответить Мила, но молчит, потому что уже знает, что у нее это не получится. Ну, ладно, пока у них есть еда: «Переводы меня кормят, не жалуюсь», – со смехом говорит иногда Бабушка. Ага, сейчас кормят, а потом передумают и перестанут. Лично Мила никогда не видела этих Переводов. Наверное, они приходят и дают Бабушке еду, когда Мила спит. А вдруг однажды не придут? Или они будут приходить и кормить ее всегда, как приходят День и Ночь?

Тянется ночь, тянется... Спит Мила и не спит... Но там, где кружат белые бабочки, становится неуловимо светлее. Значит, к ним опять идет День...

Последнее время он остается надолго, он почти всегда здесь, а Ночь... Она стала какая-то странная, почти не темная. Мила узнает, что она пришла, только когда Бабушка говорит: «Ну, все Мила, спать пора. Видишь – давно уж ночь на дворе». Мила тотчас подбегает к окну и осматривает двор: нет Ночи. День кругом, только другой... Непонятный: звуки, запахи и чувства, как когда Ночь, а по виду – День. Тогда Миле становится так беспокойно, что спать

она не может вовсе. Только дождется, пока громко задышит рядом Бабушка, – и украдкой выбирается из постели. До утра она бесшумно бродит по квартире – прислушивается и тайно страдает. Ей хочется, чтобы все встало на свои места. Она ждет, не придет ли настоящий, знакомый День, а не этот, который только притворяется Ночью...

Зато когда долгожданный длинный День здесь, Мила часто остается одна. Бабушка снимает с себя легкий, пестрый халат, который носит дома, если никто, кроме Дня, к ним не приходит. (Мила знает это слово, потому что, когда ей иногда хочется особенно приласкаться и она буквально повисает на Бабушке от любви, та испуганно кричит: «Осторожно! Халат мой порвешь!») Сняв халат, женщина надевает красивые гладкие платья («Как тебе мое платье, Мила?» – и готово: еще одно слово поселилось в голове у Милы навсегда). Потом Бабушка исчезает, оставляя Миле попить молока для утешения и выключая «верхний» свет. Она знает, что с Милой без нее ничего плохого не случится, Мила будет тихая-тихая, никогда не набедокурит, когда одна в квартире – а сразу ляжет спать. Иногда встанет, попьет молочка – и опять спит, пока не придет Бабушка. Она не знает – долго ли спит; иногда Ночь, похожая на день, приходит раньше Бабушки, а иногда – нет. Но, услышав, как открывается дверь, Мила вмиг просыпается и легко соскакивает с дивана. Она мчится в прихожую, подпрыгивает высоко, как только может, стараясь дотянуться до Бабушкиного лица, поцеловать ее покрепче, обхватить, прижать к себе... Мила не бывает точно уверена, вернется ли Бабушка вообще, но когда это происходит – счастьем ее нет предела...

– Только не висни на мне, пока я не надену халат! – сердито кричит Бабушка, отталкивая Милу. – Это платье – из бутика! Ты даже не представляешь, сколько я за компьютером горбатилась, чтоб его купить!

Про компьютер Мила прекрасно знает – это такой маленький не то телевизор, не то книжка, с которым Бабушка играет долго-долго, шелкает, постукивает, и от этого по его белому окошку бегают черненькие маленькие штучки, которые не позволяется трогать, – а вот про платье

уж и вовсе не понятно – что с ним не так? Она недоуменно смотрит бабушке за спину: спина вовсе не горбатая. Это у нее, Милы, горбатая, она много раз слышала, как про нее говорили:

– Смотри, какая горбатая спина! А ноги – длиннущие! Жуть!

– А мне даже нравится! – храбро отвечала тогда Бабушка.

– Не придумывай. Чему тут нравится? – отмахивались от нее. – Но, раз уж ты взяла ее... Вот сама и любуйся...

Бабушка надевает такой знакомый, пахнувший ими обеими халат – и только тогда позволяет обнять себя. Она осторожно похлопывает Милу по боку, сидя на диване, и тихонько рассказывает ей:

– Знаешь, где мы с Димой были? На выставке...

Мила сердито трясет головой: ей непонятно – на чем они были? Она знает, что такое – «на диване», «на столе», «на подоконнике»... А вот – «на выставке»? Получалось, что Бабушка и ее Друг сидели или стояли на чем-то, чего Мила не могла даже вообразить, – и это ее сердило.

– Н-ны? – уточняет она.

– Ах, да, тебя кормить пора! – спохватывается Бабушка и тотчас встает.

Мила опрометью мчится за ней на кухню, даже забегает вперед от нетерпения: сейчас будет весело и вкусно! Бабушка положит Миле на тарелку теплой вареной телятины, нальет попить... А еще Мила любит сгущенку, Бабушка иногда наполняет ею маленькое блюдечко и говорит:

– Вот хоть и знаю, что вредно тебе, а не могу не побаловать...

Но сегодня нет никакой сгущенки, и телятины тоже нет – Бабушка быстро кладет в Милину тарелку что-то не очень вкусное, жесткое, а себе тарелку не достает, за стол не садится – не получится, значит, поесть с ней за компанию... Мила все равно начинает быстро и жадно насыщаться – потому что не знает наверняка, удастся ли поесть в следующий раз... Может, этого никогда уже не получится! А бабушка отстраненно стоит у окна, совсем не смотрит на свою девочку, взгляд ее устремлен туда, во

двор, где в не черной и не белой ночи только горит далекое маленькое окошко. Она думает, что там ее Друг, и никак не возьмет в толк, что ему туда ну никак, просто никак не поместиться! Бабушка быстро-быстро постукивает по подоконнику своими блестящими маленькими коготками и коротко, тревожно вздыхает.

– Ах, Мила! – наконец-то говорит она. – Нельзя нам дальше бездействовать, надо что-то делать! Ведь он же уморит его! Самым настоящим образом уморит!

Она тихонько стонет, сжав кулаки и припав головой к раме, – и Мила пугается: Бабушке больно?

– Господи! – уже в голос зовет Бабушка. – Хоть Ты под-скажи мне, научи, что делать! Ведь Ты-то знаешь, как я люблю его, как хочу помочь – а он такой глупый, такой наивный, как все мужчины! – она спохватывается: – Ой, прости меня, Господи, я не Тебя имела в виду!

Вот это Мила понимает: Бабушка обращается к Кому-то, Кто главнее ее, Кого не видно и не слышно, но Сам Он всех видит и слышит – всегда. Его можно только чувствовать, но не все это умеют. Бабушка – умеет. И Мила тоже. Даже лучше, чем Бабушка. Только она не может Его ни о чем попросить, но ей это и не нужно, в отличие от Бабушки. Потому что Мила убеждена: ты Его еще и не попросишь, а он уже и Сам знает, чего ты хочешь. Только не всегда дает. Но Ему виднее. И с Ним не поспоришь. Не то что с Бабушкой...

А та сжимает голову обеими руками и замолкает, изредка всхлипывая. Мила давно уже оставила свою тарелку, и стоит рядом, изо всех сил прижимая голову к ее плечу:

– М-м... М-м... – утешает она. – Уни-и-и... Уни-и-и...

– Звони? – переспрашивает Бабушка, серьезно глядя на Милу. – Молодчина. Всегда подашь хорошую идею...

Она стремительно идет к телефону, Мила – трусцой – за ней. Вот еще одна вещичка, которой ей никак не постигнуть. Держит человек такую маленькую коробочку около уха и говорит, говорит... Никого перед ним нет, а он отвечает, как будто кто-то что-то спрашивает... Странно... Это называется «позвонить» ему или ей. Вот Мила никогда никому не звонит. И ей тоже. А вдруг однажды позвонят?

Как она будет разговаривать, если не умеет? Она пристальнее смотрит на Бабушку и ловит каждое ее слово:

– Вот, Мила посоветовала позвонить тебе... Ты улыбнулся?... Да, я специально сказала так, чтобы ты там улыбнулся... На самом деле я хотела тебя спросить... Тебе случайно не нужно о чем-нибудь со мной поговорить? Я имею в виду – о важном... О самом важном... Нет, не по телефону... – она долго молчит, но Мила не мешает, понимая, что Бабушка слушает. – Конечно, можно... – наконец, говорит Бабушка. – Ну, какое там сплю... Ты ведь отлично знаешь, что мой рабочий день в это время только начинается... Приходи сейчас, я жду, очень жду!

День? Мила с сомнением смотрит на окно: давно уже пришла Ночь. Правда, похожая на День, но все-таки Ночь. А когда она приходит, то в доме никогда никто не появляется. Может быть, Бабушка ошиблась? Или она, Мила? А может, кроме Ночи, прийти кто-то еще?

И правда, скоро появляется Друг. Мила встревожена нарушением обычного порядка вещей, бежит из кухни в комнату и обратно, вопросительно смотрит то на Бабушку, то на Друга – но им явно не до нее:

– Если не хочешь ложиться спать, – на ходу бросает ей Бабушка, – то просто сядь и сиди тихо, не мешайся тут...

Но ничто не может заставить Милу уйти в комнату и покорно забраться под их с Бабушкой одеяло. Она остается на кухне и, как ей велено, устраивается на своем собственном стуле с мягким ковриком, сидит прямо и, вытянув длинную розовую шею, напряженно смотрит на обоих людей за столом. Они пьют ужасную гадость под названием «кофе» – Мила один раз тайком попробовала из бабушкиной кружки – так потом никакая вода не могла смыть мерзкую горечь! – а Друг еще и пускает вонючие серые струи дыма. Без перерыва! И Бабушка не просит его не пускать свой дым в сторону девочки! Но Мила все равно не сердится на Друга. Она откуда-то знает, что он хороший, и от него иногда приятно пахнет, и он один умеет погладить Милу по ее лысой голове так, что ей это нравится, не хочется голову отдернуть, а его – ударить, как некоторых... У него белые волосы на голове и лице, низкий успокаива-

ющий голос... С ним Миле уютно. И Бабушке, наверное, тоже. На ней уже нет яркого халата, а есть платье – такое не красное, а немножко потемнее... Мила не очень разбирается в цветах. Они все для нее похожи, кроме белого, серого, желтого и красного... Ну, еще она немножко отличает синий – такого цвета дерево во дворе и еще небо иногда... «Смотри, какое небо сегодня синее!» – сказала когда-то Бабушка, показав вверх за окно, – и Мила поняла и запомнила. А волосы у Бабушки не пойми какие – темнее Дня и светлее Ночи; это все что знает про них Мила, но ей очень нравится...

– Ты еще совсем молодая женщина, – грустно говорит между тем Друг. – Тебе и пятидесяти, кажется, нет... Ведь нет? Есть? Никогда бы не подумал... Ты яркая, эффектная... Талантливый переводчик... Самодостаточная... На что я тебе сдался, скажи на милость? Ты ведь через год локти себе кусать начнешь... А меня вообще возненавидишь... Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Да я пень старый – в отцы тебе гожусь! И нищий, кстати... Всю жизнь – «кушать подано», пенсия минимальная... Сейчас вот эпизод в сериале обещали – так от счастья покраснел на кастинге, как мальчишка!

«Кушать подано» – это Мила понимает очень хорошо! Так говорит Бабушка, ставя перед ней полную тарелку, когда бывает в хорошем настроении. Девочка вздрагивает, но своей тарелки нигде не видит: наверное, опять что-то не так расслышала!

– Я тебя люблю и никогда не возненавижу, – отвечает Бабушка, и голос ее дрожит. – И мне все равно, сколько тебе лет. Я хочу жить и умереть с тобой, всего хочу с тобой... Но у меня сердце разрывается каждый вечер, когда я ложусь здесь спать в безопасности и думаю, что ты там в одной квартире с чокнутым наркоманом, и тебе некуда деться! Что он в любой момент может просто зарезать тебя – и даже не понять, что натворил!

– «Всего» со мной может и не получиться... – мрачно произносит Друг и делает большой глоток их ужасного кофе. – Машинка моя – того... Не очень уже и работает... А тебе еще нужно – в твоем возрасте...

Ну, положим, машинка у них с Бабушкой есть и своя, душает Мила, – обойдемся. Большая, белая, с круглым окошком, которое открывается, чтобы можно было запихнуть туда разные тряпочки. А потом тряпочки крутятся там со страшным воем и шумом, Миле немножко боязно, но она все равно стоит прямо перед окошком и упорно смотрит на мелькание тряпок, напрягшись всем телом и готовая сразу убежать, если машинка вдруг сорвется с места и поскачет по коридору. «Расшалилась наша машинка... – смеется тогда Бабушка. – Что, Мила, страшно тебе?».

Но сейчас она не смеется, а робко улыбается Другу:

– Ничего, я почию ее, машинку твою... А если и не почию – невелика беда... Главное, что кончится этот твой ежедневный кошмар... А он там пусть как хочет... Кстати, на расстоянии бороться с ним легче – найдем управу, будь спокоен! И выселить его можно через суд, и на принудительное лечение пристроить... Главное – вдвоем... Слышишь, Дима? Да ответ же ты что-нибудь, не мучь меня!

Дима поднимает голову и пристально, словно бы с последним колебанием смотрит на собеседницу – Мила улавливает то, чего не понимает Бабушка: он хочет ей что-то сказать, но боится...

– Он убьет тебя когда-нибудь, понимаешь – у-бьет!

– Убьет, говоришь? – усмехается Друг, и делает это как-то так неуютно, что Мила съеживается от его голоса и взгляда. – Может, и правильно сделает. Вот послушай, чувствительная ты моя, расскажу я тебе одну историю...

Глупости, думает Мила. Друг же не комар, чтоб его можно было так легко убить – вон какой большой! Убить – это когда ты его – хлоп! – и он не шевелится больше и не живет... И Бабушка так поступает с комарами, и она, Мила... Убить легко. Но только если тот, кого ты убиваешь, – очень маленький. Чтобы убить Друга, нужен кто-то настолько большой, что и не представить... Мила начинает задремывать, голову клонит вниз, жмурятся глаза... Голос Друга гудит, как далекий шмель, – такой, как залетел однажды к ним в комнату через окно – а Бабушка поймала его в полотенце и выпустила...

Мила и слушает, и дремлет – все равно ей ничего, ничего не понять...

– Как могу я строго судить этого охламона, когда сам... Знаешь, тому уже больше полувека – а будто вчера... Мать снимала нам с сестрой дачу у залива, на южном берегу... Это сейчас там гнилое болото, а тогда ведь о дамбе и не слыхал никто... И вода была как хрусталь – представляешь, захожу в воду по горло и отчетливо вижу собственные ноги и разноцветные камушки на рябом песке... Островок там имелся – метрах так в пятистах от берега, а у хозяина – лодка, за судаком ходить... Сынок его, одногодок мой и приятель, лихо с ней управлялся, так что ходили мы, бывало, аж до самого Кронштадта. Чуть не утонули вместе однажды – ну да это уже другая история... А сейчас я тебе рассказываю совсем не о том, а об одной нашей забаве, почти безобидной... До поры до времени...

– По крайней мере, колеса вы, я думаю, не глотали... – вставляет Бабушка (Мила озадаченно приоткрывает один глаз: она прекрасно знает, что такое колеса. Это такие круглые черные штуки, что крутятся под маленьким столиком, за которым Бабушка пьет кофе, когда одна; конечно, Друг их не глотал – они бы даже в рот ему не поместились). – И не кололись...

А вот Мила укололась однажды – ужасно! Наступила на что-то на полу, и вдруг все тело пронзила острая, яркая боль! А как Бабушка тогда испугалась, даже закричала! Все обнимала, целовала жалобно стонущую Милу и приговаривала: «Ах ты, девочка, девчоночка моя бедная! Синеглазка! Что ж ты укололась-то так сильно! Это я виновата, прости меня, глупую: уронила кнопку и не заметила!» Конечно, она теперь переживает, чтобы и с Другом ее такого не случилось...

– Лучше бы кололись, – неприятно усмехается он. – Может, подошли бы – и вреда от нас никакого...

– Что ты говоришь! – пугается Бабушка. – Мне страшно!

– А я пока ничего и не сказал. Это, Ляля, только при-сказка была, сказка и не начиналась еще.

Миле тоже страшно, хотя и неясно, отчего. Она уже не спит – слушает, силясь поймать знакомые слова.

– Так вот, о забаве нашей невинной. Ну, почти... Ну, короче, мы познакомились на пляже с приезжими девушками – скажем так, не совсем строгого поведения, – то да сё, разговорчики, шуточки... Слово за слово, приглашали покататься на лодке... Те девчонки, что были поприличнее, отказывались плыть с незнакомыми парнями в открытое море, ну, а те, что соглашались, – их уж точно было не жаль... Так вот, привозили мы их на свой островок...

Бабушка вскрикивает, глаза ее округляются – но Друг досадливо машет на нее рукой:

– Да нет, нет – не делай таких больших глаз... Дураки были, конечно, но не до такой же степени! Все по обоюдному согласию... Если какая артачилась, то дальше поцелуев не заходило. Кроме того, я ведь тогда уже в артисты нацелился, красавчик был хоть куда, девки сами на меня кидались, как на сахар... А я и правда походил на конфету... На этого... Ну, сладкого мальчика из Голливуда. Как его... Склероз, короче... Дожил... Нет, забава наша в другом состояла. Когда веселье подходило к концу, мы с приятелем моим перемигивались и под каким-нибудь предлогом уходили в кусты – обычно под самым, так сказать, банальным... Ну, а там быстро прыгали в лодку – и ходу. А девчонок бросали на острове, в чем были. Однажды удалось унести купальники, и девки вообще голяком там остались... Иногда они видели, как мы отплывали, выскакивали на берег, визжали, ругались... Ну а мы в ответ хохотали, конечно, и похабные жесты им делали. Страшного с ними ничего случиться не могло: кругом болтались рыбацьи лодки, и, в конце концов, какая-нибудь их подбирала... Нам это ничем не грозило: о такого рода своих похождениях девушки в те годы предпочитали помалкивать. Радые были, что выбрались, – ну а урок мог и на пользу пойти... Странно подумать – теперь им всем уже под семьдесят... А ты тогда только родилась еще... – он замолкает и надолго задумывается.

Бабушка осторожно дотрагивается до руки Друга:

– Неприятная, конечно, твоя история, Дима... Но ведь, в конечном счете, это подростковые шалости, не больше... Не стоит так себя из-за них...

Он вскидывается и смотрит на нее в упор, так что Бабушка начинает обиженно моргать, а Мила вся дрожит, хотя взгляд и не ей предназначен: она чувствует, как Другу больно, может быть, даже больнее, чем наступить на кнопку.

– И это, Ляля, представь себе, тоже все еще присказка, – шумно вздохнув, говорит он.

Бабушка хочет что-то сказать – и молчит. Она смотрит на Друга уже с настоящим испугом – таким, что Мила потихоньку сползает с собственного стула и бесшумно перебирается на другой, тот, что стоит прямо рядом с Бабушкиным. Она сразу ощущает рассеянную теплую руку у себя на плече, и ей становится поспокойнее.

– Ты даже Милу напугал, – вымученно улыбается Бабушка. – Говори уж все, раз начал...

– Между прочим, – пристально смотрит на нее Друг, – я давно уже подозреваю, что твоя Мила понимает гораздо больше, чем ты ей разрешаешь... Это я так, к слову... Да, ну вот. Привезли мы туда однажды двух девчонок – черненькую и беленькую. И, знаешь, интересные такие девахи попались, неглупые даже, с филфака обе. Поэтому проводились мы с ними дольше, чем с другими – в качестве прелюдии разные умные разговоры пришлось разговаривать. А и без того не рано было – уж народ с пляжа расходиться стал, волна поднималась, прилив обозначился... Небо заволокло... Хоть бы один из нас мозги включил и сообразил, что лодки-то давно к берегу идут, шторма бояться. Нет, выиграло ретивое... В общем, все как всегда: отпросились «в кустики», к лодке бегом – и на весла... А девчонки и не заметили, кажется: сидели себе на полянке – там полянка такая укромная была, как специально сделанная, – бутерброды, наверно, жевали. И, главное, на берегу уже друган мой смотрит на меня с сомнением да и предлагает – мол, может, смотаемся, заберем их? Дескать, штормит сильно, лодки сегодня могут больше не выйти, тогда нашим шалавам ночевать там придется... А если еще дождь... Но я злой был – на черненькую ту. Такой казалась аппетитной, опытной, глядела многообещающе... А лежала, извиняюсь, бревно бревном... «Ничего, – говорю, – пусть попрыгают. В другой раз умнее будут»... С тем и домой пошли.

– И что... – шепчет Бабушка. – Так никто и не подобрал их?..

– Нет, – хрипло отзывается Друг. – Я бы и не узнал об этом – да и интереса особого не было. Только разговор услышал – случайно, на автобусной остановке, когда мать в Ломоносов на рынок послала. Одна тетка другой рассказывала, что у соседей их – большое несчастье. Приехала внучка из Ленинграда – хорошая такая девушка, Валей звали, в университете училась – да и пошла с подружкой на пляж купаться. А там два каких-то подонка – и носит же земля! – их в лодку заманили и на остров в море отвезли. Хи-хи, ха-ха – да и бросили там одних. Шторм начинался, лодки ни одной не было на воде. До берега далеко – не доплыть, да еще в грозу. Девушки в одних купальниках, плакали, звали – никого; только волны плещут и ветер воет. Так бы, может, и ничего – ну, страху бы натерпелись или простыли в крайнем случае... Да только у Валечки диабет был ужасный – утром и вечером сама себе инсулин колола... Стало ей плохо, а к утру – кома... Пока подружка до помощи докричалась, пока подобрали их, пока довезли да нашли, откуда «скорую» вызывать, – день уж настал... Так в машине и скончалась, бедняжка... Теперь соседка, вся черная от горя, собирается в Ленинград на похороны внучки... Тут автобус подкатил, тетки уехали, а я как стоял на месте – так и ноги приросли... И ведь, главное, не знал я – и не узнал никогда – откуда! – которая из них была Валечка. Моя или другая... Их звали – Валечка и Алечка – это я хорошо помнил, но какую – как... На острове недосуг было разбираться, а потом... А-а! – Друг машет рукой и замолкает надолго, обхватив свою склоненную над столом белую колючую голову.

Молчит, откинувшись на стуле, и Бабушка. Мила тревожно переводит взгляд с одного на другого, ей жутко, хочется спрятаться – почему? Убежать? А как же Бабушка? Друг внезапно смотрит на нее в упор и зычно рывкает:

– Клянусь – она понимает! Да еще, пожалуй, и больше, чем ты! – он с угрозой, как кажется Миле, оборачивается к Бабушке: – Ну что, трепетная моя? Передумала, небось, меня в сожители звать?

Бабушка ничего не отвечает, но крепко-крепко прижимает Милу к себе, словно они теперь вдвоем – против него, этого совсем не хорошего сегодня Друга...

Он встает:

– Мне пора. Считай, что я бросил вас с Милой на острове. Ляльку и Милку. Ждите – шторма-то нет: глядишь, и подберет кто-нибудь...

Друг с грохотом отталкивает пустой Милин стул, словно живого врага, заступившего путь, и широким шагом направляется к двери. Это уже слишком! Мила с жалобным ревом бросается в комнату, ныряет в их с бабушкой постель, прячет голову под подушку... Ничего, ничего... Сейчас Бабушка придет и ляжет рядом, и не нужен им никакой противный Друг, который так страшно гудит и грохочет...

Ночь либо давно ушла, либо в этот раз и вовсе не приходила, а Бабушка и Мила все еще лежат рядышком под одеялом – но нет ни одной из них покоя. В комнате светло, в открытой форточке – светло-синий ломтик неба. Обе бодрствуют, не могут найти себе удобного места, хотя Мила изо всех сил старается успокоить Бабушку: она то кладет ей голову на плечо, то гладит лицо, то пристраивается у теплого бока... Но Бабушка не обнимает ее, не целует, как обычно, когда Мила ласкается, а с досадой отталкивает свою девочку, раздраженно бормоча:

– Спала бы уже. Надоела до смерти, – и добавляет сокрушенно: – Надо же, какой козел. Нет, ну какой козел, а? – она еще немножко ворочается, но вдруг садится и громко, удивленно произносит: – Мила, мне нечем дышать... Совсем нечем! Мила!

Обеими руками, царапая себе шею, Бабушка оттягивает ворот ночной рубашки, громко, бурно тянет в себя воздух и сипло кричит:

– Мила! Задыхаюсь! Что это?! Мила!! А-а!!!

Словно чья-то невидимая огромная рука вырывает ее из постели и бросает к окну. Часто и жутко дыша, Бабушка силится открыть его, но заедает шпингалет – и она начинает сипло выть, дико глядя перед собой и судорожно тряся гремющую раму, – а Мила уже рядом с ней, пытается заглянуть в ее мутные от смертного страха, словно

подернутые сизой пленкой глаза, и тоже в запредельном ужасе повторяет:

– Что с тобой?! Что с тобой?! Что с тобой?! – на самом деле у нее выходит: «А-ой!! А-ой!!! А-ой!!!»

Но вот окно распахнуто, со двора, уже вполне светлого, врывается тугая волна прохлады – но Бабушке не легче. Она теперь держится за грудь:

– Да это – сердце... Это сердце, Мила... – замирающим шепотом свистит она и вдруг вся тяжелеет, цепляется за подоконник.

Мила не впервые слышит это слово – Бабушка часто говорила раньше, обнимая ее: «Ух, и колотится же у тебя сердце, Мила! И как только не выскочит!» – и прижимала теплую ладонь туда, где внутри у Милы трепыхалось что-то маленькое и неустанное, которое всегда играет и бежит в ней, даже когда Мила спит... Еще это сердце как-то дает о себе знать, если Мила чему-то очень радуется – там так сладко-сладко ноет, как будто ешь сгущенку, и так пусто становится, когда обидно... или страшно... Да, Мила очень хорошо понимает, что такое сердце. Она и Бабушкино сердце не раз слышала, когда прижималась к ней: оно стучало ровно, гулко, надежно... Должно быть, оно такое крупное, горячее... Мила почему-то видит его красным... Но что оно сейчас делает в Бабушке – это большое сердце? А вдруг оно выскочит и – убежит? Что тогда будет? Мила сразу решает, что если сердце сейчас выскочит из Бабушки, то она его поймает. Это просто: хватить – как бабочку. Но не съест его, а сразу вернет, потому что у нее уже есть внутри одно. Должно быть, она когда-то давно его проглотила...

Но Бабушкиного сердца нигде не видно, а сама она всем телом лежит на подоконнике, и Мила замечает вдруг, что и лицо ее, и губы, и даже глаза – все это точно такое же белое, как и рубашка... Она отталкивается руками от рамы, еле слышно стонет:

– Нет уж, дудки, Мила... Я не умру – так... Одна... Слишком глупо... Не хочу... Не позволю...

Она делает шаг к кровати, шатается, прислоняется к шкафу... Ее надрывное дыхание заполняет всю комнату – Мила бросается на помощь...

– Не путайся под... ногами... дай... дойти... – хрипит Бабушка и делает еще рывок, упирается локтями в спинку кресла...

Там она судорожно переводит дыхание, тянется к тумбочке... Телефон! Она хватается телефон, и ее мотает с ним к двери. Бабушка ушибается о косяк, но он же и служит ей опорой... Черная коробочка у ее уха...

– Дима... – голос Бабушки не похож на ее собственный, и вообще на человеческий. – Вызывай «скорую»... Мне... Сердце... Сейчас попробую... открыть... Если... не смогу – ломай... – коробочка летит на пол, Мила кидается к ней, оттуда горит белый свет, и еще слышны какие-то звуки.

– А-я-а! – громко зовет Мила. – У-и-и! У-и-и!

А Бабушка уже в прихожей, она всем телом прислонилась к входной двери, что-то гремит – и дверь вдруг подается наружу. Бабушка сползает по ней, опускается на колени, руки ее уже там – в той Другой Жизни, куда Миле ходу нет. Там иной цвет и чужой запах, там опасно, оттуда приходят незнакомые люди, к этой двери Миле и подходить запрещено! Но Бабушка стоит на коленях, упираясь ладонями в пол, как раз поперек заветного рубежа, голова ее опускается все ниже, ниже, вместо дыхания вырываются слабые всхлипы... Но Мила не убегает. Подвывая от страха, она стоит рядом с Бабушкой и ждет, сама не зная чего...

Но вот поблизости раздаются быстрые шаги и знакомый голос. Это Друг, понимает Мила и отступает в квартиру. Он знает, что делать, сейчас опять все окажется, как прежде... Давай же, Бабушка, вставай, вставай! Но, увидев Друга, Бабушка не поднимается, а, наоборот, падает вниз лицом...

– Ляля-а!!! – басом зовет Друг. – Лялечка, ты чего это?!!

В их маленькой квартирке происходит такое, чего раньше никогда не бывало... Вдруг появляются совсем незнакомые мужчины в синей, как дерево во дворе, одежде, они что-то делают с лежащей на диване Бабушкой, витает страшное, корявое слово «инфаркт», звенит стекло и железо, отвратительные запахи заполняют комнату... Но не это пугает Милу, забившуюся в кресло и всеми забытую. Ее пугает Тьма... Она не видит ее, но чувствует, как она нависает

над Бабушкой, растопыривается уродливым облаком над их безопасным диваном и набухает, набухает чернотой...

– Она выживет? Она выживет? – беспрестанно спрашивает Друг у всех мужчин по очереди.

А они рассеянно отвечают:

– Вроде должна...

И снова звякает железо и стекло, что-то падает на пол, и вдруг раздаётся Бабушкин короткий мучительный вдох.

– Лялечка, я здесь! – кидается к ней Друг, расталкивая мужчин, но они отстраняют его и мрачно спрашивают Бабушку:

– В больничку поедете?

– Поедет! – поспешно отвечает за нее Друг. – Еще как поедет! А носилки у вас есть?

В комнате оказывается странная узкая кровать на высоких блестящих ногах с колесами, мужчины вместе поднимают Бабушку и кладут сверху. Мила мельком видит ее неузнаваемое маленькое лицо, повернутое к Другу:

– Мила... Ты – Милу... Нужен уход... Кормить... Там, в холодильнике... Ей нельзя одной... Ключи... – шелестит она.

Он машет на Бабушку обеими руками, будто ловит белых бабочек:

– Да разберусь я! Ничего с твоей Милой не делается! Ты, только, ради бога не волнуйся! Тебе нельзя волноваться!

И все. Одна Мила. Нет Бабушки. И никого нет. Только День. Но он никогда ничего не говорит.

Друг возвращается нескоро, только когда снова пришла и исчезла короткая, совсем светлая Ночь. Ждала-то Мила, конечно, Бабушку. Она не могла представить себе ее лицо, но в целом образ в голове получался ясный: что-то большое, доброе и родное... Мила положила голову на Бабушкину подушку и так пролежала долго-долго...

Но вот дверь в прихожей кто-то открывает, слышится звяканье ключей... Мила не кидается, как всегда, навстречу, а, наоборот, прячется поглубже под одеяло, потому что знает, что это не Бабушка. Точно так же, как раньше, когда бабушка шла домой, Мила узнавала об этом задолго до

того, как та подходила к двери. Так, ниоткуда. И было ей радостно.

– Мила! – слышен знакомый голос-шмель. – Где ты прячешься?

Ах, вот кто это! Мила выбирается из постели и резво соскакивает с дивана навстречу Другу. Она надеется, что он ее покормит, – и действительно, Дима сразу направляется к холодильнику.

– Вот такие дела у нас с тобой печальные, милая Мила... – говорит он, разрезая ей курочку на куски. – Инфаркт хватил нашу Лялю...

Она поднимает вопросительный взгляд. Лялю? Ах, да, этот глупый Друг почему-то так называет Бабушку. Значит, все-таки Инфаркт схватил ее? И унес? И не отпустит? И что делать?! А если взять его и – пор-рвать?!

– Рр-ра? – спрашивает Мила.

– Рад? – усмехается Друг. – Да уж, конечно, теперь даже ты вправе обо мне так думать... И, главное, еще сказал, урод, что бросаю вас на острове... Но, Мила, – я пошутил! Неудачно, разумеется... Почти, как тогда... Но хоть ты меня мерзавцем не считай, ладно? Я вот что думаю: ты, хотя и молчишь, но нас как облупленных знаешь... И о каждом имеешь свое особое мнение... На вот, кушай, наголодалась, поди...

Мила опасливо ест, все время прерываясь и оценивающе поглядывая на Друга... Какой он необычный... Вот Бабушка никогда так длинно с ней не говорила... Он тоже откровенно изучает Милу:

– Все-таки страшна ты, конечно, как смертный грех, – прости уж меня, старика... Но глаза... Любого за душу возьмут... Надо же, какая синь... Просто сапфиры... А сколько ума в них! И чувства! Только за них по гроб жизни влюбиться можно... Так что понимаю я Ляльку, ох, понимаю... Я вот что, Мила... Я обещал Ляле, что здесь с тобой проживу, пока она не вернется... Могу я надеяться, что ты меня во сне не прикончишь? Могу, наверное: Лялька говорит, ты не буйная... Да и мне от моего Юрки-наркотики отдохнуть не мешает, а там... Вот отпустят ее из больницы... Звала ведь она меня жить здесь с вами – а я ей...

А я ей – инфаркт... Вот такое я дерьмо... Вот такое я дерьмо, милая Мила...

Это слово тоже давно в Милином словаре. «Я не занималась за тобой дерьмо выгребать!» – кричит Бабушка, когда Миле случается покакать мимо туалета. Она озадаченно смотрит на Друга: какое же он дерьмо? Он человек. И она его почти любит.

– Что, удивляешься моей велеречивости? – спрашивает Дима и гладит Милу большой прохладной ладонью по голове, задевая ее мягкие уши. – Привыкай: я артист – люблю монологи. Хотя... Не так уж и часто за мою карьеру приходилось мне их разучивать. «Что будете заказывать?.. Икорки к водочке не желаете?.. Приятного отдыха... Вашу даму просят к телефону... Прикажете такси вызвать?» – вот тебе, милая Мила, и вся моя нынешняя роль... Так что монологи теперь ты будешь слушать... Раз уж великий мой талант Родине не пригодился...

Мила совсем не против. Ей даже нравится этот гулкий рокот, а пуще нравится сам Друг. Она чувствует в нем такое же вечное смятение, какое постоянно ощущает в себе, – среди непонятных явлений, шумов, фраз... Она не такая, как окружающие, и он – не такой. В ней – тайна, и в нем тоже... И Бабушка... Которая их одинаково любит и не понимает – тоже одинаково. И которая одинаково им необходима...

Приходящая Ночь постепенно становится похожей на саму себя. Во всяком случае, она все темней и ощутимей. Друг часто появляется позже нее, но, когда кругом День, он почти всегда с Милой. Гудит и рокошет – она привыкла. Иногда они даже едят из одной тарелки. Так даже вкуснее. Спят они тоже вместе, как с Бабушкой, только во сне Друг иногда начинает громко рычать – и тогда Мила бесшумно перепрыгивает через него, забивается в кресло и испуганно смотрит оттуда, пока рычание не прекращается. Тогда Мила снова прокрадывается в постель и притуляется за спиной Друга. Она спит и ждет. Даже во сне.

Однажды, когда День давно уже пришел, а Друга все нет и нет, Мила просыпается от странного чувства. Сна-

чала она никак не может вспомнить, что это такое, но внезапно понимает: Бабушка! Это Бабушка! Она близко! Милу будто сдувает с постели, она бросается в прихожую, взад-вперед мечется у двери. Ну, скорей! Скорей! Неужели она ошибается?!

Нет, Мила может ошибиться в чем угодно – только не в этом. За дверью раздаются голоса, звенят ключи...

– Ва-у-фа!!! – визжит Мила и с размаху бросается Бабушке на грудь. – Ва-у-фа!!!

– «Бабушка»? Ты сказала – «бабушка»?! – смеется и плачет та. – Дима, ты что, тут без меня научил ее говорить?! Ах, деточка, деточка моя...

Они целуются и обнимаются на пороге, а Друг с двумя большими сумками в руках смущенно стоит в сторонке и внимательно на них смотрит... Бабушка, наконец, отстраняет Милу и рассеянно взглядывает на него:

– Туда, в комнату, поставь, я потом разберу... Ну, спасибо тебе... – голос чуть срывается, но это заметно только Миле. – За Милу... За все.

Она медленно кивает – и высоко вздергивает подбородок.

– Мне уходить? – говорит Друг.

– Да-да, иди, конечно, – не смотря в его сторону, отвечает Бабушка.

Но Друг почему-то не уходит сразу, а с виноватым видом топчется на коврик у двери. Миле его вообще-то жалко, но сейчас ей не до него, когда Бабушка вернулась.

– Так я пошел? – зачем-то переспрашивает он, как будто и так не понятно.

Но бабушка не оборачивается.

Их жизнь продолжается, как раньше. Нет, наверное, не совсем так, потому что Бабушка теперь не такая, как прежде. Она редко шутит с Милой и сама никогда не бывает веселой. Она теперь не стрекочет бойко, сидя у своего компьютера и гоня маленькие черные штучки по белому, а долго-долго сидит без движения, уставясь в его большое светящееся окно и обхватив голову руками. Когда Мила робко подходит и утыкается носом в Бабушкино плечо, она рассеянно кладет ей на спину ладонь и вздыхает. Иногда

Бабушка стоит за белой занавеской на кухне – тоже подолгу, только обязательно выключив перед этим свет. Мила знает: в узкую щелку она смотрит туда, на маленькое яркое окошко Друга. Может быть, он все-таки там? – думает Мила. Но застрял – такой большой в таком крошечном – и теперь не может выбраться, чтобы прийти к ним? Вот застряла же она недавно за диваном и не смогла выйти... Звала, пока Бабушка не пришла на помощь. А то так и стала бы там совсем неживая...

– Дура старая... – шепчет Бабушка, глядя на единственное светлое пятнышко во дворе. – Раскатала губу... Уж и до богадельни недалеко, а туда же...

Она возвращается к компьютеру и какое-то время, сжав губы и став такой строгой с виду, что Мила боится к ней приблизиться, упрямо и яростно шелкает, шелкает, шелкает... Но вдруг шелканье прекращается, и Бабушка с протяжным стоном роняет голову на стол. Мила в ужасе: бабушкино сердце снова хочет убежать?! А Бабушка поднимает голову, и Мила поражена: все ее лицо мокрое! Где она взяла воду?

– Поделом мне, поделом! Вся жизнь моя – никчемная! – громко говорит Бабушка; взгляд ее падает на Милу: – Вот, послушай, послушай! – она смотрит на горящее окно компьютера и протяжно произносит: «Глаза-а Сью-узан зажглись, как две-е голубые звезды-ы. Вильям прибли-изился к ней и заключил ее в пла-аменные объ-а-тия. Бурная страсть подхвати-ила их на свое крыло-о – и они начали безу-умный танец любви-и...». Здорово, да?! – она вроде бы и смеется, но так, что Миле становится страшно при виде такой неправильной Бабушки; она понимает, что смех – это другое, а тут... тут боль? Или даже что-то больше, чем боль?

– Почти тридцать лет занимаюсь этой чухой! – кричит-хохочет Бабушка. – С тех пор, как иняз закончила! И, представь, мне все завидуют! «Везет же тебе – так удачно вписалась в рынок! И на работу таскаться не надо! Такую нишу захватила, счастливица!». А жизнь-то – псу под хвост! Шелудивому псу! Всё любовнички, любовнички... Один раз могла ребенка родить – не стала, сдрейфила! «Эх, ты, – врачаха сказала, – ведь у тебя девочка была...»

Сейчас она уже взрослой стала бы... Уж и внуков бы, наверно, мне родила... Приходила бы, навещала старуху... Говорила бы: мама!

– Мм-аа... – силится повторить Мила.

– Вот-вот! – зло смеется Бабушка. – Дожила до девочки, нечего сказать!

Теперь Мила видит, что вода льется прямо у Бабушки из глаз... Что это? Разве так бывает? Вода на кухне, в раковине... И в ванной... Откуда она в глазах?

Люди приходят к ним все реже и реже. Часто бывает только одна посторонняя Бабушка – та, что самая маленькая из всех, знакомых Миле. Они с Бабушкой сидят в комнате за низким столиком, пьют, к счастью, не кофе, а что-то светлое, в высоких прозрачных стаканах на длинных ножках.

– Слушай, а тебе после инфаркта не трудно с ней? – показывает она на Милу. – Ну, за ней ведь уход какой-то там нужен, готовка... А ты вон еле двигаешься, да еще переводы на тебя навалились... И вообще... Может, действительно, отдать ее пока?

– Что ты! – пугается Бабушка. – Она мне сейчас больше нужна, чем даже я ей! Без нее я бы уже, наверное, подохла тут, а она меня только и держит... И какой такой особый уход? Она у меня чисто плотная, сама за собой ухаживает... А готовка... Да мы с ней почти одно и то же едим...

Мила тем временем подозрительно оглядывает Бабушку со всех сторон: где они, эти Переводы, что на нее навалились? Так обычно делает только сама Мила – во сне. «А ну, отодвинься, – отталкивает ее иногда Бабушка. – Ишь, навалилась на меня!» Никого на Бабушке не видно, и она успокаивается, но вдруг вздрагивает, услышав:

– А что этот Дима твой, друг так называемый? Взял и бросил тебя в таком состоянии? Так и «покинул на острове»? Хорош, нечего сказать...

– Не хочу о нем говорить, – Бабушка вяло отставляет стакан. – Не состыковалось. Всё. Проехали.

– Конечно, кому охота оказаться с такой уродицей под одной крышей... – бормочет себе под нос Маленькая

Бабушка, неприятно косясь на Милу, когда настоящая Бабушка уходит на кухню за сыром. – Разве только глаза...

Миле тоже дают пахучий кусок вкусного сыра, и она ревниво уходит с ним к окну, взбирается на подоконник и смотрит во двор.

Уныло машет ей многорукое синее дерево под синим же небом среди желтых стен, кто-то выходит из противоположной стены и идет через двор. Мила подскакивает: это Друг! Отчетливо видна его белая, даже на вид шершавая голова. Мила часто замечает его в последнее время – и каждый раз, проходя мимо нее, он с улыбкой кивает ей. Приостанавливается, грустно смотрит в сторону их квартиры и вздыхает, а потом быстро-быстро исчезает с Милиных глаз. Иногда он, должно быть, что-то произносит, Мила не слышит, но догадывается, что он зовет ее по имени. «Р-ру! – отвечает она всякий раз, утыкаясь носом в стекло. – Рр-уу!»

– Клянусь, Лялька, она говорит «друг!» – смеется Маленькая Бабушка. – Может, он сейчас у тебя под окном стоит и плачет. Ромео хренов...

– Перестань, – морщится Настоящая. – Не смешно.

В этот раз у Димы в руках большая корзина – точно такая же стоит у Бабушки высоко под потолком в странной норе под названием «антресоли». Она однажды свалилась оттуда и чуть не зашибла Милу – та едва успела отпрыгнуть, а Бабушка подняла упавшую штуку и отругала: «Надо же, какая мерзкая Корзина – едва не угробила мне Милу!» Мила не понимает, для чего Корзина нужна Другу – такая большая и некрасивая... Она и Бабушке-то ни на что не нужна, просто живет зачем-то на антресолях, и Бабушка ее не гонит, потому что добрая...

Маленькая Бабушка прощается, когда друг со своей Корзиной уже прошел через двор обратно и опять на ходу улыбнулся Миле. В Корзине у него что-то лежало, прикрытое синими листочками... Непонятно... А тем временем Милина Бабушка ложится спать. Раньше она никогда не спала, пока не появится Ночь, а сейчас... Другая, совсем другая стала ее Бабушка. Миле спать не хочется: за окном так ярко, тепло, интересно... Хотя чувствуется, что День

уже собирается уходить... А что, если... Она внимательно смотрит на Бабушку: та дышит сильно и ровно, лицо ее спокойное и белое... Тогда Мила на цыпочках, очень тихо, но решительно идет на кухню. Дело вот в чем: Бабушка забыла закрыть там окно. И решетку тоже не задвинула: лила зачем-то воду из чайника на свои цветы в узком деревянном ящике, а потом позвонил в комнате телефон, она оставила все как есть и больше в кухню не вернулась. Значит, можно вылезти во двор и успеть добежать до дерева – давно уже хотелось посмотреть на него поближе и потрогать, если позволит. А то они только машут друг другу, машут – и никакого толку. И вообще посмотреть, что там есть интересного... Вот, например, голуби... «Гуль, гуль, гуль!» – зовет их иногда бабушка и сыплет за окно крошки. Голубей сразу становится много-много, они давят друг друга во дворе на полу и булькают, как вода в раковине... А Мила неизвестно отчего начинает волноваться, и во рту становится мокро-мокро... Однажды она уже сбежала из дома – но Бабушка не спала и поймала ее. Вот когда Мила узнала, что такое «получить по попе»! Такой сердитой она бабушку не видела ни до, ни после, а уж как больно было! Но сейчас Бабушка спит, значит, ничего не узнает, а Мила успеет вернуться, до того, как она проснется...

Мила – храбрая девочка. Бабушка часто ей это говорит. Храбрые девочки не боятся. Но Миле все-таки не очень уютно. Во дворе странно пахнет: не то приятно, не то противно – ей так сразу не разобраться... Спрыгнуть вниз – не проблема, окно совсем не высоко над полом. Надо же, какой жесткий здесь пол, совсем не такой, как в их квартире... Она опасливо идет прямо к дереву, залезает на скамейку... Подходит и осторожно прикасается к нему подушечками пальчиков, хочет погладить... Но оно холодное и твердое, неприятное на ощупь. Неживое! – понимает Мила. Надо же, а так приветливо махало руками... Слегка разочарованная, она хочет идти дальше – но тут из той желтой стены, в которой обычно исчезает Друг, выходит высокий парень с лохматой головой. Мила не раз уже видела его во дворе – это Ублюдок. Когда Друг еще ходил к ним с Бабушкой, он не раз показывал в окно

на парня, быстро идущего через двор, чтобы пропасть все в той же стене: «Опять, кажется, ширнулся, ублюдок», – говорил Друг и отворачивался от окна. Мила ясно видела на его лице такое же выражение, какое было у бабушки, когда она вытаскивала неживую бабочку у Милы изо рта...

Мила на всякий случай прячется за дерево, потому что ей и близко не надо рассматривать Ублюдка, чтобы понять: он злой. И опасный. Он может сделать так, что она станет неживая – как это дерево. Или та бабочка. Или как она сама делает неживыми комаров. Он садится на скамью и достает откуда-то такую же черную коробочку, как у Бабушки, – телефон. Держит его у щеки и говорит: «Ну, где ты? Далеко еще? Он уже чистит свои грибы! Ладно, быстрее давай копытами шевели...» Мила подглядывает из-за дерева и дрожит. Ей хочется убежать, быстро залезть в свое окно и смотреть уже оттуда, из недостижимого места, – но страшно показаться Ублюдку: вдруг он успеет схватить ее? А Ублюдок тоже дрожит: дрожит его большая нога, закинутая на другую, дрожат руки на спинке скамьи, дрожат большие синие губы... Неужели ему холодно? Кругом ведь так тепло – даже для Милы, которая обычно мерзнет! Но во дворе откуда-то появляется незнакомая женщина – не из Бабушек, молодая. Такая, как Ублюдок. Озираясь, словно ожидая, что кто-то на нее набросится, она быстро идет к скамье – и Ублюдок вскакивает ей навстречу.

– Принесла? – отрывисто спрашивает он. – Дай сюда!

Мила хорошо знает это слово («А что я тебе принесла, девочка моя! Смотри, какая вкусняшка!»), оно всегда означает что-то очень-очень вкусное в руке у Бабушки. Неудивительно, что Ублюдок с таким нетерпением кидается к Женщине. Миле хочется увидеть, чем она его сейчас угостит, – она почти вся высовывается из-за дерева. Женщина отшатывается и вскрикивает:

– Это еще что за каракатица?!

Ублюдок нетерпеливо отмахивается:

– Не обращай внимания. Она ничего не сделает. Безобидная и тупая, как пробка. Только выть умеет гнусным голосом – и все. Именно из той квартиры, куда мой лох

полгода пробегал. Я уж надеялся, что та баба его к себе заберет. Как бы не так – отшила по полной... Сидит он теперь на кухне, курит и страдает... Юный Вертер, блин... Смотреть противно. Ну, показывай!

Женщина протягивает Ублюдку что-то маленькое и белое. Приглядевшись, Мила с удивлением понимает что это – гриб. Похожий на те, что приносит иногда домой бабушка в прозрачных коробках, готовит на сковородке и ест горячими. Мила один раз попробовала («Это гриб, Мила, но тебе, наверное, не понравится») – и точно, не понравился). Вкуса никакого. И запах отвратительный.

– Чуть не чокнулась, пока по лесу моталась. Думала, не найду уж – редкость, все же, большая в наших широтах, – рассказывает Женщина. – Плюнула было, домой собралась несолоно хлебавши и тут смотрю – растет себе... Как на картинке в справочнике грибника: аманита фаллоидес.

– Чего? – удивляется Ублюдок; Миле тоже непонятно.

– Бледная поганка. Как и обещала. Одним грибом целую свадьбу угрохать можно, а не то что одного старпёра, – гордо говорит его знакомая.

– На вкус – точно не горькая? – деловито спрашивает Ублюдок.

– Точно. У нее вообще нет ни вкуса, ни запаха. И, когда ее съедешь, поначалу кажется, что у тебя только легкое несварение желудка, поэтому к врачу никто не обращается. А зря. Потому что второй – и последний – раунд начинается через несколько дней, когда спасти человека уже нельзя. Почки, печень – все разом накрывается. Белая Смерть – в чистом виде. Покруче герыча! А если сам собирал и сам готовил... Какое тут убийство... Любой ошибиться может. Никто не застрахован. Кушайте, дедушка Дима, лучший наш друг... И хватит, наконец, вонять на нашей площади...

Мила вздрагивает: Дима, Друг... Так это ему, выходит, принесли гриб, чтобы угостить? Эта Женщина так любит его, что носит вкусняшки? Мила бесшумно крадется вдоль скамейки, чтобы получше рассмотреть гриб: вдруг, действительно, вкусный, и ей перепадет от него кусочек? Хоть самый маленький!

И тут она словно натывается на стену. Она не видит ничего нового, но ее будто прошивает насквозь противная тягучая дрожь. Тьма – вот что это. Бесформенная, безжалостная, она невидимо зависла над этими двумя, что шепчутся на скамейке, не чувствуя ее. Точно такая же, как висела тогда над Бабушкой, когда сердце ее почти выскочило... А выходит она – из маленького белого гриба, с которым они что-то делают... Тьма растет, растет, накрывает их, вот-вот дотянется до нее, Милы... Проглотит всех – и ее, и Ублюдка с его Женщиной, и Друга, и Бабушку... Но они совсем ничего не замечают:

– Я не хотел до такого доводить, вот этой дозой клянись! – шепчет Ублюдок, быстро показывая Женщине что-то маленькое и блестящее.

– Тогда точно верю, – легонько усмехается та, внимательно на него глядя.

– Но сколько ж можно! – горячится Ублюдок. – Поселился в чужой квартире и живет, живет... И в ус не дуэт! А ведь он мне – посторонний! Бабка когда-то вышла за него и сдуру прописала – свою квартиру он, видите ли, первой жене оставил из благородства... А я здесь с младенчества прописан, между прочим! Потом бабка возьми да помри в одну минуту – а он нет чтобы убраться! Если б благородный был – так бы и сделал! Впаривает мне: куда, мол, я пойду – в подвал? А мне-то какое дело! За тридцатник перевалило, а все у родаков тусоваться должен?! Вот и мечусь меж двух квартир, как придурок. Ни тебе ширнуться нормально, ни кирнуть, ни с шоблой посидеть по-человечески... Ни с бабой поселиться... Надоело! Надоело! Надоело! – взвизгивает он тонким противным голосом, а по лицу у него бежит вода, как недавно у бабушки.

Женщина хватается Ублюдка за локти, мгновенно сует ему что-то в рот:

– На, проглоти. Иначе руки трястись будут. И давай отправляйся уже – чуешь, как грибами с луком из окна тянет? Значит, тушит их всюю... Только тихо смотри, не буянь там хоть сегодня. На кухню к нему спокойно зайди – вроде, воды попить. Он тебя терпеть не может и сразу убежится... А ты очень быстро поднимаешь крышку и броса-

ешь в сковороду кусочки поганки. И главное – не забудь, понял? – руки сразу вымой средством для посуды! Чтоб скрипели, ясно? Не то оближешь их, сдохнешь – и никакого тебе больше ширялова. И кира тоже. Дотумкал, горе мое? Повтори!

– Что я – конченный?! Простых вещей не секу?! – истерично возмущается Ублюдок. – Лапы уберу от меня, невеста!

– Да, невеста! – с нажимом говорит она. – Обещал расписаться – значит, распишешься. Долг платежом красен. Откуда ты знаешь, может, я тоже хочу в замужних дамах походить, как твоя бабка на старости лет... Шучу. Лети давай, сокол.

Они расходятся в разные стороны – Женщина бросается в какую-то щель между высокими стенами – и нет ее; Ублюдок исчезает там же, где раньше пропал и Друг. Тьма еще немножко висит над скамейкой, словно раздумывает, а потом незаметно тянется вослед...

Мила одна во дворе. И сердце ее, кажется, сейчас выскочит и убежит – как собиралось и не сделало Бабушкино... Бабушка! Вдруг она уже проснулась и увидела, что Милы нет?! Тогда уж «по попе» не избежать – проверено... Мила оборачивается на свое настежь распахнутое окно – странно! Окно теперь, кажется, сильно уменьшилось – как она пролезет в него, когда будет возвращаться? А окно Друга, наоборот, выросло – может, заглянуть туда? Оно тоже открыто, а решетки и вовсе нет... Мила вертит головой туда-сюда, не зная, на что подвигнуться... Вдруг она опять замирает и вся холодеет: снова эта Тьма! Ее, как обычно, не видно, но Мила знает: она там, за окном Друга! И стала еще плотнее и гуще, чем когда висела во дворе. Тьма пришла за Другом, отчетливо понимает Мила в какой-то момент. Пришла и заберет – вместо Бабушки, ведь ее-то забрать не удалось! Тьме помешать нельзя – она такая. Она обхватит Друга черными лапами и вытащит из него что-то важное, без чего он станет неживой. Как комары. Как дерево. Как бабочка. Как вон тот голубь, что валяется под ближней стеной... И Друг больше не станет ходить через двор со своей большой белой головой

и улыбаться Миле... Мила такая маленькая, глупая и некрасивая – что она может против Тьмы? Надо бежать домой, прижаться к Бабушке – и все снова станет хорошо... Но Мила решительно поворачивает к окну Друга. Вот оно какое, оказывается, громадное! Теперь понятно, как Друг туда помещается. И забраться легче легкого. Только Мила хочет подпрыгнуть, чтобы уцепиться за подоконник, как рядом что-то грохочет, и она в ужасе прижимается к стене. Это опять Ублюдок. Ах, вот откуда он взялся! В стене, оказывается, тоже есть дверь! Но напрасно Мила так пугается – Ублюдок даже не смотрит в ее сторону. Обдав ее химическим смрадом, он наискось мчится через двор и пропадает. Отлично, путь открыт! Прыжок – зацепиться – подтянуться... Еще легче, чем казалось, – и вот Мила уже на подоконнике, осторожно заглядывает внутрь. С первого взгляда ей ясно: это кухня. Почти такая же, как у Бабушки. Этот большой белый ящик – холодильник. А вот и кран с водой. Мила осторожно ступает на стол – и чуть не падает с него: Тьма прямо здесь, рядом! Ее не видно, но она – живая! Она тоже сейчас смотрит на Милу и решает: схватить ее или нет? На миг девочку парализует от ужаса, но сейчас же она вспоминает: Тьма пришла не за ней. Пока не за ней... Злое темное облако висит над большой серой коробкой, что стоит на полу и называется «плита». На плите, как и на такой же Бабушкиной, горит маленький синий огонь, а на нем тихо булькают в глубокой сковороде грибы. Это и проверять не нужно – невкусный запах, хорошо знакомый Миле, заполняет всю кухню... Тьма торжествует. Она как-то связана с этим запахом, чувствует Мила.

Надо ее убить. Как убила бабочку. И могла бы убить голубя. Правда, Тьма гораздо больше – ну и пусть...

Мила больше не думает – она с размаху бросается на сковороду, та с грохотом летит на пол, Мила – на нее. Она поскользывается в склизких кипящих грибах, падает боком в эту зловонную дымящуюся кашу – и тут оскорбленная Тьма нападает сверху. Бежать некуда – дверь закрыта! Мила катается по полу, воем и визжит от нестерпимой боли, о которой даже не знала, что такая бывает – красная, невероятная! – случайно опирается о перевернутую ско-

вороду – и этого уже нельзя вынести... Она слабо хрипит последний раз, успевает услышать голос Друга – «Мила, ты?! Господи!!!» – и Тьма накрывает ее разом...

У Бабушки в комнате светло от длинной рогатой люстры, висящей над круглым столом. У Милы еще саднит все тело, больно пошевелиться – но эту боль уже вполне можно терпеть. Бока, грудь, плечи, ладони – все туго обмотано какими-то узкими белыми тряпочками, из-под которых струится странный дурманящий запах, и все время хочется содрать их и отбросить в сторону. Но охота сразу пропадает, как только Мила натывается на строгий бабушкин взгляд. Впрочем, строгий он только, когда хочется сорвать тряпки, а так – Бабушка только и делает, что улыбается, хвалит Милу и говорит ей ласковые слова:

– Милая! Умница ты моя! Героиня!

– Красавица наша синеглазая! – подхватывает Друг. – Сколько в тебе грации! Хм... Просто нужно суметь увидеть...

Он сидит за столом, и Бабушка наливает ему в чашку отвратительный кофе. Ну и пусть. Мила все равно любит их обоих. Она вытягивает шею, осторожно кладет голову на стол, прислушивается и всматривается, иногда шурясь от удовольствия просто видеть их и слышать их голоса.

– Ну, продолжай, продолжай, – теребит Бабушку Друг. – Все-таки дал, значит, показания... И что – вот прямо так и признался? Сам?

– А куда бы он делся, – поводит плечом Бабушка, садится рядом с Другом и берет себе другую чашку. – Сутки без дозы. Тут и... этот... допрос с пристрастием... не нужен.

– И как ты только догадалась отправить на анализ те грибы с полу! Я бы просто выбросил их – и дело с концом, – восхищенно смотрит на нее Друг.

– Ага... И эти сволочи отравили бы тебя в другой раз... – мрачнеет Бабушка. – Видишь ли, я знаю, что Мила моя – не хулиганка. Она не могла просто так взять и нашкодить – не тот характер. Пусть она не говорит – но мне иногда кажется, что разбирается в этой жизни лучше, чем я... И раз она ни за что не хотела, чтобы ты ел те грибы... Ты же сам говорил – она вопила от боли и каталась в них, –

но не убежала, когда ты открыл дверь! Значит, она знала, что там – опасность, и хотела показать тебе это. А может, видела, как твой Юрка сунул что-то плохое в сковороду... Не допросишь же ее в полиции... А жаль, право... Ну, а потом, когда я позвонила Катьке...

– Я так и не понял, Катька – это которая? Дылда такая, от которой духами французскими разит? – спрашивает Друг.

– Да нет, Дима, – морщится Бабушка. – Которая дылда – та физик-ядерщик. Мы все тут с одного двора и школу вместе окончили... А Катя, наоборот, самая маленькая. Ну, помнишь, мы еще ее весной в Мариинке встретили?

– Это та вот... Дюймовочка в шляпке... Вся в колечках каких-то, бусиках... Пол-ков-ник по-ли-ции? – весь подается вперед Дима. – Ты чего – шутишь, да?

– Нисколечко! – выпрямляется Бабушка. – Больше четверти века оперативной работы. Только последние годы на руководящую должность перевели – тоскует... Раскрытым убийствам счет потеряла. А тут... и раскрывать нечего... Экспертиза сразу показала: яд бледной поганки. В том лесопарке, где ты шампиньоны свои собираешь, она отродясь не водилась. Значит, подложили... И шансов у тебя не было. Так что если б не Мила...

Бабушка и Дима дружно поворачивают головы в ее сторону.

– Я опять забыл, – виновато говорит Друг. – Как эта порода называется?

– «Сфинкс петерболд». Если по-русски – «Петербургский лысый сфинкс», – улыбается Бабушка и нежно смотрит на Милу; та благодарно шевелит кончиком своего длинного голого хвоста и настраивает огромные уши-локаторы так, чтобы лучше слышать любимый голос. – «На лицо ужасные, добрые внутри»... Разновидность сиамских – а ведь это еще и самые умные кошки в мире!

Друг берет руку Бабушки и подносит к своим губам. А Бабушка склоняется над его колючей белой головой и отважно ее целует.

Владимир КУЗИН

Владимир

ВСТРЕЧА

(На основе признания одного из «чёрных риелторов» середины 90-х)

Кнопка звонка была сорвана и болталась на проводе, поэтому молодой человек постучал в дверь. К его удивлению, она тут же подалась.

Он заглянул вовнутрь:

– Есть кто живой?

Молчание.

Подойдя к кровати, посетитель тронул за плечо лежавшую на ней пожилую женщину. Та вздрогнула и открыла глаза:

– Явились? А я, кажется, задремала...

– Ты что же, бабуля, дверь открытой оставила? – с укоризной заметил молодой человек. – Так ведь могут все из квартиры вынести...

– Да что у меня брать? – всматриваясь в незнакомца, промолвила женщина.

– Не скажи, – молодой человек ухмыльнулся, – сейчас у всех глаза завидующие, руки загребушие, – он оглянулся: – даже вон на старенький комод – и то позарятся... Ну, давай уколемся, а то у меня времени в обрез...

Он достал из саквояжа шприц и, наполнив его лекарством, пустил вверх контрольную струю.

– Как у вас ловко получается, – похвалила его пациентка. – Поди-ка, немало пенсионеров перекололи.

– Не особо, – признался молодой человек, – просто я с детства этим занимаюсь: сначала больного отца лечил, после знакомые стали просить... Ну и пошло-поехало.

Он засучил рукав бабушкиного халата и кусочком ваты, предварительно смоченным в пузырьке со спиртом, принялся натирать ей руку. Сначала быстро и уверенно, затем все медленнее... Наконец, остановился.

– Что-нибудь не так? – спросила больная.

– Какая интересная у тебя, бабуля, родинка, – задумчиво проговорил посетитель.

– Похожа на звездочку, правда? – пристально вглядевшись в молодого человека, заметила старушка.

Тот вздрогнул, в свою очередь всмотрелся в глаза своей пациентки и... шприц выпал из его руки:

– Антонина Сергеевна?

– Видать, плохи мои дела, если даже один из любимых учеников меня не узнал... Сколько же лет прошло? Что-то около двадцати? С того дня, когда вы втроем ввалились ко мне сюда с огромным букетом... Что молчишь, Витенька?

– Да, было дело, – тот как бы очнулся от забытья. – Вы тогда чуть не расплакались, – он попытался улыбнуться.

– Я буквально опешила. Думала, все на выпускном, шампанское пьют. А вы его оттуда, оказывается, «свистнули», и ко мне!

– Это Людка нас тогда с Игорьком зажгла! Мол, у всех праздник, а «литераторша» лежит больная, одна-одиношенька... А когда мы на ваше житье-бытье глянули: бардак, грязь, все разболтано, развинчено...

– Ну и, как говорится, засучили рукава, – договорила она за него. – Вы были молодцы, все в Божий вид привели... Часы-то помнишь?

– Эти? – Виктор кивнул на стену. – Неужели до сих пор ходят?

– Починили с Игорем на совесть, спасибо... Затем, помнится, я позвонила в поликлинику по поводу того, что долго не идет медсестра. А когда оказалось, что она заболела, а заменить ее нечем, ты смело взял из аптечки шприц и сделал мне укол. Прямо возле этой родинки. Тогда же и заметил, что она похожа на звездочку.

Виктор кивнул.

– А какие прекрасные розы вы поставили на стол! – продолжила учительница.

– Что розы. Какой Людка нам пирог испекла! До сих пор помню.

– Ах, да! С вареньем и яблоками.

– И хрустящей корочкой!

– Где только у меня муку нашла?

– А не забыли, как вас с шампанского развезло? – усмехнулся Виктор.

– Вспомнить стыдно, – Антонина Сергеевна зажмурилась. – Как сейчас принято говорить, крыша у меня тогда поехала. Причем капитально.

– Зато мы о вас узнали такое, о чем на трезвую голову вы бы нам никогда не поведали. И как вы с мамой в голодном сорок седьмом собирали по помойкам картофельные очистки; и что у вас погиб на границе муж, и вы чуть руки на себя не наложили...

– Ужас, – она завертела головой. – Но и у вас в тот день язык развязался – будь здоров! Например, кто бы мог подумать, что Игорек в пятом классе плакал над умирающей Марусей из «Детей подземелья» Короленко... Ах, какие он трогательные сочинения писал! О дружбе, преданности. Талантлив был, что и говорить. Я тогда одно из его творений в «Комсомолку» отправила, и его там опубликовали.

– А сколько мы вспоминали о наших походах, кострах. Не забыли, как Люда взяла гитару и вот за этим столом запела «Учительница первая моя»?

– И вы дружно подхватили...

– Петь она была мастерица. По-моему, даже в конкурсе от нашей школы участвовала...

– На серебро потянула, – подтвердила Антонина Сергеевна. – А как мы прощались, со слезами на глазах!.. Не думала, не гадала, что увижу одного из вас только через двадцать лет. И при каких обстоятельствах, Боже мой!

– Вы о чем?

Она несколько раз порывалась что-то сказать; однако, видимо, боялась решиться... Наконец, отвернувшись к стене, промолвила:

– Думаешь, люди не догадываются, какие ваша «благотворительная» организация старикам уколы делает? Вера Семеновна из шестого дома, Алексей Владимирович из пятнадцатого «б». Продолжить?.. Никто из них давлением особо не страдал, и вдруг у всех – инсульт! – Она вздохнула, подавляя волнение. – Сколько несчастных попало вам на крючок! Мол, обеспечим продуктами и лекарствами, только завешайте нам свои квартиры... – Она посмотрела ему в глаза.

Виктор побледнел.

Некоторое время оба молчали.

– Откуда это скотство вокруг? – не выдержала учительница. – Что с людьми стряслось?

– А ничего особенного, – он вскочил и заходил из угла в угол. – Хоть сейчас-то, Антонина Сергеевна, прекратите лукавить! Никогда не забуду, как на уроках вы нам о комсомольцах – героях войны и труда рассказывали. А что по вечерам молодые обкомовцы, собираясь на своих шикарных дачах, лопали икру ложками и, извините, с голыми бабами в бассейне купались, – об этом ни гу-гу! Да все вранье шло именно от вас, интеллигентов! Теперь, представьте, и нам захотелось пожить по-человечески...

– Убивая людей! – Ее затрясло от негодования.

– Ох, какое слово страшное, – Виктор скривил губы в усмешке. – Скажем, «усыпляя»; и, заметьте, не просто людей, а бесконечно и безнадежно страдающих. Как раз напротив: оставляя одинокому старику жизнь, мы обрекаем его на невыносимые муки от голода, болезней и прочего. – Он остановился. – Видал я одного такого – вернее, то, что от него осталось: высохшая мумия! Соседи хватились, когда на лестничной площадке уже понесло тухлятиной...

– «Благодетели», значит. Беззащитных – в ящик, а на полученные от продажи их квартир денежки разъезжаете по Канарам, пьете виски и шляетесь, пардон, по проституткам – как те комсомольские вожаки, коих ты так ненавидишь. Да вы же враги России! – Она приподняла голову.

– Кому?! – Виктор метнулся к ней. – Этим, что вопят на митингах «Долой кровососов»?! Антонина Сергеевна, вы наивный человек! Они же не о справедливости пекутся, а

злостью исходят, что кусок общего пирога достался не им! – Он опять заходил по комнате взад-вперед. – Я знаю женщину, торгующую на рынке шмотками, которая чуть ли не ежедневно кроет «новых русских» матом, – мол, нахapaли по самую макушку... Так вот: как-то гляжу, у одного из покупателей возле нее кошелек выпал из кармана пиджака, когда он оттуда стал носовой платок доставать. Смотрю, та продавщица молчит... А едва мужчина пошел дальше, она его пропажу хватить – и в кучу своего тряпья! Сюжет, да?.. Да все люди по своему нутру – хапуги! Просто не у каждого оказалась возможность взять!.. Нет, Антонина Сергеевна, сейчас у меня на многое глаза открылись. Кстати, заметьте: эти демонстранты с забастовщиками требуют вовсе не воплощения в жизнь идеи Достоевского, а дешевой водки с колбасой!.. У меня дома кот: если ему вовремя не дать сосиски, он начнет орать как резаный! Однако никому же не придет в голову назвать его «борцом за социальную справедливость». Ибо иной цели, кроме как набить собственное брюхо, у него не может быть в принципе! То же самое и у этих «крикунов», только с другой декорацией... Правда, не подумайте, что я их в чем-то обвиняю – это было бы верхом кощунства! Грабанут меня – буду сопротивляться до посинения; однако никогда ни на кого не обижусь! Поскольку прекрасно понимаю, что после ваших «заоблачных» идей люди просто изголодались по обычному земному счастью.

– Животному!

– А что низкого, например, в удовольствии от вкусной еды или в плотских утехах? Не человек себя таким сотворил, а потому его вины в этом нет. Да и если бы дело касалось десятков или даже сотен людей, я бы еще подумал. Однако «скотами», как вы нас называли, в одночасье стали практически все! Оглянитесь вокруг: только ленивые сейчас не бросились за деньгами и радостями жизни! Причем многие – перегрызая друг другу глотки! Следовательно, дело не в навязанной нашему народу, как утверждают иные, чуждой потребительской морали, а исключительно в универсальной, совершенно одинаковой для всех живых существ природе, которая в русском человеке

наконец-то взяла свое... Кстати, Люда поет вовсе не на сцене филармонии, а в ночном баре, поскольку там, по ее словам, платят солидные гонорары. А ваш талантливый Игорек строчит заметки отнюдь не в «Комсомолке», а для известного эротического журнала. Я как-то из любопытства прочел одно из его нынешних творений, где он смакует подробности интимного характера, – волосы дыбом встали!.. А ведь они оба – тоже ваши ученики! – Виктор опустил на стул и посмотрел в окно. – Не надо ничего выдумывать. Дарвин доказал: человек – хоть и высокоинтеллектуальная, но горилла! И останется таковой до окончания века – как бы вы, Антонина Сергеевна, ни пытались ее одухотворить.

Он уставился в пол.

Опять воцарилась тишина. Слышны были только ход настенных часов да жужжание мухи на окне...

Наконец, учительница положила руку на лоб и, морщась, словно от боли, проговорила:

– Наверное, мы это заслужили: недомолвки рожают гораздо большую подозрительность, чем откровенная ложь. Да, наше поколение молчало о лагерях на Колыме, заградительных отрядах НКВД и прочих «прелестях» социализма. Но то, что Зоя Космодемьянская, стоя у виселицы, говорила о счастье умереть за свой народ, – правда! Как правда и то, что мы, юноши и девушки военных лет, собирая на собственные скудные средства посылки для голодных детишек блокадного Ленинграда, испытывали при этом неизреченную радость, которую не променяли бы ни на итальянские виллы, ни на шестисотые «мерседесы»!.. Впрочем, тебе этого не понять, – она вытерла платком капли пота с лица. – Одно жаль: за наши грехи мы заплатим слишком дорого: очевидно, для России потеряно целое поколение... И все же достоинство человека в том и состоит, чтобы даже в роковых для него обстоятельствах суметь признать свои ошибки и попытаться до последнего служить людям, стране, если хочешь – Богу, Которого у нас, бывших пионеров и комсомольцев, тоже отняли... А потому я все равно благодарна вам – моим ученикам. За дарованное мне счастье нести вам добро, за ваши слезы по

умирающей Марусе... За возможность понять главное: никакие вы, ребята, не шпана и не изверги, а самые что ни на есть несчастные, оставленные всеми, брошенные наши детишки. И если нам не удалось главного – научить вас испытывать счастье, бесконечно выше желудочного, то простите нас, – ее голос дрогнул, и она отвернулась к стене.

Он заметил это и подошел к окну, кусая ногти. Немного помолчав, сказал:

– Вот что, Антонина Сергеевна. Я сейчас уйду, а вы вызовете по телефону нотариуса и составите новое завещание. Отпишите квартиру какому-нибудь своему родственнику... или хоть соседу. Мне, конечно, от своих достанется: мол, упустил шанс, не запудрил как следует мозги и тому подобное. Но я постараюсь отмазаться... А после скоплю денег – и за кордон, к чертовой бабушке из этой вонючей дыры под названием Россия. Может, и получится пожить по-человечески...

– Ты, Витюша, глупый, – она подавила в горле ком. – Я хоть и не Зоя Космодемьянская, однако что такое долг – мне объяснять не надо. Если я не смогла уберечь твою душу, то уж неприятности из-за меня я тебе иметь не позволю. Так что все сделаешь как положено... Получишь за мою квартиру солидную сумму; наешься, как твой кот, телячьих сосисок, будешь лежать на мягком диване, поглаживая пузо, и вспоминать глупого педагога, упустившего в жизни свое счастье...

Она подобрала с пола шприц и обтерла кончик иглы.

– Я не смогу... – прошептал он, опустившись на стул.

– Ого, – ее глаза блеснули, – уж это с твоей философией никак не вяжется... – Она помолчала. – Если тебе не трудно, принеси мне воды, в горле пересохло...

Как нашкодивший ученик, потупив взгляд, он медленно поднялся и побрел на кухню. Нашел в шкафу стакан и, сполоснув его из-под крана кипятком, налил в него из чайника воды... Войдя же в комнату, увидел, что учительница глотала ртом воздух, а по полу катился опорожненный шприц.

У Виктора потемнело в глазах...

А когда все было кончено, он положил шприц с ватой в саквояж и вышел на улицу.

Ярко светило солнце, по небу плыли кудрявые белые облака.

«Как тогда, во время выпускного», – мелькнуло у него в голове. И он вспомнил.

Они стояли внизу, а «литераторша» провожала их взглядом с балкона третьего этажа.

– Ребята, спасибо вам за вечер!

– Это вам спасибо, Антонина Сергеевна, – крикнула Люда. – За сердце ваше; за то, что терпели нас все эти годы, и вообще...

– Счастливого вам жизненного пути! – Учительница смахнула со щеки слезу. – Не забывайте школу!

– Мы еще вас навестим, Антонина Сергеевна, – пообещал Виктор.

– Если сломаются часы, звоните, – добавил, улыбаясь, Игорек.

Она кивнула.

Они помахали ей руками и направились в сторону троллейбусной остановки...

Роман СТЕПАНОВ

Томск

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

1

– И заходит мой медведь, да не просто ведь заходит, а в костюме! Так и заходит, на двух лапах да в костюме! И что вы думаете? А я тогда же и подумал: «Да кто же ему, медведю то есть, костюм сшил! Кто да по чьему запросу?» Ну кто, кто в здравом уме будет медведю костюм шить? Я ему так и крикнул: «Костюм!», а он мне говорит: «А как же-с». Тут-то я и вспылел, весь вскипел, ну, представьте себе, честной народ, что ваш медведь да вам же и отвечает: «А как же-с», – да не просто отвечает, а ещё и в костюме! Тут я и взорвался, так зол был, ух! Я как подпрыгнул со стула да давай по комнате метаться, а медведь все стоит да на меня глядит! В костюме! Я сразу к тряпке кинулся и кричу: «Все! Горячка! Помру, да в горячке!» – взял мокрую тряпку да на лоб приложил, на медведя не смотрю нарочно, думаю: «Отдышусь, тряпочка-то подействует, да пропадёт он». Не пропал. Думаю, дай-ка взгляну на него, а он уже в комнату прошёл, да стоит у стола, да все глядит на меня и головой мотает. А потом, нет, тут уже совсем сумасшествие, но верьте мне, верьте, так и было! Достает очки из кармана да надевает! На свою морду и надевает очки да приговаривает: «Нет, Михал Палыч, это вы, батюшка, зря», – Михал Палыч остановил свой возбужденный рассказ, потянулся к рюмочке с коньяком, выпил и тихонько поставил её на стол.

– Ба, да как же ты, Михал Палыч, медведя-то дома держал, хоть и без костюма? Где взял-то? – поинтересовался краснощекий мужик, коренастый, светловолосый и явно под хмельком.

– А сейчас вам все и расскажу, и где взял, и как держал, все расскажу! – вскрикнул Михал Палыч и снова потянулся к рюмочке.

– Да мы всё твои басни и слушаем, правда-то есть в них? Или опять нас развлекать будешь? – спросил другой мужик, хмурый, серьезный, по всему виду его можно было понять, что такой мужик «чушь не городит», а говорит только по существу.

Михал Палыч тем временем уже выпил рюмочку – каковую по счету точно, уже не скажу, – аккуратно поставил её на стол и сделал глубокий вдох.

– Однако! – крикнул Михал Палыч; лицо его той минутой уже раскраснелось, а вид его стал не таким тревожным, как раньше. – Однако ведь! Сардинов, ты вот говоришь, что я лгун, а я ни разу, повторяюсь, ни разу вам, честной народ, не лгал! – в восторженном возбуждении проговорил Михал Палыч. Сардинов же поднял свою большую голову от стола – голова у него и впрямь была большая, он и сам был не малподнял ни ростом, ни телосложением, однако голова его была несоизмеримо больше в сравнении со всеми остальными частями его тела, – он поднял голову и насмешливо поглядел на Михал Палыча, но ничего не сказал. – А как же так, Сардинов, ах, как же так? – спросил Михал Палыч и всё мотал головой в стороны.

– Чего? – серьезно спросил Сардинов, внимательно глядя в лицо Михал Палыча.

– А вот чего: говоришь, что я лгун, а сам давеча надул меня на три рубля в своей лавчонке! Я-то, конечно, как человек не-конф-ликт-ный, – Михал Палыч проговорил это слово по слогам, ударяя на каждый из них, – ничего тебе не сказал, а, как оказалось, стоило!

Все, кто был в зале, уставили свои взгляды на Сардинова. Сидели они, кстати, в корчме, она была довольно чистенькой и даже пахла хорошо. Сардинов после слов Михал Палыча просто прыснул и не стал отвечать на та-

кой очевидный «пустой выпад», как думал он. По правде же, Михал Палыч и не лгал, по крайней мере, он не знал, что лжет. Дело было так: Михал Палыч принёс с десяток килограммов капусты, три мешка картошки и пшеницы около двух пудов – всё по заказу Сардинова, – но в силу естественных причин – Михал Палыч, за час до того, как запряг телегу, выпил полбутылочки водки, – он обсчитался. Он получил за весь его товар ровно шесть рублей, как и должен был. Получив же шесть рублей вместо девяти, как он сам насчитал (НВ. Михал Палыч был свято уверен и глубоко убежден в том, что он отнёс Сардинову непременно три пуда пшеницы и пять мешков картошки), он не стал возвращаться в лавку к Сардинову, но для себя решил, что это дело важное и, так сказать, его козырь, припрятанный до нужного дня и нужного часа. Было это всё недели так четыре назад, но каждый раз, когда Михал Палыч встречал Сардинова, он всё думал об этой ситуации и про себя посмеивался. Сардинов, кстати, был приказчиком у Железнякова, крупного помещика в том уезде, а значит, человеком он был серьезным и уважаемым.

– Так что с медведем-то? – спросил краснощекий мужик, звали его Богдан Вадимович.

– С медведем-то? – как бы опомнился Михал Палыч. – Это ты, Вадимыч, правильно, а то я с этими тремя рублями и забыл совсем про медведя, – он посмотрел снова на Сардинова, но повторное упоминание трех рублей должного эффекта не дало, никто уже и не посмотрел на Сардинова, да и сам Сардинов даже не посмотрел в ответ на Михал Палыча. Михал Палыч расстроился, что его долго хранимый козырь сейчас испарился. – А и чёрт бы с ними, с этими тремя рублями, слушайте про медведя! – он сказал это громко, выпил рюмку, прошипел «ах!», утерся рукавом льняной рубахи, как бы похоронив свой козырь, распрощавшись с ним таким образом. – Взял я медведя четыре уж года назад, у Коряги...

– Да как же! – вскричала полная женщина, которая сидела за столом с тоненьким, почти как щепка, мужчиной, то был её муж. – Четыре года, говоришь, а как мы твоего медведя за четыре года-то и не увидели ни разу?

– Будешь перебивать, Муська, – бабу звали Марфой Кирилловной, но, как повелось, все называли её Муськой, – никогда и не увидишь! – осадил её Михал Палыч. – Говорю же, всё расскажу, чистую правду вам выложу, выслушайте только, – сказал он как-то жалостливо, и все в корчме даже притихли. – Взял я мишку-то у Коряги, как уже сказал...

Понимаю, что рассказ выходит сбивчивым, но предисловий он не достоин, поэтому буду прерывать правдивый рассказ Михал Палыча небольшими, но состоятельными ремарками, которые просто необходимы для вашего полного понимания. Корягой зовут бабку, что живёт в отдаленной избе на краю уезда, подле болот. Корягой её прозвали местные, настоящего же её имени я не знаю, да и, думается мне, уже не знает никто. Была сильно стара, поговаривали даже, что ей за сотню – в это я не верю – и что она самая настоящая ведьма. Живет она одна, варит разные травы и делится ими с местными, те ей за это благодарны, таскают ей продукты, утварь, хлеб и проч. «Нелюдима, стара, страшная, но вроде как неплохая, живет себе на болотах, да и черт с ней», – так говорят о ней сами местные. Вот от этой Коряги, по словам Михал Палыча, он и получил своего медведя.

– Пришел я к ней тогда к вечеру, голова болела ужасно, за травами пришел, собственно. Она же, как всегда, и словом не обмолвилась, дала какой настой, я его там выпил да повернулся, хотел уже к себе идти, спать шёл, вот. Повернулся я и вижу такую картину: у двери, на какой-то подкладке, лежит мишка, маленький такой, не шевелится, спит, видать. Ну я тут и подпрыгнул, сами посудите, честной народ, медведь прямо в избе! И не всё ли равно, детёныш али взрослый? Медведь-то медведь и есть, что зверь дикий. Вцепится во сне, и всё, пиши, что и не было тебя. Я вздумал бежать сразу, но меня Коряга за локоть схватила да проскрипела: «Не бойся», – говорит, добрый-то медведь, мол, не опасный. А вы-то, честной народ, хоть раз голос Коряги слышали? – все молчали, один лишь тонкий мужичок, что сидел подле Муськи, посмеялся, но не возразил. Михал Палыч продолжил, но перешел на дру-

гой тон, совершенно отличный от того, каким он говорил ранее. Теперь он говорил тише, почти шёпотом, с некой опаской, – будто Коряга из своей избы его услышит, если он будет говорить громче. – У Коряги-то... у неё и голос... как у ведьмы, – все как бы прильнули к Михал Палычу, видимо, никто и правда раньше не слышал голос Коряги, – такой железный, что ли, голос, будто чёрт тебе шепчет, а не старая бабка, не человеческий, в общем, голос. Я так и встал, окаменел словно, ладно уж, медведь, маленький ведь ещё, не убьёт, от голоса-то её встал, пошевелиться не мог: «Ну всё, убьет меня бабка, чтоб о медведе не прознали», – пронеслось у меня тогда в голове. А она молчит. Сказала только: «Не бойся», – и молчит. Простоял я так с минуты две, Коряга тем временем подошла к медведю и взяла его на руки. Тут я подумал: «Не мне конец, бабке, помрет сейчас», – однако же, и тут я вам не лгу, честной народ, полную правду говорю, от первого слова до последнего, – прибавил Михал Палыч, – медведь не дернулся, не проснулся, нет, вру, проснулся, я помню, как он глаза-то свои приоткрыл, да там и закрыл. И тут как в сказке: Коряга подходит ко мне с медведем в руках, глядит на меня своими черными глазками и пихает мне медведя. Я ей сказал тогда: «Нет, не надо мне», – и поворотил головой, потряс в смысле, а она все сует мне медведя, ко мне как бы и уверенность начала возвращаться, и Коряга смотрела уже взглядом не страшным, а будто лукавым, показалось даже, что подмигивает мне, но это, может, только показалось, сами понимаете, честной народ, в каком я тогда состоянии был. Я ей сказал уже твердо: «Нет, не возьму!» Она как бы вся переменилась, затряслась, тут моя уверенность и прошла, а ноги-то как затряслись, ноги-то! – Михал Палыч потряс ногами и постучал по полу, говорил он всё почти шепотом, но в неодолимом возбуждении. – Она проковыляла до меня с мишкой на руках и сказала: «Твой он, мало ему», – что она тогда имела в виду – не знаю и до сих пор. Всё это и сейчас мне как во сне видится, но не сон, честно говорю, не сон, а так все и было. Она это сказала и снова мне глазом мигает, мол: бери медведя, отдаю, всего бери! «Была не была, возьму», – так я тогда и подумал, протянул

руки и взял мишку. Мишка же был тяжелый, я тогда подумал: «Как это Коряга, бабка, его так легко держала?» Ну, в общем, взял я его, а он и не проснулся будто, всё спит. Что у меня тогда в голове было, сам не знаю, но взял медведя, малютку совсем, и пошел напрямик домой. Помню только, что, когда вышел из бабкиной избы, она мне в спину сказала: «Тайно его», – всё тем же голосом, жутким своим голосом-то и сказала. Я его домой унёс. Никого не встретил по пути, стояла ночь уже глухая, хотя я в избе не более часа пробыл, а как пришел домой, то увидел, что третий час ночи стоял, – Михал Палыч заговорил снова бойко, – я мишку домой занёс да у печи положил. Сам в кровать лег, одеялом укутался и проспал крепким сном до следующего дня. И вот что интересно, честной народ, вы, наверное, и сами сейчас думаете: «Врёт! Все врёт! Как он мог уснуть, когда сам говорил, что медведь во сне-то и загрызёт?» – а я и сам вам это не объясню. Так и уснул, про медведя не думая, и в самом настоящем забытии уснул.

Тут Михал Палыч поглядел на всех своих слушателей. Он будто выискивал на их лицах подсказки: «Верит или нет?» Все слушали его внимательно и даже сейчас смотрели серьезно, кроме худого мужичка подле Муськи. Он с хитрой ухмылкой на лице медленно встал, прошелся в тишине по корчме, обходя столы и мужиков, и начал говорить. Все прислушались.

– Ай да Михал Палыч! Ах, шельма ты этакая! – начал худощавый мужичок. – Раззадорил меня твой рассказ, очень уж раззадорил, снимаю шляпу, молодец, отдаю должное, хорошо, складно! Ни слову твоему не верю, но складно говорил, молодец! – посмеивался мужичок. – Скажу сейчас не новость, даже вещь самую очевидную – нет на Руси говорящих медведей! – заключил мужичок и помолчал секунд так пять, а потом продолжил: – Не знаю, правда, как там у других, в Китае, может, может, в Америке, но с точностью сказать могу, на Руси – нет! – Все смотрели на мужичка с вопросом, но не перебивали и не смеялись. – Мы ведь не глупцы тут, Михал Палыч, совсем даже не дурные люди, сам ведь «честным народом» нас кличешь, и всё же врешь, врешь и врешь. Я ведь ученый! – взревел мужи-

чок, поднял указательный палец и потряс им. – Человек науки! – В зале послышались смешки, но как бы быстро подавленные. – Предлагаю спор тебе, Апата, где сможешь ты либо свое запятнанное имя очистить, либо с позором тебе быть сосланным с Олимпа, – мужичок горделиво заулыбался, было видно, что гордился он своим «проницательным наступлением», как говорил потом он сам и как говорили о нём наблюдавшие за всей этой сценой. – Примешь мой спор – молодец, хвалю; откажешь – в дураках и останешься навсегда. Ну, что скажешь? – мужичок подошел к Михал Палычу очень близко и смотрел ему в глаза орлиным взглядом.

– Что за спор? – аккуратно спросил Михал Палыч.

– А вот какой: докажешь, что всё правда, о чём говорил сейчас, про медведя-то, сразу же возьму первый нож, какой увижу, и в живот себе воткну, ставлю свою имя, имя честного человека! – как только мужичок сказал про нож, Муська громко охнула и подобрала свои мясистые руки ко рту.

– А ежели неправда? – коротко спросил Михал Палыч.

– А коли лжёшь и доказать не сможешь, – мужичок выделял в воздухе пируэты руками, как бы дирижируя и аккомпанируя своей речи, – то позор тебе. Позор не за ложь, а за то, что кричал, будто правда, когда сам знал, что ложь. За то, что «честным народом» нас звал и к нам зывал, когда сам – лгун и пройдоха.

– А как доказать-то? – Михал Палыч задал вопрос совершенно глупый, да и лицо его сейчас было красненьким, «под водочкой».

– А как же ещё доказать, Михал Палыч, как не показать своего медведя? Прямо сейчас и пойдем к тебе в дом, да там ведь его и увидим, али не увидим, а, Михал Палыч? – последнее мужичок добавил, дабы «кольнуть лгуна, авось одумается, дурак ведь», как сам потом и объяснял.

– В дом ко мне? Прямо сейчас? – Михал Палыч что-то обдумывал, потом вскочил и закричал. – Принимаю! Прямо сейчас ко мне в дом и пойдем, ты да я!

– Ан нет, Михал Палыч, не пойдет так, – остановил его мужичок, – не мне одному докажи, «честному народу»

докажи, всем ведь говорил, не одному мне. В свидетели возьмем пять человек, выборка, как говорят, будет, – мужичок будто подмигнул кому-то, несколько голов в зале закивали, выражая согласие.

– Так распугают ведь, если толпой пойдем! Медведя вспугнём ведь, он же мудреный, знает, видать, что хотят его взять, поэтому и не показывался никогда.

– Соглашайся, Михал Палыч, а то точно никто не поведет тебе, – шепнул ему мужичок, однако довольно громко.

– Ну что же, – Михал Палыч почесал затылок как бы в раздумьях, – согласен! Богомол, выбирай себе пять человек да пойдем скорее, пока не ушёл.

Вострого мужичка звали Пётр Михайлович Богомол, но все звали его исключительно по фамилии, будто бы имени у него и не было вовсе, – даже Муська, жена его, звала его так, иногда только, когда они оставались наедине, она ласково называла его «Богомолушка». История у мужичка смутная и очень непонятная, поэтому и посвящать вас в неё не буду. Однако несколько важных фактов укажу (для общего понимания, конечно): был он не из крепостных, но уже и не помещик – своё поместье он потерял при каких-то невероятных и совершенно необъяснимых обстоятельствах, да таких, что, если их описывать, хватит на целый роман, – жил в нашей деревне, был не беден, но и не богат, жил по средствам, имел в подчинении трёх мужиков, – да и те были не крепостными его, а скорее наёмные, – платил им исправно, но, бывало, бранил их и ругал страшно, конечно, учеными словами, они же его не понимали да и слушать не хотели. Пётр Михайлович Богомол часто называл себя учёным, за такового его у нас и принимали (пришел он в нашу деревню не то чтобы давно, и двух лет не прошло). Если же к Богомолу присмотреться, то никакой учёности там и не найти совсем, разве что хорошее школьное образование, но наук он не знал; однако же Пётр Михайлович Богомол обладал недурной памятью, из чего его учёность и проистекала: он имел у себя дома небольшую библиотеку из самых известных книг и романчиков, откуда и черпал свои знания и вдохновение. Держался Богомол всегда гордо, хотя общество его было

уже не то, но, может быть, это ему и помогало, он был неким «человеческим маяком просветления» (с его слов) в нашей глухой деревне. Хотя и человеком он был достаточно экспрессивным и пылким, любил спорить и показывать всем свою учёность, все в деревеньке его как-то хорошо приняли и даже по-своему любили.

С этим-то Богомолым да ещё с другими тремя людьми, которых он отобрал, они и отправились домой к Михал Палычу. Богомол в число свидетелей включил свою жену, Муську, Богдана Вадимовича, – который, кстати, прямо-таки расцвел и заулыбался во всю ширь, когда Богомол указал на него, – и Сардинова. Сардинов сначала было отказался: «И времени своего на такую чепуху тратить не буду, тьфу», – так он сказал, но всё же быстро своё мнение потом переменял, да так, будто его и не звали вовсе, а он сам, так сказать, с барского плеча, делает всем большое одолжение тем, что он пойдет с ними поглядеть на говорящего медведя. Так они и вышли из корчмы, во главе шёл Богомол, за ним Михал Палыч, после них парой шли Богдан Вадимович и Сардинов, и за ними всеми поспевала Муська, сейчас она уже глядела весело и шла чуть не в припрыжку, я тогда даже подумал: «Встретить они и правда там того медведя, она с ним станцует».

Всё, что произошло дальше, рассказываю вам со слов очевидцев и непосредственно присутствовавших при всём этом деле людей, но за достоверность ручаюсь и, если бы спросили вы меня: «Было ли всё в действительности так?» – ответил бы: «Да, и никак иначе».

Когда наша бравая гвардия вышла из корчмы, на улице стояла уже почти ночь, было часов одиннадцать. Воздух был будто бы чахлый, дышалось совсем не свежо, а как-то тяжело, хоть и было довольно прохладно. Это было ленивое начало осени, дул холодный ветер, а с болот веяло чем-то неприятным, «Гнилью пахнет», – сказал Богдан Вадимович хмурающемуся Сардинову, тот промолчал. Было темно, и стояла даже вязкая дымка, мешающая обзору, – это был туман, простирающийся с болот.

Идти от корчмы до дома Михал Палыча было версты две, не более получаса ходьбы, но, во мраке и тумане,

группка шла не спеша, хотя Богомоллов вышагивал длинно и быстро, – он был очень уж долговяз, на две головы выше Муськи и Богдана Вадимовича и на голову выше всех остальных, – попеременно он отрывался от остальных, метров так на двадцать, а потом ждал их и стоял в нерешительности; стоял ровно, со скрещенными руками, и потопывал ногой, как бы говоря остальным: «Пошевеливайтесь». Он хоть и был до безобразия горд и во всякую чертовщину не верил, как и подобает человеку учёному, однако даже ему сейчас стало не по себе, то ли от тумана, то ли от всей этой сумасшедшей шутки с разодетым медведем, – она ему, конечно, вначале показалась забавной и такой бы и оставалась, коли не совокупность всех факторов, тех, которые и свалились сейчас на его учёный ум: туман, завывание волков вдали, гнилостный запах с болот и непроглядная тьма-тьмушая. «Хоть глаз выколи», – заметил Богдан Вадимович, когда они в очередной раз поспешили, догоняя Богомоллова.

Спустя целый час они все-таки дошли до дома Михал Палыча. То был ветхий, но не маленький домишко, обнесённый дощатым забором с заостренными концами. Дом тихо стоял в темноте, из окон свет не пробивался, хоть Михал Палыч и ждал, что его мишка разожжет свечи, но того не случилось.

– Ну, где твой медведь? – угрюмо сказал Сардинов, как только они зашли за забор.

– Да дома он, где же ему ещё быть, как не дома? – быстро заговорил Михал Палыч. – Зуб даю, дома, прячется, поди, хотя, может, и не прячется, чего ему прятаться-то? Наверно, сидит сейчас в моем кресле да газету читает, в очках своих, поди, сидит, – они встали перед входной дверью. Богомоллов хотел её отворить, но Михал Палыч его одёрнул.

– Чего ты? – возмутился Богомоллов.

– Да куда же ты? Ты то мне всё не веришь, а коли дверь откроем, а он и правда там, то, что делать будешь, а? – Михал Палыч будто посмеивался над Богомолловым, хотя по всему его внешнему возбуждению можно было с точностью сказать, что он нервничал страшно, несмотря на весь слой напусного спокойствия.

– Ну, а ты чего предлагаешь? – спросил Богомоллов.

– Поздороваться надо бы, поприветствовать, что ли, – невозмутимо ответил Михал Палыч. Пока они шли, он всё раздумывал, как его гостям себя стоит вести перед медведем.

– Поклон ему отвешу, до пола! – Богомоллов весь был чуть не красный. – Дурак ты! – сказал он громко и резко открыл дверь. Михал Палыч воспрепятствовать ему не успел, но он уцепился за его локоть и споткнулся о низкую перегородку у двери. Они ввалились в темную прихожую и покатались по полу.

– Дурак! А ну слезь с меня, дурень! – закричал Богомоллов. За этим всем наблюдали Муська, Богдан Вадимович и Сардинов. Муська охнула и подпрыгнула на месте, будто в страхе, Богдан Вадимович громко прыснул и хохотнул, а Сардинов хмуро наблюдал за двумя валяющимися и качал головой; наконец, Богомоллову удалось отпихнуться от Михал Палыча, и они встали. – Накликался коньяку, скотина, меня за собой потащил, а? – Богомоллов пыхтел и кричал на Михал Палыча, он готов был его сейчас загрызть. – Глупый, глупый скот! – он всё не унимался.

– Ну ладно тебе, Богомоллов, хватит уж, – унимал его Богдан Вадимович.

– Да как же вы так! – лепетала Муська. – А если там и правда медведь, а если бы он сейчас выскочил, да на вас! Да как же бы мы потом!

– Да он же в костюме там, не догнал бы нас, неудобно, – невозмутимо сказал Богдан Вадимович.

– А даже и в костюме, меня бы точно догнал! – все не останавливалась Муська.

Богомоллов, тем временем, всё выговаривался и бранил Михал Палыча, тот же тупо и молча на него смотрел. Всю эту сцену прервал Сардинов.

– Прекратить балаган! – сказал он громко, своим глубоким, томным голосом. – Идем в дом, на медведя смотреть, – сказал он уже тихо, когда все в недоумении на него посмотрели.

Богомоллов открыл вторую дверь, которая вела из прихожей прямо в большой зал. Хоть дом Михал Палыча был

и не маленький, но почти все пространство занимал этот самый зал, там была и печь, и кухня, и кресло со столом, и кровать, где спал Михал Палыч. В доме была ещё одна комната, но в ней хранилось всякое барахло, тряпки, ткани, одежда и прочая домашняя утварь. Всё же самое необходимое помещалось в этом обширном зале. Они вошли в зал. Михал Палыч прошел вперед и быстро зажег большую свечу, стоявшую на столе. Пламя на свече колыхнулось и осветило весь зал. В зале было пусто, медведя там не было ни в кресле, ни за столом. Дверь в другую комнату была распахнута настежь, а из нее доносился сильный ветер. Они молча, почти прижавшись друг к другу, прошли до неё. Михал Палыч аккуратно заглянул в комнату и закричал: «Сбежал!» – да чуть не свалился с ног, опершись на Богомолова, так как тот стоял к нему ближе всех. Богомолов его грубо отпихнул, выдернул у него из рук свечу и ворвался в комнату, за ним зашли и все остальные.

Им предстала следующая картина: в комнате стояло два стула (один с поломанной ножкой) почти в самом центре, тумба, заваленная разными вещами и безделушками, стояла справа от двери, подле неё стоял высокий стол, тоже захламленный всяким, а в стене, прямо напротив двери, была огромная дыра; из этой-то дыры в стене и доносились завывания ветра. «Сбежал! Сбежал!» – все кричал Михал Палыч да носился по комнате, впившись руками себе в волосы и чуть ли не вырывая их, он падал на колени, потом резко вскакивал и продолжал метаться, Муська и Богдан Вадимович старались его успокоить, но тщетно. Богомолов и Сардинов молча подошли к дыре. «Размером с медведя», – сказал Сардинов. Дыра и правда была очень большая, в неё с легкостью пролезли бы Богомолов и Михал Палыч одновременно. Богомолов пока молчал, он осматривал дыру, притрагивался к дереву и хмыкал, как бы что-то у себя в голове заключая. Местами, у краёв, дыры были словно исцарапаны, на эти царапины Богомолов и обратил своё внимание, пристально вглядываясь в них, вид у него был взволнованный. Потом он выглянул наружу. Задний двор Михал Палыча освещала уже полная луна, и видно было достаточно хорошо. Богомолов высунул го-

лову и оглядел пространство снизу, у дыры. «Ха! Так я и думал! Ни капли сомнения, вот он, ваш медведь!» – резко закричал Богомолов. Все кинулись к нему, он в это время уже вылезал наружу через дыру, на улицу. Четыре пары глаз глядели на Богомолова, который стоял уже на улице. Он показательно нагнулся, разводя колени в разные стороны, будто делая «па», и, уже совершенно торжественно, поднял в одной руке крупный топор. «Вот он, ваш медведь!» – ещё раз вскричал Богомолов. Сардинов и Богдан Вадимович понимающе гукнули, Муська же и Михал Палыч глупо смотрели на Богомолова и ждали разъяснения.

– Ну что же, Михал Палыч, как я и говорил! – уже совсем церемониально вещал Богомолов, будто открыл новый элемент и стоит перед группой ученых. – Никакого медведя тут не было. Ты обманщик, лгун и плут! Позор тебе, Михал Палыч, вечный позор!

– Да как же! А топор тут при чем? Я не по-ни-маю! – последнее слово Михал Палыч проговорил по слогам и чересчур длинно. Он и правда ещё не понимал, о чём говорит Богомолов.

– А ведь до последнего отпирается, вот он какой, честный человек! Отчаянный человек! – Богомолов помахал топором над головой, он так и стоял с одной поднятой рукой.

– Да ведь он тут был, и дыра, сами же видите, честной народ, своими глазами видите! Да ведь сбежал! Сбежал! – в совершенном волнении кричал Михал Палыч.

– Хватит притворствоваться, Михал Палыч, хватит, – уже более спокойно сказал Богомолов. – Ты сам, ты сам эту дыру в своём доме и сделал, только бы нас за нос поводить.

– Что? – тут до Михал Палыча наконец дошло осознание того, в чём его обвинял Богомолов, он взревел своё «что» в невероятном надрыве, его «о» гулко прокатилось по захламленной комнате и вылетело наружу, через дыру в стене. Он закричал так громко и так яростно, что с деревьев взметнулись птицы, лес находился от деревушки недалеко, начало леса можно было увидеть сейчас, прямо через дыру в доме Михал Палыча. – Да я! Да ты! Да я бы никогда! – задыхался Михал Палыч. – Ты думаешь,

я сам же, в своём же доме и проделал дыру? Топором-то? Это медведь, медведь! – он указал пальцем в лес. – Это он и проделал дыру, он, всё он, кто же ещё, как не он! Он и топор подложил, дабы подумали, что я, теперь мне всё ясно, теперь я всё вижу, он, всё он! – Михал Палыч совсем выдохся, упал на колени, тихо захныкал и зашептал что-то неразборчиво.

– Потешился над несчастным, Богомоллов? – едко сказал Сардинов и зло поглядел на Богомоллова. – Пойдемте, оставим беднягу, уж не поможем ему сейчас ничем, пусть один побудет, успокоится, – сказал он Муське и Богдану Вадимовичу.

– А коли с ним случится что? – спросила Муська у Сардинова, указывая на лежащего в слезах Михал Палыча.

– Уже случилось, более не случится уже, – ответил Сардинов и снова зло посмотрел на Богомоллова, тот же стоял всё это время с топором в руке. Тут он его выронил, проговорил себе что-то под нос и начал медленно забираться обратно в дыру, как бы даже и не понимая, что он сейчас делает. Но, заложив одну ногу в дом через дыру, он будто опомнился, плюнул, развернулся и быстро пошел по заднему двору, огибая дом. Он вышел на улицу и ушёл один, злой и расстроенный оттого, что всё вышло именно так. Сардинов, Муська и Богдан Вадимович ушли молча, не попрощавшись с плачущим и уткнувшимся головой в пол Михал Палычем. Они вышли из дома и направились обратно в корчму.

2

Не знаю, как там было на самом деле, – хоть сам к дому Михал Палыча я и ходил, как и многие другие, «поглядеть на дыру», как у нас в деревеньке потом ещё долго это называли, – передам лишь только то, что говорили те, кто был там в ту злосчастную для Михал Палыча ночь. Муська утверждала и была даже вполне уверена, что дыру в стене дома Михал Палыча проделал не кто иной, как сам медведь: «Сомнений нет, медведь!» – твердила она. Она также говорила, что такую дыру может проделать только

взрослый медведь и никто более. Почему она сделала такой вывод – неясно, однако она в ту ночь вполне убедилась, что медведь и правда есть, – она даже полностью поверила Михал Палычу и тому, что медведь говорящий, и тому, что он носит костюм и даже очки. Сардинов так убежден не был, однако он не отрицал существование медведя, говорил лишь, что проделать такую дыру в стене топором невозможно, что выглядела она неоднозначно и заключить тут что-либо нельзя; ещё он повторял, что вся эта ситуация была странной: «До ужаса странная ситуация», – так он всем и всё время говорил. Богдан Вадимович отзывался тоже неоднозначно, с одной стороны, он, конечно, будто бы и поверил сразу Богомоллову, так как тот потом ещё не раз всё и всем разъяснил и каждый вечер, когда в корчме показывалось лицо, которое ещё не слышало о всей этой ночной сцене, рассказывал эту историю и объяснял всё заодно и всем, кто её уже слышал, – конечно, для красочности, он всегда добавлял что-то новое в свой рассказ, и под конец рассказ его стал уже совсем литературным, с «вдумчивым, но глупым лицом Михал Палыча», «кричащей в истерике Муськой», «неприкаянно воткнутому в землю топором» и проч., и проч. Однако потом Богдан Вадимович будто принял сторону Михал Палыча, он, Богдан Вадимович, говорил: «Дыра выглядела по-зверски, а совсем не по-человечески, вот как», – но о самом объекте спора, то есть о существовании медведя, он как бы отмалчивался и точного своего мнения не давал, лишь говорил ту же фразу о природе происхождения дыры.

Сам же Михал Палыч после этой ночи весь переменялся, пить он совсем перестал – чего уж стоит одна эта перемена в нём! – лицо его осунулось, выглядел он всегда будто потрепанным и замученным. Как потом выяснилось, на его перемену повлияла не только та ночь и сцена с топором, но и то, чем он начал заниматься после того. Он сам всем рассказывал, что занялся тщательными поисками медведя. «Уйти он далеко не мог, явно в лес, там я его и застану и своё имя перед честным народом таки очищу», – говорил Михал Палыч. Так он и занимался поисками днём и ночью. Продлилось то около месяца. За этот месяц

приключилось несколько занимательных вещей с Михал Палычем, упустить которые я просто не способен. Рассказывать буду их по порядку, так, чтобы вы могли проследить весь путь Михал Палыча и чтобы моё заключение в конце не вызвало у вас смех и вы не посчитали меня сумасшедшим. Я даже убежден, что если вы пронаблюдаете за Михал Палычем и воспримите его судьбу и его рассказы хотя бы с долей серьезности, хоть с совсем маленькой щепоткой, то тогда и вся история эта для вас в сознании как бы переменится и сделается уже не смешной, а даже совершенно страшной и жуткой. Однако, я забегаю вперед, вернёмся же теперь к Михал Палычу и к его поискам медведя – говорящего, непременно костюмированного и очкастого.

После ночи обнаружения дыры в стене дома Михал Палыча сам Михал Палыч не появлялся никому на глаза ещё дня два. Не то ему было стыдно, что все считают его лгуном, не то он был чрезвычайно занят приготовлениями к поискам – о его поисках тогда ещё никто не знал, и все, конечно, решили, что Михал Палыч просто стыдится показывать свое лицо. Однако же вот на третий день (то была суббота) Михал Палыч всё же объявился. Он вошел днем в корчму, попросил лишь чаю – чем сильно удивил Василия Фёдоровича, нашего корчмаря, тот уже приготовил бутылку водки, как только физиономия Михал Палыча показалась в дверном проеме, – и тихо начал его хлебать, ни с кем не заговаривая и даже как-то сторонясь остальных. Выглядел он подавленным и откровенно разбитым, но было в его лице и что-то вдохновенное – будто сама лишь мысль о восстановлении репутации и очищении своего доброго имени теплилась в его душе и отражалась на его лице этой самой вдохновенностью, мерной, вязкой, тихой и даже смиренной вдохновенностью. Богомолова сейчас в корчме не было, однако был в корчме другой любитель потешаться над Михал Палычем – Алексей Николаевич Пирогов. Был Пирогов генеральским сыном, совсем ещё юноша, одним словом – барчонок, его у нас так и звали; однако же года так три назад он сильно накуролесил и был в наказание в нашу деревеньку его отцом

сослан. Попад же в немилость отца, барчонок хватился и всех денег, какие он ему давал раньше, поэтому сейчас из развлечений у барчонка только и оставалось, что смеяться над Михал Палычем да заглядываться на молодых девок, коих в нашей деревне было в достатке. Пирогов был достаточно юн, на вид ему было лет двадцать.

– А чего ты один, Михал Палыч, без медведя? – спросил Пирогов развязным тоном и даже как-то вертляво.

– Не нашёл ещё, – ответил Михал Палыч тихо и совершенно серьёзно.

– Ищешь, значит?

– Угу.

– А ты в кармашке у меня посмотри, он там сидит, я человек «честной», врать не стану, – он имитировал выговор Михал Палыча и совсем по-ребячески его передразнивал. Послышалась пара смешков в корчме.

– Да ну тебя, барчонок, – махнул рукой Михал Палыч и даже не глянул на Пирогова.

– А чего не видели мы тебя три дня и три ночи? Дыру латал? В плотники заделался? – не унимался Пирогов.

– Не, – промычал Михал Палыч, – готовился.

– Делом бы занялся, а не приготовлениями, ишь, готовился он, – сказал мужик, на вид совсем уж старик, весь в обмотках и с грязным платком в руках.

– А ты вообще не лезь, Антипка, – мягко огрызнулся Михал Палыч. – Не твоего ума дело, – добавил он. Антипка у нас был человеком самым презируемым, то есть настолько, что его могли презирать даже такие люди, как сам Михал Палыч, хоть и тот был достаточно презируемым, в особенности после случившегося три ночи тому назад.

– Готовился... к чему же ты готовился? – сказал Пирогов каким-то удивленным тоном, то ли от серьезности Михал Палыча, то ли от странного лица, которое сейчас у него сделалось.

– Найду я медведя, весь род этой старухи прокляну, но найду, – сказал Михал Палыч и дико оскалился, его лицо жестоко исказилось, и было в его выражении теперь что-то даже пугающее.

– Какой старухи-то? – нахмурился Пирогов.

– Про Корягу я. К ней сейчас и пойду, чай только допью и сразу пойду, все об этом медведе узнаю, по следам его найду, – Михал Палыч сказал это твердо, залил в себя оставшийся чай, грозно поднялся и вышел из корчмы, оставив весь зал в некой неопределённости. Теперь все ждали его возвращения.

Вернулся он поздно, было это в десятом часу. Он распахнул дверь в корчму резким толчком и нервно прошёл за стол. Все, кто сидел тогда в зале, на него обернулись и уставились на Михал Палыча в ожидании. (Меня тогда в корчме не было, поэтому расскажу со слов присутствующих и постараюсь мой рассказ приблизить к реально произошедшему.) Михал Палыч попросил Василия Фёдоровича налить ему чаю, тот коротко кивнул и поставил перед ним маленькое блюдце и кружечку.

– Сходил я к бабке-то, – начал Михал Палыч, – а она меня ждала, очень уж ждала, сильно ждала, на пороге её заметил, когда подходил ещё, так и стояла, сгорбившись, в своей коричневой шали, то ли накидке, чёрт её разберешь, – говорил он сбивчиво и как-то странно, так, будто он всё пытался найти нужные слова и, когда он их находил, у него всё никак не получалось за них ухватиться. – Я к ней сразу и зашел, она на меня всё смотрела странно, будто мигала глазами, думаю – знала старуха, что чертовщина какая творится, заранее даже знала, может быть, и в первый день всё-всё знала, но ничего не сказала. Она ведь мне и тогда подмигнула как бы, давно это ведь было, уж почти пятый год пошёл, а я всё её лицо и сейчас помню, будто подмигивала, то-то и сейчас было такое же лицо – хитрое. Я у ней всего час просидел, да вот только несколько слов всего сказали друг другу, почти всё же время смотрела на меня бабка, а я на неё смотрел. Я по её лицу-то и понял, что она всё знает, про медведя-то. «Знаешь про медведя?» – спросил у неё, а она так голову повернет, чуть набок, и губы-то свои старые в полуулыбку сложит. «Знаю», – говорит. Говорит и улыбается да на меня всё смотрит. Жутко мне от этого как-то стало, и от голоса её, железного-то, того самого голоса, от него-то аж в дрожь бросает, тьфу, – Михал Палыч передернулся и умолк на минуту, потом про-

должил: – «Не ищи его, молодец», – добавила потом и всё как бы подмигивала. Я ничего ей не ответил, не нашелся, что ли, не знаю уж, отчего не ответил, оробел, кажись, али чего. Она потом ещё прибавила: «Помнишь, твой он, сам найдет», – так сказала. А я всё молчал, только вот совсем мне плохо тогда стало, я встал и вышел. Подумал тогда только: «Больше знает-то, Коряга, да не говорит, нарочно не говорит». Ну я и пошел в лес-то, искать его, медведя, не нашел только, – последнее Михал Палыч сказал уже совсем угрюмо.

– Ну дела, – начал Пирогов. – Михал Палыч, а, Михал Палыч, а может, и не было никакого медведя? Ну, может, привиделось тебе? Спяну-то, сдуру? – он всё пытался разозлить Михал Палыча, но тот был непробиваем и на уловку Пирогова не попался.

– Будет тебе, барчонок, хватит уж, – Михал Палыч махнул рукой, потом встал и молча вышел из корчмы.

После этого Михал Палыч пропал на неделю, а то и больше. У нас тогда уже поговаривали, что он совсем сдался и даже уехал куда, якобы от стыда. Однако же через неделю, а то и больше всех встревожил Антипка.

Было это днём, на площади. Была это не совсем и площадь даже, но так её у нас называли. В центре деревушки стояло три лавки из грубого бруса, окруженные старыми домишками, тут у нас собирался народ, когда пить было ещё рано, а значит, и в корчму идти незачем. Был это день совершенно обыкновенный и даже невыносимо скучный, пока не объявился Антипка. Он вбежал на середину площади, прискакивая, весь народ переполошился, сидело тогда на площади человек с пятнадцать, все о чём-то переговаривались, пока Антипка не обратил на себя всеобщее внимание. Старик резво выбежал на самый центр и дико замахал руками, но говорить он сразу не мог, так как бежал он, видимо, долго и совсем выбился из сил. Его седая длинная борода тряслась, как веник, пока он махал руками. К нему тут же кто-то подошёл и попросил успокоиться и всё рассказать. «Идёт... Палыч», – удалось лишь выдавить из себя Антипке. Он указал длинной худой рукой за угол обгорелого домика (у нас в самом центре

деревни стоял сгоревший дом). Из-за угла этого дома вышел Михал Палыч. Вид у него был по-настоящему кошмарный: одет в какие-то обноски, льняные мешковатые штаны собирали всю грязь за ним – было даже удивительно, как это ему ещё удавалось перебирать ногами, – длинные засаленные волосы лежали на боках его головы, лысая макушка, как и раньше, была лишь с некоторым вкраплением редко торчащих волосков. Самое же жуткое в его виде было его изможденное лицо: его глаза, которые ещё недавно смотрелись навывкате, сейчас были совсем впалыми, грязь тут и там была размазана по щекам, а взгляд его был жестоким и даже угрожающим. Весь вид Михал Палыча испугал детей, которые кучкой игрались, бросая камни в одну из пустых бочек. Как только они увидели тяжело плетущегося Михал Палыча, они взвизгнули и разбежались россыпью. Михал Палыч тащил за собой какой-то грязный мешок, он висел у него за спиной и придавал ему горбатый вид. Он вышел на центр площади, откуда только что увели безумно трясущегося Антипку, и кинул на землю мешок.

– Я нашёл его! – от Михал Палыча сильно воняло. – В лесу нашел черта, там он и прятался! – Михал Палыч дико кричал, а изо рта у него летела слюна.

– Ну, в мешке, что ли, медведь? – спросил его весело Богдан Вадимович.

– В лесу! Там и сидит, прячется до сих пор, чёрт поганый, никак чёрт, не зверь даже, а самый настоящий чёрт! – Михал Палыч дико озирался на окруживший его народ и кривил лицо. – А знаете, почему чёрт? Знает-то наш честной народ, почему это чёрт, а не медведь? – слышались смешки, но Михал Палыч продолжил говорить. – Да потому что он сейчас и не медведь никакой вовсе, хотя всё так же говорит, со своим медвежьим выговором-то, и всё в том же костюме шастает по лесу, да представьте себе, костюм то сейчас совсем целёхонький, ни надрезика, ни чёрточки на нём нет! Вот он какой, самый настоящий чёрт!

– Эх, Михал Палыч, угораздило же тебя... – сказал всё тот же Богдан Вадимович. Теперь и остальные начали переговариваться и жалеть Михал Палыча.

– А вот теперь слушайте, внимательно слушайте, честной народ, ибо от этого-то и зависит всё! – продолжал кричать Михал Палыч, не обращая внимания на шепотки и переговоры людей. – Вот почему это чёрт: нет на нём сейчас шубы, шерсти то есть, нет, только маленький слой и остался шёрстки, словно скинул куда её, как змея, и даже кожа! Кожа! – Михал Палыч кричал уже во всё горло, и слова его вырывались с невероятной дикостью, совсем как у зверя. – У него теперь и глаза как у человека, не медвежьи, а человеческие!

Так кричал Михал Палыч, но народ уже стал расходиться. Никто ему, естественно, не поверил. Михал Палыч же упал и начал бить руками по свежей земле. К нему подошел только Богомол, он был среди толпы и до этого виду не подавал, но теперь, когда остальные разошлись по своим делам, он подошёл к Михал Палычу и присел рядом с ним. То ли Богомол чувствовал вину за то, как он обошелся с бедным Михал Палычем тогда, ночью, за то, как он торжествующе поднял топор, который стал роковым для Михал Палыча, то ли он и правда начал верить в рассказ Михал Палыча, в любом же случае он просидел с Михал Палычем с минут пятнадцать и о чём-то тихо с ним разговаривал. Богомол и был последним, кто видел Михал Палыча перед его внезапным исчезновением.

С этого дня Михал Палыч и пропал на месяц, его никто не видел, никто ничего о нём не слышал. Объявился же он совсем неожиданно, многие у нас думали, что он помер в лесу, гоняясь за выдуманным медведем. Михал Палыч вошел в корчму, прилично одетый и без той страшной вони, которая от него исходила в прошлый раз, волосы его были хорошо причесаны и уложены, да и сам он двигался и держался как-то необыкновенно, очень уж ровно и степенно. К нему тут же с вопросами: «Как?», «Когда?», «С медведем что?» Михал Палыч отвечал на всё уклончиво, а особенно на вопросы про медведя, «Дело былое, а кто старое помянет, тому глаз вон», – так он говорил и отвечал на все расспросы. Люди и забыли, иногда лишь кто-нибудь вспоминал, что это за чудо с ним такое приключилось, однако относились к этому не с большой серьезностью,

так как Михал Палыч всегда был человеком достаточно эксцентричным и это была не первая история, с ним приключившаяся, о которой у нас в деревне болтали.

Хочу лишь заметить вот что, момент достаточно интересный, хотя и прошёл он у нас без подобающего ему внимания. Через два с половиной месяца наш лесничий Потап нашёл в лесу изуродованное тело. Тело было совершенно без одежды, сильно потрёпанное волками, лисами, птицами и другой живностью. Разобрать, что это был за человек, не было никакой возможности, части тела были оторваны друг от друга, в пределах пятнадцати метров валялись руки, ноги, пальцы. Голова отсутствовала. Это дело у нас быстро замая глава нашего поселения, да так, что народ почти совсем и не говорил об этом. Ходили лишь слухи, что это какой-то преступник сбежал из заключения неподалеку, его-то и настигла судьба. Однако же иногда Богомоллов говорил самым своим близким людям интересную мысль. Передавать дословно её не стану, ибо не смогу, но смысл заключался вот в чем: этот мертвый человек, которого нашли в лесу, – не кто иной, как сам Михал Палыч, а человек, живущий сейчас в деревне среди нас, – другой.

Богомоллову никто из его близких друзей не верил, и он быстро отказался от своей вопиющей теории. И всё же он сторонился «нового» Михал Палыча и через год уехал из нашей деревни, забрав с собой Муську.

Ляйсан НИГМАТУЛЛИНА

Казань

ЗАПАХ ЖИЗНИ

В просторном респектабельном зале Сбербанка Дине пришлось пересест на соседнее кресло – от женщины, расположившейся рядом, неприятно пахло. Однако облегчения не наступило, казалось, запах преследует её. Так пахнет перегной, навоз, почва с продуктами гниения. «Может, запах немытого тела – это тоже естественный запах живой природы, – подумала Дина, – и нет в этом ничего непристойного. Ведь звери в лесу исключительно по нюху распознают друг друга, и нет в этом ничего порочного, а люди придумывают себе разные условности».

Этот запах, смешанный с другими запахами тайги, прелостью болот, багульника, бензина и солярки, запомнился Дине на всю жизнь. Ее отец считал аромат тайги запахом жизни. Ударение в слове «тайга» он делал на первом слоге.

В детстве Дина ездила с мамой и братом к отцу на геолого-разведочную станцию в Сибирь: добирались сначала на вертолёт, потом на спецтехнике, похожей на БТР. В таёжной чаще другой транспорт не проехал бы. Казалось, после мазута и солярки, которыми пропах вертолёт и сам небольшой аэродром, тайга открывалась огромным букетом, источавшим всевозможные незнакомые запахи: мха, багульника, смолы, кедра, болотных испарений и многого другого, что не улавливало детское обоняние. Сбор брусники и клюквы из памяти Дины помаленьку выветрился.

Зато величавый кедрач вспоминался как волшебный лес. Верхушки кедров тянулись вверх к солнцу, хоть и неласковому, сибирскому, но дарующему жизнь всему живому. Сбивание шишек было подобно магическому ритуалу, тяжёлому физически, однако насыщенному новыми эмоциями от сопричастности таинствам природы, – в памяти это осталось, кажется, навсегда.

Признаков присутствия другой жизни в кедраче Дина не помнила, ни одного дикого зверя не встретилось, разве что белка проскачет с одной ветки на другую, и то может испугаться собственной тени или хруста обломившегося сучка. А отец долго жил в тайге и знал коренных жителей здешних мест – хантов и ненцев, которые по-прежнему обитали в землянках. В них когда-то, в стародавние времена, можно было чувствовать себя в относительной безопасности и тепле. Если зимой земля не промерзала, то несколько зимних месяцев отдавала тепло. Ветра не трогали таёжные заросли, да и дурной человек не сразу нашёл бы здесь человеческое жильё. Так спасались, как дикие звери, обитатели сибирского леса, всё лето припасая впрок и грибы, и ягоды, и нужные травы для отваров, а солонину со строганиной как-то умудрялись сохранять в леднике. Это уж потом появились и дома, и холодильники. Но некоторые не смогли или не захотели приспособиться к благам цивилизации, подобно индейским племенам, впервые встретившимся с европейцами и пострадавшим от их внимания. Наивные туземцы не имели иммунитета ни к вирусам, ни к галантерейным безделушкам, а главное – к алкоголю, к которому впоследствии заимели не только слабость, но даже зависимость от него, разрушившую все, что складывалось в их племенной культуре веками. Ханты не были исключением, поэтому пушнину два прошлых века у них скупали за бесценок, расплачиваясь водкой. Так и не приспособившись к человеческой подлости и не выработав иммунитета к русской водке, живут они на западе Сибири и дальше, вплоть до Крайнего Севера.

Дине вспомнилась давняя история, рассказанная отцом во время застолья в кругу приятелей.

Как-то раз он поехал на гусеничном спецсредстве на буровую. Издалека увидел у обочины дороги, хотя вряд ли её, колеиную таёжную дорогу, можно назвать дорогой, двух человек. По виду они мало напоминали геологов. Остановились, отец высунулся из люка, присмотрелся и признал в человеке с узкими глазками знакомого ханта.

– Эге, Васька, брат, как поживаешь? – радушно поприветствовал отец.

Никто толком не знал, почему эти люди имели русские имена, но забавным казалось несоответствие между внешностью, далёкой от славянской, и исконно русскими именами. Иванами, Василиями и Семёнами звали его приятелей.

Отец помнил, как в прошлом году ханты приходили в лагерь к буровикам-нефтяникам в баньку помыться. Долго за столом сидели, беседовали, Васька рассказывал бывальщины – так на Русском Севере зовутся истории, имевшие место в действительности, порой бездоказательные, приукрашенные. Речь хантов была простая и вместе с тем непохожая на обычную.

– Холёсё, брат, вот опять ходили в баньку, – улыбаясь и не стесняясь показать беззубый рот, выкрикивал старший, почти старик, хотя по заросшему щетиной лицу трудно было определить его возраст.

– Опять? Мы вроде в последний раз виделись в прошлом году. Вы к нам на делянку приходили в баню.

– Да, так и есть. Холесё помылись и сегодня вот.

– Когда в следующий раз придёте? Хотелось пообщаться, что ли? Заранее сказали бы. Я бы стол организовал, – ради приличия сказал отец, не сильно настаивая на приглашении, поскольку знал слабость лесных жителей к горячительному.

– Спасибо, холесё, придём в следующем году.

Вспоминая эту историю, отец всегда смеялся, делая акцент на последней фразе: «Холесё, придём через год», передразнивая говор и комментируя тот факт, что ханты, манси и чукчи моются не чаще чем через двенадцать месяцев. А гигиенические процедуры в зимнюю пору ими совершались при помощи холода. В лютый мороз нам

казалось невозможным то, что делали эти люди. Они оставляли при минус сорока на снегу нижнее бельё, даже детские распашонки, не вытряхивая, так как одежда от этого могла поломаться. Таким образом аборигены боролись с паразитами и микробами, которые умирали при низкой температуре.

...Тем временем, пока Дина предавалась воспоминаниям, другая женщина, еще не старая, опрятная и, видно, давно освоившаяся в большом городе, под села к той, что благоухала перегноем, и затеяла с ней разговор. Дина предположила, что женщина будет читать нравоучения незнакомке. Так часто бывает – кто-нибудь заявит о своем равнодушии и давай в автобусе или метро давать наставления, не думая о том, насколько это нужно другим. Ан нет, женщина начала издавека, поэтому Дина, притворившись безучастной, вся обратилась во внимание, впрочем, обращать ей его больше было не на что.

– Вы в шестом подъезде живёте? – поинтересовалась татарочка у «благоухающей» соседки.

Та не ответила, будто оглохла, словно сова, и продолжила смотреть на табло, мысли ее, казалось, витали далеко.

– Да, точно, вы из шестого подъезда. Просто я рядом живу. Я вас видела с сыном, вы беженцы.

«Благоухающая» вышла из оцепенения, повернула голову к собеседнице и так же молча уставилась на нее.

– Я давно за вами наблюдаю. Дело в том, что у меня есть вещи. Все чистые хорошие, я их собрала. Я могла бы вам их передать. У меня дети повзрослели и разъехались. А я живу одна, вот перекладываю их туда-сюда, а вам, наверно, они нужны. Так возьмите их.

Беженка посмотрела внимательно и произнесла: «А они у вас новые?»

Не сразу сообразив, к чему это, татарочка, запинаясь, сказала: «Да я же говорю, что стиранные – чистые. Жалко выбрасывать, может быть, кому пригодится?»

– Нет, только если новые. А так нам ничего не надо. – Беженка отвернулась.

Сердобольная татарочка не нашла, что сказать. А может, и вовсе обиделась. Она вжалась в своё кресло и стала

что-то искать в сумке, скорее всего, телефон, потом именно его вытащила и стала просматривать переписку.

На табло высветился Динин номер, она поспешила к специалисту, оставив женщин с их нерешенными вопросами.

Вскоре, покинув Сбер и плюхнувшись в автомобильное кресло, Дина принялась и почувствовала запах прелой листвы. Она не успокоилась, пока на дне плащевой сумки не обнаружила сдутый мячик-глобус своей дочери. Этой игрушке, резиновой безделушке, было тридцать лет, не меньше, столько же скоро исполнится самой Яське. Дина вспомнила, как полгода назад та учинила дома скандал, не обнаружив мяч, и Дина, засомневавшись, призналась в том, что он полетел в мусорный контейнер. Каково же было удивление, когда сдутый грязный мяч нашёлся в кладовке – в коробке с игрушками, уставшими и отдыхающими от нескольких поколений Нагимовых. С тех пор, вот уже больше месяца, Дина ездила по городу, тщетно пытаясь надуть старый мяч-глобус.

В ней проснулись все лучшие чувства сразу: и дочери, и матери, и даже бабушки. Матери – потому как она не баловала игрушками свою дочь в девяностые; мячик, к которому прикипела сердцем Яська, был, конечно, не единственной игрушкой, но все же запомнившейся и, соответственно, дорогой ей. Чувства бабушки – поскольку она не церемонилась со странными новомодными игрушками внуки: «щенячьим патрулем», Лолой, Кисимиси и Хаги баги, коих не перечесть было в коллекции маленькой Айны. Теперь, обнаружив раритет на дне сумки, Дина прижала его к груди и решила, что работа по реставрации мячика – это скорее дело чести, чем детский каприз, и она, Дина, таким образом сможет реабилитировать себя и как мать, и как бабушка. К тому же у Яски скоро юбилей – тридцать лет, и он бывает только раз в жизни. Пусть ей неожиданно прилетит привет из детства в виде давно пропавшего мячика.

Махнув рукой на опоздание в университет, Дина остановилась возле салона проката велосипедов.

Дина долго топталась возле витрины, ждала, когда продавец распрощается с клиентом, после чего придвинулась

ближе, будто хотела сказать что-то очень личное. И удивилась своему голосу, настолько неестественно он звучал.

– Извините, пожалуйста, вот мяч. Можете его надуть?

Продавец взял в руки мяч, покрутил его, потом, приблизив к лицу, попытался выдохнуть в него и произнёс:

– Ну, здесь ничем помочь не могу. Вот видите, нужен ниппель или игла, так по-разному называется эта деталь. Без неё не могу. Купите новый. – Развёл руками и отдал мяч женщине.

«Зачем мне другой, мне нужен именно этот», – думала про себя Дина, усевшись в машину и нажимая всей ступнёй на педаль газа.

Она не заметила, как припарковалась к флигелю университета, где работала последние десять лет. Преодолев крутые ступеньки на каблучках, она застала в преподавательской разговаривших за чаем коллег.

– Я думаю, где ж я возьму кассету? Гузелькин номер горит.

Розалия Калимулловна в красках рассказывала о злоключениях дочери в связи с танцевальным конкурсом, который едва не сорвался из-за испорченной музыкальной записи. Она долго искала её по городу. А на дворе стояли времена, когда было невозможно скачать музыку из интернета.

– Я помчалась на Чеховский рынок, помните, там был закуток, где продавали кассеты, и давай перебирать с продавцом всё подряд и слушать. У другого неделя бы на это ушла, я измучила всех, но тщетно. Ничего даже похожего нет.

– А музыка-то какая была? – поинтересовалась Татьяна Сергеевна.

– Вот в этом и вся загвоздка, не популярная, а народная, и танец восточный. Там слова ещё такие были: гузелем, гузелем... Может, знаете?

– Да кто ж знает. Все песни на один лад, и многие именно с этими словами, – подтвердила другая коллега, только что подключившаяся к беседе.

– Я совсем отчаялась, когда к нам подошла женщина и предложила пойти к ней домой, чтобы поискать мелодию

в её домашней фонотеке. Меня муж потом ругал последними словами: «Как ты могла пойти к неизвестным людям из Узбекистана, снимающим квартиру где-то рядом. А вдруг там притон или ещё что хуже, хотя что ещё хуже?» А я ни о чем думать тогда не могла, кроме конкурса дочери и её будущего успеха. Моложавая женщина-узбечка, в обычном ситцевом цветном платке на голове, напевая себе под нос незамысловатую мелодию, впустила меня в скромное жилище, где в небольшой комнатушке спали дети на панцирных кроватях. И, присев перед тумбой, на которой стоял телевизор, стала выгребать из неё содержимое, ловко отделяя в сторону кассеты.

Я застыла в дверях и только тогда осознала свой глупый и бессмысленный поступок: «Ну разве можно здесь вообще что-то найти?»

Вдруг женщина подпрыгнула и, улыбаясь, протянула мне кассету.

– Нашла, вот она! – радостно воскликнула женщина, будто ей самой была нужна эта восточная мелодия.

Я не помню, как ушла оттуда, взяв у нее кассету. Знаю лишь, что она наотрез отказалась брать за неё деньги.

Вернувшись домой, обнаружила дома мужа с сыном. Они вопросительно посмотрели на меня. Сказали, что обыскались уже. Пристыдили, что поступила опрометчиво. А они легко вышли из положения, записав мелодию в студии звукозаписи. Но всё равно я была довольна собой – сделала невозможное, и танец дочери спасён.

Дина с остальными сопереживала рассказу и улыбалась, думая о мячике.

Она хотела поделиться с коллегами собственными переживаниями, но время вышло, да и вряд ли поток красноречия Розалии Калимулловны можно было остановить. Она ещё по пути в аудиторию старалась в красках закончить и снабдить историю важными для неё подробностями.

Возвращаясь после занятий домой, Дина приглядывалась к вывескам и делала вывод, что только в советское время существовали магазины, такие как «Спорттовары», «Галантерея», «Тысяча мелочей» и другие. Сейчас всё частное, какие-то маленькие закутки с непонятным

товаром, и всё одноразовое – так как мало сейчас кто-то ремонтирует вещи и перешивает одежду в ателье. Одноразовая обувь, её больше двух сезонов никто не носит; одноразовые игрушки, мало кто хранит их для будущего поколения! И верит ли в будущее наше нынешняя молодёжь?

Реклама призывает выбросить всё ненужное. А что нужно? И что ненужное? Дина начала рассуждать об этом вслух. Вспомнила, как на днях пыталась выбросить пакеты со старыми детскими вещами и игрушками, кочевавшими по разным квартирам, а теперь уже и в загородном доме: из-под лестницы в сарай и обратно. Дина почти выбилась из сил, пытаясь навести порядок, и в конце концов пришла к мысли, что, видимо, у неё какой-то особенный порядок. И детские вещи, и игрушки – это не просто вещи, это свидетели её прошлой жизни, куда она попадает, как на машине времени, просто подержав в руках плюшевого мишку или мяч-глобус. И пусть пройдёт двадцать, тридцать, сорок лет... – можно, открыв коробку с детской игрушкой, перенестись в мир детства, счастливый уютный мир, где мы любим маму и папу, и дом свой, и маленький дворик, и из всего этого составляется, как из пазлов, понятие «Родина». Возвращаются из небытия запахи и вкусы только людям старшего поколения знакомых деликатесов, таких как «Килька в томатном соусе», «Бычки в томате» или, например, помадка, сваренная из сахара, кабачковая икра, пироги с калиной, черемухой и прочие кулинарные изыски, оставшиеся в традициях некоторых семей как символ несгибаемости. С годами становится навязчивой идеей желание соблюдать обычаи своего народа или хотя бы хранить память о них.

Вернувшись домой, Дина взялась за приготовление ужина и, стоя у раковины, прислушивалась к голосу гостя шоу «Пусть говорят».

– Да, я вышла замуж за лорда, я стала баронессой, – говорила женщина с голубого экрана, немного картавя.

Дина бросила взгляд на экран и увидела, что баронесса сидит на тесном диванчике в павильоне программы рядом с другими участниками, а зал на каждое её слово реагирует протяжным «Оооо!».

Дина бросила мытьё посуды и уселась перед телевизором. Молодая привлекательная женщина с шоколадного цвета кудрями делилась своей витиеватой историей. Зал с восхищением смотрел на новоиспеченную баронессу, которая невероятно удачно вышла замуж и уехала к мужу в Лондон, где её приняла семья аристократа.

– Я думала, они моему сыну подарят на шестнадцатилетие как минимум... – Баронесса в поиске подходящих слов на мгновение замолчала, потом продолжила: – А свекровь собрала нас всех и сначала извлекла из дубового шкафа коробку, а затем попросила своего сына, то есть моего мужа, открыть её и вместе с ней принять участие в торжественном дарении галстука, который она преподнесла ещё ему на его шестнадцатилетие. Сказать, что я была разочарована, это ничего не сказать.

В зале прокатилось раскатистое «ооо!», и взгляды устремились на ведущего.

– То есть вы хотите сказать, что это вам дарилось на полном серьёзе? – Андрей Малахов всегда переходил на сниженную лексику, когда эмоции достигали кульминации.

Однако после того, как вся аудитория ток-шоу осудила поступок свекрови баронессы, фон Лорен Марина Шаповалова вдруг поменяла интонацию и принялась объяснять истинную причину такого ничтожного подарка.

– Да нет же, я даже им благодарна. Только они и научили меня по-настоящему понимать, что такое семья и традиции, которые нельзя приобрести за несколько лет, как, например, нувориши, то есть новые русские, в девяностые годы, когда деньги делались из воздуха. Быстро разбогатев на криминале, продавая палёный спирт в бутылках, и ещё хуже – за счёт рэкета, убийств. И вот, купив барахла, дорогих тачек, домов на Рублёвке, они обзавелись семьями и детей вдруг захотели учить в лучших школах и университетах, даже за границей, когда сами едва читать и писать умели. И таких, кто со свиным рылом полез в калашный ряд, сразу можно было отличить от истинных аристократов и в Лондоне, и в Штатах. Сначала большевики, потом братки семьдесят лет спустя отобрали всё у богатых, переобулись из лаптей в «саламандер», но так и остались

плебеями «без Родины, без флага», не имеющими чувства собственного достоинства и гордости за своих пращуров, которых не знали и знать, может, не желали. Потомки Климов Чугункиных, пополнившие класс люмпенов, вряд ли станут с пиететом хранить личные вещи, которых у них никогда и не было.

Дина, нашарив футляр, извлекла из него очки и водрузила их на переносицу, чтобы получше рассмотреть женщину.

В зале началось волнение, и Малахов едва успевал резюмировать и обобщать: осуждение превратилось в защиту. Хотя беседа пошла не по сценарию, ведущий не терялся, потому как для опытного журналиста нет ничего невозможного, как нет и рамок – можно выплыть из любого словесного омута; закольцевать несусветную чушь, играя в словесный пинг-понг, и в конце – возвести её в ранг абсолютной истины.

– Вы хотите сказать, что галстук, подаренный ещё отцу, передаривается сыну, внуку, и это предмет гордости семьи лорда? И в этом нет ни капли насмешки? – Малахов пытался спровоцировать баронессу, ему был нужен конфликт. Его передача не может быть пресной. Сейчас он рассорит всю семью. Просто нужно время. И тут неожиданно баронесса широко улыбнулась, встала со своего диванчика и под бурные аплодисменты покинула программу.

Реклама на время перекрыла происходящее на экране призывом к покупке волшебного средства от изжоги. У Дины появилось неприятное ощущение в желудке. Она переключила программу: «Тошнит уже от этих шоу». Она опустилась на диван и стала бороться с внезапным приступом гастрита. Её вновь окутал прелый запах речной тины, и она вспомнила женщину в зале Сбербанка. «Нет, мне только если новые. А так нам ничего не надо...» – фразу, которой выражался отказ от помощи, вещей, хотя в положении беженки ли требовать только новые? Или она принадлежала к той категории людей, которые ничего не будут делать, будут нищенствовать, будут просто ждать, когда им всё дадут просто так, а может, и с силой отнимут? От этой мысли Дине стало как-

то не по себе. Она подумала о соседе Сашке, который жил напротив.

Предупреждала Яська не давать ему в долг: всё равно, мол, пропъёт, – да Дине было как-то неловко. Всегда давала сто, двести рублей то ли в долг, то ли как милостыню. Муж хоть ругал Дину, сам украдкой давал Сашке на водку. Для того это стало вроде ритуала: день пьёт, два пьёт, третий, а на четвёртый начинаются «саратовские страдания». Выходит на аллею, как медведь-шатун, цепляется к случайным прохожим, потом, не найдя собеседника, начинает стучать и звонить во все дома. Если раньше люди не ставили замки и звонки на ворота, потому что доверяли друг другу, то сейчас запоры начали ставить на всё да и делали их покрепче, обзавелись также видеонаблюдением. Что касается звонков, то колокольчики сменились кнопками, а потом и эти вовсе исчезли. Люди до такой степени захотели уединиться, что скрылись ото всех за высокими заборами с управляемыми пультом воротами и специально звонок не стали ставить – чтобы только свои имели доступ и никто чужой не проникал в их частную жизнь. Так что соседи уже давно друг к другу за солью не ходят.

Между тем дом Дины был одним из немногих оборудованных по старинке – звонком. Порой Сашка долго отжимал кнопку указательным пальцем, потом, теряя силу и терпение, прислонялся всем корпусом к забору и лицом наклонялся так, что лбом упирался в кнопку, которая от этого западала и звонок становился бесконечным. Ему никто уже не собирался открывать, но и он уже вряд ли что-то мог понять в таком состоянии. Пугало то, что Сашке почему-то казалось, что ему все должны обязательно дать денег взаймы. А что если ему в очередной раз не дадут и он захочет взять их силой, потому как больше нигде ему взять и терять ему уже нечего?

Дина поймала себя на мысли, что где-то это уже было, и опять к её горлу подступила тошнота от присутствия затхлого запаха...

Утром Дина снова искала ниппель или иглу – в одном месте, другом. Порой ей казалась глупой эта затея. Ну зачем

Яське старый мяч, посмеётся только. Что если взять да и выбросить весь «мусор», но от этой мысли Дина начинала рассуждать с удвоенной силой: разве это мусор?

Подошёл муж и, открыв багажник машины, начал ворчать.

– Когда у тебя в машине будет порядок?

– Это всё нужно, это не макулатура, – оттесняя в сторону стопки бумаг, оправдывалась Дина.

– Даже колёса некуда складывать, поедem в шиномонтаж.

Закидывая в багажник летнюю резину, муж наткнулся на мяч. Взяв в руки, он повертел его в руках и, смягчив тон, поинтересовался:

– Ты возишь его с собой?

Узнав о злключениях Дины, он перестал ворчать, и во время поездки в шиномонтаж его лицо будто посветлело, на него нахлынули воспоминания: маленькая Яська, Анапа, мячик, вращающийся, как земной шар по орбите. И вся жизнь пронеслась слайдами перед его глазами.

– А как будто вчера всё это было. Хрущёвка на Волгоградской. Девочка. Мячик. И бах – ей тридцать, а нам сколько? И что, всё пролетело стремительно кометой и в памяти только цветные всполохи от хвоста её?..

Муж молча ворочал тяжёлые колёса, помогая молодому рыжеволосому парню, и когда, потирая руки, он вышел к супружеской паре, Дина заметила, какого василькового цвета у автослесаря глаза. Тут Дина решила рискнуть в последний раз. Муж сразу понял намерение жены и достал из машины мячик.

– Извините, – Дина начала виновато, за что ей стало даже неловко, – а вы не могли бы мячик надуть?

Дина столько раз за последнее время произносила эту фразу, что она у неё получилась какой-то механически бездушной, оттого-то и неестественной.

– Понимаете, у нашей дочери скоро день рождения, точнее, ей тридцать лет. – Дине казалось, что она несёт такую чушь, что ей самой стало стыдно, но она продолжила заученную речь: – Так вот, это мяч-память, мы хотим её удивить, она им играла ещё в детстве... – Дина опустила глаза, но, к своему удивлению, никто из мужчин не пока-

зал ни видом, ни словом, что в сказанном ею есть что-то несусветное.

Парень, выслушав Дину, кивнул мужу, державшему мяч, и, через мгновение ловко поймав его, скрылся в своей подсобке.

Дина запрокинула голову и увидела весеннее небо, голубое и бесконечное. Два голубя парили в нём, превращаясь сначала в точки, а потом веером раскрывали крылья и, словно в танце, недолго парили в высоте. Дина вдохнула холодный апрельский воздух и на минуту закрыла глаза, радуясь тёплому солнышку.

Когда Дина приподняла веки, увидела перед собой рыжего парня. Улыбаясь, он протянул ей туго накачанный мяч.

– Ну, вот как-то так, только вы с ним осторожно, он сдуется, если будете кидать.

Изумлённая Дина стала ощупывать мяч и осыпать парня благодарностями.

– Да, да, конечно, мы его только под стекло, под ключ, а сколько мы вам должны? – не унималась Дина.

– Да, сколько? Вы нам помогли, – подключился муж, тоже довольный.

– Пустяки, ничего не надо. Мне вот тоже будет тридцать на днях, что я, не понимаю? У меня тоже был мячик, он мне всего дороже. – Парень засмутился от собственных слов и белозубо улыбнулся.

Женщина вновь почувствовала запах весны, в нём сочетались таёжные травы, болотная тина, ягоды, кедр и чистый апрельский воздух, запах продолжающейся жизни.

Дина, смеющаяся, с мячом в руках, заглянула мужу в глаза – в них сияли любовь и счастье, которые за деньги не купишь и которые нужно беречь и пронести через годы.

Светлана ЖИВНАЧ

Минск, Беларусь

ПРОБУЖДЕНИЕ

«Эт-но-гра-фи-че-ска-я экс-пе-ди-ци-я», – по слогам нараспев протянула Нелли и рассмеялась. «Что я там забыла? Зачем мне это надо?» – то и дело всплывали вопросы в голове девушки, пока она старательно укладывала вещи перед завтрашним отъездом в глухую полесскую деревушку. Причину неожиданного для многих участия второкурсницы в экспедиции четвертого курса по сбору традиционных весенних песен звали Дима. Парень увлекался этнографией, которую и выбрал своей специализацией на курсе.

Дорога до нужной деревни оказалась весёлой, особенно последние километры, которые компания преодолела на попутном тракторе. Разместившись в отведённой им хате, студенты собрались в одной комнате обсудить планы с руководителем. Нелли раздражало, что возле Димы постоянно мельтешит Агата. «Вот привязалась, а ещё выдумала – называть Диму на народный манер Змитром, – мысленно возмущалась Нелли. – А ему, похоже, нравится».

– Завтра с самого утра местные для нас проведут «Гуканне вясны»*, так что ужинаем и расходимся спать, – объявил в конце обсуждения начальник экспедиции.

* Гуканне вясны – древний праздник прощания с зимой и встречи весны. Сопровождается обрядовыми весенними песнями, хороводами. Одна из особенностей традиционных песен-веснянок в том, что каждый куплет заканчивается удлинённым звуком «гу-у-у». Люди зовут весну быстрее прийти, радуются первому весеннему солнцу и прогоняют зиму.

Конечно, ужин затянулся, перерос в посиделки с песнями под гитару, смехом, долгими разговорами. Только далеко за полночь все разбрелись спать.

Проснулась Нелли оттого, что кто-то тормозил её. Разлепив глаза, она непонимающе уставилась на нависшего над ней Диму:

– О, проснулась. Доброе утро. Давай вставай, скоро выходим. Возьмёшь камеру. И запасной диктофон.

И ушёл, по пути раздавая задания другим студентам. «Больше других ему надо, – сонно ворчала Нелли, проклиная всё на свете. – Зачем я вообще сюда припёрлась? Деревенских рассветов под завывание местных бабок мне в жизни не хватало?»

Вскоре вся команда двинулась на край деревни, где простиралось поле, а чуть поодаль начинался лес. Тут и собирались «гукаць вясну». Женщины выглядели нарядно в цветастых платках и длинных юбках с вышитыми передниками. Немногочисленные мужчины стояли в стороне. Нелли указали место, откуда снимать. Праздник начался. Женщины выстроились в ряд и затянули:

Вол бушуе, вясну чую... Гу-у-у

Нелли хмыкнула, подкрутила настройки резкости фотоаппарата и продолжила снимать. Зазвучала следующая песня:

Жавароначкі, прыляціце,
Вясну красную прынясіце...

Песня лилась, сопровождаемая традиционным «гу-у-у», так веселившим Нелли поначалу. Женщины пели без какого-либо музыкального сопровождения, самозабвенно отдаваясь происходящему, выпуская на волю народные напевы. Мелодия расплывалась и окутывала всё вокруг. Нелли невольно залюбовалась и заслушалась, продолжая снимать. После небольшой паузы, переведя дыхание, женщины запели:

Вясна, дзе бувала...

Песня проникала глубоко в сердце, гулко отзывалась внутри, вырывалась наружу. Нелли прислушивалась к себе и не понимала, что происходит. Она попыталась стряхнуть неясное ощущение, оглянулась по сторонам: тёмный лес подступал к поляне с проталинами, на которой стояли люди и пели, ничего не было в этом сверхъестественного. «Откуда это? Что происходит?» – руки начали слегка дрожать. Нелли передала камеру вовремя оказавшемуся рядом парню из экспедиции. А сама застыла, слушала, впитывала:

Вясна, дзе бывала...

Потом завели хоровод, в который попала и Нелли. Мелодия, напеваемая десятками голосов, слившимися в один поток, неслась по околицам. Нелли шла в хороводе, боялась споткнуться и расплескать переполнявшие до краёв новые эмоции, ощущения. Здесь, под просторным весенним небом, среди леса и только начинающей дышать земли шли люди по кругу и пели, как много веков до них делали их предки, и всё те же были небо, лес, песни. Нелли делала шаг за шагом в этом бесконечном хороводе, отдаваясь звучащей природе, она и сама звучала, чувствуя себя маленькой частью того вечного космоса, обрушившегося на неё в полесской глуши.

«Гуканне вясны» продолжалось. Не в силах совладать с собой, Нелли отошла в сторону. Её мелко трясло. Внезапные слёзы полились рекой. Она прислонилась к старому дубу и неожиданно ощутила движение, биение жизни под сухой морщинистой корой. Пробудившиеся древние силы жизни струились по стволу, лились по корням, текли мощным потоком, пронизывая прижавшуюся к дереву, замершую в необъяснимом восторге Нелли.

Рядом оказался встревоженный Дима:

– Ты в порядке, Нелька? Что с тобой?

Нелли подняла на него глаза и улыбнулась:

– Всё хорошо, Змитрок. Это весна!

Все приведенные строки взяты из песен-веснянок.

Николай ЛЕОНТЬЕВ

Москва

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОН

Святочный рассказ

А.И. Цветаевой посвящается

В эту ночь Пашка спал плохо, ему снились кошмары: то какая-то большая собака гналась за ним, стараясь укусить за пятку, то детдомовский воспитатель Игорь Иванович ни за что надавал затрещин. Мальчик просыпался и вновь засыпал, но жуткие сновидения не проходили. Он открыл глаза и стал размышлять. А думать ему было о чём: в свои 8 лет он наделал немало глупостей – был в детдоме не на лучшем счету, злил воспитателей и учителей на уроках, за что получал тумаки и оплеухи, дёргал девочек за волосы, подрался с Витькой Петровым из второго класса, привязал консервную банку к хвосту бездомной кошки, доверчиво отозвавшейся на его «кис-кис»... Да разве перечислишь все?

Год назад пришлось пережить ему сильное потрясение: тётка его Галина Семёновна Селивёрстова, сестра матери, умершей 3 года назад, лишённая за пьянку опеки, совсем отказалась от племянника, заняв его квартиру. Однажды, когда мальчик пришёл на воскресенье домой, хмельная, избивала его и выгнала с непотребными словами на улицу, запретив раз и навсегда появляться. Тогда Пашка впервые сорвался: обозлённый и униженный до крайности, он собрал на дворе куски расколотого кирпича и закидал ими окна тёткиной квартиры, не оставив ни одного целого стекла.

Когда вызванная соседями милиция взяла его, долго бился в руках участкового, не в силах прийти в себя, а старый капитан, знавший его мать, повидавший в жизни всякое, неуклюже прижимал к груди колотившееся в судорогах худенькое мальчишечье тельце и участливо шептал: «Ну, успокойся, успокойся, видишь, она пьяная... Что с неё взять?» С этого времени и пошла его жизнь наперекосяк, как будто что-то сломалось в нём, ожесточило, озлобило маленькое сердце. Вот вчера шёл он из школы, увидел в подземном переходе старую женщину. Она сидела на земле, перед ней стояла консервная банка, куда прохожие изредка кидали подаяние... Пашка дважды прошёл мимо, потом разбежался, подлетел к бабке и, схватив жестянку из-под носа оторопевшей старушки, вихрем унёсся из перехода, стараясь не слышать её причитаний.

Ему вспомнились глаза старой женщины – полные ужаса, растерянные, обречённые. И сейчас ему не было смешно, как тогда, он понял вдруг, что сам, наверное, выглядел так, когда у него в столовой старшеклассники во время обеда отнимали котлету или компот. Мальчик вздохнул и подумал о матери: как жаль, что её нет. Он попытался вспомнить её и не смог. Не получалось. Вернее, получалось, но каждый раз она была какой-то иной: то походила на известную артистку, которую Паша видел по телевизору, то на тётю Нину, детдомовскую буфетчицу, подкармливавшую его иногда, а то... Он мечтательно закрыл глаза, стараясь мысленно увидеть маму. Эх, была бы она здесь... Сон неслышно накрыл его лёгким невидимым покрывалом. Пашка мечтательно закрыл глаза... Загрезил... Вокруг было темно. Ночь. Неожиданно он увидел, что к нему приближается неслышными шагами женщина, спокойная и величавая, красивая и необыкновенная... Сердце ребёнка судорожно сжалось, он почувствовал наверняка: это она – мама! Он не ошибался... Почему? Этого нельзя объяснить. Широко открытыми глазами смотрел он на мать, не в силах произнести ни слова...

Она присела на кончик его кровати и погладила Пашу по голове. Мальчик зажмурился, блаженная радость охватила его. Это была она – его мама! Единственная и люби-

мая. Слезы счастья покатались по его лицу, и Пашка беззвучно заплакал, не стыдясь их. Он чувствовал, как уходят боль, тяжесть, обиды, унижения. Мать с тихой и скорбной нежностью грустно смотрела на сына, понимая, что происходит в детской душе.

– Прошу тебя, – сказала она неожиданно, – и мальчик весь подался к ней, слушая ласковый и строгий голос, – не обижай никого: ни стариков, ни девочек, ни кошек... Люби их. Им тоже бывает больно. Обещаешь?

Паша, не в силах ответить, согласно кивнул головой, а мать, посмотрев в его залитые слезами глаза, тихо добавила:

– Завтра, в воскресенье, приходи в Елоховскую церковь. Там буду ждать тебя.

– Я приду обязательно, – прошептал Пашка.

– Хорошо. А теперь спи.

Она коснулась его головы, и мальчик почувствовал, как глаза его закрываются, сознание гаснет, а мама уходит неслышно в темноту...

Утром он проснулся в приподнятом настроении. О ночном происшествии не напоминало ничего, кроме мокрой от слёз подушки. Паша не особенно верил снам, однако решил после завтрака съездить в Елоховскую. В школе занятий не было, и он направился к метро.

Деньги у него отсутствовали. Украденную у нищенки мелочь он накануне истратил на кино. Обычно в метро он всегда старался прошмыгнуть за каким-нибудь пассажиром через турникет, но на этот раз что-то его удержало. Подойдя к контролёрше, робко попросил:

– Тётянька, у меня денег нет, а ехать надо, пропустите меня, пожалуйста...

– А куда тебе ехать?

– В Елоховскую церковь. А где она, я не знаю.

Женщина удивлённо посмотрела на мальчика.

– Поезжай до «Бауманской», а там выйдешь на улицу и спросишь. Это близко... – Она о чём-то подумала и, хотя Паша собирался идти, достала деньги и протянула пацану. – Поставь свечку к иконе Богородицы.

Мальчик взял деньги, сунул в карман и помчался на эскалатор.

Вскоре он входил в величественный Богоявленский собор, известный в народе как Елоховская церковь. В храме шла служба. Доносившиеся с хоров голоса певчих, блеск свечей, золото и серебро окладов икон, священник в парчовом облачении – всё это захватило его, и он забылся, стоя впервые в жизни среди молящихся... В себя пришёл, когда служба закончилась и одетые в чёрное старые женщины стали гасить свечи.

Он вдруг вспомнил, что не выполнил обещания.

Паша подошёл к ларьку, купил свечку и спросил:

– А где икона Богородицы?

Женщина протянула руку и показала.

Паша подошёл к этому месту и взглянул наверх, в темнеющий за стеклом лик. Дыхание его перехватило, и он, разинув рот, не в силах вздохнуть, с удивлением и радостью увидел мать, приходившую ночью к его изголовью. Её глаза смотрели на Пашу озарённые чудесной силой великой любви. Она успокаивала его, утешала, предостерегала...

Мальчик стоял и смотрел, не в силах оторвать взгляда от лица Божьей Матери, пошевелиться, подумать о чём-то другом. Молиться он не умел, молитвам его не учили, и он, прижав руки к груди, просветлённо взирал в неземной лик.

Проходившие мимо женщины не трогали его: что-то в детских глазах останавливало их... И только когда из алтаря вышел старый седой священник, сказали, указывая на мальчишку: «Давно стоит ... И глаза чудные...»

Старик неслышно подошёл к мальчику, заглянул в лицо, положил на плечо свою добрую мягкую руку и тихо спросил:

– Ты кто?

– Детдомовец, – привычно ответил Паша, не замечая ничего, кроме всевидящих глаз Богородицы.

Через час он сидел у священника за столом, матушка наливала ему густые горячие щи, и мальчик, улыбаясь, по-детски сбивчиво рассказывал о себе, детдоме, тётке, друзьях и о чудесном явлении, случившемся минувшей ночью и так неожиданно изменившем привычное течение его жизни.

Лирический портрет

Светлана КЕКОВА

Саратов

ЛЮБОВЬ ОТБРАСЫВАЕТ ТЕНЬ...

* * *

Витражами строки заслоняя любовь и природу,
ты сидишь у реки и глядишь на бегущую воду.
В травяном уголке, раздвигая осоку руками,
видишь ты, как в реке пляшет рыба с семьёй плавниками,
как танцует она, раздвигая алмазные звенья,
а в её чешуе драгоценные пляшут каменья.

Как тебе хорошо заниматься работою тонкой:
выдуть мыльный пузырь, чтоб светился он радужной
плёнкой,
из цветного стекла сделать желтый нарцисс или крокус,
и при помощи слов показать удивительный фокус:
то, что было желанным, немедленно сделать туманным,
а к невесте жених пусть путем добирается санным –
как когда-то плутал упоительный Пушкин в «Метели»
и для Бэлы покинутой Лермонтов рвал иммортели.

Но потоки бегут от Голгофы, Фавора, Синая:
чрево мира расселось ли, ось ли сместилась земная,
подвигаются горы, встают на дыбы океаны,
и на теле стиха открываются рифмы, как раны.
Если б ведали вы, неразумные дети былого,
что над миром царит человеком распятое Слово,

через все континенты летят океанские брызги,
и у входа в Содом соляные стоят обелиски.

Витражами строки этот мир заслонить не смогли мы:
плачут дети вселенной, как наши сиротские зимы,
но куда пространство еще не свивается в свиток,
мы читаем, рыдая, слова новогодних открыток,
а за ними – вдали – прозреваем уже неземные
тишины водопады, молчанья дожди проливные...

Колдунья и три воробья

Колдунья траву и коренья сушила,
и хлеб на крыльцо золотое крошила,
и три воробья принимались клевать
засохшие крошки.
Их смерть не страшила,
им некогда было о ней горевать.

Колдунья, на шею надев ожерелье,
листала погубленных душ каталог
и сыпала соль в приворотное зелье,
чтоб огненный пар застилал потолок.
И три воробья на крыльце, как подростки,
садились неловко на желтые доски.

В овраге тихонько журчала вода,
за темной оградой цвели георгины,
и кто-то сказал: «У тебя никогда
не будет несчастной любви и ангины».
А может быть, это придумала я?
Чирикали весело три воробья.

Колдунья на блюде яичко катала
и пела, и песней за сердце хватала,
поскольку невнятные знала слова,
что жарче огня, холоднее металла,
она их, как травы, на воле брала –
и три воробья умолкали в тоске,
купаясь в пыли и сыпучем песке.

А солнце сияло, как лик на иконе,
и тело колдуньи стгорало в огне,
покуда сверчок в золотистой короне
сидел на холме на зеленой волне.
И ворон удерживал в лапах подкову,
сорока несла золотое кольцо...
И вновь, повинувшись неслышному зову,
Колдунья на теплое вышла крыльцо.

Голодная кошка зевнула, как львица,
заплакала иволга, скрипнула дверь...

Колдунья, ведунья, знахарка, травница,
пророчица, нищенка, где ты теперь?
Уже не нашлешь ни любви, ни мигрени –
давно кружевная накидка твоя
растаяла облаком в ветках сирени,
где прыгают весело три воробья.

* * *

Скажи мне, милый, что перрон
карболкою пропах,
что в чёрном кружеве ворон,
сидящих на ветвях,

и в чёрном бархате небес,
и в шёлковой пыли
ты угадал удельный вес
огня, воды, земли;

что сёстры Лия и Рахиль
и их отец Лаван
в пространстве четырёх стихий
уже явились нам,

и нужно только молвить: вот
в кружение белых мух
который год, который год
пасёт овец пастух...

* * *

Я живу в каморке, а в той, соседней,
проживает тихо поэт последний.

Ночью вирши пишет, а днём кемарит.
То в бутылку лезет, то чай заварит.

Слово скажет жаркое, как объятье,
словно купит дочке отрез на платье.

Дочка сварит папе кисель из клюквы,
принесёт цветы ему полевые,

на отца посмотрит – увидит буквы,
только буквы, жалкие и кривые...

* * *

Любовь отбрасывает тень тоски и торжества,
как это делает сирень – цветы ее, листва,

и узловатый узкий ствол, и ветви на весу,
как я тягчайшее из зол в груди своей несу.

Любовь, лицо рукой закрыв, не видит наших слез.
В буддийских храмах старых ив, в больших церквях берез

засвищут птицы, запоют о счастье без вины,
кукушка наведет уют в часовне бузины.

Травую зарастет пустырь, и съест огонь зола,
и будет леса монастырь звонить в колокола.

А ты, любовь, пройди, как тень, волною в небо хлынь,
как эта сладкая сирень, как горькая полынь.

Виктор ЛЯПИН

Кстово

СВЕТ ПОДОРОЖНИКОВ

* * *

И волны к церкви, и церковь к небу,
и небо – к дальним огням затона.
Темнеет. Моросью. Мелким снегом.
Поют из церкви про мрак бездонный.

Синеет церковь. И тонет в хмари.
Уйдет по тропке звонарь печальный.
И выльет звёзды рука в тумане
на чернь реки и на пирс песчаный .

Всё происходит сейчас и с нами.
И то, что пели, и то, как жили,
и эта вечеря с именами,
что в книги бережно уложили.

По тропке спустишься – встретишь Лота,
и с ним рыбак неисповедимый,
что чинит днища подгнивших лодок,
как будто хочет уплыть в них в зиму...

* * *

Вновь капли, в сумраке червлёном
сочащиеся по аллеям,

нашепчут осень гордым клёнам,
что замирают, тяжелея,

и листья удержать не в силах,
последнее хранят молчанье.
И это веская причина
для немоты первоначальной,

для скорой бури, для разлома,
чужих шагов в саду бездонном,
где из разграбленного дома
грачи свалили за кордоны.

где вечно каплет рукомойник,
и вечно (значит, ныне) длится –
то, что случится перед тьмою,
и то, что после тьмы случится.

но будто затворили дверцу,
и не дошла твоя записка;
...и те слова, что жили в сердце,
не выразимы – но так близко...

* * *

Багряная листва кленовая
набилась в стёкла, между рамами –
так истово стремится в новое
ожившее пространство храмовое.

Над папертью и над ступенями
кружит, как нищенка несчастная,
к осеннему пресуществлению
причастная и непричастная.

И человек, дитя-растение,
стоит в углу под тёмной притолокой,
разбитый до последней степени,
запрятав в тень лицо безликое.

Старушечьи мольбы торопкие
под треск свечей легко возносятся,
а от него и слова робкого
иконный старец не допросится.

Так и уйдёт в тиши безмерной,
иль всё же скажет в свет нелживый
одно полуживое, верное,
простое слово нефальшивое...

И пусть плывут, как листья бывшие,
пустые дни его молчания,
вкусившего и не вкусившего,
закрывшегося до отчаянья...

* * *

Пьёт плохое вино. Забинтован треножник.
Был когда-то в фаворе. А может, и врёт.
Беспредельный, пылающий свет подорожников
нарисует – сотрёт, нарисует – сотрёт.

Режут кольца морщин. Счастье лживо и ложно,
счастье вечно зудит про бабло и тряпье.
Что за прихоти бездаря – свет подорожников?
Нарисует – сотрёт, нарисует – сотрёт.

Он уйдёт в снегопад, напившись безбожно.
Как всегда одинок, не продав ничего.
Но останется в воздухе свет подорожников.
И прозрачная кисть дорисует его...

* * *

Старуха кормит голубей батоном,
бормочет им в слезах слова свои:
– Пусть ненавидящие в ненависти тонут,
а любящие пусть живут в любви.

В пустынном парке репродуктор стонет
про звонкость струн, про чёрный блеск очей.
Старуха плачет над своим батоном,
обиженная (кем? за что? зачем?)...

Рассыплет, слепота, монетки сдачи
(«Ах, боже, позабыла про платок»)
И маленький потёртый чемоданчик,
как верный пёс, ютится возле ног.

Ей хватит сил лишь голубиной братье
по-птичьи ворковать слова свои:
– Прости им прегрешенья и проклятья,
и любящие – пусть живут в любви...

* * *

...Свежесть чувств и сердца простота –
несравненный, тихий ливень света.
Розы, приоткрывшие уста,
утренними каплями согреты.

В скользкой вьюге сизых январей,
хлещущей по окнам всё упрямей,
нас ещё утопит бог Борей
с алыми своими снегирами.

А пока... Не ведая, что им
жить невечно в сотканное лето,
розы пьют под солнцем золотым
несравненный, белый ливень света...

* * *

Под церковь, полную прощенья,
подкатывается метель.
В февральских сумерках пастельных
бела, как мел, реки постель.

Пёс разгребает снег творожный
суёт холодный мокрый нос,
а там – зимует подорожник,
дрожащим тельцем в землю врос.

Засыплет бесконечным снегом,
раздавит льдом, сожмёт в росток,
чтоб под весенним мытым небом
он вновь тебе под ноги лёг,

чтоб тихим светом, чист и кроток,
сиял в костре июньских трав
под церковью меж старых лодок
у гомонящих переправ...

* * *

Ночь целуема свёрнутым светом костров.
Ночь на пышные воды ложится, как дева –
заитильской Венерою, старшей сестрой,
не из пены рождённой, из звёздного чрева.

Ночь всегда на сносях. Ночь рождает в воде.
Ей ветра расстилают рассвета пелёнки.
И огромная рыба на звёздном хвосте
в них выносит из Волги сиянье-ребёнка.

А когда под метелями Волга замрёт,
а когда всё укроется белыми льдами –
ночь-река разрывает раздавленный лёд,
и сверкает вода полыньями-следами.

С детской верой ребёнка, впивая сквозь сон
тайны бабкиных слов, засыпая под пенё,
знать – выносит река солнце-шар-колесо,
раня руки об облако от нетерпенья...

Галина ТАЛАНОВА

...И ЖДУ,
ЧТО ВЕТЕР ПРИНЕСЁТ ОТВЕТ

* * *

Вижу тени, и блики, и рябь на реке;
Из заснеженных гор в поднебесье пейзажи;
И как чёрные птицы ныряют в пике;
И дымок из трубы,
Что с частичками сажки.
Но не вижу предметов,
Что бросили тень...
И никак не обнять эти тени руками.
И такая дремота, бессильная лень.
Все года, как дождинки на речке – кругами.
Ничего не осталось...
Течёт, и течёт...
И не верю,
Что смерть – как глубокое море.
Есть болящее тело...
Есть конченный счёт...
Но увидишь ли свет в том чужом коридоре?
Я глаза закрываю,
Иду, как слепец,
И пытаюсь нашарить виденья предметов,
Будто ухо к груди –
Слушать стук у сердец.
И не ждать никогда розоватых рассветов.

* * *

Жизнь снова бьёт размашистой ладонью.
И выплунешь с солёной влагой зуб.
Вид сделаешь, что не поводишь бровью,
К губам приложишь бережно лоскут.
Сотрёшь с досадой розовую вьюшку.
Наверно, поздно выпрямиться в рост?
И прыгнет возраст из кустов лягушкой,
Хоть трудишься всё так же на износ.
А дальше что?
Принять октябрь без дрожи,
Рядиться в слишком яркие цвета.
И ощущать лёд ветерка по коже
Да мамин взгляд с ажурного креста.

* * *

Рвалась сюда от суеты,
На воздух, пахнувший полыньёю,
Где средь травы пестрят цветы
И захлебнуться можно синью.
Дождя седая чесуча
Висит который день над садом.
И, как кузнечик, стрекоча,
Выводит силплые рулады.
И холод, словно в октябре,
И ни души на стылых дачах.
Хотя июль в календаре
Играть бы должен в яркий мячик.
И со смирением приму
И окон чёрные глазницы,
И возраст, и ночную тьму,
Где свет – лишь всполохи зарницы.
Любовь, как отсветы грозы...
Отполыхали там, за лесом,
Мелькнув, как рыжий хвост лисы.
Смотрю и мокну под навесом.
Стою – не плачу.

Ведь живу,
Живу ещё,
Хоть годы-птицы...
Вода течёт, течёт, течёт
И морщит гладенькие лица.

* * *

Ну что за лето!
Дождик льёт и льёт.
И холода, как будто дышит осень.
И воздух, что пила, как сладкий мёд,
Настоянный на хвое вечных сосен,
Такой сырой,
Что тяжело дышать.
И дождь долбит по крыше,
Словно дятел.
И жизнь свою в руках не удержать,
И ветер гнёт деревья, будто спятил.
Но столько рыжих веток у сосны!
И даже хвою время поджигает.
И шишки, расщеперившись с весны,
Себя уже в кулак не собирают,
Летят на землю,
На ковёр из мха,
В заржавленных, отживших век иголках.
И жизнь моя петляет, как река,
И остаётся ей не так уж долго,
Чтоб в море впасть,
Куда втекает всё:
Любови, боли, радости, печали.
А дождь на крыше продолжает счёт.
И кажется, что жизнь ещё в начале.

* * *

Ну вот и солнце!
Нежусь на траве.
Июль вернулся с тёплыми лучами.

И мысли об ушедших в голове,
И чуда жду, как будто жизнь вначале.
Здесь надышаться надо до снегов,
Впитать в себя все ароматы мяты,
Вкус ягод, разноцветье для стихов.
А облака, как будто бы из ваты,
Куда-то ветер медленно несёт.
И я плыву листочком по теченью.
И думаю, пока не кончен счёт,
Я наберусь здесь силы для свеченья,
Как светлячок, что ждёт любви в ночи
И посылает огоньки-сигналы.
Как холодны после дождей ключи!
И ветерок дохнул, как опахало,
Полынь-травой, ромашкой, резедой
И запахом вновь скошенного луга.
Их так хотела б в зиму взять с собой,
Чтоб быть в кольце спасательного круга.

* * *

Маме, поэту Эльвире Бочковой

Я голос теряю,
Как в том феврале,
Где вьюга следы заметала до края,
Хоть стрелка дрожала почти на нуле
И думали,
Что лишь два шага до мая,
Зажмурясь, пройти, —
И вернётся тепло,
И утром проснёшься под свист соловьиный...
И хмурило небо в досаде чело
На сбитые ветром в сугробы перины.
Но ты исчезала,
Слабела, неслась
Куда-то в видения душного лета
И с миром теряя последнюю связь.
И взгляд угасал,
Как во тьме сигарета...

Но тот огонёк сквозь метели несу...
 И каждый февраль донимают болезни.
 И месяц на небе похож на косу,
 Что косит не травы,
 А голос и песни...

* * *

И снова март.
 Двадцатое число.
 И из углов выходят молча тени.
 Трамвай прошёл –
 И дребезжит стекло.
 И вверх, должно б,
 Все пройдены ступени.
 Всё изменилось...
 Снова ворон сыт...
 Уже привыкли к сводкам с поля боя.
 Все ветки, что без листьев, у раakit,
 Как будто бы с обугленной корою.
 Сугробы опадают, словно грудь
 Старухи,
 Что забыла про любви.
 И хочется весь мир перевернуть,
 Что не боится почерневшей крови.
 Ах, мама, мама,
 Твой вернули Крым,
 Где разгребала волны ты руками.
 Но впереди струится черный дым,
 Что кажется ночными облаками.

* * *

Черёмуха, осыпанная снегом.
 Не разберёшь:
 Снежинки или цвет?
 Я за тобой иду нелепо следом
 И жду, что ветер принесёт ответ... –
 Другой,
 Не тот, холодный, словно стены,
 К которым жмусь разгорячённым лбом

И думаю о самом сокровенном,
 Что кажется мне светом за окном,
 Тем солнечным, безудержным,
 Что в мае
 Всех разбудил охрипших соловьёв,
 Что никогда не прибивались к стае,
 И шорох листьев был им милый кров...
 Теперь молчат...
 Нахохлились под градом,
 Что барабанит гневно по стеклу.
 И холодок заснеженного сада
 Вдевает нить метельную в иглу,
 Чтоб сшить той белой ниткой
 Всё, что рвётся,
 Хоть нитка рассосётся без следа...
 И лишь иголка будет всё колотьяся,
 И блик играть,
 Прошив насквозь года.

* * *

И снег забвения кружится
 Над нашей встречей средь зимы.
 Где снег скрипел, как половица,
 И лик смотрел из лунной тьмы.
 И всё казалось доброй сказкой,
 Где проживём с тобой в ладу.
 И снег ласкался белой лаской,
 И лунный зайчик плыл по льду.
 Растаял снег,
 И лёд тот тонкий
 Утёк в глубокий водоём.
 А мне всё кажется:
 По кромке
 Друг к другу медленно бредём...

Из будущих книг

Олег СУХОНИН

НЕ СУДИТЕ АФРОДИТУ СТРОГО

(Главы из книги)

Пятно командарии

– Шекспировскую Дездемону задушили не здесь, а в замке Фамагусты, – пояснял я Геннадию Романовичу Мавританскому, сидя за столиком в кафе на набережной Пафоса с видом на гавань и городскую крепость. – Да и в переводе Пастернака Отелло не просто её задушил, а для верности ещё и заколол кинжалом. Иначе как бы она, будучи удушенной, могла разговаривать с женой Яго Эмилией? А уж после того, как Дездемона окончательно испустила дух и замолкла навеки, там же – в Фамагусте – мавр зарезал и самого себя.

– Мавр! Слово-то какое! – поморщился Геннадий Романович. – Намеряете на мою фамилию?

– Боже упаси! – растерялся я от столь неожиданной трактовки моих слов. – Просто в Фамагусте туристам до сих пор показывают ту самую башню Отелло. Но лично я экскурсий на турецкую сторону не вожу – там я не работаю.

Словно оправдываясь, я поведал Мавританскому о том, что прототипом героя знаменитой трагедии Шекспира, скорее всего, был губернатор Кипра начала шестнадцато-

го века Христофор Моро. Приревновав жену, он зверски убил её, за что до конца дней своих был брошен в каменный мешок – ублиёт. Фамилия же этого белого ревнивца переводится как «мавр». Так что Геннадию Романовичу обижаться на меня не следует...

Но поскольку мой собеседник оказался здесь, на Кипре, в непростой ситуации и искал у меня сочувствия и поддержки, я решил мавром Отелло при нём больше не называть.

Геннадий Романович Мавританский, функционер от российской культуры, неделю назад привёз на международный фестиваль в Пафос труппу актёров провинциальных театров, чтобы представить здешней публике мистерию в честь богини Афродиты. Мистерию-то он представил, а вот Афродиту не уберёт.

И сидя теперь напротив меня в соломенной шляпе, шёлковой рубашке лимонного цвета с рассыпанными по ней серебристо-зелёными оливками, в светлых штанах и белых мокасынах на босу ногу, Мавританский обильно поглощал командарию и вдоволь предавался самоедству.

Вот и сейчас в очередной раз он тяжело вздохнул, заколыхав волнами оливки на груди и животе своей рубахи. В этот момент лёгкий ветерок сорвал с его головы шляпу, я подался вперёд, чтобы подхватить её, и невольно задел наш столик. Бокал Мавританского опрокинулся, расплескав вино на его белые брюки. Виноградный напиток расплылся по ним ядовитыми красновато-коричневыми пятнами.

Они и мне напомнили кровь, а Геннадий Романович так и вовсе вскрикнул. Нервы его окончательно сдали, и это можно было понять: привезённая им на Кипр Афродита была вовсе не бессмертной богиней, а обычной актрисой и уже второй день как лежала мёртвой в местном морге.

Вид запятнанных штанов функционера отчего-то напомнил мне начало «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда:

Гвардейца красит алый цвет,
Да только не такой.
Он пролил красное вино,
И кровь лилась рекой,

Когда любимую свою
Убил своей рукой.

Но стихи всплыли в моём сознании лишь на секунду: ну какой, к чёрту, гвардеец из мягкотелого пузана Мавританского с его рыбьими глазами и гладкими женоподобными щёчками!

А вот с преступлением вырисовывалось всё не так однозначно: в местной полиции Геннадий Романович числился в кругу подозреваемых в насильственной смерти Афродиты. Мне-то он, конечно, клялся и божился, что не имеет ни малейшего отношения к убийству привезённой им актрисы. Да кто же сразу самолично признается в душегубстве?

По себе знаю – никто...

Впрочем, Мавританский был всего лишь одним из подозреваемых: труп «богини» нашли у дверей его номера в местной гостинице Roman. И это было единственной против него уликой, поэтому и арестовывать чиновника сразу не стали, отпустив под подписку.

Я позвал его искупаться в море, чтобы он заодно смочил там и свои залитые вином брюки. Но Геннадий Романович упёрся, предложив прогуляться до отеля, где он переоденется и собственноручно покажет мне место убийства Афродиты. После чего тут же за столом закатал свои штаны выше колен, дабы не пугать по дороге встречающих прохожих и туристов «кровавыми» пятнами. Будь на нём джинсы, эта идея не прошла бы. Но штаны Мавританского были ужас как широки, и потому он легко превратил их в шорты, обнажив миру свои волосатые икры и жирные ляжки.

Минут через двадцать мы были уже у него в номере.

Дельфины и Русланка

Сам фасад отеля уже служил прекрасной декорацией для трагических историй. Внешне похожий на средневековый замок, на входе Roman встречал гостей многочисленными римскими статуями. Внутри же стены холлов,

коридоров и номеров были расписаны фресками в стиле древнегреческой чернофигурной вазопиши на различные сюжеты античных мифов. Сцены сражений из жизни богов и героев сплошь и рядом перемежались здесь с изображениями свадебных пиршеств и состязаний атлетов. Я заметил и несколько рисунков в присущем минойской культуре морском стиле: на них красовались разнообразные обитатели морей – дельфины, кораллы, наutilusы, осьминоги...

Когда мы поднялись на второй этаж, я издала определил, в каком номере жил Мавританский: пятна крови на светлом ковролине под дверью бросались в глаза из конца коридора. Подойдя ближе, я увидел и очерченные мелом контуры труп.

– Разве для этого до сих пор используют мел? – удивился я. – Вроде как тела жертв давно уже не обводят, а просто фотографируют...

– Полиция настояла, – ответил Мавританский, отпирая дверь своего номера.

Она отворялась не внутрь комнаты, как это обычно бывает в большинстве гостиниц, а в сторону коридора. Функционер объяснил, что в ночь убийства пытался открыть эту дверь изнутри номера, но она во что-то упёрлась снаружи. Чтобы выйти, ему пришлось с силой толкать её – за ней и лежало безжизненное тело.

Для восстановления первоначальной картины приехавшие на вызов полицейские вернули труп убитой на место и обвели его мелом. А уж потом увезли, чтобы он не мешал проходу в комнату, где, как предполагалось, и могло быть совершено преступление.

– Кровь просочилась в щель под дверью, – показал мне Мавританский на пятно при входе в свой номер, – вот я и бросился открывать. А там – Русланка лежит!

Руслана Лемурова была той самой актрисой, которую Геннадий Романович привёз на Кипр изображать в своей мистерии Афродиту. Отбор среди претенденток на эту роль он лично проводил у себя дома в джакузи. Сначала требовал от каждой из них по примеру античной богини

выйти оттуда из пены, а затем, основываясь на своих сексуальных фантазиях, предлагал повторить танец Сельмы Хайек в образе бесовки Сантанико Пандемониум из фильма Родригеса «От заката до рассвета» – только совершенно голой и с душевым шлангом вместо змеи.

Балерина Лемунова первой из претенденток смекнула взглянуть на «задание» чиновника сквозь призму теории Фрейда и сразу же затащила Мавританского к себе в джакузи. И уже там, под радугой из мыльных пузырей, оттачивала с ним ритмичные движения своих бесстыжих танцев.

В результате благодаря таким талантам Руслана справилась с задачей лучше всех, пребывая в полной уверенности, что получила роль Афродиты совершенно заслуженно.

– Я на таких просмотрах – как рыба в воде, – поясняла она подругам причину своего успеха. – Это вот если Крупскую изображать, так нужно глаза таращить да лоб морщить. А тут язычком подразнила, ножки раздвинула – какой же дурачок устоит? Вот я и налегала на репетициях на это дело. Партнёр, правда, попался не айс... Но тут уж не до жиру – искусство требует жертв!

Подруги понимающе кивали, завидуя четвёртому размеру груди, длинным стройным ногам и налитым спелыми персиками тугим ягодицам Русланки.

И стать бы Руслане Лемуновой – с её-то выдающимися формами и совершенным владением техниками продольного и поперечного шпагатов – первой этуалью кипрского театрального форума! Да только за месяц до его начала «случилось страшное»: Мавританскому резко урезали смету расходов на участие в фестивале. Высшее начальство объявило ему, что сэкономленные таким образом средства перенаправят на более патриотичные проекты. Тогда функционер, особо не заморачиваясь, так же радикально поступил и со всей своей мистерией, отчего и роль балерины в ней была значительно сокращена.

С самого начала из множества разнообразных версий рождения античной богини любви для своего сценария Геннадий Романович выбрал самую распространённую. То есть появление Афродиты из морской пены, взбитой

упавшим в море детородным органом бога Урана, оскотлённого серпом своим родным сыном Кроносом. Отсюда, говорят, и пошло выражение «как серпом по яйцам».

Когда же бюджет мистерии Мавританскому безбожно секвестировали, тогда и на всех богов в его сценарии денег хватать не стало: сцены многочисленных супружеских измен Урана, последующего оскотления бога-отца богом-сыном и любовных походов Афродиты из него были безжалостно вычеркнуты.

И раз уж Мавританскому не дали нужных финансов на то, чтобы повезти в Пафос большую труппу актёров для масштабной постановки, он и решил ограничиться всего одним главным действием – выходом прекрасной богини из морской пены на берег.

– Это как в анекдоте про басню Крылова, – при случае добродушно отшучивался Геннадий Романович. – Подбегает лиса к вороне, сидящей на ветке с сыром в клюве, и без всяких разговоров – хрясть ей битой по башке! Забирает сыр и убегает. А птица, очухавшись, только и говорит: «Ни хрена себе басню сократили!» Вот так и с моей мистерией...

Чиновник прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации – в режиме жёсткой экономии – его главным неогороемым капиталом становилась балерина Руслана Лемунова. Точнее – её яркая внешность с бьющей через край сексуальностью. Потому и весь сюжет некогда роскошного сценария безжалостно резался и кромсался под эти её таланты, в результате чего от всей мистерии в нём осталась только одна сцена:

«Прекрасная обнажённая богиня любви Афродита в исполнении Русланы Лемуновой с помощью дельфинов доплывает в морской раковине до острова Кипр и выходит на берег из пены. Там Киприду окружают юные богини времён года Оры, которые увенчивают её золотым венцом и украшают ожерельем, облекая в златотканую одежду. Где только ни ступит Афродита, там пышно разрастаются цветы, воздух наполняется благоуханием. Все участники действия исполняют энергичные танцы с эротическими элементами».

Как и исполнительницу главной роли, место для проведения мистерии Мавританский также выбрал сразу и безоговорочно, хотя это и стоило ему немалых хлопот с кипрскими организаторами. Но тут российский чиновник упёрся рогом – только Петра-ту-Ромиу! Бухта со знаменитым Камнем Рамейца или Скалой Афродиты, где мифическая богиня по легенде и вышла на берег.

Изначально предполагалось, что под дельфинов, которые доставят в бухту «морскую раковину» с Афродитой, стилизуют и декорируют три маленьких катерка. Но денег в итоге хватило на аренду лишь одного катера, а значит – и всего на одного моторизованного «дельфина». Он и должен был подплыть к берегу с Русланой в раковине, искусно вырезанной из огромного куска белого пенопласта.

Сам Мавританский решил мужественно встать за штурвал катера рядом с рулевым, а ещё два привезённых им с собой из России актёра – флегматичный мордастый бугай Сергей Бескрылов и жилистый худыш с бегающими глазками Альберт Грубанько – в костюмах дельфинов должны были торжественно вынести Афродиту из раковины на берег. А там уж Руслана знала, как увлечь публику!

Так как пляж Петра-ту-Ромиу усеян крупной галькой, местами переходящей в камни, то для танцев прямо у берега сколотили деревянный помост, весь украшенный вазами с кустами цветов и увитый яркими радужными лентами и флажками.

Сам балет, в принципе, был нехитрым: под фонограмму известной песни «Дельфин и русалка» в исполнении Наташи Королёвой и Игоря Николаева танцоры должны были выдать некий феерический коктейль, ядрёно замешанный на сюжетах древнегреческого мифа и шлягера российской попсы.

Помните:

Дельфин русалку полюбил глубокой трепетной
любовью.

Он чуткий сон её хранил, нёс жемчуга ей к изголовью.

Он позабыл, что он дельфин, забыл семью свою
родную,
Летел он из морских глубин в надежде робкой поцелуя,

– ну и так далее.

Дельфина, как уже говорилось, должны были изображать, попеременно сменяя друг друга, привезённые из России балеруны Бескрылов и Грубанько, а для нехитрой подтанцовки встречающих на берегу Афродиту юных Ор наняли стриптизёрш из местных ночных клубов.

На этом фоне, затмевая всех и вся, абсолютной звездой мистерии выступала сама богиня любви (она же по сценарию по совместительству и русалка) – несравненная Руслана Лемурова, безупречно владевшая своим красивым телом и выписывавшая настолько замысловатые па, что на кордебалет никто и никогда не обратил бы никакого внимания.

Случай с Сеферисом

Спрóсите – откуда я обо всём этом знаю?

Так они мне сами всё и рассказали.

Я познакомился с Мавританским и с его артистами на своих экскурсиях. Как только в своё время я осел на Кипре и выправил с помощью друзей, занимавшихся здесь офшорами, местный паспорт на новое для меня имя Лукаса Макриса, то, недолго помыкавшись в поисках работы, в итоге решил остановиться на туриндустрии.

В монастырь с моим бэкграундом идти было не с руки, в вопросах финансов и торговли недвижимостью, чем предлагали мне заняться друзья, я всегда ощущал себя полным профаном, а вот туризм с моим-то знанием языков – самое то! Заделаться здесь гидом было проще простого: пригодился опыт переводческой работы с европейскими и восточных языков в России, а выучить несколько топовых экскурсий и маршрутов на сравнительно небольшом острове мне не составило никакого труда. Всё-таки – гуманитарий, не хухры-мухры!

Через туризм я и стал невольным участником всей этой истории с Афродитой. Приезжавшие на фестиваль артистические коллективы все как один заказывали на Кипре обширные экскурсионные программы, и для нас, местных гидов, наступило горячее время – безостановочный чёс.

Я водил и возил экскурсии с японцами, испанцами, итальянцами, словенцами, ну и, конечно, с русскими актёрами – куда же без них! И, видимо, делал это так хорошо, что после наших поездок почти все они приглашали меня на свои репетиции и спектакли. Кто-то даже предлагал на время фестиваля поработать у них переводчиком.

Так вот, однажды в моей русскоязычной туристической группе и оказался Мавританский со своей «бандой».

Надо сказать, что одним из моих фирменных маршрутов была морская прогулка вдоль южного побережья Кипра на стилизованной под пиратский корабль яхте. Но главной изюминкой тура была не эта парусная красавица. И даже не умопомрачительные морские пейзажи со словно выраставшими из волн живописными берегами острова. Настоящей фишкой, «визитной карточкой» моих экскурсий было то, что в рассказ о достопримечательностях Кипра я непременно вставлял стихотворные истории от известных поэтов.

А то, что читать стихи я и сам умею не хуже любого артиста, – это уж поверьте! Джон Гилгуд и Иннокентий Смоктуновский отдыхают.

Это я, конечно, немного загнул, но, ей-богу, совсем немного: любой на Кипре вам скажет, что туристы на моих экскурсиях приходили в неописуемый восторг, когда я вплетал в свои рассказы стихи знаменитых поэтов.

Для этой морской прогулки я выбрал греческого нобелиата Йоргоса Сефериса, а именно – его стихотворение «Кошки святого Николая». Разучив его в переводах чуть ли не на все языки мира, я срывал неизменные аплодисменты, когда декламировал поэтические строки, театрально указывая перстом на проплывавший мимо нас мыс Гата на полуострове Акротири.

Что обычно говорили туристам на таких экскурсиях мои кипрские коллеги? Просто пересказывали информацию из путеводителей:

«Сейчас справа по борту от нас вы видите мыс Гата, что в переводе означает “Кошачий мыс”. Он является южной оконечностью острова Кипр в Средиземном море и де-факто – крайней южной точкой Европейского союза. Название мыса происходит от греческого слова γάτα – “кошка” и связано с находящимся на нём женским монастырём во имя святителя Николая Чудотворца “Кошачьего”».

Предание гласит, что на обратном пути из Иерусалима здесь останавливалась византийская императрица Елена Равноапостольная. Вследствие того, что в этих местах было очень много змей, заселивших остров во время засухи, по её приказу специально для борьбы с ними из Александрии был направлен корабль, полный кошек. С тех пор бухта, в которую приплыло это судно, зовётся Кошачьей. Здесь и был основан монастырь святителя Николая Чудотворца “Кошачьего”, насельники которого в память об этом событии содержали значительное количество кошек.

По другой легенде, в четвёртом веке нашей эры посланник императора Константина губернатор Калокайрос, имея ту же цель – истребить змей на Кипре, поставил монахам условие: содержать и кормить в монастыре не менее ста кошек. После османского завоевания в шестнадцатом веке, когда монахов перебили, монастырь опустел, и кошки стали бродить по всему Кипру – их до сих пор очень много на острове.

Несколько веков монастырь находился в запустении. И только в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году он был возрождён как женский. Тогда-то там и возобновили древнюю традицию содержания и кормления кошек».

Вот так одинаково, словно под копирку, свистели на экскурсиях в одну дуду все кипрские гиды. Я же в дополнение к этим общеизвестным фактам насколько мог талантливо и артистично бонусом выдавал ещё и Сефериса.

В тот погожий солнечный день, когда Мавританский со своими балерунами скучились на палубе вместе с другими участниками моей разношёрстной экскурсионной группы, я, как мне показалось, был в особенном ударе, и стихи нобелевского лауреата словно сами собой ритмично текли из моих уст под романтический аккомпанемент плеска морских волн за бортом нашей яхты:

«А вот и Каво Гата, – молвил капитан
и показал на низкий голый берег,
едва видневшийся за пеленой тумана. –
Сегодня Рождество. Вон там, вдали,
в порывах веста из морской волны
явилась Афродита. Камнем Грека
зовётся это место. Лево
руля!» Мне помнится, глазами Саломеи
смотрела кошка, год спустя её не стало,
а Рамазан, как он смотрел на смерть
в снегах Востока, день за днём
под леденящим солнцем,
малютка-бог, хранитель очага.
Не медли, путник... «Лево
руля», – ответил рулевой.

Обычно в такие моменты экскурсанты стояли и слушали меня разинув рты. Но в этот раз я вдруг заметил, что восторженные взоры публики обращены совсем не на меня и даже не на берег, куда я указывал рукой, а на что-то за моей спиной.

Обернувшись, я увидел, как тут же на палубе, в трёх метрах от меня, высокая стройная девица в белом лёгком коротком платье и телесного цвета легинсах, закинув ногу на леер, энергично выполняла балетные растяжки. Не обращая никакого внимания на окружающих, она будто в балетном классе попеременно закидывала ноги на перила ограждения яхты и изгибалась всем своим обворожительным телом, принимая самые откровенные соблазнительные позы. Понятно, что при таком раскладе экскурсантам было не до Сефериса.

Я всегда считал, что быть с толпой или в толпе – это признак скудоумия или трусливой души. Должен признать, что в этой девушке трусости не было и в помине. В своём белом платье и легинсах она всеми средствами стремилась выделиться из общей группы туристов и оказаться в центре внимания. И это ей, безусловно, удалось. Хотя что значит – всеми средствами? У неё было одно – и ещё какое! – испытанное оружие. А вернее – даже два: продольный и поперечный шпагаты!

Увидев, что она вытворяет на палубе, словно фехтует своими длинными ногами, я и сам открыл рот и чуть было не позабыл стихов. Но, взяв себя в руки, добавил децибелов в голосе и зычно продолжил:

– ...сейчас, быть может, друг мой
один и взаперти, среди картин,
за рамами напрасно ищет окна.
Ударил корабельный колокол, как будто
упала гулко древняя монета
давно исчезнувшего государства,
будя воспоминанья и преданья.

Но гимнастка не унималась, а потому мои усилия не возымели никакого действия. А когда красотка эффектно уселась на планшире на продольный шпагат, балансируя раскинутыми в стороны словно крылья руками, – все экскурсанты изумлённо ахнули в один голос, а я натурально схватился за сердце.

Испугавшись, что она вот-вот свалится за борт, я резко бросился к ней, схватил за талию и, потянув на себя, грохнулся вместе с девицей прямо на палубу. Да так, что она оказалась на мне.

Все вокруг как по команде схватились за смартфоны, чтобы запечатлеть эту выдающуюся сцену. Со всех сторон кричали кто во что горазд: «Гарна дивчина!», «Вот это жопэ!», «Волочкова отдыхает!»

А один чудака на букву «м» даже сдуру ляпнул: «Харассмент!»

Это надо ж было такое придумать! Как только в голову могла прийти такая хрень? Никаких предварительных

намерений хватать эту девку – да хоть даже и за её сексапильную задницу! – у меня и в помине не было. Хотя, по правде сказать, выглядела она потрясно.

Как только мы поднялись на ноги, чтобы как-то сгладить конфуз, я сделал ей замечание, что, мол, на яхте существуют определённые правила безопасности и вести себя так, как она, на экскурсиях недопустимо. В ответ красотка кокетливо, но с нагловатым взглядом проворковала:

– Но я же актриса! У нас впереди премьерный показ, и мне постоянно нужно держать себя в форме.

Что ж, формы у неё действительно были аппетитными! Не буду скрывать, в тот момент я испытывал некоторое возбуждение от того, что всего минуту назад крепко держал их в своих руках.

Но нужно было продолжать экскурсию, и когда все немного остыли и успокоились, я решил возобновить свой рассказ про кошек святого Николая, хотя сам монастырь к тому времени уже начал скрываться из виду. Но тут на палубе как раз наконец-то воцарилось молчание, и стихи Сефериса легли в самую жилу:

«Как странно, – оборвал молчанье капитан, –
но этот колокол сегодня, в рождество,
напомнил мне о колоколе монастырском.
Историю о нём мне рассказал монах,
чудак, мечтатель и немножко не в себе.

Так вот, когда-то страшное несчастье
постигло этот край. За сорок с лишним лет –
ни одного дождя, и остров разорился,
и гибли люди, и рождались змеи.
Милльоны змей покрыли этот мыс,
большие, толще человеческой ноги, и ядовитые.
И бедные монахи монастыря святого Николая
ни в поле не осмеливались выйти,
ни к пастбищам стада свои погнать.
От верной гибели спасли их кошки,
взращенные и вскормленные ими.
Лишь колокол ударит на заре,

как кошки выходили за ворота
монастыря и устремлялись в бой.
Весь день они сражались и на отдых
недолгий возвращались лишь тогда,
когда к вечерне колокол сзывал,
а ночью снова начиналась битва.
Рассказывают, это было чудо:
калеки – кто без носа, кто без уха,
хромые, одноглазые, худые,
шерсть клочьями, и всё же неустанно
по зову колокола шли они сражаться.
Так пролетали месяцы и годы.
С упорством диким, несмотря на раны,
в конце концов они убили змей,
однако вскоре умерли и сами,
не выдержав смертельной дозы яда.
Исчезли, как корабль в морской пучине,
бесследно... Так держать!

...Могло ли быть иначе,
коль день и ночь им приходилось пить
пропитанную ядом кровь врага.
Из поколения в поколение яд...»
«...держат!» – откликнулся, как эхо, рулевой.

В этом месте я привычно сделал драматическую паузу, и спустя всего пару секунд вся палуба уже восторженно аплодировала мне. Не хлопала одна лишь гимнастка. Она смотрела на меня по-кошачьи оценивающе, одновременно с любопытством и ревностью.

Это, как вы уже догадались, и была Руслана Лемурова.

В программе прогулки на яхте всегда предусмотрен обед, во время него Мавританский с гимнасткой и подсели ко мне поболтать. Тогда-то я и узнал от них все подробности про их мистерию и репетиции на Кипре. В свою очередь, поделился и собственными впечатлениями от театрального фестиваля этого года.

К тому времени по приглашению других театральных трупп, также ранее побывавших на моих экскурсиях, я успел уже посмотреть несколько спектаклей. На открытии фестиваля в пафосском Одеоне я в полной мере наслаждался

режиссёрской работой Яши Кочели со Словенским национальным театром «Нова Горица»: они показали трагедию Еврипида «Троянки» с Марютой Славич в роли Гекубы – эта антивоенная постановка собрала самые восторженные отзывы прессы и зрителей. Там же, в древнем Одео-не, я побывал и на инновационном спектакле «Вакханки» японского режиссёра Изуми Ашизавы, попытавшегося соединить приёмы традиционного японского театра Но с классической древнегреческой драмой. Плюс в античном театре Куриона я видел уморительную комедию Аристофана «Лисистрата» в исполнении итальянской труппы Туллио Соленги с великолепной Элизабеттой Поцци в главной роли – о том, как главная героиня с помощью женской «сексуальной забастовки» смогла остановить войну между Спартой и Афинами, и постановку «Ифигения в Авлиде» Янниса Калаврианоса из Национального театра Северной Греции про то, как царь Агамемнон перед походом на Трою хотел принести в жертву богам собственную дочь.

Никогда не был заядлым театралом, но каждый из этих спектаклей мне понравился – время на них я потратил не зря. И когда Мавританский поделился со мной идеей своей мистерии, соединявшей греческий миф с советским шлягером, я, напустив на себя вид знатока, не без скепсиса провёл аналогии между его замыслом и тем, что уже показали на фестивале японцы:

– Так это ж смешение жанров! Симбиоз! Я такое здесь уже видел!

Мавританский закивал головой:

– Да-да, мы тоже хотим удивить публику! Тем более что у нас есть такая замечательная актриса! – и он кивнул на свою балерину.

– А, скажите, стихи Сефериса, что вы читали сегодня, – вы их сами перевели? – неожиданно спросила она меня.

– Нет, что вы, – зарделся я. – Это перевод Софьи Ильинской.

– Какой Ильинской, – тут же ревниво встрепенулась она. – Не той ли, что из грыжевского театра?

– Да нет же! Ту зовут Светлана, и она не знает языков. Я имел в виду Софью Борисовну Ильинскую – профессора Янинского университета.

– А откуда вы знаете про Светлану? – подозрительно посмотрела на меня Лемурова.

Тут я прикусил губу, поняв, что сболтнул лишнего: своё знакомство с актрисой Светланой Ильинской мне совершенно не хотелось афишировать, и на то были свои веские причины. Пришлось им рассказать, что ровно за день до этого здесь же, на яхте, я столкнулся с ней на такой же экскурсии, которую проводил для актёров из труппы театра режиссёра Грыжева.

На самом деле Светлана Ильинская была бывшей – первой и единственной – женой моего нижегородского приятеля Игоря Скромного, пару лет назад пропавшего без вести во время своей журналистской командировки в Лашман. Эту историю долго здесь рассказывать, да и, наверное, незачем: её подробно описал с моих слов в книге «Фарфоровый чайник в небе» кинорежиссёр Георгий Молоканов. Правда, под псевдонимом и, как это часто бывает у режиссёров, многое там переврал и напутал. Хотя суть изложил верно: косвенно я был причастен к гибели журналиста Игоря Скромного в лашманских болотах.

По вине Гоши я влип тогда в жуткую передрагу, из-за чего меня могли обвинить в несовершенных мною преступлениях и посадить. Именно поэтому мне и пришлось срочно уносить ноги из России. Но и за границей из-за того же Скромного я оказался в заложниках у азиатской мафии, и уж только потом, когда после долгих мытарств и приключений еле вырвался из её лап, наконец-то сумел осесть под чужим именем здесь, на Кипре. В общем, кому интересно – читайте «Чайник в небе».

Светлана Ильинская разошлась с Игорем Скромным после того, как однажды на московских гастролях познакомилась с новомодным режиссёром Грыжевым из тусовки Серебренникова и Богомолова. При первой же встрече она сразу дала ему, а он из постели взял её потом и в свой театр. Переводом, так сказать.

Ильинская, как и все лицедейки и лицедеи, была не очень разборчива в половых связях ради славы и денег. И про своего бывшего при встрече со мной вспомнила только потому, что после исчезновения Игоря никак не могла продать их общую квартиру в Нижнем Новгороде. Гоша тогда как в воду канул и до сих пор числился пропавшим без вести: тело-то его так и не нашли.

Пресса писала, что Скромный бесследно пропал во время своей командировки в Лашман. В той поездке рядом с ним фигурировала и моя русская фамилия, но и я тогда вслед за Игорем тоже исчез из виду. Поскольку Скромный с тех пор так и не объявился, а я вот теперь попался ей на глаза, то его жёнушка теперь вцепилась в меня словно клещ:

– Куда делся мой бывший муженёк? Где прячется? Я уж грешным делом думала, что его, может, убили! Но ты же был тогда в Лашмане вместе с ним, и смотрю – живой и невредимый, да ещё на Кипре и под чужой фамилией. Говори – где он? Что за аферу вы провернули? Я этого так не оставлю – выведу вас на чистую воду! Квартиру, видите ли, он решил у меня отжать! А я теперь даже в права наследства вступить не могу.

Я попросил её не шуметь на экскурсии, пообещав, что всё расскажу ей по возвращении на берег – без лишних глаз в Пафосе.

Стихи по кругу

Надежда КНЯЗЕВА

Арзамас

* * *

в городском эпицентре –
фонтан,
длительный взрыв восторга
в безопасной среде,
броуновское движение детей,
поднимающих в воздух
звонкий шум
стеклярус брызг
птиц сизокрылые облака.
городская сумасшедшая
в образе аллы
шествует мимо, как каравелла,
гордо встряхивая рыжими кудрями.
дети бегут за ней стайкой,
струйки смеха брызгают из ушей.
оглянется – фррр врассыпную.
эй, воробьи, кричит она.
не обижается.
собака виляет хвостом,
проводя взглядом улетающий шар,
а может быть, что-то ещё,
что видимо только
детям,
собакам,
птицам
и сумасшедшим.

* * *

Поезд – это процесс.
 Каплей людского потока
 Втекая под крышу вокзала,
 Перестаешь ощущать город ногами.
 Балансируешь между пунктами А и Б
 Пунктирной линией,
 Как электрон, находящийся в любой точке атома.
 Слышишь гулкие голоса,
 Предсказывающие будущее:

Поезд двести семьдесят четыре
 Отправляется с третьего пути
 Со второй платформы

Пункты А и Б
 Грелись на трубе тепловоза.
 А уже упала,
 Б на грани исчезновения.

Кто же, кто ещё кроме тебя
 Кто же, кто ещё если не ты

Провожаящим просьба покинуть вагон.

Анастасия РОСТОВА

Опция

Утверждают пророк и ребёнок, а также ветер:
 Первородно-природно-исходно злых нет на свете –
 Косяки электричества, химии, баги коры фронтальной,
 Остальное – впечаталось в памяти – не фатально.

Под какие бы ни попадали заклятья, гипноз и лучи мы,
 Это всё обнуляемо, друг мой, и дочиста излечимо,
 Правды тонкий эфир приземлить не сумеют
 Пилаты-роскошные-кресла:

Сколько раз ни убей – вот она: утекла, просочилась,
 воскресла.

Допусти, что слепой – в этот раз улыбнись и иди
 по приборам,
 Повесть лет временных, как сказал Командор,
 не кончается скоро,
 Будут веки чесаться – не бойся, из спящего выйди режима,
 Отключи у себя только прежнюю опцию –
 «быть одержимым».

Виктория БЕЛЯЕВА

Ростов-на-Дону

Мне пять

Мне пять, я сижу на коленях твоих,
 И сердце затихло, и город затих,
 И пальцы скользят по наградам.
 Мы только вернулись с парада.

Ты пахнешь цветами, дождем, табаком,
 Еще валидолом и водкой. Тайком
 От бабушки хлопнул: «За мир,
 А наш не дожил командир!»

Ты выйдешь потом на балкон покурить,
 Не станешь о прошлом совсем говорить.
 Узнаю лишь после, спустя много лет,
 Что под Сталинградом ты б умер, мой дед.

Но твой командир, чуть постарше тебя,
 Закрыв от снаряда, закрыл от огня.
 А что было дальше? А было вот так:
 Пальба канонады и сутки атак,

Граната в руке, снова взрыв, темнота,
 Осколок на память в ноге, медсестра.

Ты имени даже ее не узнал...
А что было дальше? А дальше был яр.

И снова бомбежки, и снова огонь,
Но не отпускала сестра та ладонь.
И мир весь горел, было больно смотреть,
А между наградами смерть, смерть и смерть.

Но мне было пять, и в руке красный шар,
И ты в мое сердце любовью дышал.
Ты мне о войне тишиной говорил,
Ты пах Днем Победы, ты мир подарил.

Андрей АЛЬПИДОВСКИЙ

1941

Отцу

Город Горький. Зорьки хмурятся.
Окна – в светомаскировке.
Сорок первый год на улице,
Каждый день – бомбардировки.

Кинохроникой из прошлого
Кадр встаёт передо мной:
На веранде дома – взрослые,
Дети. И сирены вой.

Бьют зенитки по «стервятникам»,
Смерть несущим под крылом,
И летит она, проклятая,
По соседству сносит дом.

И осколки – злыми осами,
Сквозь открытое окно
Пролетают между взрослыми –
Ох, не детское кино!

А смотрел его мальчишечка
Лет пяти тогда еще,
Про четыре года-«лышечка»
Ничего не знающий.

И что сгинут эти сволочи,
Он не ведал – верил, жил.
Вспоминал металл осколочный,
Тот, что сердце не прошел.

И Господь сподобил вырасти,
Послужить родной стране,
По великой Божьей милости
Жизни благо дать и мне.

*Из венка сонетов
«ВОЙНОЙ ОТМЕЧЕННОЕ ДЕТСТВО»,
посвященного отцу –
Дмитрию Валентиновичу*

Сонет 13

Всё было так – по прихоти судьбы.
Подбитый самолёт у стен кремлевских, –
И гордость за народ, который бил
Фашистских тварей в их «арийском» лоске,

Но злость на пленных немцах не срывал.
Один из них в дом заходил погреться,
И бабушка подкармливала немца,
Он кланялся и руки целовал.

В сознании не укладывалось: ас,
Детей бомбивший, и безвредный Ганс,
Который, вроде, в Бога верил тоже.

Не уживались в детской голове, –
Так и стоят в глазах: добряк и зверь,
Как будто бы вчера. Помилуй, Боже!

Сонет 14

Как будто бы вчера, помилуй, Боже,
В Михайловке, что близ Караганды,
В домишке, более с землянкой схожем,
Младенец рос. Над степью – горький дым.

Как будто бы вчера была война.
Военный Горький и суровый Север.
Здесь – немцы пленные, там – староверы.
Далекие такие времена.

И жизнь могла бы сказкой показаться,
Фантазиями в нить судьбы ввязаться,
Но сказка – ложь, хоть есть и в ней намек.

А в повести моей – всё было, и ею
Отцу я добрым словом – как умею,
Сегодня отдаю сыновний долг.

Андрей БОНДАРЕНКО

г. Клинцы, Брянская область

* * *

Когда и от деревьев – голоса:
выходишь в сад,ходишь в лес, и слышишь,
шершавые и словно обезличенные,
они всё что-то силятся сказать.
И ты, по зову смутного родства
идёшь за ними будто бы с повинной.
Перед тобою – то ли домовина,
а то ли детский домик на ветвях.
Куда древесный колченогий царь
тебя привёл: к началу или к краю?
Едва ли он и сам об этом знает,
да и какая, право,
раз-ни-ца.

Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ

романс

небо как в августе – звёздами, звёздами
только октябрь... холода, холода
веками хлопай как об воду вёслами
если глаза как вода, как вода...

чувствуешь, брызги впиваются в щёки и
жгучие слёзы бегут по щекам?
звёзды в своих отраженьях нечеткие,
а ледяная вода глубока.

просто смотри, слушай всплески и выплески.
там, где от плёса мутится вода
вписка на небо октябрьское, выписка
снова сюда... подождать, подождать...

небо как в августе звёздами, звёздами
не забывай ничего никогда
всё промелькнет, будто блёстками слёзными,
всё утечёт как вода, как вода...

Вадим БОРЗИХИН

Пенза

* * *

Белый дым выдыхают трубы,
согревая тебя теплом.
Ты в усмешке ломаешь губы,
всё откладывая на потом:
ты откладываешь зарплату,
список дел и десятки книг,
написание большой токкаты,
проведение своих интриг.

Не живёшь, а всё копишь силы
на потом, на удачный день,
ты не рвёшь, напрягаясь, жилы,
тебе встать даже утром лень.
Копишь в раковине посуду,
пыль на полках и боль в груди.
Говоришь: «Я таким не буду,
но потом, а пока уйди.

Не тревожьте меня, покуда
не собрал я всю мощь свою.
Скоро вымою я посуду,
скоро точно я запою».
Но проходят часы и годы,
ты лежишь, и как прежде дым
поднимается над заводом;
вот и ты уже стал седым.

Александр ГРИГОРЬЕВ

Пермь

* * *

Пятую ночь снег все падал и падал.
Скоро весна и оттаёт лоджия.
Ночь, сигареты и чай, Билли Айдол,
И еще эти двое – моя ложь и я.

Пятую ночь месяц дышит на ладан.
Кошка не спит на себя не похожая.
Ночь, сигареты и чай, Джонни Лайдон.
И еще эти двое – моя ложь и я.

Кем друг для друга мы только не побыли.
Кто мы друг другу теперь? Беда!
Ночь, сигареты и чай, Дэвид Боуи.
И еще эти двое. Точнее – одна.

Пятый десяток уже не состарит.
Тихое место и сплошь цветы.
Ночь, сигареты и чай, Сид Баррет.
И еще эти двое – моя ложь и ты.

А Бог по утрам в кофейнях сидит
С айфоном, в джинсах и в майке.
Бывает, что в ужасе жмет на delete,
Бывает, что ставит лайки.

* * *

В прошлой жизни, не сомневаюсь, ты была императором.
Твоя империя тигриной шкурой покрывала наш «глобус».
Ты была женщиной. Прекрасным оратором.
И миллионы рабов дрожали, слышав твой голос.

Только в походах добывается слава! Слава дороже,
чем любое золото скифов, – и ты это знала!
Оттого все свободное время (не одно и то же,
что свободная жизнь) твоя страна воевала.

Варвары не раз и не два были близки к тому,
чтобы тебя растерзать. Но колесница
чудесным образом всегда ускользала, саму
смерть наматывая телами врага на спицы.

История поместила тебя на своих страницах
в самом страшном разделе – «Деспоты и тираны».
Когда книгу берет невинная в руки девица
под обложкой проступают кровавые раны.

Ты любил, император, девиц. Через царское ложе
прошел легион их, и многие кончили ядом.
Ты не знал, что такое жалость. Твоею кожей
можно щиты обшивать. Те, кто рядом

с тобой воевали, плели интриги – в итоге
также сложили головы на алтарь твоего величия.

Теперь ты женщина. У тебя красивые ноги.
И ты никогда не выходишь за рамки приличия.

У тебя белые плечи, язык остер,
голубые глаза и прочее, прочее, прочее!
Но иногда в глазах полыхает тот самый костер.
Тогда я ставлю в конце письма многоточие...

Екатерина ГРОМОВА

Петрозаводск

* * *

Девочка варит игрушкам бесхитростный суп,
Всех усадила: слонёнка, медведя, лису,
Глиняных зайцев. Игрушек у девочки тьма,
Часть их от скуки она смастерила сама.
Банки консервные вместо набора кастрюль.
Тёплой землёю и стружками пахнет июль,
Варится суп из травы, корешков лопуха,
Ягод рябины и горсти кудрявого мха.

Суп аккуратно был каждому в чашки налит.
Многим гостям ненароком испортили вид:
Мишке – дворняга, лоскутной лисице – мороз,
Папа забыл и на зиму домой не занёс.
Мальчик соседский по имени вроде Артём,
Ватного слоника тыкал сосновым копьём.
Еле отбили, но вата торчала сквозь швы, –
Слоник едва не лишился хвоста, головы...

Девочка – было тогда ей, наверное, шесть, –
Гладила дачным питомцам игрушечью шерсть.
В тюле веранды запутался рыжий закат,
Суп невзначай выливается в бабушкин сад.
Мама зовет – людям ужинать тоже пора!
...Годы прошли, только помнится всё, как вчера.
Девочка смотрит моими глазами во двор –
Детство на дачной веранде живет до сих пор.

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

* * *

Заглохнет сердце. Не заведут.
И всё никчемным мне станет вовсе.
И серой тенью я вдруг уйду,
Не попрощавшись, куда -то в осень.

...А ветер треплет рябины куст
И пёс мой рядом, следит за кошкой.
И выдох, будто мольба из уст:
«Эх, погодить бы ещё немножко».

А что бы сделал за день – другой?
Я в первый день побыл бы в храме.
Свечу поставил за упокой,
Свой, предстоящий. Ещё – по маме.

Подарок Бога – второй денёк
(Даруй любую, Господь, погоду)
Сел у Ветлуги бы на пенёк,
С утра до срока смотрел на воду.

Красная смородина

Куст смородины здесь рос,
У забора нашего.
Нет деревни. Где? Вопрос!
Некого и спрашивать!

Красная смородина,
А закат малиновый...
Детство, мама, родина,
Эх, денёчки длинные!

...Август. Солнце зелень жжёт...
Вечер. Стадо гонится.

По травинке жук ползёт...
Молока подойница.

Белопенные усы
У мальчика вихрастого.
Вздёрнув синие трусы,
Он корову запросто
Расцелует в мокрый нос
За парную благодать.
Солнца мяч в пригорок врос.
Лишь кузнечиков слышать...

Куст смородины здесь рос.
Ах! Сладка смородина!
Ветер памяти принёс
Детство, маму, родину.

Николай КАМЭНИН

Кимры

Деревья

Ангелам Донбасса

Последние листья опали.
Деревья дрожат на ветру,
блуждают их тени по зале
и плачутся мне ввечеру...

Я слышу сквозь странные звуки,
что дети их все полегли
и тянут к ним жёлтые руки
из месива тел и земли.

Что нет их корням утешенья,
но мести не алчут они,
а просят, как влаги, забвенья
в грядущие зимние дни.

Рустам МАВЛИХАНОВ

Салават

Senet

От судьбы до мечты в нить свивая часы,
Собирая по снам письмена,
Рыщут в мгле мои дикие кони и псы,
Пока жизнь в шелк времен вплетена.

От ошметков сердец отмывая весы
И играя со мною в добро,
В кровь, прохладней июльской вечерней росы,
Вновь Она окунает перо.

Что ж, по полю бредя, я не слеп и не нем:
Каждый первый – последний герой,
Каждый будет услышан и понят никем,
В одиночестве рухнув в покой.

Но под сенью с любовью взнесенной косы
– Хотя это, как мир, и старо, –
Может, хватит разбега в конце полосы,
Чтоб поставить ва-банк на зеро.

СОРМОВСКАЯ «ВОЛГА»

Старейшему литературному объединению
в Нижнем Новгороде исполнилось 95 лет

Сормовское литературное объединение «Волга» родилось в мае 1928 года и никогда не прекращало своей деятельности. Первое собрание ЛИТО при редакции «Красного сормовича» состоялось 19 мая 1928 года. С этого времени редакция заводской газеты стала поэтическим гнездом для сормовских и нижегородских поэтов разных поколений. У истоков объединения стоял Алексей Максимович Горький и пролетарские поэты – революционеры Пётр Замолов, Семён Тихий и Александр Белозёров.

В разные годы «Волгу» возглавляли известные нижегородские писатели: Николай Кочин, Нил Бирюков, Фёдор Жиженков, Борис Пильник, Александр Зарубин, Александр Люкин, Лазарь Шерешевский, Василий Осипов, Виктор Кумакшев, Александр Фигарев, Владимир Мощанский. В 2004 году мне предложили руководство литобъединением. Возглавлять содружество сормовских поэтов – большая честь, но в то же время и большая ответственность. После недолгих колебаний я согласился продолжить дело моих друзей Саши Фигарева, Володи Мощанского и Александра Ивановича Люкина, с которым познакомился в 1966 году, и с тех пор считаю своим учителем. Сейчас наше ЛитО носит имя лучшего поэта Волги – Александра Люкина.

Когда девятнадцать лет назад я возглавил «Волгу», в моём журнале членов ЛитО «Волга» ещё числились ученики Люкина, поэты 60-х годов: Юрий Балинов, Андрей Храмов, Александр Бородин,

нов, Борис Жуков. Сейчас из этой плеяды остался один ветеран-шестидесятник – Александр Колесов. Нет с нами хороших поэтов: Владимира Замышевского, Валерия Стрекаловского, Владимира Курганова, Аси Кузнецовой. Среди современных участников ветераны ЛитО – Юрий Ермолаев, Юрий Симонов, Маргарита Финюкова, Наталья Ярова, Марина Нефёдова, Татьяна Бобышева, Людмила Едигарьева, Борис Андрианов, Андрей Макаров, Анатолий Лукашин, Владимир Гришин, Фаина Цверова, Галина Дьячкова, Зинаида Иевлева, Нина Авдеева, Нина Конузина. Следующее поколение более молодых, но уже со своими голосами поэтов: Игорь Куприянов, Тина Ломакина, Марина Смирнова, Наталья Мухина, Ирина Ваганова, Евгения Сизимова, Евгений Кремнёв, Дмитрий Терентьев, член Союза писателей России, председатель Совета молодых литераторов города, и Роман Шишков, недавно окончивший Литературный институт им. А. М. Горького. На занятия в наше ЛитО приезжают поэты со всего Нижнего. Бывают здесь и жители других городов области.

Сормовичи умеют не только строить и отправлять в моря красивые и прочные корабли, но и создавать талантливые стихи и песни о родном заводе и районе. Героическая история Сормовского завода, романтическая насыщенность трудовых будней, борьба за новую жизнь, за нового человека и острые проблемы, связанные с этой борьбой, – всё это будит и будоражит мысль, превращает простых рабочих и инженерно-технических работников в талантливых творцов. А на заводе таких было немало. В кузнечном цехе трудился А. Локтев, в прокатном – Александр Бородин. В редакции «Красного сормовича» работали Георгий Волков и Андрей Храмов. Поэт Александр Колесов был судосборщиком, Александр Зубков – электросварщиком, а Юрий Симонов – аппаратчиком. Владимир Замышевский – в прошлом ответственный сдатчик судов. Он написал стихи и музыку песни «Красное Сормово», ставшей гимном завода. А на стихи инженера ЦКБ на подводных крыльях Юрия Балинова известный композитор Людмила Лядова написала музыку песни «Сормовский район», ставшей гимном нашего района.

И сейчас на заводе продолжают трудиться стихотворцы. Среди них Юрий Ермолаев, который работает заместителем начальника цеха, Маргарита Финюкова – заместитель директора заводского музея. Автор этих строк после сорока лет работы судосборщиком десять лет трудился на судовой слесарем-монтажником ДВС.

Ежемесячно в «Красном сормовиче» выходит литературная страница «Лири» с творчеством сормовичей, продолжают появляться в городских и столичных газетах, журналах и альманахах и будут печататься в дальнейшем стихи и рассказы о Сормове, заводе, новых судах и славном труде корабелов. Активом литгруппы подготовлены и изданы шесть коллективных сборников: «С надеждой и любовью» (1994), «На Волге широкой» (2008), «Одним дыханьем со страной» (2010), «Жить не умею не любя» (2014), «Святая истина любовь» (2017), «Мой завод — моя гордость» (2019), а также сборник стихов сормовского поэта Виктора Авдеева «Я потомок рабочих, из Сормова» (2016). Многие из участников литгруппы издали авторские книжки стихов, тепло встреченные критикой и читателями.

*Николай СИМОНОВ, член Союза писателей России,
руководитель Сормовского литобъединения «Волга»*

Николай КОЧИН (1902–1983)

Русский советский писатель. В конце двадцатых — начале тридцатых годов руководил Сормовским литобъединением «Волга».

Ударники в литературе

Отрывок из книги «Спелые колосья»

В молодые годы я был членом РАППа. Меня назначили руководить литературным кружком на «Красном Сормове». Скажу, что я со всем энтузиазмом молодости отдавался этому делу. Я уже был автором двух книг, с похвалой отмеченных столичной прессой. Мне мечталось вырастить писателей из рабочих. И то, что у меня в кружке были одни только потомственные рабочие, с большим стажем и пописывающие и печатающиеся (разумеется, в районной газете), вселяло в меня полную надежду, что Пушкины из рабочих будут. Сын мужика, хорошо знающий психологию народа, я был полон гордости, что стану учить серьезных людей и делать из них писателей. Это казалось мне лёгким делом.

Мои кружковцы добросовестно читали всё, что я им велел. Старались писать, как я советовал. Все были стоворчивы и все что-нибудь сочиняли, и охотно принимали участие в обсуждении рукописей. Я радовался, и мой товарищ, руководитель по НАППу (Нижегородская ассоциация пролетарских писателей) А. М. Муратов радовался ещё больше меня.

— Валий, валий, Никола. Раздувай кадило. Я беседовал о твоих успехах на культурном фронте с самим Ждановым. Он и говорит: «При таком разе, может быть, и отдельную ассоциацию писателей на заводе открыть неплохо». Только вот САПП (Сормовская ассоциация пролетарских писателей) — это неблагозвучно... Но мы что-нибудь придумаем. Покумекаем по-рабочему.

— Ну, уж САПП, — возразил я, — это слишком...

Время работало на меня. РАПП объявил призыв рабочих в литературу. Об этой странице жизни, придёт время, громче скажут. «Призыв ударников в литературу». Это означало, что тот, кто лучше у станков орудует, тот и будет создавать новую великую литературу социализма. В журнале «На литературном посту» уже появились инструкции, в которых разъяснялось, что время профессионалов-писателей кончилось, что центральной фигурой — создателем пролетарской литературы станет отныне коллектив рабочих ударного труда, что «рабочий-ударник» является сейчас «ведущей фигурой пролетарской литературы». Появились в журналах и газетах произведения, написанные рабочими.

Борис ПИЛЬНИК (1903–1984)

Один из первых членов Союза писателей СССР в Нижегородской писательской организации. Воспитатель целой плеяды литературной молодёжи. В тридцатые годы руководил Сормовской литературной группой.

* * *

Автозавод позовёт,
Сормово
Снова и снова.

– Слышу! Иду!
Потому что нельзя не идти.
Потому что и там
Нужно накалённое слово
Большой чистоты!

Фёдор ЖИЖЕНКОВ (1904–1970)

Нижегородский поэт. Автор книги стихов «Разведка». В тридцатые годы руководил Сормовским литературным объединением.

* * *

Вот, попробуй напиши,
Коротко и от души,
Чтоб читателя задело,
Чтобы критика разъело,
Чтобы слово — так уж в дело
Зазвенело
Зычно, смело.
Чтобы с первого стиха
Знали: вещь не чепуха.
...У поэтов мастерство
Деликатнее всего...

Александр ЛЮКИН (1919–1968)

Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. В последние годы его называли лучшим поэтом Волги. Руководил Сормовским литературным объединением с 1964 по 1968 год.

Рассказ о себе

А я учился больше дома,
В заводе, с молотком в руке.
Мои познания без диплома

И не заверены никем.
Невесела судьба такая,
Не прошибёшь ворота лбом.
Пыхтя, ворочая, таская,
Познал я многое горбом.
Но я не мыслил обижаться,
А шёл путём, который крут.
И стали робко обнажаться
Передо мной любовь и труд.
Я видел, как от их зачатья
В чадающих трубами дворцах
Суровое родится счастье
В рабочих яростных сердцах.
И пусть мне кто-то скажет: — Неуч! —
Я им отвечу: — Что ж, добро,
Но у меня такая мелочь
Из рук не вышибет перо.
Коль жизнь была мне не забава,
Коль боли сердцу не забыть —
Есть у меня такое право:
С людьми о жизни говорить.

Лазарь ШЕРЕШЕВСКИЙ (1926–2008)

Член Союза писателей СССР. Автор нескольких книг стихов и литературных переводов. В шестидесятых годах руководил Сормовским литобъединением.

Время складывать песни

Облетают под ветром дубы,
Пересох неистраченный порох...
Время складывать песни, в которых
Меньше красок, но больше судьбы.
И пока небеса голубы,
Отражаются в душах и взорах,
Время складывать песни, в которых
Меньше страсти, но больше судьбы.

На дорогах твоих – не столбы,
 Не мосты на надёжных опорах...
 Время складывать песни, в которых
 Меньше звона, но больше судьбы.
 Помня заповедь: «Мы не рабы!»
 На полотнищах дней краснопёрых,
 Время складывать песни, в которых
 Ничего кроме правды судьбы!

Василий ОСИПОВ (1928–1989)

Прозаик и поэт. Член Союза писателей СССР с 1978 года. Автор книг «Найти себя» (1980), «Карьера» (1983), «Острова» (1988), «Заструги» (1988). С послевоенных годов был членом, В семидесятых годах руководил Сормовским литобъединением «Волга».

БУКСИРЧИК

Отрывок из книги воспоминаний о Люкине
 «Я с Россиею слился»

Собирались мы, самостоятельные поэты и прозаики, по средам в редакции газеты «Красный сормович». Иногда приходил к нам старый рабочий завода – рабкор Новожилов и читал нам свой «железный», как мы его почему-то окрестили, роман. Писал он его всю жизнь. Читал густым басом «в руку». «В руку» потому, что постоянно оглаживал ладонью прокуренные усы. Приходил известный в своё время силач – борец Турбас и тоже осипшим голосом – у него хронически болело горло – едва слышно читал воспоминания о Поддубном, Мазёнкове, о своих гастролях по России и Европе. Книга воспоминаний Турбаса в последствии была напечатана. У нас она проходила «обкатку».

Но в основном всё-таки читались стихи. Читал свои стихи Виктор Николаевич Кулагин, редактор газеты машиностроительного завода. Читали бывшие фронтовики Виктор Авдеев и Александр Люкин. Там мы впервые услышали его ставшее впоследствии знаменитым, стихотворение «Буксирчик».

Виктор КУМАКШЕВ (1935–1997)

Известный нижегородский поэт. Автор нескольких книг стихов. В семидесятые годы руководил Сормовским литобъединением «Волга».

* * *

Не солги, художник, не солги.
 Даже ради крова, ради хлеба.
 Даже если у тебя долги
 Бесконечно выросли, до неба!

Всё пройдёт. Всё станет на места.
 Потерпи. И ты ещё оценишь –
 Как душе полезна чистота...

Александр ФИГАРЕВ (1949–2023)

Член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат премий города Нижнего Новгорода и Нижегородской области имени А.М. Горького. С 1983 по 1993 год руководил Сормовским литобъединением «Волга».

Друзьям-поэтам

Мне Сормово корабль напоминает.
 И светлой ночью, кажется, вот-вот
 Вдруг загудит, как будто отплывает,
 Отчаливает каменный завод.

А Волга берег волнами ласкает,
 Нам светит путеводная звезда.
 Завод с ладони твёрдой выпускает
 Как белых птиц, крылатые суда.

«Сормовичи – они народ особый,
 Огнеупорный твёрдый матерьял.

Сердца и руки самой высшей пробы!» —
Не раз вот это Горький повторял.

Писателя внимательно читают,
И хоть он жил ещё подростком тут,
Рабочие его своим считают
И попросту Максимычем зовут.

О нём сегодня говорят поэты,
Что из цехов раздумья принесли.
В их строчках пламя плавки и рассвета,
Глаза любимых, красота Земли.

Чтобы сердца и руки не устали,
Сияют ярче радуги стихи.
Здесь слово честное, пожалуй, крепче стали, —
Слова любви, как ручейки тихи.

Владимир МОЩАНСКИЙ (1939–2004)

С 1993 по 2004 год руководил Сормовским литературным объединением «Волга». Автор сборника стихов «Зимняя радуга». Лауреат премии им. Александра Люкина.

Золотое сечение

Это выше, наверно, такое влечение —
Эта тяга с рожденья к золотому сечению,
Чтоб в числителе — молодость,
В знаменателе — зрелость,
Чтобы ярче светилось, душевнее пелось...
Это — радуга, это — стожар полыханье,
Это — шёпот в ночи, это — выдох стихами,
Это — линий гармония, это — наитие,
Это — дар возрожденья, неожиданность открытия,
Это — жизнь, это — памяти чуткой свечение...
Золотое сечение. Золотое сечение.
Всё течёт, всё меняется: скорости, цены...
Но во веки веков лишь оно неизменно.
Так спасибо судьбе за такое влечение
И за верность тебе, золотое сечение!

Николай СИМОНОВ

Родился в 1950 году в Горьком. 47 лет проработал судоборщиком и слесарем-монтажником на заводе «Красное Сормово». Награждён юбилейной медалью «800 лет Нижнему Новгороду». Автор 12 стихотворных книг. Лауреат премий города Нижнего Новгорода, «Болдинская осень» и им. Александра Люкина. С 2004 года возглавляет Сормовское литературное объединение «Волга».

Алёша Пешков – сормович!

Трещали бревна от огнища
И стекла вылетали прочь ...
Семья стоит на пепелище
И проклинает эту ночь.
Сгорел твой домик, дед Каширин ...
Стекают слезы по усам...
Но я смотрю на вещи шире —
Стал земляком мне Горький сам!

Стал сормович он, между прочим,
Пошел совсем в другой народ.
На Сормовском заводе отчим
Работал уж который год.
Завод гудел, дымил и строил,
Здесь мастерства не занимать...
А Горький тут нашел героев
Для своего романа «Мать».

Здесь в Сормове, под Нижним градом
Рос революций грозный вал.
И Павел Власов жил с ним рядом —
Так он Заломова назвал.
Алёша, это между нами.
Был парень дерзкий, сам такой —
Не раз он дрался с пацанами
На старой Узкозаводской.

Жаль Сормову он в книге детской
Лишь три страницы посвятил,

Но он по Александро-Невской
И по Большой не раз ходил.
Он видел бедность, труд и горе,
Он видел, как живет народ
И, через дырочку в заборе,
Ходил на Сормовский завод.

И сам я сормовской породы,
И мной родной район воспет,
И я на этом же заводе
Тружусь уж сорок с лишним лет.
И я, куда ходят ноги,
И с головой пока дружу,
Вдоль Сормовской Большой дороги,
По тем же улицам хожу.

Сквозь толщу лет проникнуть взглядом
Не хватит силы у меня,
Но знаю я, что где-то рядом
Тогда жила моя родня.
Я рад такому вот соседству,
И я кричу, и звонок клич!
Пусть знают все: — Был в годы детства
Алеша Пешков — сормович!

Виктор АВДЕЕВ (1923–1955)

Участник Великой Отечественной войны. В родном городе вышли две его книги: «Волжские зори» (1953) и, посмертно, «Капля мёду» (1959). И лишь в 2016 году силами Сормовского ЛитО «Волга» и музея истории завода «Красное Сормово, при поддержке администрации завода и Государственного музея А. М. Горького, издана третья книга «Я потомок рабочих из Сормова...»

Из поэмы «Сормовичи»

* * *

Как небо, душа безмерна!
Идёт бывалый солдат

По улице Коминтерна
На улицу Баррикад.
Деревья шепчутся кротко,
Упрятав свои стволы
В серебряные решётки
И звон золотой листвы.
Несёт чемодан походный
Высокий сержант-танкист.
Срывает рукой свободной
Сухой пожелтевший лист.
А солнце плывёт над миром,
Над Сормовом молодым.
Как хочется все квартиры
Приветствовать вместе с ним!
Рабочий, на друга похожий,
Спешит в «Стахановский дом».
Узнай же, узнай, прохожий,
Того, кто ушёл юнцом, —
Вернулся домой мужчиной.
Дорогу пришлось пройти
От Сормова до Берлина,
Чтоб зрелость свою найти.
Как небо, душа безмерна.
Идёт бывалый солдат
По улице Коминтерна
На улицу Баррикад.

Георгий ВОЛКОВ (1928–2015)

В 1970–1980-е годы работал ответственным секретарём в газете «Красный сормович». Автор сборника стихов «Здесь на росах настояно слово».

* * *

Когда набат гремел иль снова
Грозила нищая сума,
К народу выходило Слово
Из тигля сердца и ума.

Да и не только в лихолетье
 Был слышен звон его литой:
 Серебряный — в одном столетье,
 В другом столетье — золотой...

Александр БОРОДИНОВ (1931–2020)

Окончил Московский государственный институт культуры. Автор нескольких сборников стихов. Участник Сормовского литобъединения «Волга». Жил и работал в Сормове.

Весеннее

Затопило сормовские улицы
 Зеленью почти до самых крыш.
 Милая, нельзя сегодня хмуриться,
 Что ты так невесело глядишь?
 Ведь в сады пришла пора цветения —
 Задымилась облаком цветов.
 Сердцу принесла она волнение,
 Жить с которым до ста лет готов.
 Я готов трудиться без усталости,
 Если надо — горы сворочу.
 Я готов любить тебя до старости,
 Это — по плечу сормовичу!

Александр КОЛЕСОВ

Родился в 1935 году. Работал на «Красном Сормове» судоборщиком. Окончил Нижегородский госуниверситет. Был журналистом. Автор нескольких книг стихов. Член Лито «Волга» с шестидесятых годов, когда руководителем был А.И. Люкин.

О стихах

Хорошие стихи
 рождаются в страданье

влюбившейся в мечту
 отвергнутой души,
 отвергнутой, а всё ж,
 спешащей на свиданье,
 хотя уже в словах,
 затверженных в тиши.
 И лучшие из них
 приходят в одночасье,
 как радуга любви,
 что рвётся в высоту!
 Прекрасные стихи
 рождаются от счастья
 хотя бы лицезреть
 святую красоту...

Валерия КОМКОВА

Родилась в городе Рославле Смоленской области в 1939 году. Более 30 лет работала преподавателем Сормовского машиностроительного техникума. Живёт в Сормове. Участница Лито «Волга»

Колодец звёзд

Колодец полон блеска звёзд
 И упоительной прохлады...
 Здесь утолишь любой вопрос,
 Любую жажду, — здесь отрада.

К колодцу в Сормове Пегас
 Вёл проторёнными путями
 В дождливый день, и в знойный час,
 И по снежку, и под дождями.

К нему за словом-серебром
 Мы как паломники ходили,
 И на душе своей содом
 Строками светлыми лечили.

Люкин испил волшебных вод,
И с гениальной простотою,
В свой поэтический полёт
Взмыл в небеса над суетою.

Литгруппы «Волга» два крыла
Здесь над землёю распластались.
Её душевные слова
В страницах «Лиры» отражались.

Хотелось всем зажечь звезду
На поэтической странице.
Девиз задорный был в ходу,
И было у кого учиться.

В уроках дружбы искони
Строк совершенство было в моде.
Путь освещали душ огни
Двух Александров и Володи.

И вот за звёздами в поход
Нас Николай теперь ведёт,
Следит за рифмой, чтобы стих
Высот серебряных достиг.
В колодце блеск и глубина...
Будь «Волга» творчеством сильна!

Юрий СИМОНОВ

Родился в 1947 году в Горьком. Работал слесарем на машзаводе и аппаратчиком на заводе «Красное Сормово». Член Сормовского литобъединения «Волга». Автор трёх сборников стихов.

Поэты

Шедевры творили поэты —
Слагали стихи на века,

В прокрустово ложе сонета
Свободно входила строка.

Стилом, закалённым в горниле,
Гранили своё мастерство,
Стихом графоманов громили,
Хранили стиха естество.

Избиты прекрасные формы,
Избыт поэтический труд,
Сегодня безграмотность — норма,
Бездарности в гении прут.

Дерзайте, творите поэты,
С прицелом на тысячи лет.
Не дайте, чтоб кануло в Лету
Прекрасное слово — Поэт!

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Орел

«МНЕ ЖАЛЬ СУРОВЫХ И НАДМЕННЫХ...»

К 120-летию со дня рождения Е.А. Благиной

Со стихами Елены Александровны Благиной (1903–1989) у людей разных возрастов и уже нескольких поколений наверняка связаны самые ранние и самые светлые, тёплые воспоминания: о детстве, родительском доме, семье и прежде всего – о маме. Облик поэтессы с добрым миловидным лицом, участливым взглядом на многих её фотографиях излучает прямо-таки материнскую заботу и нежность, добросердечие, отзывчивость, чуткость.

Вот какая мама –
Золотая прямо!

Эти знаменитые стихотворные строчки Благиной – словно и о ней самой, и о каждой любящей и любимой маме.

А ещё Елена Александровна своей наружностью напоминает учительницу прежних времён – терпеливую, внимательную, любящую детей не «по долгу службы», а самозабвенно, по-настоящему. Ту, что называют «учитель от Бога». Таких педагогов сейчас почти уже не встретишь.

Неслучайно Благина – внучка православного сельского священника с необычайно светлой и ласковой фами-

лией Солнышкин – с ранней юности мечтала стать учителем, воспитателем детских душ, вселять в них «разумное, доброе, вечное». Ей желалось, чтобы каждый ребёнок, по евангельскому слову, «преуспевал в премудрости, и возрасте, и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52).

В 1921 году девушка начала учиться в Курском педагогическом институте. Жизнь в те годы у большинства советских людей была бедная, трудная. «Одежда плохая, но хожу, – писала Елена об институтских занятиях. – Быта не замечаю – полна стихами». Курский союз поэтов принял Благинину в свою организацию. Молодая поэтесса вспоминала то время с восторгом: «Мир засиял такими красками, таким торжеством... Блок, Брюсов, Белый, Пастернак, Асеев, Ахматова, Цветаева, Есенин, Маяковский – поэты, которые до вступления моего в кружок были мне совершенно неизвестны. Много читала. Писала стихи».

Любовь к поэтическому творчеству возобладала, взяла верх над стезёй педагогической. В 1922 году Благина уехала в Москву и поступила в Высший литературно-художественный институт. И снова – нужда, бытовая неустроенность, бедность: «В Москве я оказалась без дома, без денег, без работы». И вновь – поэтический энтузиазм: «Тогда впервые увидала и услышала Маяковского, Асеева, Пастернака, Сельвинского, Антокольского и др.»

В Елене Александровне открылось её подлинное призвание истинного детского поэта. Благодатью веет от стихотворений Благиной, посвящённых и адресованных детям. Задушевные милые строчки словно бы подтверждают фамилию их создательницы, корень которой – благо. У каждого глубоко в душе берегутся благининские стихи как знак далёкого детства. Когда вдруг всплывут они из тайников памяти, человек даже преклонного возраста способен ощутить благодать, непосредственность этих поэтических строк и на миг превратиться в того ребёнка, каким он был когда-то давным-давно. Но, может быть, забыл об этом, казалось бы, навсегда.

Деревья те, что мы любили,
Теперь срубили...

Цветы, которые мы рвали,
Давно увяли...

То пламя, что для нас горело,
Других согрело...

Сердца, что рядом с нами бились,
Остановились.

И только песня остаётся
И всё поётся,
Всё поётся...

О благодатной силе воспоминаний детства глубоко размышлял Ф.М. Достоевский (1821–1881), который в собственной семье был прекрасным отцом, талантливым педагогом и воспитателем, внимательным ко всем проявлениям детской натуры. Он делал всё, «что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, всё, чего можно было бы достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером». Писатель знал, как много значат воспоминания, вынесенные из детства, из родительского дома, поэтому так заботился о накоплении светлых благих впечатлений в своих детях. «Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы, как тёплым лучом, всё посеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый», – обращался в «Дневнике писателя» ко всем родителям Достоевский. Он воспринимал пору детства как спасительную духовную ценность, способную повлиять на последующее развитие человека и даже определить его судьбу: «Без святого и драгоценного, унесённого в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек».

О том же говорит и любимый герой Достоевского в его последнем романе «Братья Карамазовы» (1881) Алёша Карамазов, обращаясь к мальчикам-гимназистам: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот

какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение».

Стихи Благиной о детях и для детей дарят именно такие воспоминания.

«Будьте как дети» – этот призыв Христа продолжает оставаться вечно новым и актуальным, как и Новый Завет в целом. В Святом Евангелии детская душевная чистота и естественность возносятся на неизмеримо высокий духовный уровень по сравнению с мудрствованиями взрослых, погружённых в губительное коловращение житейской «суеты сует». На вопрос Своих учеников: «кто больше в Царстве Небесном?» (Мф. 18: 1) – Христос даёт ответ, казалось бы, парадоксальный: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает» (Мф. 18: 3–5). В системе христианских духовных ценностей и евангельских антиномий последние становятся первыми, меньшие – большими.

Подобным было и мирочувствование Благиной. Ей не по душе надменные расчётливые умники-рационалисты, утратившие свет духовный, не замечающие истинной красоты нерукотворного Божьего мира:

Мне жаль суровых и надменных.
Пусть мир их сложен, пусть богат,
Они чудес обыкновенных
Не видят, видеть не хотят.

Им хлеб – не всласть,
Вода – не в милость,
Им ночь – не в отдых,
День – не в свет.
В них как бы радуга затмилась,
Весь пыл её сошёл на нет.

Сама поэтесса – в кругу тех, кто не утратил душевной ясности, по-детски чистого восприятия жизни, сохранил Божьи заветы добра, красоты и правды и готов щедро делиться ими, одаривая людей «цветами радости»:

А мы, не мудрствуя лукаво,
Стоим на страже простоты,
Даря налево и направо
Житейской радости цветы.

(«О тех, кого мне жаль»)

В благининском нелукавом творчестве дети обрели свой голос. Маленьким героям доверила поэтесса право самим рассказывать о себе и о том, что они видят, чувствуют, о чём думают, как постигают мир. Впервые русская лирика зазвучала такими чистыми, звонкими, неподдельными детскими голосами. Интуитивно чуткое проникновение в возрастную психологию, дар понимания души ребёнка, талант любви, которым от Бога изобильно была наделена Благинина, сделали возможным то, что в её стихах своим собственным языком заговорили и дошколята-малыши, и первоклашки, и ребята постарше.

«Посидим в тишине» – пожалуй, самое известное из детских стихотворений Благиной, любимое многими поколениями детей и мам. Девчушка – хозяйка приутихших игрушек – вместе с ними замирает, оберегая мамин сон, сдерживает свою энергию, желание поиграть, попеть.

Всего лишь единственная строка в начале стихотворения, снабжённая выразительным многоточием: «Мама спит, она устала...» – говорит о многом, содержит, в том числе, социально-политическое содержание. В Стране Советов женщина должна была быть, что называется, «многогостаночницей»: работницей или колхозницей, ударницей труда на производстве, общественницей вне работы, нередко участницей кружков художественной самодеятельности, хранительницей семьи как «ячейки общества», примерной женой, заботливой матерью. И, конечно, вечной труженицей в домашнем быту: кухаркой и посудомойкой, швеёй и вязальщицей, гладильщицей и прачкой, горнич-

ной и огородницей на подсобном земельном участке – всего не перечислить. Такое положение дел никого не смущало. В те годы утверждалось: «Советская женщина должна всё успевать!» Неудивительно, что в благининских стихах такую женщину-мать, утомившуюся от бесконечной круговерти забот и хлопот, сморил сон посреди бела дня – наверное, в единственный её выходной.

Заботливая дочка не позволила шаловливому солнечному лучу потревожить маму, и говорящий лучик присмирел, согласился, тоже проявил жалость и снисхождение:

Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.
– Ничего, – шепнул он будто, –
Посидим и в тишине!

В «Стихах о ёлке, о сером волке, о стрекозе и о бедной козе» маленькая героиня трогательно заботится о ёлочных игрушках, чтобы им было удобнее, безопаснее; заводит с ними беседу:

Люблю я у ёлки одна посидеть.
Люблю я как следует всё разглядеть:
Какие игрушки, не скучно ли им,
Иль кто недоволен соседством своим.

Вот рядом с Морозом висит стрекоза.
А с волком зубастым, смотрите – коза.
Я думаю, холодно тут стрекозе
И очень уж страшно бедняге козе.
Я рядом с Морозом повешу звезду,
А козочку эту сюда отведу.
Тут, кстати, цветочек расцвёл золотой
И солнышко светит... – Ну, козочка, стой!

Видя и слыша эту участливую выдумщицу под новогодней ёлкой, поневоле вспомнишь и свои ёлочные игрушки – фамильные, сохранившиеся ещё от бабушек и от родителей. У кого из нас не дрогнет сердце при виде старинной ёлочной игрушки! И тогда невозможно не согласиться

со знатоком детских душ, великим писателем-христианином, классиком мировой рождественской литературы Чарлзом Диккенсом (1812–1870): «Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на Святках, когда мы празднуем рождение Божественного Младенца».

Благининское творчество пробуждает глубоко личные, дорогие воспоминания. Моя мама Нина Михайловна Новикова ровно на двадцать пять лет была моложе Благининой, а ушла из жизни в тот же год, что и знаменитая поэтесса.

Детство мама провела в тех же краях, где родилась Елена Александровна и где прошли её ранние годы, – в Свердловском районе Орловской области.

Позже мама и меня возила по этим местам. Иногда я проводила здесь летние каникулы. Деревни Гостиново, Давыдово, Яковлево, Хотетово, Еропкино, Плоты, село Никольское с церковью святого Николая Чудотворца («Никола», как называли деревенские, был престольным праздником во всей округе) – все они расположились так близко друг к другу, что легко можно было обходить их пешком.

Над рожью, дождиком примятой,
Стоит денёк почти сквозной.
Орловский ветер пахнет мятой,
Полынью, мёдом, тишиной.

Иду стеной высокой хлеба,
Иду, иду да постою,
Любуясь, как упало небо
В наполненную колею.

(«Колея»)

Иногда мне выпадал случай прокатиться по окрестным деревушкам на лошадке, запряжённой в тележку. Местность здесь равнинная, лесов мало – только перелески и берёзовые рощицы. Зато вокруг раскинулись пруды и озёра со множеством водоплавающих птиц, душистое разнотравье пёстрых лугов, золотистые поля с ромашками и

васильками посреди густых колосьев ржи. Ребёнком так славно было приезжать сюда летом из душного, пыльного Орла.

Солнце жёлтым косяком
Улеглось на лавке.
Я сегодня босиком
Бегала по травке.

(«Уморилась»)

Благинина на протяжении своей жизни нередко навещала родные места, вдохновлялась ими: «Это было давно, в пору моей юности. Ехала поездом без билета, а меня высадили, как раз в нужном месте. Я пошла через рожь, а навстречу дедушка, Михаил Иванович Солнышкин. Увидев меня, обрадовался. “Ну, вот, внученька, и встретились. Из поезда прямо в мои объятия!” Вспомнила я потом ту встречу, тропинку через рожь и написала стихотворение».

«Орёл моего детства, юности утопал в садах, в колокольном звоне. В привокзальном районе было пыльно, тесно и темно, но таких людей, как те, что этот район населяли, забыть нельзя. Стихи я начала писать с восьмилетнего возраста и первое стихотворение написала в Яковлевском парке», – вспоминала поэтесса.

Она родилась в деревне Яковлево, а моя мама рядышком, примерно в пяти километрах – в Гостиново – жила с сёстрами у своей бабушки во время оккупации Орла фашистами в страшные годы Второй мировой, ходила в яковлевскую школу. Сейчас эта школа носит имя русской поэтессы-землячки Елены Благининой.

Мой дедушка – мамин отец – воевал на фронте. Четыре дочки остались полусиротами, когда в возрасте чуть за тридцать умерла их мама. Вот и взяла их на попечение старая бабушка. Это была такая же самоотверженная «бабушка-забота», словно вышедшая из одноимённого стихотворения Благининой.

Помню, мама часто рассказывала о том времени. Немцы заняли орловские деревушки, выгоняли жителей из домов. Прогнали из гостиновской избы в сарай бабушку с внучками, отбирали у них последние немудрёные продукты –

картошку, домашний хлеб. Голодные девочки иногда подглядывали в дверную щёлку, как в их горнице захватчики пировали немецкой тушённой, шнапсом, хохотали нагло, во всё горло. Однажды маме удалось подобрать конфету, выпавшую из кармана фашиста. Он заметил, скорчил страшную рожу, стараясь больше испугать, погнался с автоматом за ребёнком. Мама убежала, долго пряталась.

Во время бомбёжек девочки с бабушкой укрывались в огороде, где сами вырыли небольшой окопчик. Но разве мог он спасти от прямого попадания? Вот они все сидели под бомбами и снарядами и только молились, хором читали «Отче наш...» – молитву, которой выучила их бабушка. Больше спастись было нечем.

Елена Александровна Благинина, будучи уже известной столичной поэтессой, жила в те годы далеко от Орла, но очень тяжело переживала о судьбе оккупированного города, о родном своём Яковлево.

Во время войны Благинина написала множество детских стихов от лица своих маленьких героев. Они рано повзрослели, узнали горе, испытали страдания и ужасы военного времени:

Но пришёл конец забавам,
Нету больше тишины.
По моим высоким травам,
По моим густым дубравам
Прокатился гром войны.
На войне четыре брата,
И отец, и вся родня.
Опустела наша хата.
Мать, весёлая когда-то,
Всё скучней день ото дня.

(«Гармошка»)

Детям постарше пришлось взвалить на себя все домашние труды, заботы о младших, пока взрослые воевали на фронте и трудились в тылу:

Наш отец давно в походе –
Третий год как на войне.

Наша мама на заводе,
А кому с братишкой?
Мне!

(«Вставай»)

Они испытывают постоянную психологическую угнетённость, тревогу, страх за своих близких – отцов, старших братьев:

Если письмо
запоздает отцово,
Сразу покажутся
грустными дни.
Бабушка с мамой,
конечно, – ни слова,
Только я вижу –
боятся они.

(«Чижик»)

Даже беззаботные прежде игры видоизменяются, подчиняясь военной тематике, становятся какими-то не по-детски суровыми. Девочки играют уже не в дочки-матери, а во фронтовых медсестёр и санитарок полевых госпиталей:

Я делаю игрушки
До самой темноты:
Из деревяшек – пушки,
Из лоскутков – бинты.
Я будто санитарка,
А печка – лазарет.
Бойцам на печке жарко,
Да лучше места нет.

(«На печке»)

Мальчуганы грезят о боевых подвигах на полях сражений:

Повстречаться бы с танкистами
И сказать им так: «Друзья!

Вы воюете с фашистами,
Воевать хочу и я!»

(«Хорошо бы...»)

Ребята терпеливо ждут отцов с фронта, пишут им ободряющие письма, шлют поздравления с праздниками, стараясь храбриться, ничем не выдавать своей недетской душевной боли, неотступной боязни за жизнь родных людей:

Папа! Ты вернёшься невредимый!
Ведь война когда-нибудь пройдёт?
Миленький, голубчик мой родимый,
Знаешь, вправду скоро Новый год!

Я тебя, конечно, поздравляю
И желаю вовсе не болеть.
Я тебе желаю-прежелаю
Поскорей фашистов одолеть!

<...>

Поклонись бойцам и командирам,
Передай им от меня привет.

Пожелай им всякую удачу,
Пусть идут на немцев, как один...
...Я пишу тебе и чуть не плачу,
Это так... от радости...
Твой сын.

(«Папе на фронт»)

Настоящему герою-мальчишке, своему земляку, Благинына посвятила целую поэму – «маленькую повесть в стихах» «Гармошка» с подзаголовком: «Посвящаю юному партизану Мише Курбанову – воспитаннику Некрасовского детского дома в Орле».

...И ушли мы к партизанам
Из родимого села.
<...>

Лес густой – вот наша хата,
Командир – вот наш отец.
Я стрелять из автомата
Научился, как боец.
Иногда ходил в разведку
И в дозоре службу нёс.
Только это было редко –
Говорили: «Не дорос!»
<...>

Сколько вражьих эшелонов
Загремело под откос!
<...>

Сколько сделано налётов –
Не один взорвался склад!
Сколько взято пулемётов,
Автоматов, мин, гранат!

Для детей времён Великой Отечественной войны не надо было проводить ни специальных «уроков мужества», ни «разговоров о важном». Тогда все точно знали, за что именно воюют советские солдаты – за освобождение родной земли, каждой её любимой приметы, за дорогих и близких людей:

За Родину свою,
За наш колхоз, за речку,
За вербу у плетня,
За дом, за эту печку,
За маму, за меня...

(«На печке»)

За то, чтобы война никогда больше не повторилась:

Чтоб над всем таким большущим миром
Днём и ночью был весёлый свет...

(«Папе на фронт»)

Маленькие герои не покладая рук трудились наравне со взрослыми, помогали восстанавливать то, что разрушили фашистские захватчики:

Мы строга́ли и пи́лили,
 Нас учи́ли масте́ра.
 Вме́сте с ни́ми е́ли-пи́ли,
 Оты́дыхали у ко́стра.
 Пос́ле – снóва за де́ла...
 На́ша стро́йка бы́стро шла!
 (*«Золотой мост»*)

Когда Орёл был освобождён от оккупантов в августе 1943 года (в нынешнем году – 80 лет со дня освобождения «города первого салюта»), Благинина, как и все советские люди, с восторгом восприняла первый с начала Великой Отечественной войны салют в Москве в честь победы в танковом сражении на Орловско-Курской дуге. Вместе с Союзом писателей поэтесса организовала выездную бригаду литераторов в Орёл, избавленный от немецко-фашистской нечисти. «Была на родине – в Орле, – записала Елена Александровна. – Много удивительных и разнообразных ощущений испытала я, бродя по родным улицам разорённого фашистами города. Ощущения эти я попыталась обобщить в книжке “Золотой мост”».

В это же время она написала «Орёл 43-го», «Лестница, которая никуда не ведёт», «Окно», «Сына проводила на войну», «Триптих (Плач по убиенным)» и другие трагические стихи.

В стихотворении «Была и буду» отразилась удивительная жизнестойкость, своего рода «лирическая дерзость» мужественной женщины-поэта, пережившей испытания военного лихолетья:

Ты, война, меня не пова́лишь.
 Я из ванек-встанек!
 Ты мне хлеб сухой жевать велишь,
 А я его – как пряник.

Ты мне воду в ледяном ковше
 С крутого овражку.
 А вода всегда мне по душе,
 Я её – как бражку!

<...>

Потому что жизнь нельзя убить.
 Ну никак, хоть тресни!
 Как была я, так и буду быть –
 В хлебе,
 в воде,
 в песне!

«Мне дороги все стихи, где Вы – “россиянка, солдатка, вдова” – “в хлебе, в воде, в песне”...» – написал Благининой К.И. Чуковский (1882–1969).

Без лукавых мудрствований, ясно и просто, как хлеб насущный, как вода, как пение птиц на заре, слагала свои стихи классик детской литературы Елена Благинина:

Вместе с солнышком встаю,
 Вместе с птицами пою:
 – С добрым утром!
 – С ясным днём!
 Вот как славно мы поём!

В послевоенные годы поэтесса нередко приезжала в родной Орёл на творческие встречи с читателями. Чаще всего они проходили в Орловской центральной детской библиотеке имени И.А. Крылова. Ребята активно переписывались со своей землячкой, слали ей рисунки. Удивительно, но листы незамысловатого художества до сих пор целы. Благинина хранила эти подаренные ей бесхитростные знаки детской признательности. Впоследствии передала рисунки в музей.

Она дарила детской библиотеке свои книги, фотографии с автографами. «Будьте здоровы! Поклонитесь всем ребятам, которые писали мне, и всем, которые не писали, а читают хорошие книжки у вас в библиотеке», – так заканчивается одно из благининских писем

Вениамин ХАНОВ

РЯДОМ С НИМ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИЛСЯ ЧИЩЕ ДУШОЙ

Воспоминания об А. Л. Яценко

Со многими замечательными людьми свела меня жизненная судьба. Это они раскрыли передо мной мир добра, любви и знаний. Особое место среди них занимает Александр Леонидович Яценко. Я вспоминаю о нём как его бывший студент, а потом – коллега. Мы познакомились в далёком 1969 году. Я только что поступил в Горьковский пединститут на филологический факультет. А.Л. Яценко – опытный преподаватель. По сложившейся традиции нас, первокурсников, тут же в начале учебного года отправили на уборку картофеля в Чкаловский район, в колхоз «Россия». Мы расположились в селе Сицкое. Рядом с ним протекала река Санохта, которая придавала всей местности живописный вид. Нас, пятерых юношей со всего курса, поселили у хозяйки. А девушки устроились в здании бывшей школы. Вот тогда-то мы и познакомились с нашим руководителем – А.Л. Яценко. У него были добрые приветливые глаза и мягкий приятный голос. Он тут же проверил, в каких условиях нас поселили, выяснил, в чём нуждаемся. И мы сразу же почувствовали его внимательное, сердечное отношение. Перед нами, вчерашними школьниками, он предстал как своего рода защитник, как отзывчивый заботливый отец. И это представление о нём живёт в нас до сих пор. Ведь недаром и имя его «Александр» в переводе с греческого языка означает «защитник людей».

При этом Александр Леонидович особую помощь оказал нам в поэтическом творчестве. Дело в том, что местные жители попросили провести для них концерт. А у нас уже сложилось оригинальное студенческое трио: Лебедев, Поляков, Ханов. Свою группу мы называли по первым слогам наших фамилий – «Лепоха». Юрий Лебедев отлично пел и играл на баяне. А Валерий Поляков и я, имея слух, пели вместе с ним. Кроме того, Поляков и я пытались писать стихи.

Активно участвовал в концерте и Александр Леонидович. Он прочитал свои стихи, а также стихотворение С. Есенина «Отговорила роща золотая».

Посоветовал Александр Леонидович исполнить во время концерта и частушки. При этом вместе с ним мы сочинили и свои припевки, отразив в них местный колорит. И снова в Учителе нас поразило то, что он, читая наизусть многие шедевры мировой поэзии, с большим уважением относился к произведениям устного народного творчества. Яценко хорошо знал цену круглому и сочному, словно яблоко, слову, которое слышал с малых лет. Александр Леонидович умел искусно обращаться с живым разговорным языком, уходящим корнями в яркую и меткую народную речь.

Внимательное, заботливое отношение к нам Александра Леонидовича, конечно же, объяснялось его добротой и отзывчивостью. Однако его особое беспокойство о нас было вызвано и другой важной причиной, о которой мне стало известно позднее. Оказывается, что ещё в ранние годы Александру Леонидовичу пришлось испытать много трудностей. Уже в детстве он узнал, почём фунт лиха. И поэтому чутко оберегал нас от всех огорчений и невзгод. А тяжёлые испытания, выпавшие на долю нашего Наставника ещё в начале его жизненного пути, обусловили следующие события. Дело в том, что в 1936 году был несправедливо осуждён и брошен в ГУЛАГ его отец Леонид Александрович. Единственному сыну исполнилось в это время всего лишь семь лет. Александр Леонидович так больше и не увидел отца, который умер в лагере. Как «врага народа» во время репрессий расстреляли и деда

Александра Леонидовича. Это был талантливый учёный-путешественник, автор известных на всю Россию книг...

Поэтому нашему будущему наставнику уже в школе пришлось испытать множество незаслуженных унижений и оскорблений. Он стал отверженным в полном смысле этого слова. Впоследствии Александр Леонидович вспоминал: «Когда я учился в школе, то некоторые ученики надо мной просто издевались. Например, сосед по парте сказал, что сидеть с такой мразью, как я, он не намерен. Меня несколько раз избивали “активисты”. Но им был дан отпор: подобного рода судилища запретили устраивать учительница и группа ребят».

Итак, очень много пришлось пережить Александру Леонидовичу в школьные годы. Но, несмотря ни на что, он не озлобился и сохранил в себе живую душу. Более того, в его сердце всегда пылала беспредельная любовь к родному городу Сергачу. Александр Леонидович в беседах со мной очень часто говорил: «Сергач – моя путеводная звезда». Называл он родной город и «градом на холме», тем самым подчёркивая святость малой родины. А однажды Александр Леонидович прочитал мне своё стихотворение о Сергаче, которое я тут же записал.

Тайте туманы,
Сияй мир удач!
Есть возле Пьяны
Город Сергач.

Славен историей он
И трудом.
В нём дивный собор
На века утверждён!

В нём я родился,
Им я горжусь.
Частицей твоей,
Лучезарная Русь!

И где бы я ни был,
Видится мне:

Под ласковым небом
Сергач на холме.

После возвращения с уборки картофеля в Горький наши добрые отношения с А.Л. Ященко продолжились. Мы, входившие в трио «Лепеха», поселились в общежитии на улице Бекетова, дом 6а, в 532-й комнате. И порой Александр Леонидович заходил к нам на огонёк. Мы с радостью встречали его. Угощали чаем, но бывали напитки и покрепче. Александр Леонидович читал нам свои стихи, помогал проводить в общежитии литературные вечера. Видимо, в нашей 532-й комнате было что-то магическое. Ибо нас навещал и талантливый литературовед Вячеслав Васильевич Харчев. Заходил иногда и профессор Зиновий Ефимович Либинзон, имевший прекрасное чувство юмора. Но чаще всего мы всё-таки общались с А.Л. Ященко.

Именно эти талантливые учёные оказали на нас необыкновенное по силе воздействие. В итоге каждый из нас, проживавший в 532-й комнате, добился в дальнейшей жизни явных успехов. Так, Юрий Исакович Лебедев стал мэром Нижнего Новгорода. Валерий Павлович Поляков, работая в милиции в родном городе Чкаловске, получил звание подполковника. Кроме того, Валерий Павлович опубликовал пять поэтических сборников. Это, действительно, талантливый оригинальный поэт. Станислав Михайлович Шальнов является едва ли не самым известным человеком в Дзержинске. Он автор книг по истории родного города.

Новые грани яркой личности А. Л. Ященко, но уже как преподавателя, раскрылись перед нами в пединституте. Он читал курс лекций по зарубежной литературе. А. Л. Ященко, действительно, являлся исключительным специалистом по своему предмету. И мы не только с огромным удовольствием ходили к нему на лекции, но и с большим интересом читали его переводы стихов Гейне, Гёте. Кроме переложений с немецкого А. Л. Ященко переводил стихи с польского, украинского, татарского, цыганского и других языков. Он прекрасно знал творчество Шиллера, Гёте, Гейне. С упоением рассказывал о поэзии французских поэтов-символистов: Шарля Бодлера, Поля Верлена,

Артюра Рембо. Блестяще разбирался и в творчестве Киплинга, Сент-Экзюпери, Хемингуэя. Следует заметить, что произведениям этих писателей он посвятил большой раздел в учебнике по зарубежной литературе (Зарубежная литература, Н. Новгород, 1999), который и сегодня пользуется спросом.

В то же время Александр Леонидович был прекрасным специалистом по русской литературе, которую он любил всем своим добрым сердцем. Его особенно привлекало творчество Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева. Это он раскрыл перед нами глубину и очарование поэзии Блока, Есенина, Ахматовой, Цветаевой. С особым восторгом Александр Леонидович читал стихи из поэтического цикла Н. Гумилёва «Капитаны».

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведаль мальстремы и мель.

К А.Л. Яценко тянулись студенты. Молодёжь привлекают личности цельные, знающие, оригинальные. Александр Леонидович, несомненно, являлся такой личностью. Рядом с ним были и другие преподаватели – талантливые, эрудированные. Но, пожалуй, только с ним и с В.В. Харчевым можно было поговорить по душам, обсудить и разрешить возникшие проблемы. Прекрасно разбираясь в поэзии, Александр Леонидович на протяжении многих лет руководил в пединституте кружком начинающих поэтов, являлся литконсультантом в газетах нашего города: «Горьковской правде», «Ленинской смене». К его суждениям с большим уважением относились не только начинающие авторы, но и уже признанные поэты: Ю. Андрианов, А. Фигарев, В. Шамшуринов... Многие фразы, высказывания Яценко становились афоризмами и быстро распространялись в студенческой среде. Вот некоторые из них: «Юность без мечты, что дом без окон», «Если кто-то ещё не прочитал Хемингуэя (могла быть названа и другая фамилия), тому можно позавидовать: у него ещё много прекрасных минут впереди. Прочитав, он получит боль-

шое наслаждение», «Если во время лекции студент смотрит на часы, то это ещё не беда. Беда приходит тогда, когда он подносит часы к уху и слушает, не встали ли они».

Мы запомнили поэтические строчки А. Л. Яценко, наполненные тонким неподдельным юмором и обращённые к студенческой аудитории:

О скука – липкая инфекция –
Ты всех болезней тяжелей!
Зевала девушка на лекции
И, к сожалению, моей.

Ну что ей Гейне? Что ей Гёте?
Что ей поэзия вообще?
Ведь чувства ей не потревожит
Ни Мопассан, ни Беранже.

Зачёты дальние и ближние
Не возмутят её покой.
Скорей бы ей к нему, к любимому,
Он лучше лекции любой.

Любовь сердца сжигает пламенно,
В ней каждый день неповторим.
Когда ж весной придут экзамены,
С ней обо всём поговорим!

Но особенно очаровало нас стихотворение А.Л. Яценко о безответной любви. В годы пламенной юности мы все мечтали об этом светлом чувстве и воспринимали его, как нечто возвышенное, божественное. Именно такая любовь сияла в сердце нашего Учителя:

Глаза святых, опущенные долу,
Так мил портал в готической резьбе.
Я вновь пришёл к знакомому костёлу.
Чтоб помечтать, мой ангел, о тебе.

Органа звуки медленны и строги.
Хотел тебя забыть, так и не смог.
Лишь женщина, к которой нет дороги,
Единственный, возможный в мире Бог.

Поражённые невероятной эрудицией А.Л. Ященко и его поэтическими откровениями, мы были твёрдо уверены в том, что именно ему «Господь позволил взгляд в то сокровенное горнило, где первообразы кипят» (А.К. Толстой). Это от него, от Ященко, ещё будучи студентом, я впервые услышал библейские суждения, являющиеся крылатыми: «Ищите и найдёте», «Стучите и откроется», «Бог есть любовь». А о человеке, который ему не нравился, Александр Леонидович мог сказать: «Он ни холоден, ни горяч». Неоднократно говорил Ященко и о всепрощающей любви. При этом он произносил слова из известной молитвы «Отче наш»: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И сам он часто прощал нам наши ошибки.

Однажды Александр Леонидович пригласил меня в гости. В то время он жил с матерью Верой Николаевной на проспекте Гагарина. Мы побеседовали у него в кабинете. И я заметил, что на его столе лежала Библия. Вера Николаевна, приветливая интеллигентная женщина, накрыла стол с чаем и печеньем. После беседы Александр Леонидович пошёл меня провожать. Стоял удивительно солнечный зимний день. Сияло необъятное синее небо, и всё было покрыто белым пушистым снегом. Мой Наставник с горячим увлечением рассказал мне о своей особой любви к белому и голубому цветам, которые, как известно, являются символами абсолютной духовности. А потом с большим волнением прочитал замечательное стихотворение Н. Старшинова:

Что мне судьба ни готовь,
Вынесу беды любые.
Вера, Надежда, Любовь –
Птицы мои голубые.

Именно Вера, Надежда, Любовь, эти голубые птицы, всегда были рядом с А.Л. Ященко на его тернистом пути. Доброта и любовь наполняли его сердце. И эту неизбывную любовь души своей он щедро дарил окружающим его людям, помогал им во всём.

В 1973 году я окончил пединститут, защитив диплом с отличием у профессора Л.М. Фарбера. Желая дальше

заниматься литературоведением, я обратился к нему с просьбой дать мне тему для дальнейшего научного исследования. Леонид Моисеевич предложил проанализировать роман М. Арцыбашева «Санин». Однако имя Арцыбашева в то время находилось под негласным запретом, и моё исследование продвигалось с большим трудом. Отработав три года в Якутии, я стал преподавать русский язык и литературу в одной из школ Автозаводского района. И вдруг в середине учебного года получаю телеграмму: «Вениамин Анатольевич! Вас срочно приглашает к себе заведующая кафедрой русской литературы М.Я. Ермакова». На телеграмме стояла подпись А.Л. Ященко, который знал мой домашний адрес. Так, во многом благодаря именно Александру Леонидовичу, началась моя работа в пединституте. И я получил возможность ещё чаще встречаться с одним из любимых мною преподавателей.

А вскоре в нашей общей судьбе с Ященко произошло ещё одно важное событие. Нас пригласил в гости друг из Чкаловска – Леонид Николаевич Усихин. Мы познакомились с ним во время сельхозработ в колхозе «Россия», в котором он был главным агрономом. Порой, приезжая в Горький, он останавливался у меня в квартире. Став начальником Управления сельского хозяйства Чкаловского района, Леонид Николаевич решил устроить банкет и пожелал увидеть на нём и нас. Вместе с А.Л. Ященко мы съездили в Чкаловск. Посетили знакомое село Сицкое. Посмотрели на то, как там восстанавливается церковь. Побеседовали с давними знакомыми. Александра Леонидовича всегда восхищали доброта и душевная открытость простых людей. Он со всеми умел найти общий язык.

Посетили мы и замечательную церковь в Катунках, расположенную на берегу Горьковского моря. Это одно из самых прекраснейших мест в нашей Нижегородской области. При этом Александр Леонидович заметил, что, с его точки зрения, с общим видом этой церкви в определённой степени ассоциируется известная картина И.И. Левитана «Над вечным покоем». Здесь каждого человека, увидевшего бесконечные просторы, бездонное синее небо, богатырский размах Волги, охватывает восторженное оцепенение.

И каждый оказывается здесь у «тихой радости в плену». С твёрдым убеждением отметил Ященко и то, что только человек, верящий в Бога, может услышать музыку небесных сфер и почувствовать рост травы. Он всегда с большим уважением отзывался о вере.

Встречаясь с Александром Леонидовичем, я всё больше и больше узнавал о нём. Так, несмотря на определённые трудности, он всё-таки сумел поступить на историко-филологический факультет Горьковского университета имени Н.И. Лобачевского. Удалось ему окончить и аспирантуру у профессора С.А. Орлова. Именно под его руководством Ященко защитил кандидатскую диссертацию. Однако судьба не очень-то улыбалась Александру Леонидовичу.

Перебиваясь случайными заработками, ему пришлось побывать и литературным сотрудником, и журналистом ряда газет. Не очень-то удачно складывалась и его семейная жизнь. Но он стойко переносил все жизненные невзгоды, боролся с ними и преодолевал их. И, видимо, неслучайным являлось то, что он имел отчество Леонидович. Ибо Леонид в переводе с греческого языка означает «льву подобный». И, действительно, это был крепкий среднего роста мужчина с гривой седых волос и сильными руками.

Однако судьба всё-таки улыбнулась А.Л. Ященко, как и любому человеку светлой души. Его пригласил к себе на кафедру русской литературы в пединститут талантливый учёный-литературовед И.И. Ермаков. В результате Александр Леонидович получил прекрасную возможность заниматься своим любимым делом: историей литературы и поэзией. Активно стал он сотрудничать и с литературно-художественным журналом «Нижний Новгород». Именно в этом журнале А.Л. Ященко предстал перед читателями как талантливый поэт и прозаик. В частности, большой интерес вызвал его рассказ «Русский медведь». В нём автор изобразил, как в Сергаче после войны 1812 года проживали пленные французы.

Однажды, как бы подводя итог своей жизни, Александр Леонидович сказал мне: «Я стал тем, кем мечтал стать в

школьные годы. Хотя всё это стоило мне больших усилий, напряжённого труда и учёбы. Если бы был жив мой дед, то он был бы доволен мною, своим внуком». Вот поэтому, с моей точки зрения, вполне символичной, знаковой является и фамилия моего Учителя – Ященко. Она явно образована от имени Яков, сокращённо – Яша. В переводе с древнееврейского языка это имя означает «следующий за кем-либо, идущий вслед». И, действительно, Александр Леонидович Ященко всегда шёл вслед за своим знаменитым дедом Александром Леонидовичем (старшим) – талантливым учёным-исследователем. Однако, в отличие от деда-естествоиспытателя, он посвятил себя искусству слова. Александр Леонидович был твёрдо убеждён, что «нет магии сильнее, чем магия слов». Вот поэтому изучение литературы он считал «святым ремеслом».

...Шло время. Александр Леонидович всё чаще стал задумываться об уходе на пенсию. И даже подал заявление – с нового календарного 2002 года. Но не пришлось... Он умер спокойно, во сне. Не стало удивительно талантливого человека, обладающего беспредельной душевной щедростью. Это именно о таких отзывчивых людях, как Ященко, известный горьковский поэт А. Люкин с прекло-
нением писал:

С бездушьем сроду не стерпеться,
Живи хоть в центре, хоть в глуши.
Всем сердцем хочется согреться
У чьей-нибудь большой души.

Поэтический сборник А.Л. Ященко «Связь времён» вышел уже после его смерти. Название сборника оказалось пророческим. Связав воедино прошлое и настоящее, Александр Леонидович уверенно шагнул в будущее и занял достойное место в истории нижегородской поэзии. Особого внимания заслуживают и его научные исследования по зарубежной и русской литературе. Это о нём, используя его любимое суждение Шиллера, можно с полным основанием сказать: «Не в годах, а в полноте жизни заключается ценность бытия». Это он имел «крылатую душу», о которой в своё время писала М. Цветаева.

С глубокой печалью похоронили мы А.Л. Ященко на кладбище «Марьиная роща». Был тихий зимний день. Над землёй, покрытой ковром белого пушистого снега, сияло бездонное голубое небо. Волнуя душу, негромко звучали колокола Божьего храма. И я вспомнил, как Александр Леонидович однажды рассказал мне о своей особой любви к белому и голубому цветам, символизирующим святость. Навсегда запомнились мне и светлые, словно небо, глаза моего Учителя. И вот теперь он отошёл «в путь сия земли» (Библия), слился с вечностью. Но это именно он, Александр Леонидович, распахнул надо мной и над многими другими алые паруса мечты и надежды. И благодаря во многом именно ему мы, наполненные жаждой познания и творчества, уверенно отправились в жизненный путь.

Вспомнил я и особое рукопожатие Александра Леонидовича. С моей точки зрения, есть два верных способа определить, что за человек перед вами – хороший или «так себе». Для этого нужно поздороваться с человеком за руку или сделать так, чтобы он улыбнулся, засмеялся. Рука человека и его улыбка, смех никогда не солгут. Рукопожатие Ященко было крепким, дружеским и, я бы сказал, основательным. Он никогда не подавал при встрече руку небрежно, наспех и всегда находил время для душевной беседы с любым человеком. Что же касается улыбки Александра Леонидовича, то следует заметить, что, улыбаясь, он, словно светился, сиял. На такую улыбку невозможно было не ответить. Рядом с Александром Леонидовичем Ященко каждый человек становился чище и богаче душой, наполнялся светом, поэзией и становился поэтом.

Владимир СЕДОВ

А ЧТО У ВАС?

(Памяти Георгия Сергеевича Демурова)

Артистом стать мне не удалось.

Но очень хотелось.

Не всякий смертный может стать артистом.

Для этого надо быть поцелованным Богом в темечко.

Да ещё вдобавок нужен особенный голос. Не как у всех смертных, а такой, который бы сразу хватал за сердце, завораживал.

Таким артистом был в нашем Горьковском академическом театре Георгий Сергеевич Демуров – человек большой души и развеселого характера.

Публика его любила, на него «ходили».

К шестидесяти годам он был уже народным артистом России, лауреатом всевозможных премий и награждён медалями и орденами.

Но пришли перестроечные времена, слава его, как и всех братьев и сестёр по цеху, затихла, и театр стоял полупустым.

Стали ставить странные, непонятные вещи, больше похожие на балаганные представления, и Георгий Сергеевич остался без ролей.

А это для артиста хуже смерти.

Демуров был человеком образованным, опытным и чувствовал, что если бы он возглавил театр, то тогда... тогда

его любимый театр вновь обрёл бы успех у публики и, как прежде, у входа спрашивали бы лишний билетик.

Но это были несбыточные мечты.

Сам он никуда не лез, в силу своего уже пенсионного возраста, а так просто со стороны никто за него ходатайствовать не собирался. Да и с чего бы?

Но время шло, театр хирел, ставились какие-то пьесы заезжими режиссёрами. Георгий Сергеевич получал небольшие роли и уже поставил крест – на себе как на актёре, на театре и вообще на судьбе всей творческой интеллигенции.

А страна катилась неизвестно куда и зачем.

Но тут его вдруг неожиданно вызвали к только что назначенному министру культуры Нижегородской губернии.

Георгий Сергеевич знал этого молодого хваткого мужчину. Какое он отношение имел к культуре, ему было непонятно. Они несколько раз встречались на приёмах, здоровались. Друзьями не были, но общих знакомых было много. Демуров знал, что министр успешно занимался бизнесом, дружит с Михалковым, Ростроповичем, Томиной – директором филармонии. Написал несколько книг. Георгий Сергеевич читал одну, с необычайно тонким юмором и оригинальным сюжетом, читалась книга легко.

И что самое странное, у Демурова во время общения с министром культуры, ещё до его назначения, было какое-то чувство «дежавю», что они где-то встречались ранее.

А где и когда – вспомнить никак не мог.

Как всегда, после новых выборов губернатора в Нижегородском кремле пошли все возможные перестановки по управлениям, но «культуры», которая сидела без денег, это не коснулось. Казалось, в век перестроечного капитализма о ней совсем забыли. Поэтому для Георгия Сергеевича это приглашение было и неожиданным, и непонятным.

Новый министр культуры встретил его приветливо, вышел из-за стола, пожал руку, усадил пить чай.

Повспоминали общих знакомых, и тут министр стал рассказывать, что тоже с детства мечтал стать артистом и даже ходил в драмкружок при клубе им. Кринова на Мызе.

Тут у Георгия Сергеевича первый раз что щелкнуло: «драмкружок!» Он же там, будучи молодым артистом, подрабатывал с ребятами, ставя им речь.

Георгий Сергеевич заерзал.

Министр, как бы не замечая этого, продолжал рассказывать. У них в кружке решили поставить к дню 8 Марта прочтение со сцены стихотворения Сергея Владимировича Михалкова «А что у вас?», и тогда ещё ученик третьего класса должен был читать отрывок «А моя мама – милиционер».

И тут Георгий Сергеевич все вспомнил.

Что болел, простыл и пришёл тогда на репетицию весьма не в лучшем настроении, закутанный в шарф, и начал репетицию, даже не снимая перчаток.

И какой-то мальчишка стоял перед ним и все время неправильно выговаривал слово «милиционер». Он его упорно сокращал и твердил «А моя мама – мильцанер», да ещё при этом очень явно шепелявил.

Георгий Сергеевич несколько раз его поправил по слогам раскладывая это слово: «Ми-ли-ци-о-нер».

Но ничего не помогало.

Паренёк краснел переминался с него на ногу, но упорно твердил: «Мильцанер».

– Тебя как звать? – спросил Георгий Сергеевич

– Вова, – ответил паренёк.

Может, оттого, что и сам Георгий Сергеевич себя тогда неважно чувствовал, а может, просто ему стало надоедать полное непонимание фонетики этого слова начинающим артистом, он устало махнул рукой и прекратил его мучить, сказав ему напоследок: «Вот что, Вова, не знаю, может, ты, когда вырастешь, станешь министром, но артистом тебе не быть никогда!»

Все эти воспоминания в одну минуту пролетели в голове Георгия Сергеевича. Он узнал этого паренька, теперь министра культуры.

И министр, очевидно, понял, что тот узнал его, откинулся в кресле и сказал:

– Да-да, Георгий Сергеевич, тем пареньком, который не мог правильно сказать слово «милиционер», был я.

Георгий Сергеевич внутренне очень смутился, поставил чашку с чаем назад, на блюдечко, но тут сработал талант актёра. Не показав вида, что его смутили эти воспоминания, народный артист тут же обратил всё это в шутку.

– Да, порой судьбы и пути неисповедимы, Господи. Очевидно, не скажи я вам тогда, что из вас артист не получится, вам бы никогда не стать министром. Как и я, сейчас бегали бы по сцене: «Чай подан».

– Точно, – воскликнул министр, – я вам очень благодарен. Я тогда, после нашей репетиции и вашего урока, перестал ходить в драмкружок, записался в библиотеку. И вот результат.

– Неплохой результат, – согласился Демуров.

И министр тут же без перехода вдруг сказал:

– Вы, как я понял, умеете абсолютно правильно оценить ситуацию и чувствуете, может даже интуитивно, как и куда надо идти по жизни. Скажите, вы сейчас видите перспективу театра?

– Конечно, – быстро ответил Георгий Сергеевич, – не только вижу, но и понимаю, что нужно сделать для его возрождения.

Министр как будто только этого и ждал. Он встал и протянув руку сказал:

– Поздравляю вас! С этого дня вы назначаетесь художественным руководителем вашего театра.

Так, нежданно-негаданно, Георгий Сергеевич Демуров стал художественным руководителем Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького.

Людмила КАЛИНИНА

ПОЭТ, КРИТИК, МИСТИФИКАТОР...

Диссертация Ю.А. Изумрудова посвящена наследию Бориса Садовского

Редкое явление сегодня в нашем городе – защита докторской диссертации по отечественной литературе.

В одной из наших бесед доктор филологических наук писатель Иван Кириллович Кузьмичев сетовал на потерю нашим современником «культурной памяти». Например, в конце прошлого века на подъеме было изучение творчества великого писателя-земляка Максима Горького. Но вот педагогический институт, носивший многие годы имя М. Горького, переименован, писателя потеснили из учебных программ... Мало вспоминают в вузах и других интересных писателей земли нижегородской. Известная истина – мы не ценим то, что не изучаем. Но есть редкие, потому удивительные примеры.

В прошлом году в ученом совете госуниверситета им. Лобачевского доцент кафедры русской литературы Института филологии и журналистики Юрий Александрович Изумрудов успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Литературное наследие Бориса Садовского: проблематика, поэтика, контекст». Работа Юрия Александровича явилась первым в России диссертационным исследованием творчества Бориса Александровича Садовского, нижегородского уроженца, талантливого писателя Серебряного

века, к сожалению, не издаваемого и все еще мало изученного. Успешная защита диссертации не стала для ученого неожиданной удачей, к этому он шел долгие годы, работая в местных и столичных архивах, расширяя круг знакомых, связанных с именем писателя...

Личная жизнь, творчество Б. Садовского почти не известны читателям, литераторам, что, безусловно, повышает значимость работы Ю. Изумрудова. Для начала познакомлю с некоторыми биографическими данными писателя-земляка.

Борис Александрович Садовский (1881–1952) родился в интеллигентной семье потомственного дворянина в уездном городе Ардатове Нижегородской губернии. Садовской – придуманная молодым Борисом фамилия. О давних нижегородских корнях семьи говорит то, что его отец Александр Яковлевич Садовский (1850–1926) появился на свет в селе Ключищи Сергачского уезда. Общественный деятель, ученый-историк, источниковед, археограф, Александр Яковлевич в 1921 году был избран председателем Нижегородской ученой архивной комиссии и на этом поприще был признан «одним из самых серьезных, почетных работников Поволжья». Дом Садовских в Нижнем Новгороде находился на улице Тихоновской до 1970-х годов (на этом месте построена больница № 5). В семье царили милая старина, добросердечие, поклонение отечественной истории, литературе, музыке. Мир гостеприимной нижегородской семьи с кипящим самоваром, книжным ворохом и шуршаньем накрахмаленной скатерти отражается в стихах Б. Садовского:

Страшно жить без самовара:
Жизнь пустая беспредельна,
Мир колышется бесцельно,
На земле тоска и мара.

Оставляю без сознания
Бред любви и книжный ворох,
Слыша скатерти шуршанье,
Самовара воркованье,
Чаю всыпанного шорох.

Если б кончить с жизнью тяжкой
У родного самовара,
За фарфоровую чашкой,
Тихой смертью от угара!

«Страшно жить без самовара...», 1913

Борис учился на историко-филологическом факультете Московского университета, уже в 19 лет подавал большие надежды как поэт. Его стихотворение «Иоанн Грозный» высоко оценил маститый литератор Валерий Брюсов и ввел в столичные литературные круги. Появились публикации стихов в журналах «Аполлон», «Золотое руно», «Весы»... В студенчестве Б. Садовской сам начал заниматься изданием журнала, переписывался с известными писателями, в том числе с А. Блоком. Увлекали Б. Садовского поэзия, проза, литературоведение. Как яркий представитель Серебряного века он прошел через поиск оригинальной формы, мистификаторство... В истории литературы он утвердился как продолжатель классических традиций:

Тебя я встретил в блеске бала.
В калейдоскопе пошлых лиц
Лампадой трепетной мерцала
Живая тень твоих ресниц.

«Тебя я встретил в блеске бала...», 1906

Здесь и «мерцанье вежд», и «перьев опахало», сразу вспоминается известный романс А.К. Толстого «Средь шумного бала, случайно...».

С 1920-х годов Б. Садовской попадает в разряд «неиздаваемых», «несправедливо забытых». Почему так произошло? Монархисту по убеждениям, ему нереально было примириться с революционной действительностью, Гражданская война унесла в неизвестность бежавших на юг жену и сына, к тому же поэт был серьезно болен. Отчаяние пробивается в стихах:

Я все растерял по дороге. Не помню, не знаю,
Уверовать в новую жизнь не могу и не смею.

«Усталость», 1905

В конце жизни, когда «многообразный мир вдали за- тих», тяжелобольной Б. Садовской приходит к смиренно- мудрию, его утешает колокольный звон, возвращение па- мятью «к истокам дней моих».

В 1928 году была опубликована последняя книга Б. Са- довского – фантастический роман из эпохи Петра Первого «Приключения Карла Вебера».

Диссертация Ю. Изумрудова по преимуществу была основана на неизвестных текстах Б. Садовского, найден- ных нижегородским ученым в частных и государствен- ных архивах. Среди них в первую очередь исследователь выделяет обращенную сугубо к посвященным шуточную поэму «Вениамин Терновский», рукопись которой хра- нилась в домашнем архиве М.А. Яхонтовой, внучки ди- ректора Нижегородского Владимирского реального учи- лища Д.А. Глазова (сейчас это ул. Большая Покровская, 37, здесь располагается Институт филологии и журна- листики университета им. Лобачевского, где преподает Ю. Изумрудов). В дореволюционные годы реальное учи- лище, при директорстве Д.А. Глазова, нижегородская мо- лодежь называла Раем: в свободное от занятий время ау- дитории отдавались в распоряжение учащимся города, их друзьям и знакомым, приезжающим на каникулы столич- ным студентам... Устраивались различные игры, самоде- ятельные театральные представления... Часто здесь бывал вместе с друзьями юный Борис Садовской. Отзвуком этих событий исполнена поэма «Вениамин Терновский». А ее основным сюжетом стала нашумевшая в «райских» стенах история комически необычайной любовной страсти гим- назистки Катеньки Крюковой, нелепо пытавшейся следо- вать декадентским канонам женской красоты. В поэме, ма- стерски написанной онегинской строфой, использовались парафразы из пушкинского романа, пародировалась линия Онегина и Татьяны.

Диссертант убедительно показал значение «Вениамина Терновского» для становления художественных принципов его автора, а также важности этого произведения в пла- не проведения краеведческих изысканий. И символичным будет отметить, что ныне в здании как раз того реального

училища располагается Институт филологии и журнали- стики, и защита диссертации о творчестве автора «Вениа- мина Терновского» проходила в аудитории, где могли бы- вать герои поэмы и автор ее.

Помимо указанной поэмы в диссертации получили пер- вую научную трактовку статьи Б. Садовского «Наполеон в русской поэзии», «Два канцлера», «Философия брака», пьесы «Мальтийский рыцарь», «Лиза», повесть «Черный перстень», эпистолярные тексты. Значимое место в дис- сертации занимает анализ литературных мистификаций Б. Садовского. Здесь также есть ряд важных научных от- крытий исследователя. Выявлено, что приписанная перу А.А. Блока прозаическая «Солдатская сказка» является полемическим откликом на поэму «Двенадцать». Дока- зано, что включенное Садовским в структуру мемуарного очерка «Горький в Нижнем» письмо к нему пролетарско- го классика есть на самом деле еще одна мистификация Садовского.

Защита Ю. Изумрудовым диссертации прошла на долж- ном научном уровне. Он убедительно, полно ответил на вопросы в ходе дискуссии. Была подчеркнута перспектив- ность исследования, ориентированного на поставленную его автором задачу подготовки и издания научного собра- ния сочинений Б. Садовского.

Высоко оценили выполненную Ю. Изумрудовым рабо- ту оппоненты. И среди них выделим профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Н.М. Солнцева. Она оппонировала еще в 1993 году кандидатскую диссертацию Ю. Изумрудова, благословив его на дальнейшую плодотворную научную деятельность.

Из отзыва Н.М. Солнцевой: «Научные работы и докла- ды Ю.А. Изумрудова хорошо известны в научном сообще- стве. Сегодня он один из самых авторитетных специали- стов по литературному наследию и биографии Садовского. <...> Диссертация представляет собой глубокое изучение смысловой и стилевой неоднозначности, скрытых смы- слов, метатекстовых связей произведений Садовского. В научный оборот вводятся неизвестные тексты. Автор предлагает новое прочтение уже известных читателям

произведений Садовского. Развернут их текстологический, герменевтический анализ, применен биографический подход к интерпретации авторского замысла и выявлению источников мотивов. Несомненным достоинством диссертации считаем анализ литературных мистификаций, осмысление причин их появления, целей, роли и значения в творчестве Б.А. Садовского. Полагаем, что диссертация – путь к написанию научной биографии. <...> Отмечаем аналитический (возможно, еще и интуитивный) дар диссертанта, позволяющий ему увидеть скрытый подтекст произведения, затаившийся в, казалось бы, малопримечательной детали. <...> Диссертационное сочинение Ю.А. Изумрудова вносит весомый вклад в изучение русской литературы, представляет ее как единый и полифонический процесс. <...> С нашей точки зрения, труд имеет прорывное и переломное значение для изучения творчества Садовского в литературном контексте».

С большим профессионализмом консультировала диссертанта доктор филологических наук профессор Университета Лобачевского И.С. Юхнова. В своем выступлении на защите она, в частности, отметила: «Юрий Александрович стоит у истоков формирования садовсковедения, и по сути он идет по целине. Он принадлежит к тому типу исследователей, которые умеют находить и открывать новое. Юрий Александрович – собиратель, он собирает то, что разрознено временем, историческими событиями, по разным, не только государственным, но и частным архивам. Он умеет найти документ, умеет по этому документу воссоздать историю. Его работа выношенная, результат почти 30-летнего труда. А когда очень долго собирается материал, осмысливается, то вырастают у Юрия Александровича самостоятельные сюжеты: и научные, и биографические. На мой взгляд, эта работа уникальная, новаторская, первопроектная».

Из рецензии на автореферат диссертации нижегородского филолога Ю. Изумрудова О.Л. Кулагиной, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова:

«Исследование Ю.А. Изумрудова, представляющее собой впервые осуществленное целостное монографическое изучение творчества Б.А. Садовского, – явление неординарное. <...> Автор диссертации знает творчество исследуемого писателя досконально. Ю.А. Изумрудов приводит эпитет “виртуозный”, примененный В.Э. Вацуро к уровню мастерства Б. Садовского. С полным правом это определение можно отнести к интерпретационному стилю самого Ю.А. Изумрудова. Разговор о поэтике Б. Садовского (восприятие мистификации как самой сущности его авторской системы, описание системы любимых художественных приемов и прошедшей через всю жизнь игры с Пушкиным, анализ “самоварного” текста) – пример высокого филологического искусства. Автор и “предмет” исследования явно счастливо совпали. Изумрудов благодарно отмечает вклад своих предшественников и коллег в “садовсковедение”. Но закономерность и право на существование самого этого термина и этой отрасли науки о словесности в большой степени обусловлены личным вкладом самого диссертанта. Кроме огромного историко-филологического значения работа Ю.А. Изумрудова важна и как вклад в дело сохранения культурной памяти. Теперь о литературном процессе начала XX века без упоминания Б. Садовского говорить будет просто невозможно».

Поздравим Юрия Александровича Изумрудова. И с интересом ждем его журнальные публикации и книгу о писателе-нижегородце Борисе Садовском.

Далекое — близкое

Сергей БЕРЁЗКО

Тверь

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ

моего советского детства

(Фрагменты)

*Памяти родителей — Фёдора Игнатьевича
и Валентины Викторовны Берёзко*

В первых числах мая 1945 года 70-я горнострелковая Печенгская Краснознамённая ордена Красной Звезды бригада в составе 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта завершила наступательную операцию Красной армии против немецких войск с целью овладения Моравско-Оставским промышленным районом Чехословакии. Девятого мая фашистская Германия капитулировала.

Отец — начальник бригадного ветлазарета 70-й горнострелковой бригады майор ветслужбы Берёзко Фёдор Игнатьевич — в августе 1945 года был переведён в 4-й отдельный полк резервов офицерского состава Прикарпатского военного округа, а в сентябре демобилизован. Он приехал в Линду — центр Линдовского района Горьковской области. Там его ждали мама и сёстры, эвакуированные в конце 1943 года после двух лет немецкой оккупации из города Рудни Смоленской области. Вскоре отца назначили на работу в город Богородск в 30 километрах от Горького; здесь я и родился. Мне пошёл второй год, когда папу перевели на работу в райцентр Кстово заведующим районной ветеринарной лечебницей.

Отец представили к медали «За трудовую доблесть» и в октябре 1950 года перевели на Горьковскую государственную комплексную опытную станцию (название менялось неоднократно), по-простому —

на Селекцию. История Селекции началась с решений советских правительственных органов во второй половине 30-х годов. Она располагалась километрах в пятнадцати от Кстова в направлении Горького.

Из Кстова мы уедем вскоре после того, как мне исполнится 4 года.

База — родина детства

1950–1951 годы

Отеца назначили на должность ветеринарного врача Селекции. Километрах в полутора от её центральной усадьбы был участок или отделение, которое называли База, вот туда мы и переехали. База и Селекция через овраг соседствовали с большой деревней Федяково, земли окрест которой, включая и базинские, и селекционные, в дореволюционное время были вотчиной помещика Василькова.

Жильё нам дали в доме-бараке, крытом замшелой дранкой, на краю берёзовой рощи, облюбованной грачами — по десятку гнёзд на дереве. Барак, немногочисленные базинские дома и домишки и роща, которая по одному краю окаймлялась аллеей толстых лип, располагались на местности с уклоном к маленькой речушке без названия, за которой начинался широкий луг. Луг шёл-шёл и ни с того ни с сего устремлялся вверх, чтобы превратиться в гряды Богацкой горы, протянувшуюся с запада на восток. Чтобы на неё забраться, надо попытаться, спуститься обратно — тормозить, местами идти бочком — гора крутая!

Наш барак у местных жителей считался представительным жильём, часто в разговорах его называли «дом». Нам досталась привилегия в виде отдельного входа: в середине дома, сбоку, к нашему переезду была сколочена из нестроганных досок пристройка, как сени, она образовала с разных сторон два коридорчика — для нас и соседей Конкиных. Из нашего коридорчика толстая, обитая войлоком и клеёнкой дверь с большой латунной ручкой (я её все-таки лизнул на морозе) через высокий порог вела в жилое помещение с окнами на обе стороны дома.

Русская печь посередине делила наши апартаменты на две части. Входишь из коридорчика — и оказываешься

на кухне. Отсюда топилась печь, здесь мама готовила еду, тут мы ели. На табуретку ставили керогаз, на котором грели воду, кипятили бельё, варили корм скотине. Папа выливал варево в таз и сидел перед ним на корточках, раздавливал картофелины. Это у него получалось медленно, одной рукой, и мама с сожалением говорила: «Ну хватит тебе уже!» Но папа не обращал внимания и продолжал. У нас была коровка Зорька, небольшая, красной масти, с белой звёздочкой на комолом лбу, игривая, но когда её доили, стояла спокойно, хвостом не размахивала и не перетаптывалась; за другой коровой наездишься на табуретке, десять раз подойник (мама говорила – доёнка) переставишь. Папа считал, что Зорька может подавиться картошкой.

С нашим керогазом надо быть осторожнее: иногда у мамы, когда она его разжигала, он «пыхал» – столб огня взвивался чуть не до потолка, но сразу гас. Мама рассказывала об этом папе вечером. Папа говорил: «Надо будет прочистить». Мама не любила, когда папа так отвечал. Это отцовское «надо будет» – значит всё ни с места!

В потолке на кухне зачем-то торчал большой железный крюк, я решил, что он остался от времён строительства.

На кухне мама стирала бельё. Большая стирка занимала целый день. Для приготовления пены мама ножом строгала коричневый кусок мыла, наливала в таз теплой воды и разбалтывала стружки в воде. Закатав рукава, подперев животом стиральную доску, мама склонялась над глубокой железной ванной (для меня её брали в баню) и тёрла намыленное бельё о ребристую поверхность доски. Постепенно в других тазах росла гора стираного белья. Теперь эту тяжесть надо было тащить на фонтан, полоскать голыми руками в ледяной воде, выжимать, нести назад. Натягивали верёвки и развешивали бельё, когда во дворе уже смеркалось. Когда дома был папа, он помогал. Я не любил эти дни больших стирок. Комната наполнялась запахами из выварки и сыростью. Мама за работой отдалялась от меня. Особенно неприятно было зимой, когда серый свет ненастного дня был коротким и мне, предоставленному самому себе, некуда было деться. От мамы и я не любил эти сумрачные холодные дни. Отрывая лист календаря (на

Базе говорили – «численника») надоевшей зимы, мама с надеждой и ожиданием чего-то приятного говорила: «Ну вот, скоро день станет увеличиваться!» Эти мамины слова рождали у меня предвкушение светлого праздника. И вот мама приходит со двора: «Как день побольшел!»

Один раз постиранное бельё пострадало от меня. Гуляя зимним вечером, откуда-то взявшимся у меня папиным хирургическим топориком я тяпнул по замороженной простыне на верёвке и удивился: тряпка, а рубится. Наделал треугольных зарубок. Маме не признался. А ведь мне всё время говорили: натворил что-нибудь – приди и скажи.

Папин топорик был плохим: во-первых, тупой, как колун, во-вторых, гладкая металлическая ручка с крючком была скользкой. Если он на что и годился, так маме в кастрюлю мясо или кости кое-как разрубить или в качестве молотка. Ну, вот и мне, дуралею, подвернулся.

Иногда летом с белья, развешанного на улице, надо было не спускать глаз: внизу, на лугу у речки, появлялись большие шатры – кочевые цыгане. По дворам ходили черноволосые женщины в платках и косынках, одетые, как капуста, в многослойные цветастые одежды, с серьгами, золотыми зубами и маленькими детьми на руках. Они скороговоркой всё время что-нибудь просили и предлагали погадать. Среди базинских то и дело слышалось: «У Бердниковых подушки сняли». В эти дни далеко от дома мы не уходили.

Напротив барака, шагов пятьдесят к роще, под соломенными крышами стояли наши сараи. За сараями была дощатая уборная с двумя отделениями. Когда по тёмному времени сестрам надо было туда сбегать, они звали с собой нашу собаку Пирата, а когда Пирата не было, говорили мне, чтобы я постоял у дома, – мало ли что.

В какое-то время у нас во дворе появлялись бедно одетые люди – женщины с детьми, как я, а то и с мужьями, с котомками через плечо и говорили: «Погорельцы мы из Мигалихи!» Мама молча, без расспросов заходила в дом и выносила им что-нибудь из вещей или еды.

За печкой была вторая половина: наша спальня, она же детская, гостиная, зал, кабинет. Здесь спали, я играл и учил

уроки, накрывали праздничный стол, сидели с гостями, гладили бельё. Большое бельё мама гладила первое время увесистым деревянным рубелём. Накручивала простыню на скалку, клала сверху реберчатый рубель и от края стола прокатывала вперед. И так надо было повторять много раз. Потом у нас появился чугунный утюг на углях, верхняя половина которого откидывалась, отчего утюг становился похожим на разинутую пасть крокодила. Мама кочергой выгребала угли из печи, совком насыпала их в этот зев и опускала верхнюю часть на место. Красные угли светились между треугольными зубами и разогревали подошву. Платой за избавление от изнурительного катания рубелём была угроза отравления. Когда угли в чреве утюга остывали, им надо было размахивать, чтобы раздуть тление. Комната наполнялась чадом. Соседки часто жаловались друг другу: «Угорела, голова раскалывается, хотела догладить!» Мама велела мне следить, чтобы форточка не захлопнулась.

Зимой вокруг печки в деревенском доме вся жизнь идёт. Печи для красоты белили мелом, известью. Для свежести вида мама добавляла в побелку синьку. Иной раз переборщит, и несколько дней печка стоит синяя, как не наша. Противным свойством побелки было то, что только прикоснись к печке – обязательно рукав, бок, спина становятся белыми. То и дело надо отряхиваться (говорили – «отряхаться»). Чтобы печка «не бралась», разводили побелку в молоке, добавляли соль, яичный белок – у всех были свои приёмы. Свежепобеленная печка, несмотря на предосторожности, потихоньку домочадцами обтиралась, на ровной белизне понемногу начинали просвечивать глина и кирпичи. Я втайне этого и ждал: хорошо к печке, где захочешь, приложить озябшие ладони или прижаться спиной, ощутить её тепло, не думая, что можно измараться.

За ночь дом остывает, и утром так неудобно, так не хочется из-под одеяла вылезать. Мама вставляет вилку электроплитки в «жулик», чтобы хоть какое-нибудь тепло пошло, а сама начинает растапливать печку. Ладно, когда папа с вечера охапку дров принесет, за ночь они просохнут, а если поздно приедет с работы, утром рано уйдёт, тогда маме приходилось одеваться и идти до сарая к поленнице.

Берёзовые дрова в снегу, мокрые, не разгораются, только шипят и стреляют.

В промежутке между комнатой и кухней, сбоку печки, за дверным проёмом с занавеской была комнатка величиной чуть больше кровати, без окна, – «тёмная комната». В тёмной комнате в уголке у входа висел рукомойник. Папа помоем руки и с полотенцем на плече выходит на свет. Руки он вытирал всегда очень основательно – каждый палец отдельно. Вечером помоем ноги в тазу, поскрипит одной ногой об другую и так же скрупулёзно пальцы протирает. К мылу относился бережливо: сначала нужно руки помыть просто водой, потом воду стряхнуть, затем уже брать мыло. После, как помылишь влажные руки, надо положить мыло на место и дальше мыть руки пеной. Под воду мыло не совать, тогда оно и раскисать не будет. Обмылок положено примыливать к новому куску мыла. Когда в тазу набиралась мыльная вода из-под рукомойника, мама говорила: «Федя, выброси таз!»

Внизу роши в конце липовой аллеи, около фонтана, при нас построили общественную баню; топили по расписанию: пятница – мужская, суббота – женская. В моечном отделении холодную воду черпали ковшом из большой бочки, которая наполнялась из трубы от фонтана, а нагретая вода поступала в высоченный, почти до потолка, чан с краном внизу из пристроенной к бане котельной. Иногда горячая вода переставала литься, тогда мужики высывались в дверь на улицу и кричали разные выражения банщику. Сидели голые, ждали, пока раскочегарит топку, накачает воды в чан. Говорили о чем-то, беззлобно переругивались, спорили, смеялись. Почти все были искалечены фронтовыми ранами: уродливые шрамы и рубцы по телу, перебитые пальцы, несгибающиеся колени, вывернутые ступни, культы-обрубки, покуроченные лица. Помогали мыться друг другу. Те, кто без руки, просили мальчишек потереть спину лыковыми мочалками. Опускались на колено, прикладывались на лавку, чтобы пониже. Посылали нас к крану набрать в тазик воды: «Чай не полный, хватит!»

В предбаннике, на широких лавках, отдыхают от своих хозяев кустарно сработанные протезы: рука в чёрной перчатке, вместо ноги круглая деревяшка с ремешками, костыли, самодельные сучковатые палки-кляушки.

Разговоров о войне в бане не вели.

1952 год

Ещё в начале 1900-х годов на мызинской окраине Нижнего Новгорода начало развиваться промышленное производство, построили два больших радиозавода. После революции они стали называться имени Ленина и имени Фрунзе. В первые послевоенные годы производство стало расширяться и привлекать из окрестных деревень молодежь. Если за плечами была семилетка, добро пожаловать! На токарей, жестянщиков, слесарей, фрезеровщиков, столяров, инструментальщиков и так далее учили и в ремесленных училищах, и прямо в цехах. Благо Мастеров-наставников с большой буквы, золотого фонда индустрии, способных передать свой бесценный опыт, на заводах тогда было достаточно.

На Мызу через Анкудиновку – минут десять езды – ходило в день несколько поездов. С Анкудиновки можно было приехать на Мызу или дальше – на Ромодановский вокзал «дальними» поездами из Арзамаса, Рузаевки, Алатыря, даже из Пензы и Казани. Но это были не те поезда. В тамбуре сердитые проводницы со свёрнутыми в трубочку флажками – жёлтым и красным – проверяли билеты. Если всё нормально, они впускали желающих ехать и выставляли жёлтый, чтобы машинист видел. А если приткий пассажир намеревался проехать без билета «одну остановку, тебе-то что?», проводница поднимала крик, коленками в живот спихивала его с подножки – платформ на станциях не было, ступеньки круто поднимались от земли – разматывала красный флажок и делала вид, что сейчас кинется крутить большое красное колесо на стенке тамбура – тормоз Матросова. Билеты на эти поезда были дорогими.

Мызинские трудящиеся ездили на местном поезде, расписание которого было приурочено к заводским сменам, поэтому он назывался «рабочим». Поездом пользовались

и тётки, все как одна одетые в чёрные плюшевые жакеты с сумками через плечо и бидонами на коромыслах. Утром они везли продавать в город на Средной или Мытный – «официальные» рынки – молоко, творог, сметану, яйца и то, что на грядках выросло. Часто упоминали самый близкий к станции Хитрый рынок на Мызе. А бывалые обзавелись постоянными покупателями и развозили свои продукты прямо по адресам.

«Рабочий» ходил в удобное время: «без десять семь» – туда, «без двадцать пять» – обратно. При разговоре о расписании поездов, и не только в этих случаях, требовалось уточнение: в семь по местному или по московскому времени. Горьковское время обгоняло московское на один час. Такую канитель, ко всеобщему облегчению, отменяют только в марте 1957 года с изменением границ часовых поясов.

К вечеру, чтобы уехать домой, на Мызе пассажиров собиралось особенно много. На «рабочем» домой возвращались все, кто днём так или иначе добрался в город. Захват поезда начинался ещё на ходу. Приближающийся к станции состав, притормаживал, пробираясь через массы народа, бесстрашно запрудившего не только станционную зону (зону несуществующей платформы), но занимавшего и сами подъездные пути. Машинист подавал просительные гудки, но толпа освобождала рельсы не спеша. Используя запас сил, сохранённый от рабочей смены, представители трудовых резервов развивали скорость, равную скорости движения состава, хватались за поручни, на ходу вскакивали на подножку и юркали в вагон, спеша освободить путь наседаящему удалцу и занять деревянный диван товарищам по цеху. Через две минуты состав окончательно останавливался, и таких притких пассажиров в вагоне набиралось уже немало.

Следом за парнями, гремя теперь уже пустыми бидонами, насколько могли проворно карабкались тётки в жакетах. Они суетливо рассаживались на свободных местах, притуляли свой громоздкий багаж и, заботясь о подругах, кричали: «Займи Зинке! Зинке займи!»

Внутри вагона вскоре становилось не протиснуться. Снаружи кричали: «Середина пустая! Войдут и станут!

Людям тоже ехать надо!» Но всё попусту. Анкудиновские и не хотели толкаться в вагоне, теснились в тамбуре, устраивались на буферах между вагонами. Летом молодые пролетарии гроздьями висели на подножках вагонов, одной рукой уцепившись за поручень, другой зажав пальцами папиросу «Север» или таская из кармана семечки. Кому ехать подальше – до Большой Ельни или до Ройки, – залезали на крышу вагона. Рубаха пузырярем, кепка поглубже на лоб. За проезд на свежем воздухе обращаться в кассу было ни к чему.

Когда поезд, громыхнув и скрежетнув своими сочленениями, трогался и набирал ход и посадочная суeta утихала, пассажирки разворачивали кульки и свертки с едой, купленной на вырученные деньги. Первый раз с раннего утра ели батон, колбасу, ароматную копченую рыбу, перевязанную шпагатом. «Ножичек есть?» – спрашивали у мужчин. А мужички брали у молочниц крышки от бидонов – они были с углублением, и в них было удобно наливать. Торговое оснащение – разнокалиберные бидончики и бидоны, мерные литровые и пол-литровые кружки – клепались такими же умельцами, и любители разлить хорошо знали, а может, и сами закладывали в форму крышек это дополнительное полезное свойство.

Перекусив, женщины, не прекращая обмена впечатлениями о поездке, доставали вязанье, крючки и катушки с нитками, мужчины закуривали и раздавали карты.

Кино на Селекции как, по словам Ленина, самое массовое из искусств, неизменно пользовалось вниманием публики. Деревянный клуб совмещал в себе и столовую и был неказистым: небольшой коридор с окошечком «Касса» вёл в зрительный зал с дощатой сценой и тремя окошками в противоположной стене, откуда светил киноаппарат. Зрители покупали билет и по своему усмотрению рассаживались на длинных скамейках, расставленных примерно рядами, но ещё до начала фильма ряды смещались вдоль и поперёк: компании хотели сидеть поближе друг к другу, чтобы обмениваться впечатлениями по ходу действия, передать друг другу папироску и огонька, про-

сто потолкаться и потискаться. Когда фильм заканчивался, толпа, хрустя слоём шелухи от семечек на полу, скамейки просто расталкивала коленками, прокладывая кратчайший путь на выход. Так что ряды не соблюдались.

Фильм шёл частями: отрывками по десять минут, после чего следовал минутный перерыв для перезарядки плёнки в кинопроекторе. С такой же неотвратимостью, с какой следовали эти технические перерывы, публика громким гудением выражала неудовольствие: действие, как по заказу, прерывалось на самом интересном месте. А уж если киномеханик оплошает, аппарат не застрекочет, на экране (побеленной стенке) появляется картина конца света – плавление киноплёнки, зал взрывается многоголосым свистом в два пальца и дружным топотом ног. Раздавались ликующие вопли: «Сапожник!» и «Фильму давай!» Самые проворные парни успевали вскочить со своей скамейки и подставить под луч света из окошка киномеханика умело составленные фигуры из пальцев. Тень от них на экране вызывала одобрительный смех и подначивала к таким упражнениям товарищей зрителя.

Мама отпускала меня с ребятами в этот очаг культуры. Смотрел «Весёлых ребят», комедию «Свинарка и пастух», фильм «Звезда» про наших разведчиков. Сержант Мамочкин в исполнении актёра Николая Крючкова пел песню: «Танк танкетку полюбил, в лес гулять её водил. От такого романа вся роща переломана!» Публика гоготала: по местным пуританским понятиям такая песня с экрана была на грани дозволенного. Женщинам нравились «переживательные» картины про любовь и слёзы. Когда киногерои на экране с чувством сливались в поцелуе, в тёмном зале начинался натушливый смех, выкрики и свистки. Кроме наших «Звезды» и «Кубанских казаков» привозили американские фильмы, которые публика называла трофейными. В «Серенаде Солнечной долины» на лыжах с гор здорово катались, а так – ничего хорошего. Другое дело про Тарзана. Крутили много серий: «Тарзан — человек-обезьяна», «Тарзан и его подруга», «Тарзан и амазонки». Какие-то серии назывались «Тарзан и мальчик» и даже «Тарзан в разорванных трусах». Фильмы были чёрно-белыми,

но очень красивыми. Природа была невиданная: дремучие джунгли, реки и заливы, кишашие аллигаторами, с огромными кувшинками виктории регии, низвергающиеся водопады в облаках брызг и пены, непроходимые тропические гущи, населённые обезьянами, ягуарами, гигантскими анакондами! На Базе такого никто не видал, если не считать картинок в книжках. Чёрного ягуара даже в городе в зверинце не было. А сам Тарзан! Отважный и ловкий атлет, чувствующий себя в джунглях как дома. Риск, мужество, благородство, неразделимое слияние с природой, привязанность шимпанзе Читы, подруга Джейн и любовь.

Насмотревшись кино, мы лазили по всем подходящим деревьям, которые называли «тарзанками», сооружали на них себе жилища, раскачивались на привязанных к сучьям веревках, изображавших лианы. В подражание призывным кличам Тарзана перекликались гортанными звуками, прикрывая рот ребром ладони.

Пирата — немецкую овчарку — отец щенком привёз с войны в Линду в сентябре 1945 года. Пират был постарше меня на год, расти дальше мы стали с ним вместе. Друг меня охранял: когда меня отпускали купаться, мама кричала вслед: «Сергей, Пирата возьми!» Пират помогал мне пасти гусей. Сильный был: мог таскать воду с фонтана. Я или Галя наливали ему полведра, потому что он много расплёскивал, и пёс, не останавливаясь, нёс ведро в зубах до самого дома. Папа нам выговаривал за эти шутки с собакой. Зимой Пират катал меня на санках по утоптаным снежным дорожкам.

Папа обычно брал Пирата с собой, и пёс весь день накручивал километры за папиным тарантасом или санями. Пирату это нравилось — ливер на скотном дворе для него всегда находился, отец сам будет голодным, а собаку накормит. Дома место Пирата было на улице под лавкой, у входа, под окном кухни. Пёс был умный от природы, никто с ним дрессировкой не занимался. Никогда не знал ни верёвки, ни цепи на шее и ни разу никого не укусил, зря не брехал. Однажды, правда, сильно напугал пришедшего к папе человека. Тот не заметил Пирата под лавкой и про-

шел к нам, но дома никого не было, и он двинулся на выход. Пират вылез из-под лавки, человек перепугался, стал и стоит, и Пират стоит напротив. Человек делает шаг в сторону, Пират рычит. Смотрят друг на друга. Ну, тут мама пришла из сарая. Пират ревностно оберегал свою территорию. Бежит какая-нибудь собака мимо, если маленькая, Пират вскочит, рывкнет, та наутёк, поджав хвост. Пират опять под лавку укладывается. А если чужак — крупный кобель и пытается прошествовать без нужного уважения к хозяину местности, Пират пулей вылетает с клыками наизготовку. Псы скручиваются в рычащий ком, пыль, клоушь шерсти, смотреть страшно. Гремит в коридоре ведро, мама появляется с ковшом Большой Медведицы, полным воды, быстрым твёрдым шагом подходит к схватке и в упор окатывает оскаленные морды. Псы отскакивают друг от друга. Мама на Пирата: «Пошёл на место, ну!»

Литровый ковш для воды у нас был такой формы, что посмотришь сбоку, контур — точно созвездие Большой Медведицы. Когда я услышал название этой небесной плеяды — Ковш, нисколько не удивился: конечно, это в честь нашего ковшика.

На ночь Пират укладывался в коридоре. Только зимой в сильные морозы ему разрешали на ночь зайти на кухню. Папа приоткрывал дверь, Пират вскакивал, но только когда ему говорили: «Ну, иди, быстро!», перескакивал через порог, с благодарностью смотрел на отца и размахивал хвостом. Утром, когда дверь из кухни в коридор открывали и говорили: «Пошёл, пошёл вон!», Пират так же преданно смотрел в глаза, вилял хвостом, но делал вид, что не понимает. Тогда мама легонько поддавала ему под зад ногой.

Пёс был видный — крупный, красивый, производил впечатление на противоположный пол.

Тётя Аня Гладкова держала собачку Пальму. Неприятельного вида рыженькая дворняжка была тем не менее редкого утонченного нрава: стоило заиграть где-нибудь гармони, она оставляла все свои дела и бежала слушать. Когда из дома Дорониных — Гладковы жили с ними по соседству — раздавались звуки фортепьяно, Пальма усаживалась под окнами и от всей души подвывала.

Собираясь спать, хозяева во избежание нежелательных свиданий с кавалерами закрывали Пальму на веранде. Разбилось как-то окошко на этой веранде, и его временно забили фанерой. Ближайшей же ночью на веранде обнаруживается ублаговторённая парочка: Пальма и наш Пират – отодрал фанеру и влез. Чтобы не выслушать грубости, пёс, не мешкая, но и не теряя достоинства, ретировался через то же окно, оставив свою кралю на выволочку хозяйке.

1953 год

Новогодние праздники начинались за несколько дней до первого января, когда мы с мамой садились перебирать игрушки. Я очень это занятие ждал и недели за две начинал: «Мам, ну когда будем игрушки перебирать?» Наконец мама достаёт из тёмной комнаты посылочный ящик, накрытый ватой, и мы усаживаемся за стол. Появляются стеклянные бусы, сосульки, часы, грибы, груши, шишки и вот самое ценное – хрупкие восьмигранники из дюжины тоненьких стеклянных трубочек с утолщенной трубочкой в середине, мы их называли «дирижабли». А сколько шаров разных! Потом достаются игрушки из папье-маше: зайчики, утята, кораблики... Все эти игрушки были совсем не такие, которыми я играл целый год: те были обыкновенные, а от этих веяло праздником, Дедом Морозом, в них таилось немножко волшебства, пусть даже некоторые были старенькими и требовали починки. Вот мы с мамой их и ремонтировали, и новые делали игрушки по рисункам из отрывного календаря: вырезали снежинки и звёздочки, склеивали длинные-предлинные цепочки из разноцветных бумажных колечек и флажков, гирлянды.

Мама и без новогоднего повода находила время со мной заниматься. Мы вырезали откуда только было можно: из газет, из листочков календаря, из открыток – рисунки, фотографии, портреты, скульптурные изображения Владимира Ильича Ленина. Когда вырезок набиралось достаточно, мы их аккуратно обрезаем и клеивали в специальный альбом.

По маминому наказу мне привезли из Москвы набор «Сделай сам». В большой картонной коробке чего толь-

ко не было для домашнего творчества: множество деталей одежды, обуви для персонажей детских сказок, домиков и дворцов, машин и корабликов, шкафов и комодов, тумбочек и сундучков, кроваток, хозяйственной утвари – и всё это из цветной бумаги и картонок. В коробку были вложены инструкции-картинки и даже инструменты: бутылочка с клеем-гуммиарабиком, иголки, картонные шпульки с разноцветными нитками, маленькие ножницы. Зимними вечерами сидели мы с мамой за рукоделием.

На Новый год папа привозил из леса обязательно большую ёлку – звезда под потолок. Перед самым Новым годом мама пекла из теста квадратики, ромбики, кружочки, их тоже развешивали на ёлке. В городе покупали красивые, с зимним рисунком на обёртке – льдины, айсберги – вафельные конфеты с ореховой начинкой «Мишка на Севере». Им отводилось место на самом верху – около звезды, надо было на стул вставать. Только к этому празднику в городе «выбрасывали» (так говорили про товары, которые появлялись в продаже редко) жёлто-оранжевые фрукты из заморских стран – мандарины. Их запах был неразрывно связан с Новым годом, это был главный запах Нового года. Подарок без двух мандаринов новогодним гостинцем не считался – просто подарок по случаю. В последнюю очередь ёлку опоясывали рядами бумажных цепей и по веткам раскладывали «снег». Этого «снега» было полно – вату папа с работы приносил. Вечером в самый Новый год на ёлке зажигали свечи. Их вставляли в прищепки, которые зажимались на ветках. Колеблющиеся огоньки ёлочных свечей наполняли комнату теплом, уютом и спокойствием. Тома, сестра, научила меня тушить свечки. Если пальцы послуныявить, так ничего страшного – схватишь фитилёк, и свечка погаснет, только струйка приятного дымка завьётся. Когда Тома дома была, я, проснувшись утром, босиком по холодному полу перебежал к ней, залезал в кровать, и мы давали друг другу задания: «А найди... серебряную лису!» Надо было найти на ёлке и точно показать вытянутой рукой.

Ёлка обычно стояла у нас чуть ли не до самого папиного дня рождения – 2 марта. Я влезал на стул, снимал игрушки

и передавал их маме, а мама аккуратно складывала в коробку. Снятые печенье и конфеты можно было есть. За это время ёлка уже поднадоедала, мешалась, и возможность под занавес полакомиться возмещала причинённые неудобства.

По репродуктору на кухне неожиданно стали говорить как-то по-другому: тревожно и торжественно. Мама что-то спрашивала у папы и вопросительно смотрела на него. Папа хмурился и не отвечал. Пришёл портной дядя Гора без выкроек и шитья, и они с мамой о чем-то негромко разговаривали. Катерина зашла, постояла у порога, вытирая глаза кончиками платка, и они молча с дядей Горой пошли к себе.

Диктор Левитан по репродуктору объявил, что 5 марта 1953 года умер вождь советского народа и трудящихся всего мира. «Тяжелая болезнь», «с чувством великой скорби», «перестало биться сердце», «все слои», «отпор агрессору», «китайский народ», «сплотиться вокруг» и так далее. Играла траурная музыка. Над крыльцом Воронцовых повесили красный флаг с чёрной лентой.

Через несколько напряжённых дней всеобщей растерянности и тревоги мама сказала, что завтра будут похороны Сталина. В 12 часов все пароходы, паровозы, заводы и фабрики по всей стране остановят работу и включат свои гудки. В этот момент мой взгляд упал на гогочущую стаю гусей около сарая. «А гуси тоже остановятся?» Что меня дёрнуло это спросить? Ведь открывал рот и понимал, что глупость спрашиваю, только маму рассердил.

Девятое марта. В день похорон нас и других жильцов дома неожиданно позвали к себе Гришины родители. Научные сотрудники Ольга Петровна и Герман Ильич Конкины были дружелюбными и улыбчивыми соседями. Жили от нас за стенкой, но никогда от них не доносилось ни звука, ни шума. Ни с кем из соседей особо близкого знакомства не заводили, но и не ссорились. Их сын Гриша (на год младше меня) был всегда аккуратненько одет, в наших шалостях и выдумках активного участия не принимал.

На комодѣ стоял радиоприѣмник «Балтика». Приглашённые расселись на расставленные стулья и принесѣн-

ные с собой табуретки и под похоронные мелодии стали слушать репортаж с Красной площади. Мужчины молчали, женщины негромко плакали. Я сидел чинно, старался слушать диктора и переживать.

Передача из Москвы погребальной церемонии была длинной, тягостной. Присутствующие начинали уставать, мужчины стали выходили курнуть. Я рассматривал радиоприѣмник: не то что репродуктор у нас на кухне на стенке, большой, в блестящем корпусе вишнёвого цвета с красиво закруглёнными углами. Широкая жёлтая шкала с цифрами в несколько рядов, красная полоска-указатель, по краям две двойные ручки-крутилки, а в середине «магический глаз» – ярко-зелѣная лампочка с пуговицу.

Замогильный голос из приѣмника объявил пять минут молчания, все поднялись и стали стоять. В тишине всхлипывания женщин возобновились. Тут мне понадобились огромные усилия над своей несознательностью – меня стал разбирать смех. Я представил двор и гусей. Что они сейчас делают? От сдерживания смеха живот у меня стал содрогаться, я из последних сил крепился, но всё равно хрюкал. Дотерпел ли я до финальных аккордов гимна и прощального пушечного салюта, или мама меня выставила за дверь? Стоило мне оказаться на воздухе, предательские приступы смеха как рукой сняло.

Осенью пойду в школу и там встречу с вождѣм. Сталин посмотрит на меня с портрета с лёгкой отеческой улыбкой из-под усов. Не обиделся.

В ближнем верхнем бараке были отведены помещения под фельдшерский пункт, ясли, детский сад. В том числе там был магазин (на Базе было принято говорить «мага́зин»), меня посылали туда за хлебом. Мама давала мне зелёную трѣшку или синюю пятирублёвку, изредка – десятирублевую бумажку с Лениным. Один раз дала сине-зелѣную 25-рублевую купюру. «Положи в карман, не потеряй». Мне хотелось рассмотреть банкноту. Я вытащил её из кармана, 25-рублёвка торчала с обеих сторон кулака. Я разжал руку, чтобы получше рассмотреть деньгу. Зима, день был ветреный, бумажку сдуло с ладони и понесло

по насту. Я бросился за ней, проваливаясь в снег и падая. Как-то догнал, схватил. Напугался.

Мне нравилось, пока стоял в очереди, рассматривать полки. Полки были застелены белыми салфеточками со свисающим мысиком, на них треугольными пирамидами расставлены консервы в стеклянных и железных банках. В маленьких стеклянных баночках была тюлька в томатном соусе, вкусная! На самой верхней полке – с пола и не достать – в ряд стояли металлические литровые банки с яркими жёлто-чёрными наклейками. Но их никто и не покупал. А вот мне один раз дома велели купить такую банку, сказали, как называется. Галю привезли из города, где она лежала в больнице, я слышал, говорили «гипертония», и вот меня послали за ананасами для неё. Продавщица (мама говорила «приказчица») посмотрела на меня, искала на что встать, достала эту банку, передником стёрла с неё пыль. Передником, не тряпочкой, которая всегда была у неё под рукой. Когда дома открыли банку, я увидел плавающие в ароматном соке желтые круги с дырками в середине. Это лакомство в основном мне и досталось, запах и вкус были необыкновенными!

Сахар был ходовым товаром в нашем магазине. Продавщица спрашивала: «Песку или колотого?» Покупательница тоже спрашивала: «А пилёный-то разобрали, что ли?» Продавщица ловко свертывала из бумаги – стопка нарезанных газет лежала у неё наготове – большой пакет и насыпала совком или накладывала в него здоровые, с мой кулак, неровные куски колотого или желтоватые кубики пилёного сахара. Сахар покупали с получки, сразу помногу.

У папы легко выходило колоть большие головки сахара. Он клал кусок в ладонь и стучал по нему тупой стороной ножа. И так ровно откалывалось! Я тоже пробовал, но промазывал, много крошек получалось.

Песок мама ставила на середину стола в большой вазочке из синего стекла на высокой ножке, в неё мама складывала и «хворост». Зачерпываю чайную ложечку с горкой и несую к стакану с чаем. Песчинки сыпаются и предательски стучат по клеёнке. Папа сердится, я уже знаю, что

он скажет: «Шляпа! Пододвинь к себе!» Как-то, наверно, было туго с сахаром, и папа принёс стеклянную банку со сладким белым порошком – глюкозой. Глюкоза не скатывалась с ложки, но мне не понравилась.

Когда в магазин привозили селёдку и открывали бочку, приятный терпкий запах распространялся по всему магазину и дальше. Новость быстро разлеталась: селёдочку, как и кильку пряного посола, покупать любили все – с картошкой первое дело. Продавщица выбирала рукой из бочки рыбину сиренево-стального цвета с приставшими горошинками перца и корицы и вопросительно смотрела на покупательницу. Та уточняла: «Достань вон пожирнее!» Сельдь плюхалась на алюминиевую чашку весов. Продавщица вытирала руки тряпочкой, составляла на другую чашку разновес, щёлкала костяшками счётов, принимала деньги, отсчитывала сдачу, вручала серебряную рыбину покупательнице на газетном листе и опять тряпочкой вытирала от рассола весы и руки.

Рядом с бочкой селёдки стояла бочка с подсолнечным маслом. Поллитровки приносили с собой, и продавщица наполняла их, зачерпывая масло кружкой и наливая в бутылку через жестяную воронку. Заткнуть горлышко скрученной бумажкой – это была уже забота самой покупательницы. Продавщица только обтирала бока бутылки всё той же тряпочкой.

Чаще всего в магазин шли за хлебом. В ожидании, когда придет хлебовозка, женщины занимали очередь, сидели на крыльце, разговаривали. «Сплетни разводят» – по маминому выражению, она терпеть не могла, когда кому кости перемывали. Хлеб привозили чёрный, белый и городские булки. Заказ продавщице мог звучать так: «Два ржаного, кирпичик белого и три сайки». Белый мама не любила, на самом деле он был серый. Городские булки – сайки (в Федякове их называли «французскими», а федяковских за это – «французами») – бывали продолговатые или заплетенные в форме голубков с глазами-изюминами. Мы их не покупали – печь мама и сама могла ещё как.

Впрочем, в прозвании «французы» можно услышать и притязательные на историю предположения. Рассказывают,

что после войны 1812 года пленённых вояк Бонапарта по пути из Нижнего Новгорода в Казань пригнали в Федяково на возведение памятника в честь победы русского оружия по примеру храма Христа Спасителя в Москве. Руководил строительством церковный староста – федяковский крестьянин Василий Никитич Шамаев, а инославных использовали на подхвате. Пленённым французам село, точнее его жительницы, приглянулось, и жаны-мишели стали заводить с ними шуры-муры, выходившие за рамки обычной интернациональной дружбы, что впоследствии и стало поводом для намёков на непатриотичное поведение федяковских.

У базинских покупателей пользовались спросом конфеты – разноцветные «подушечки». Они слипались в коробке, продавщица совком их отковыривала, а покупательницы недовольно ворчали: «Песком не посыпали!» Мама любила конфеты «Цитрон». К празднику сёстры привозили из города эти конфеты в блестящей зелёной обёртке с изображением двух ярко-жёлтых лимонов.

На прилавке, в сторонке от весов, лежала и была развешана, как мама говорила, «мануфактура»: рулоны ткани – отрезы, фуфайки, бельё всякое, платья, юбки, чулки. Стояли стопы больших и маленьких тарелок, лежали семилинейные стёкла для керосиновых ламп, мотки бельевой верёвки, тёмно-коричневые бруски 72-процентного мыла, чувяки – самый распространенный у базинских женщин вид обуви летом, блестели чёрной резиной галоши с красной подкладкой. Покупательницы сгрудятся, рассматривают какой-нибудь сарафан, щупают, прикладывают к себе, рассуждают, личит, нет ли.

Раз в год у магазинной общественности появлялась тема, вызывающая всплеск горячего интереса. Мне лучше было в эти дни в магазин не ходить. Покупательницы указывали на товары и наперебой беспрерывно говорили: «А было-то сколь? А на эту? И на эту тоже? Уценили, хорошо уценили!»

Первого апреля с раннего утра по радио диктор оглашал постановление правительства и партии о снижении розничных цен на продукты питания и промышленные товары широкого потребления и начинал зачитывать длин-

ный перечень. Тут были и хлеб, и сахар, и бензин, и обувь, и ткани, снижение цены на которые составляло и двадцать-тридцать процентов, и полтора-два раза. Можно было услышать и: «Спицы велосипедные – на 3 копейки».

В магазин в основном ходили женщины. И вообще, на Базе женщин было заметно больше, чем мужчин. Из разговоров взрослых могло сложиться впечатление, что много мужчин в тюрьмах сидели. После войны шла большая волна арестов. У Лёньки Емельянова отец сидел, но скоро должен был выйти – была объявлена большая амнистия.

Мужчины в магазин заходили только по делу. Очередь прерывала свои разговоры и расступалась: «Им, чай, без сдачи!» Мужички проходили к прилавку всегда в хорошем расположении духа и весело обращались к продавщице: «Беленькую давай (или красненькую)!» На закуску брали буханку хлеба, плавленый сырок, стеклянную баночку тюльки в томатном соусе или рыбы с перловкой (позже полюбили «Завтрак туриста») и обязательно пачку-две папирос «Север» или «Прибой». Вместо мелочи на сдачу получали спичечные коробки с белкой на этикетке по 1 копейке. Рассовывали товар по карманам и, отпуская шуточки, проходили через толпу на выход.

Спички в качестве сдачи постоянно были в большом ходу. Под рукой у продавщицы на прилавке стояла картонная коробка Главспичпрома, без спичек никто не уходил, и брали охотно: у всех печи, керогазы, керосинки, кое у кого примус «Рекорд 1», красивого вида, но капризный – засорялся, гас и только шипел, как гусак. Часто на Базе сидели без света – «фаза пропадала». На этот случай свечки, керосиновые лампы, фонари «Летучая мышь» в каждом доме были припасены, и тоже – как без спичек? А мужикам курить? Трофейные зажигалки редко у кого водились.

Иногда я ходил на скотный двор с папой, если он не уезжал на Селекцию. Пока папа занимался своими делами, я сидел развесив уши в возницкой. Было отгорожено помещение в конюшне – «контора» конюха – с лавками вдоль стен, над которыми на деревянных гвоздях, вбитых в потемневшие от времени стены, была развешана конская

амуниция: дуги, хомуты, седёлки, уздечки, вожжи, супони. Извозчики сидели в ожидании указаний, кого запрягать и куда ехать. Вели разговоры, покуривали. Приготовить курево было целым делом, которое делалось чинно и с удовольствием. Доставали из кармана металлическую плоскую баночку, извлекали щепоть крупной махорки, насыпали её в газетный листочек, разравнивали, языком проводили по краю газеты, придерживая побуревшим от табака пальцем, чтобы не просыпать махорку, сворачивали козью ножку и, наконец, приставляя горящую спичку, раскуривали. Различаться ритуал мог только мелочами: вместо круглой баночки из-под монпансье (чтобы не затрудняться с проносом, говорили «от ландрина») мог быть кисет, вместо газетного клочка – кусок оберточной бумаги или четвертушка тетрадного листка. (Говорили, что до войны продавали папиросную бумагу.) У некоторых махра была насыпана прямо в карман брезентового плаща или ватника. Закуривая, густо кашляли. Без сизого дыма, закоптившего до черноты деревянные стены и до непрозрачности маленькое окно, эту конторку не представить. Постепенно упряжь разбиралась со стены, мужики расходились запрягать лошадей и разъезжались по работам.

Мама не одобряла моего торчания на конюшне.

У конюшни была ещё одна значимая для жителей роль – отделения связи. В возницкой на стене висел чёрный телефонный аппарат с трубкой сверху; ни диска, ни кнопок с цифрами на нём не было, была сбоку рукоятка, и, если её несколько раз крутнуть, в трубке слышался женский голос: «Станция слушает!» – это отвечали с Селекции. И можно было сказать: «Дайте телятник!» Тут же стоял фанерный ящик с продолговатым отверстием – письма кидать, открытки. В течение дня на Селекцию и лошади ездили, и машины, и трактора – кто-нибудь отвезёт почту.

Жил на конюшне козёл. Здоровенный, с длинными рогами, обросший серо-буро-жёлтой шерстью, клоки которой свисали с боков. Летом была у него почетная задача – овец пасти. Селекция овец не держала, но у работников в личных хозяйствах овец было много. Часто пасти их выго-

няли в одном стаде с другими жвачными – коровами, так дешевле. Выгоняют люди утром свою скотину, и овцы попадают под опеку козла. Эту представительную животину овцы принимали за своего жоака. Овечьему стаду оставалось только следовать за мудрейшим по пятам – он знал, где растёт зелёная травка.

С этим козлом было у нас развлечение. Ждали, когда к вечеру слышатся побрякивание ботал, многоголосое мычание и блеяние; стадо, подымая дорожную пыль, бредёт домой, хозяева разбирают сытую скотину по дворам. Козёл, оставшись без подопечных, задумчиво стоит на дороге, потряхивая седой бородой. Тут-то его и поджидает стадо других баранов. Надо было как можно ближе приблизиться к козлиной морде и издевательским голосом мекать: «Мме-мме-мме!» Дразнильщиков было много, и все крутили шарманку: «Ме-ме-ме-е...» Да ещё и руки тянули к самому козлиному носу: на, мол, ешь, а в щепоте-то ничего и не было. Только что признанный авторитет, а тут унижаемый балбесами, козёл терял терпение. Наклонив рога, он стартовал, желая поддать хорошенько ближнему обидчику. Мы бросались врассыпную. Тот, кто был выбран козлом в качестве цели для атаки, считался победителем аттракциона. Козёл был незлобивым и преследовал сорванца всего несколько шагов, так что утекать можно было без особого труда. Ленку козёл принимал за овечку и не обращал на неё внимания.

Предводительство глупыми овцами вельможный козёл осуществлял в свободное время попутно со своими прогулками. Главная работа, для которой его держали на конюшне, заключалась в другом.

Ласка – ловкий, проворный и агрессивный хищник с округлыми ушками и острыми зубками, с виду симпатичный зверёк, похожий на маленького горноста. Эта тварь любит солёный лошадиный пот. Она прыгает на лошадь, щекочет, вертится волчком в гриве – «косу заплетает», сбивает волос в колтуны. Напуганная лошадь мечется, покрывается пеной, а пакостный зверёк слизывает выступающий пот, доводя лошадь до изнеможения. Проспит конюх – наутро на лошади следы засохшего пота, грива

спутана, неспавшее животное изнурено, уставшее, истощено физически и морально.

Спасением от мучительницы и был козёл. Вернее, густой дух, который источала его большая волосатая туша. Несло так, что хоть святых выноси. Терпеть тяжёлый козлиный «аромат» могли только малолетние озорники, которым что в лоб, что по лбу. Ласку же прескверное зловоние в конюшне отпугивало, тем самым избавляя лошадей от этой проказницы.

Добродушного козла-то дразнить мы были горазды. А вот поди быка подразни! Обычно два-три огромных племенных быка оставались стоять в коровнике в отдельных стойлах на цепях, когда коров выгоняли. На лугу перед Богацкой, да и наверху, где были коровники и конюшня, паслись или шествовали «молочные фабрики»: чёрно-белые холмогорки и красно-белые симменталки. Иногда стадо возглавлял бык. Его покатую холку поверх коровьих хребтов было видно издалека. Туша размером с железнодорожную цистерну лоснится на солнце и опирается на четыре столба, готовые вздымать землю и выкидывать пудовые куски дёрна. Поддёргивается толстый хвостяра с кисточкой, похожий на метлу. Растопыренные уши, чугунный между ними лбище увенчан направленными в будущую жертву железными рогами. Из бычьих глаз сыплются искры, ноздри выдувают струи дыма, между рогами с сухим треском проскакивают синие молнии. Широко расставленные буркалы красны от ненависти и горят жаждой расправы.

Случись встретиться в каком-нибудь прогоне, мы невольно замирали при виде стада в сопровождении быка. Коровы, подгоняемые щелчками пастушеского кнута, и всё окружающее исчезало из нашего поля зрения – глаза застил бычара. Бык бросится на красное и не успокоится, пока не вдавит в землю, побежишь – погонится. Пугались до смерти, вдруг рассмотрев на себе оранжевую майку или коричневые штаны. Страх завораживал мальчишек, и без того впалый живот втягивался до позвонков, тонкие ноги деревенели и подгибались.

Если стадо с быком паслось на лугу перед Богацкой, пассажиры, идущие на станцию в Анкудиновку, сворачи-

вали с дороги и обходили его стороной, спешно стаскивая с себя или пряча коричневые и розовые кофты и рубахи, которые быку могли показаться красными.

На дневную дойку, в обед, пастух пригонял гурт в нашу рошу. В ожидании доярок с подойниками коровы располагались в тени под берёзами, где не так припекало и было поменьше оводов. Стадо оказывалось позади наших сараев и поблизости от дома. И вот однажды отчего-то взбесившийся бычище поднял на рога воронцовское крыльцо, выдрал и расшвырял толстые доски и брусочки, как спички. Все попрятались, из дома нельзя было выйти – так буйствовал.

Стальное кольцо в раздувающихся ноздрях добавляло виду быка свирепости и нагоняло на нас страх ещё больше, хотя предназначается оно для усмирения бугая. Как его вставляли? Вот папа и вставлял. Желаящих не находилось, да папа и не доверит: ошибка может привести к тяжёлой болезни животного. Кольцо в ноздри вставляют бычку в годовалом возрасте, а весит он к этому времени три центнера. Прививок и других уколов папа переделал скотине бесчисленное множество. Со шприцем к «пациенту» надо приблизиться вплотную и несколько секунд рядом стоять. А он может к стойлу так притиснуть, что кости затрещат, головой мотанёт – через загородку перелетишь.

Мама всё время просила отца быть осторожнее, «не лезть на рога».

Пастухи пользовались уважительным вниманием мальчишек. Их кнуты! Свистнет или гортанно крикнет пастух отошедшей в сторону корове, та уже понимает и, прекратив щипать траву, которая здесь показалась ей погуще, разворачивается к стаду. На не такую догадливую корову снимает пастух с плеча кнут, замах, рывок рукой – выстрел! От одного только оглушительного хлёсткого щелчка корова опрометью кидается к товаркам. С кнутом шутки плохи – оружие! Короткое, отполированное ладонью кнутовище, длинный, метров, может, и пять, сужающийся к концу хитро плетённый тремя коленами из ленточек сыромятной кожи ремень. На конце – косичка из конского волоса. Были случаи, неосторожный удар рассекал корове бок или ногу,

не дай бог – вымя. Отец негодовал. Виновнику доставалось по первое число, вплоть до того, что выгоняли с работы.

А для своего стада пастуха искали по всем окрестным деревням с ранней весны или даже уговаривались с ещё прошлой осени. Хозяйки хороших пастухов не только почитали, но и побаивались. Пастуху и деньги собирали хорошие, и кормили по очереди. Приносили обед прямо «на рабочее место», куда скажет. Как огня боялись – осудит. В глаза не скажет, а другой хозяйке заметит: «Вчера мало принесла!» Или: «Сахара в компот жалеет!» Чего себе на стол не позволяли, а пастуху несли. Мама меня посылала отнести обед пастуху: кастрюльки с едой, тарелки, кружка, ложка – всё аккуратно завернуто в свежие салфетки, полотенце. Напутствовала: «Не спеши, прольёшь!» Встречала настороженно: «Что говорил?»

Корова вечером приходит сытая, гладкая, вымя еле тащит – пастух хороший. Приходит и к яслям бежит или в пустое ведро голову суёт – голодная, не напоянная, вся в репьях, за ногой проволока волочится или – что хуже – молоко горчит, что за пастух? А попробуй, скажи.

На мальчишек накатывала мода на кнуты. Сплести кнут настоящий – длинный и тяжёлый, как у пастуха, – не получалось. Делали из бельевых верёвок, плели из шпагата, бечёвок. Но на конце должен быть обязательно конский волос, иначе это не кнут, а какая-то шлёпалка, шёлкать будет еле-еле. Брала из дома ножницы и шли на конюшню. Конюх, прежде чем разрешить, думал, молчал, потом показывал на какую-нибудь смирную коняшку. Мы не соображали, что промысел не был безопасным: лягни конь, удар копытом мог враз вышибить дух из щуплого тела. Отрезали прядки из хвоста и, довольные, рассматривали свои приобретения. Больше ценился белый или рыжий волос – считалось, громче хлопает. Без кнута гулять не выходили, встанем в круг и давай стрелять, у кого звонче.

1955 год

Это было событие: мы купили КВН-49 – первый советский телевизор! Диво дивное стоило две папиных получ-

ки (по-маминому – жалованья). Теперь в те дни недели, когда по телевизору шли передачи, я старался побыстрее сделать домашнее задание и к семи часам усесться у чёрно-белого (точнее – серо-белого) экранчика размером в пол тетрадного листка. Обычно смотрели мы с мамой: папа в это время ещё был на работе. Первое время показывали кинофильмы, которые раньше шли в кинотеатрах, потом научились делать местные, горьковские передачи.

Мама ещё по репродуктору любила слушать во время своих домашних дел радиопостановки. Им с папой нравилась артистка театра им. Вахтангова Юлия Борисова. Как можно любить по радио? Голос нравился. С удовольствием слушали радиоспектакль «Принцесса Турандот», в котором звучал её голос с неповторимыми интонациями. Теперь мама могла видеть свою любимицу на экране.

Меня мама усаживала к телевизору, когда передачи вёл известный в Горьком мастер художественного слова Александр Познанский, чтобы я учился у него и не проглатывал окончания слов. Познанский проникновенно декламировал стихи наизусть. Его лицо показывали очень крупно: одни выразительные глаза и густые брови во весь экран. Ещё мама старалась не пропустить концерты, на которых песни советских композиторов исполнял детский хор. Мама слушала и утирала глаза краем передника.

– Ну что ты, мама, плачешь-то?

– Детки так поют хорошо...

Когда мне хотелось что-нибудь прояснить насчёт музыки, я обращался к Артемию, он охотно и доходчиво отвечал на любой вопрос. В гостях у Лебединских в их квартире на площади Горького бывали именитые музыканты: обладатель двух Сталинских премий дирижер Кирилл Кондрашин, виолончелист и дирижер и тоже лауреат Сталинской премии Мстислав Ростропович. Артемий говорил, что Ростропович просил его звать «просто Слава». Мстислав Леопольдович был весёлым человеком, сам про себя придумал байку: «Зарился-зарился, маялся-маялся и подавился вишневым косточкой!», намекая на свои ухаживания за известной певицей Зарой Долухановой, прима-балериной

Майей Плисецкой и женитьбу на солистке Большого театра Галине Вишневской.

В 10 часов вечера передачи заканчивались, и дикторша – её звали Ия – диктовала программу на завтра. От дикторши показывали только лицо по плечи, как на фотографии в паспорте. Мама записывала за ней на приготовленном листочке. Иногда тетрадки под рукой не оказывалось, и приходилось впопыхах писать на полях газеты: это-то добро всегда лежало и на столе, и на диване. Папа иной раз днём приляжет, почитает-почитает, накроется «Правдой» от мух и задремлет, потом оставит газету на диване. Вечером с мамой крутят газету так и сяк, разбирают, где что там она написала.

Этот телевизор, правда, сто раз отремонтированный, прослужит у нас полтора десятилетия. А ещё про него шутили: «КВН – купил, включил – не работает!»

Каждый день друзья, завидев меня во дворе, начинали с вопроса: «Чего по телевизору казали?» И я первое время с удовольствием пересказывал содержание фильма. Больше всего интересовали картины про войну. Вопросы ребят обычно повторялись: «А они что? А наши? А немцы? А он что? Ну и чего?»...

Но на первом месте и для детей, и для взрослых были мультипликационные фильмы. Когда их объявляли, мама меня посылала сказать отцу. Я выбегаю в коридор и кричу в сторону сарая: «Пап, иди, мульти! Не кукольный!» Папа приходил всё равно что на последние известия.

Потом начались и дневные передачи. Но при дневном освещении экран КВНа был таким мутным, что надо было чем-то накрываться от света вместе с телевизором. Мама разрешала мне на мультики звать друзей, и они с готовностью залезали под байковое одеяло.

Чтобы увеличить экранное изображение, купили специальную приставку – выдвижную линзу. Сторона линзы, обращённая к экрану, была плоская, а наружная – выпуклая. Линза была полая и сверху имела два маленьких отверстия для заполнения, как сказано в инструкции, с помощью шприца дистиллированной водой. Для усиления эффекта увеличения папа залил в неё глицерин. Если

немного сдвинуть пластмассовые бока линзы, то из отверстия выступала капелька сладковатой жидкости, которую я слизывал. Папа удивлялся: почему уровень глицерина приходится так часто поддерживать?

С линзой изображение на экране увеличивалось значительно, но появлялся эффект «рыбьего глаза», и смотреть телевизор можно было только вдоль одной линии. Мои друзья-телезрители терпеливо таращились, стараясь что-то рассмотреть мимо затылка друга. После фильма вылезали из-под одеяла слегка распаренные и вполне довольные. И мне хорошо – не надо было им содержание телепередачи пересказывать.

1956 год

Папе на Селекции выделяли подписку на приложения к журналу «Огонёк» издательства «Правда». Это были собрания сочинений классиков советской и зарубежной литературы, соответствовавших партийной идеологии: Горького, Мамина-Сибиряка, Романа Роллана, Мельникова-Печерского, Золя. Мама эти книжки читала, а я нет, даже когда подрос. Книги были напечатаны на бумаге с желтизной и серым мелким шрифтом, без картинок, и мне казались скучными.

«Приключения Буратино» я прочитал ещё до школы. Разглядывая книгу, никак не мог понять, нравятся мне картинки в ней или они какие-то колючие. (Потом мне попадались разные издания этой сказки, оформленные другими художниками, но в памяти сохранились только иллюстрации Каневского.) А книга с романом Гюго «Человек, который смеётся» была никакая не смешная и совсем без картинок.

Романы «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого – триптих советской Библии.

Книгу Полевого я увидел на этажерке среди учебников сестёр. Эта книга отличалась своим парадным видом: твёрдый переплёт в атласной суперобложке, название

золотыми буквами на синем фоне, широкие поля и чёткий шрифт на белоснежных страницах, выразительные иллюстрации, тонкая шёлковая ленточка, прикреплённая к корешку – закладка.

Неотразимо подействовала на меня история советского лётчика Алексея Мересьева. Многие события и эпизоды из этой книги долго помнились: о воздушных боях, о несгибаемом Комиссаре, о том, как Алексей залечивал кровавые мозоли после пляски. Постепенно подробности стирались из памяти. И только на удивление крепко запомнилась строчка: «...медведь рванул когтями “чёртову кожу” комбинезона». «Чёртова кожа» – как необычно! И вот что странно. Навсегда запечатлилось в памяти описание сцены, когда Мересьев увидел из окна палаты танкиста, с которым они лежали в госпитале. Танкиста, залечившего раны, выписали, и он в сопровождении девушки вышел из подъезда: «...ступал он легко и пружинисто, прочно...» Почему эти совершенно обычные слова о походке человека засели у меня в голове с тех пор? Почему так глубоко поразила десятилетнего мальчика радость взрослого человека, которому вернулась естественная возможность широко двигаться и не то что сбежать, а ловко соскользнуть со ступенек подъезда? Объяснение этой зарубки в детской памяти найдётся у меня спустя десятки лет.

На день рождения Артемий Александрович подарил мне записную книжку в клеточку в чёрных коленкоровых корочках.

– А что в неё записывать?

– Ну, что хочешь, чтобы не забыть. Напиши, когда родился!

Я написал, начал писать азбуку Морзе, и с тех пор книжка лежала где-то без дела. Дочитав «Повесть о настоящем человеке», я нашёл эту книжку и сделал в ней запись:

Кем быть? (Дата). С 3-го класса решил стать лётчиком реактивного истребителя (в 22 ч. местного времени 41 м. 22/III 1956 г.)

Ольга Ивановна подарила мне книжку «Чкалов» и написала: «...с родины героя-лётчика В.П. Чкалова». Деревня Тимонькино, где жила Ольга Ивановна, входила в

Чкаловский район Горьковской области. Это родные места Чкалова, которые он называл «на Волге».

Я любил читать о войне. Прочитав книгу «Улица младшего сына» о Володе Дубинине, пионере-герое, подорвавшемся на фашистской мине, я сделал из фанерок несколько табличек «МИНЫ», чтобы быстро поставить, если где будет опасность.

Очень увлекательным был документальный фильм французского исследователя Мирового океана Жак-Ива Кусто «В Мире безмолвия». Я с наслаждением всматривался в кадры подводного царства Красного моря на экранчике нашего КВНа. Как я хотел бы вместе с аквалангистами команды «Калипсо» парить в таинственных глубинах «голубого континента» и любоваться их неземной красотой! Где учатся такой работе? Вот бы!

Пионеру не прочитать книжку Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» – это было невозможно и недопустимо. Мы проходили её в школе, разбирали на внеклассном чтении, брали перечитать в библиотеке. По всей стране было развёрнуто тимуровское движение. Девочки и мальчики брали пример с образцового героя Тимура и его товарищей, которые следили за порядком, помогали пожилым, больным и нуждающимся людям и местным жителям в хозяйственных делах. А также тимуровцы вели непримиримую борьбу против шайки Мишки Квакина, которая занималась хулиганством. Но потом под влиянием пионеров Квакин стал понимать, что он и его дружки совершают некрасивые поступки, что они фактически постепенно становятся противниками советской власти.

1957 год

Мама дала нам с Томой задание – отнести на приёмный пункт молоко.

Приёмный пункт молока устроили рядом с церковью. Так близко я рассматривал её впервые. Не бросались в глаза затейливость форм или обилие декора, не было ни статуй, ни барельефов, ни каких-нибудь других финтифлюшек, как сказала бы мама. Видно, средства на её строительство

собирали небогатые прихожане. Но всё равно, как она удивила меня своим внушительным видом особенно по соседству с неказистыми сельскими домишками, покосившимися сараями, кучами хозяйственного хлама, нужниками-скворечниками, грядками с капустой, заборами из чего попало.

Центральное сооружение – громадный кирпичный куб. По высокой стене окна в три яруса – прямоугольные и круглые. Крутая крыша со слуховыми окнами, смотрящими по сторонам света, сверху крыши возвышается гранёный световой барабан, увенчанный главкой. С восточной стороны примыкает полукруглая апсида. В западной части храма ещё выше поднимает главу тоже трёхъярусная четырёхгранная колокольня с широким входом в притвор и среднюю часть церкви. Входные двери заперты на массивную щеколду и большой висячий замок.

Крестов на маковках не было. Когда-то светлые оштукатуренные стены испещрены выщербинами, обнажившими кирпичную кладку с белыми прожилками известковых швов. Высоко в больших проёмах звонницы не видать колоколов, через их пустоту насквозь проглядывает небо и гуляет ветер. Листы поржавевшего железа на воротах в шрамах и вмятинах. Пыльный бурьян обступает цоколь, нагнетая ощущение запустения и уныния.

Печаль, исходившая от существа церкви, являла покорность власти наступивших времён, смирение с никчёмностью своего существования. Что оставалось храму, кроме как покориться судьбе и дожидаться, когда время источит стены и песком занесёт руины? Тогда я не знал, что храм назывался Спасо-Преображенским. Да многие ли фediaковцы, таскавшие в чрево церкви на сохранение мешки с зерном, помнили её название?

Двадцать седьмого октября 1957 года мы переедем в наш новый дом. Взятый папой на работе грузовик ГАЗ-51 с нашими пожитками (Ленкино слово, я говорил «имущество») грузили и разгружали родители, Тома и я.

Потом мама, Ирина Константиновна и мы с Игорем собирали на краю леска недалеко от дома сухие листья для

утепления потолка в новом доме. Ирина Константиновна была рада нашему новоселью так же, как и мы. В доме стоял свежий смолистый запах. Она обводила взглядом жёлтые бревенчатые стены и повторяла: «Свой дом, свой собственный дом!» Им с Игорем ещё долго придётся жить в студенческом общежитии.

Впервые в его жизни и у Пирата появится собственная будка. Пират будет целыми днями поглядывать из неё, вылезая только, чтобы поесть или, далеко не отходя, полаять на незнакомцев, подходивших к калитке. Папино основное хозяйство стало ближе, он обходил скотные дворы пешком, но Пират за ним уже не бегал. К следующей осени у Пирата откажут задние ноги, он даже не сможет самостоятельно выбираться из будки, перестанет лаять. Глаза Пирата станут бесконечно виноватыми. Отец сделает укол.

В моей чёрной записной книжке появится запись: «8 сентября 1958 года умер Пират».

Я похороню Пирата недалеко от дома.

Лил дождь. Горестные слёзы душили меня, смешивались с каплями дождя и ручейками стекали по лицу. «Пират мой! Пиратик...»

Я прощался с другом, прожившим свою жизнь быстрее меня.

Я прощался со своим базинским детством.

Что за диковинное видение мне помнится?

База, зима, вечерние сумерки. Речка наша уже замёрзла, но снегом ещё не замечена. Мы втроём – я с родителями – как-то уселись на санки, и радостный Пират, приседая на задние лапы и скользя, тянет нас по тёмному льду. Мы смеёмся. Это были бесподобные минуты: никогда – ни раньше, ни потом – я не испытывал такого безмерного счастья от того, что я, мама и папа вместе и нам хорошо и весело.

Или это был сон?

Андрей ЗЮЗИН

Балахна

ИЗБА И ВРЕМЯ

Вещи – это всего лишь вещи. Но и у них, как у людей, есть своя судьба.

Наверное, в детской и юношеской памяти многих из нас сохранился какой-нибудь старый дом, изба – где-нибудь на городской окраине или вообще далеко от городской суеты, в деревне. Дом бабушки, дедушки или какой-нибудь тети.

Тема умирающей русской деревни, наверное, изъезжена, избита. Но одно дело – литературный вымысел (пусть и на каком-нибудь фактическом материале), другое дело – просто быть, жесткая реальность.

Мое желание простое: попытаюсь пробудить в читателе ностальгические чувства о личном минувшем – сходные с моими.

Итак, все строго документально – никакой выдумки. В далекие годы моего детства и юности это Ивановская область, Сокольский район, деревня Троица. А сейчас это городской округ Сокольский Нижегородской области – и непонятно, какая деревушка.

Шоссе, соединяющее поселок Сокольское с трассой Городец – Ковернино, пересекает мелкую речку Ширмоксу, которая несет свою мутноватую воду в Горьковское водохранилище, то есть в Волгу. Если от моста суметь продвигаться вверх по течению речки на полтора километра, то

можно наткнуться на остатки Троицы. Отсюда ближайший более-менее крупный населенный пункт – село Гари. До него – около восьми километров (это родина моих предков по отцовской линии).

Моя бабушка рассказывала, что исконное название деревни – Круты (ударение на первом слоге). Это имя вполне соответствует местности: тут что-то вроде невысоких холмов (когда-то – с крутыми склонами), на одном из которых располагалась большая часть домов и построек деревни, а на другом – через овраг, ближе к реке – стояла церковь, закрытая в годы революционного богоборчества, а потом просто заброшенная. Я помню руины той кирпичной церкви – их вид сохранился на одном из моих небольших черно-белых снимков 70-х годов. По сути, это были следы центрального объема строения – просто четыре кирпичных столба, на которых держались остатки свода. Позже не стало даже и руин.

Название сельского населенного пункта, в котором есть или была церковь, привязывалось к наименованию храма. Так что – Троица. Раз храм, значит, село, а не деревня – так подсказали мне знающие люди. Но на моей памяти никто уже не называл Троицу селом – просто деревня.

Тут всю свою жизнь прожила одна из сестер моей бабушки. Каждое лето моего детства – это хотя бы одна или две недели, когда я (и не только я) гостил у бабы Вари. Традиция посещать летом (пусть ненадолго – на два-три дня) сохранилась и в годы моей молодости. Именно поэтому мне так дорога память об этом старом доме.

По былым рассказам старшего поколения моих родственников (уже давно оставивших этот мир), дом строился на переломе эпох – и, предположительно, был полностью возведен к 1920 году. То есть в 60-х годах (период моего безмятежного детства) избе было уже около полувека. Для деревенского жилища – совсем немного. Но баба Варя была незамужней женщиной, и после смерти ее родного брата дом остался без мужских рук. Поэтому, наверное, именно с 60-х началось медленное, неприметное, но неотвратимое угасание этого строения. Конечно же, в детстве и в юности я этого никак не мог видеть, замечать,

чувствовать. Просто был старый дом, в котором живет баба Варя, – вот и все.

Если бы я мастерски владел литературным словом, то тут я приступил бы к подробному (красочному, сочному) описанию избы, строений рядом с ней, погрузился бы в воспоминания детства, в котором была и эта деревня, этот дом, баба Варя, луг, пасущиеся на нем коровы, лес, речка, земляника и еще десятки мельчайших подробностей, оставивших свой неизгладимый след в душе. Наверное, потихоньку я добрался бы и до заоблачных философских обобщений касательно деревенского быта той эпохи...

Конечно, я не смогу этого сделать. Да и возможно ли полноценно передать все то, что когда-то составляло суть бытия этого строения и всего с ним связанного?

Надо сказать, что первоначальный вариант этого моего текста представлял собой небольшую заметку, когда-то размещенную на нашем городском сайте. Фотоснимки – старые (отсканированные) и современные – сопровождали мои воспоминания и размышления. Именно поэтому мне и не приходилось тогда напрягаться в поисках нужных слов – фотографии наглядно показывали, как было и как стало. Ну а сейчас я лишь кратко остановлюсь на кое-каких деталях.

Внутри пространство дома было разделено на две почти равные по площади половины. Предполагая разные помещения одного жилища, мы обычно говорим: «в другой комнате» или «в той половине». А баба Варя говорила по-другому. Например, про какую-нибудь домашнюю вещь: «она не здесь, она лежит в *той* избе». То есть в терминологии бабы Вари дом состоял из двух изб. Чтобы попасть из одной в другую, надо было выйти в темные сени (прохладные летом и холодные зимой). Хотя когда-то (по рассказам моей бабушки, которая, конечно же, хорошо знала историю этого дома, поскольку в молодости некоторое время жила в нем) эти две половины были связаны проемом (дверью?), то есть, чтобы пройти из одного помещения в другое, не требовалось выходить в сени.

Ну, а большая русская печь располагалась, как и положено, в центре строения, то есть отапливала оба помещения.

Баба Варя с молодости была набожной. И в обеих половинах в красных углах висели иконы, маленькими язычками живого желтоватого пламени тускло светились лампадки.

Слева к дому (если смотреть с фасада) прилепилась хозяйственная пристройка. Когда-то тут были хлев для скотины, курятник и всё прочее. Рядом с домом была банька (полностью снесена, если не ошибаюсь, в 70-х), а в двух десятках метров – амбар. Амбарушка – так ласково порой называли эту небольшую постройку. Я хорошо помню амбар – может быть, отчасти, благодаря сохранившимся фотографиям тех далеких дней, когда он выглядел более-менее прочным.

Тогда я, конечно, просто не мог задумываться на тему философского масштаба – о бренности всего земного. Казалось, что такие деревенские строения, как большинство изб деревни, простоят и сто лет. Оказалось, это не так.

Баба Варя ушла из жизни в 89-м. В том году мы с отцом и побывали в ее доме – как мне представлялось, в последний раз. Я уже мысленно простился с деревней, с избой.

Дом по наследству перешел к одной из племянниц бабы Вари (жительнице Пучежа). И как-то само собой случилось так, что однажды, в середине 90-х я и два моих приятеля решили предпринять двухдневный велопробег в направлении деревни Троицы. Целью нашего путешествия была не только и не столько Троица, сколько само наше спортивное мероприятие: физическая нагрузка, романтика шоссейных и грунтовых дорог, тропинок, природа, свежий воздух, вечерний костер на опушке рощицы, ночевка в палатке.

Тогда мне довелось в последний раз войти в избу – еще обитаемую, по-домашнему уютную. Показалось, что время почти не властно над внутренним убранством старого строения. Кое-какие вещи времен бабы Вари так и лежали на своих местах, старые фотоснимки висели на стене.

Вероятно, дом был окончательно покинут в начале нынешнего века. Тогда-то неумолимое время по-настоящему, всерьез приступило к своей разрушительной работе.

В 2011 году, летом с теми же приятелями (но уже на авто) мне удалось побывать в деревне. Разумеется, постоянных жителей там уже не было. Но три дома были обитаемы – наверное, использовались как летние дачи (мы увидели взрослых и детвору).

Когда по тропе мы продвигались в нужную сторону, услышали от одного из мужиков:

– Там дальше ничего нет!

– На что я ответил:

– Есть! Есть там кое-что...

Это кое-что и было разрушающейся избой – добрым кусочком моего детства и юности. Само собой, это было грустное зрелище. Зайти в пространство избы я не отважился, но подошел почти вплотную и сделал несколько цифровых снимков. Стены еще кое-как держали остатки прогнувшейся крыши строения, но печь уже разваливалась по кирпичам. Пожалуй, лишь наличники окон выглядели живыми, остальное же – нет.

Амбар и пристройка к дому постепенно сдавались в плен траве, кустам и деревьям.

Тогда, в 2011-м, я даже не предполагал, что захочу еще раз взглянуть на погружающиеся в пучину времени руины. Но вот в 2022-м что-то подтолкнуло меня, и я заглянул в Сеть: как из космоса выглядит бывшая деревенька?

Понятно, что в картах «Яндекса» немало ошибок. Почему-то на карте это место называется Терёхино. Но я смутно припоминаю, что Терёхино – это заброшенная (уже в 80-х) деревушка через речку – приблизительно в километре от Троицы. Вот так уходят в небытие даже имена...

Итак, летом 2022-го состоялась еще одна автомобильная поездка в забытый богом край. Про «забытый...» – это не ради классической литературной строчки, вовсе нет. Действительно, за одиннадцать лет (с момента нашего предпоследнего визита на родину моих предков) практически исчезла хоть какая-нибудь грунтовая дорога (колея) – ответвление от проходящей в сторону Гарей асфальтированной (хотя и узкой) трассы. А ведь в 2011-м (по разбитой, ухабистой, но все-таки колее) мы с приятелями без

труда пешком продвинулись на полкилометра в сторону – прямо к строениям деревни.

Космический снимок устарел. К тому же вид сверху – это одно, а реальная местность – это совсем другое. Кажется, что в деревне множество всяких построек, домов. На самом деле всё не так. Там уже почти нет жизни.

Теперь мне пришлось первым продираться сквозь лес, кустарники и траву в поисках хоть какой-то тропки, ведущей в Троицу. И эти жалкие несколько сотен метров пришлось преодолевать только с помощью обычного человеческого чутья: космическая карта, цифровая навигация – все эти штучки нынешней эпохи никак не помогали. Ошибка оказалась вполне сопоставимой с самим расстоянием от асфальта до деревушки. Разумеется, направление было верным, и мы все-таки добрались до окраины того, что когда-то было Троицей. Один из домов был жив – в том смысле, что, вероятно, еще не покинут окончательно (выглядит обитаемым, закрыт, но подходы к нему – в высокой траве). Остальные дома уже брошены. Безлюдье: никого нет, тишина, лишь ветерок шелестит в траве и в листве.

Вам знакомо странное остро-щемящее чувство утраченного былого? Человеку в молодом возрасте, пожалуй, не доводилось сталкиваться с такой необычной эмоциональной смесью. Ведь это одновременно и светлая грусть, и жалость. Но не та теплая, добрая жалость, когда хочется приласкать и как-то утешить плачущего ребенка. Нет, это другое. Слово «отторжение» звучит, пожалуй, слишком резко, но все-таки более точно. Тут словно нежелание смотреть прямо в черные, бездонные глазницы пугающего призрака.

Старшее и среднее поколение меня поймет. Допустим, к примеру, волею странного случая встречаешь приятеля (или приятельницу) детства или юности, с которым не виделся лет этак тридцать-сорок. И бывает, что после такой (пусть и мимолетней) встречи ловишь себя на предательской мысли: лучше было бы и не встречаться... Разочарование.

Ведь годы проявляют себя в безжалостной форме: морщины, седина, чуть (а порой и не чуть) изменившаяся

осанка, у кого-то – изрядная лысина. И так далее. Рубцы грозного Хроноса – бога времени. (Особенно мучительно улавливать отчетливые приметы увядания когда-то молодой, цветущей женской красоты...)

Почему-то хочется, чтобы те, кто остался в личном далеком прошлом, навсегда замерли в том же внешнем облике, что и в былые годы. И рассматривая старые фотоснимки, порой кажется, что «на самом деле» всё по-прежнему: где-то там живет мой приятель детства, с которым я давно потерял связь и следы которого не могу найти даже с помощью современных ресурсов типа «ВКонтакте» или «Одноклассники». Может, и хорошо, что не могу? Пусть он и останется таким же юным и непорочным – в своем немыслимо далеком далеке, и лик его не будет затронут безжалостным временем.

Вот именно такие чувства я испытал летом 2022-го, повидавшись еще раз (в последний или нет?) с деревней Троица. Душа предвкушала встречу, ожидая наплыва детских и юношеских воспоминаний, а холодный рассудок подсказывал: не стремись туда! Ведь ты испытаешь не просто горечь или грусть – ты прикоснешься к труп, ты отчетливо ощутишь тяжелый и неприятный запах тления. Там не ласковый и теплый свет былого, там – могильный мрак, которого лучше избегать.

Как бы то ни было, мы втроем (я, мой приятель и сын) – снова там.

Мельница времени делает свою работу безыскусно: в сельской глуши, куда пока еще не добралась городская цивилизация, Природа-мать просто поглощает всё, когда-то сделанное человеческими руками. В нашей среднерусской равнине это выглядит как буйное разнотравье и кустарники. Пройтись по тому, что когда-то было деревней, мешают не деревья. Да, и их стало за минувшие десятилетия гораздо больше. Они разрослись так, что скрыли дымчатые дали, и взгляду уже не найти ширь окрестных лугов. Но все-таки главное – это трава, которая по пояс и выше, и кусты, которые обволакивают бывшие постройки, преграждают путь там, где когда-то можно было с легкостью пройти по тропе от

дома к дому, до неузнаваемости искажают прежний вид местности.

Амбарушка превратилась в груды гнилых досок и остатков бревен, скрывающихся в кустах и в высоченной траве. А изба бабы Вари продолжает разрушаться. К ней и подойти-то теперь не так просто: густая трава, в том числе и крапива. Даже если пробраться к остаткам стен плотную, то не стоит пытаться попасть внутрь руин: это бессмысленно и опасно. Фасад дома сильно накренился назад и принял странный вид. С трудом удалось обогнуть левую сторону строения: задняя и одна из боковых стен еще стоят вертикально, но едва хранят былую наружность.

Это тлен. Что же будет лет через десять-двадцать? Дерево гниет годами и десятилетиями, но трава и кусты быстрее скроют под собой былое.

Надо ли горевать об ушедшем? Ведь эти страницы давно уже прочтены, перевернуты. Остаются старые фотоснимки – но и они тоже когда-нибудь безвозвратно канут в реку времени. Остается человеческая память – разумеется, пока живы те, кто своими глазами видел эпоху прошлого столетия, вдыхал ее терпкий аромат.

Алексей ФУНТ

с. Шляхово, Белгородская область

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Под ногами понтонный мост, темно, и стараюсь не споткнуться, не упасть бы в воду. Дон огромен, кажется, что он километровой ширины. Ранняя весна прибавила ему сил. Давно не был в этих краях. Ростов южный впереди, а позади где-то в меловых холмах Белгородчина, а ещё дальше Залесская Русь с Ростовом древним, где мощи святых за смолой древних сосен. Но дыхание столицы чую за спиной и тут. Я иду по старому наплавному мосту.

Это было до того, как в старинной казачьей станице Казанской построили капитальный железобетонный мост. Тут начинается ростовский край. А Дон созвучен огромному: Кармадон, Асархаддон, исседоны, мегалодон, карман судеб, перекрёсток древних путей, иранские шлемы скифов черпали воду из него.

Иду, а сбоку едет машина, почему-то пришлось пройти пешком, или захотелось так. «Ока» моего дяди едет через Дон. Ночь темна. Подвижен понтон. Ширь Дона плещется. Но не боюсь упасть в воду. Над головой где-то Большая Медведица, подхватит своими лапами. Лишь спичечный коробок у неё выпадет, в речной воде намокнет, размокнет, отсыреют спичечные головки. Но она не обратит на этот пустяк никакого внимания. А впереди будто вечная жизнь. Щемит душу сладкая боль ностальгии.

В этом крае могила моего деда. Часть детства провёл я там. А дед умер в самом конце 90-х.

Помню его спину. Мы в лодке. Он с ружьём, и лишь спину запомнил. Серая стёганая фуфайка на нём. Вокруг зелёная болотная вода, камыш и ряска. Тальник у берегов. Проплываем в какое-то окружённое лесом болотное блюдце. А сверху внезапно появляется огромная птица. И мысль у меня, что был это кондор. Он летит на меня. Вот-вот нападёт. А я цепляюсь за деда. Дед не обращает внимания. Потом он обернётся, проверит, смирно ли сижу. Это было как во сне. Что за птица то была? Я почему-то верил, что это кондор, огромный. И исчез он так же, как и появился, неизвестно куда.

По берегу крадётся болотная черепаха, переступает сухие ветки. Слышно лягушек. Болотный бык гудит, заунывно. А в воде притаились рыбёшки, серебряные караси.

Пробыли там недолго. Прошлое, как коростель, скреблось внутри. Собирались в обратный путь. Зарядил дождь, мелкая дробь из свинцового века туч. Серые струи из неба. Свинцовые струи льются, отливают Русь, печаль паром из изложницы... Писк птицы, заблудилась между стенами дождя. Ненастья поверья ветром в пыль дорожную из капель, дробы и муки водяной – бросают сердце неверящее в пути, в лишние думы о будущем. Стынет от этого оно.

Что за птаха пищала? Заблудилась, врасплох непогода застала.

Серые сумерки, и мы уже где-то в воронежских краях. Я увидел, как вдаль бежит волк. Серый почти растворился в темноте степи. Вспомнил про поверье из белорусского Полесья, родины моего деда. Старинные суеверия говорят, что при встрече с волком можно назвать имя умершего и узнать что-нибудь от него, какую-нибудь весточку от почившего или совет. Волк растворился среди тёмных лесистых холмов. А где-то далеко мелькает огонёк во тьме. Вокруг темно и безлюдно. А там огонёк, и напоминает он о домашнем тепле и о страннике, идущем куда-то ночью. Где-то там, в меловых горах, в тёмной келье Сицилийская икона Божией Матери, освещённая горящими свечами.

Где-то над оврагами стояли курганы. Вожди древние спят в них. Древние души и боль пропавших душ под насыпями. Кто в них? Кем они были? Вечный сон погрузил их в туман небытия. А под курганом из пустой глазницы конского черепа растёт сурепка. Желна летела над ними, унесла их желчь. Желна вечного сна. Спят они и серая степь вокруг. Слышат, как ржёт конь. Бессильной оказалась их плоть против пространства.

Лето оказалось дождливым. Подбирались к полям приметы скорой осени. Лил дождь. Тёмный вечер, кричит дергач, покрикивает. Будто дёргает рожнею из скирды сено, Богородице, ходившей по Руси, стелет постель. А за огородом возле мокрой копны калина мокнет, её красные плоды как кровь из ран Иисуса. Заросли крапивы спрятали перепёлку.

Эти дни ведут к осени. Уже на «четырке» едем туда, где был когда-то хутор. Там когда-то жили. Но перед глазами лес без признаков человеческой деятельности. Пробираемся сквозь густые заросли. Наконец-то нашли след человека. Этот след – лишь ржавый серп, почти развалившийся, и черепки от горшков. Это следы от былой жизни. Там когда-то был сад, были дома и амбары. А видим лишь одичавшие яблони.

Журчит ручей. Широкий и холодный. Приближается осень. Подходим к ручью, а жижа начинает затягивать стопы, берега как топкое болото. И решаем не перебираться на другую сторону. Немного порылись в нём.

Один из нас перебивает трухляшку каблуком ботинка. Больше не суемся в месиво болотистого берега. Это место заглохло, заросло. Стало глухим. Нога человека почти не ступает здесь.

А когда-то там кипела жизнь. Улетела она, как в сумерках козодой. Кто-то уезжал в города, старые доживали свою жизнь. Забыты дороги туда. Потомки не помнят. Не знают. Воды ручья несут корни какого-то растения.

«Это то самое место!» – говорит товарищ, иронизирует. Мы говорили про некое место, где раньше были. Названий всех этих заброшенных хуторов мы не знали. И название этого хутора не знали. Его фраза касалась всех этих ис-

чезнувших хуторов. Заглохшие места. Те самые места, где когда-то кипела жизнь, где чьи-то судьбы пересекались, те самые места, где отпечатались незримо чей-то уход в небытие, чья-то отправная точка на жизненном пути.

То самое место, где были стойбища древних кочевников и хутора крестьян. И становится это место лесом, диким, но хранить он будет тайны чьих-то разговоров под звёздами, под Большой Медведицей. Где-то стояли их стога.

Неизвестная былая жизнь осталась в травах, в ручье, в серпе. Я не стал ни у кого спрашивать, как назывался тот хутор. Может, и название забыто совсем. Папоротник кругом. Вороний глаз выглядывает – в своей грустной лесной ворожке застыл на краю лесной тропинки.

Когда-то там была и дворянская усадьба. От тех ни следа не осталось. Где сгинули? Куда всё сгинуло?

Дорогу не забыть туда и так. Название и не нужно.

Дороги через поля, перескакиваем с одной на другую, пыль летит. Выезжаем наконец-то на асфальт. Столбы с проводами и грусть в хмуром синем окрасе позади. Пыль добавляет серой грусти.

Ничего не сделать... лишь печаль пить... из кубков древнего вечного круговорота увядания и прихода в мир...

Осенью мы снова ехали через те поля. Дорог прежних не было. Их постоянно перепахивали. Смеркалось, мы остановились возле рва. Всё осеннее... мокрый бурьян... не постель он ныне... Отсырели травы. Чернобыльник тёмный, грустен. Осеннее запустение, осенние дожди и сырость. Всё это лезет в душу... дует колючий ветер. Все надели шапки.

На краю поля грунтовка, эфемерная, в следующем году её, может, уже не будет. Запашут, распашут, закультивируют, задискуют дисковой бороной... Свинцовое небо намочило парами печальной природы. Всё попало под каток осени.

За Ольховаткой пруд заглох, утки пугливы. Зелёная тина заволокла всё. Сквозь камыш подглянешь, и утка сразу взлетает. Под серым от времени навесом родник и икона, горит лампада перед ней. Вокруг тускло, и крик улетающих диких гусей... лишь от иконы теплее на душе... Гудит трактор в полях.

Когда совсем стемнело, ехали через поле, но дорога пропала. То поле перепахали и зацепили дорогу. Мы уже заехали на поле и развернуться уже не могли. Пришлось ехать до конца. Фары потухли. Ехали медленно, «четырка» подпрыгивала. А мы подпрыгивали до потолка. Раз ударился головой. Едем и прыгаем, света в салоне нет, фары не горят. Кромешная тьма вокруг. Друг беспокоился за машину, вот-вот развалится. Поездку запомнили на всю жизнь. Поле большое. Подскок, подскок, подскок, подскок, и так прошла бы вечность. Но внезапно машина вынесла нас на твёрдую грунтовку, и мы вздохнули с облегчением. Выбрались из коварной пахоты, из пасти чернозёма. Не рассчитывали, что машина не развалится, но она несла нас дальше.

Вокруг поля, лески и перелески. Где-то далеко мелькнул огонёк. То одинокий костерок, на краю огромного поля, у леса. Как одинокая душа мелькнул во тьме. Всё вокруг чёрное, как древесный уголь.

Осень становилась холоднее. Заболела душа от ухода соков природы в подземные корневища, от мокроты в высокой траве рва, от опушек оскудевших и крика грачей... не быть ли червём, какого склюют на пахоте они... и от этого заболела...

И что осталось от той жизни на исчезнувших хуторах? Хрупкие, едва уловимые следы, покинутые места, порождающие ностальгическую боль. Кондором быть или съеденным грачом... кондором быть... парить в воздухе, выше семи тысяч метров над землёй... Забытые места забыты будут когда-нибудь совсем...

Сергей УТКИН

Шарья

ИСКУССТВО ПАМЯТИ

Иногда то, что не смогло рассмотреть когда-то наше детство, разглядывают юность или зрелость. Впервые в церкви села Макарьевского Ветлужского района Нижегородской области я оказался в далёком теперь детстве своём, в середине 1990-х годов. Тогда отряд из детского лагеря, работавшего в соседней деревне, организованно водили к этой полуразрушенной достопримечательности. Мне в ту пору было только восемь лет. До размышлений о Боге мне было тогда далеко. Да и до церкви как социального института тоже. Помню не столько саму постройку, сколько фрагменты летних дорожных впечатлений.

И вот спустя двадцать два года, в тридцатилетие своё, проводимое в соседнем районе Костромской области у родителей, полный памяти о жизни в Петербурге и о возникшем у меня там интересе к религии, я отправился майским солнечным и сухим утром 2017 года туда, в село Макарьевское, чтобы разглядеть незамеченную в детстве привлекательность истории в камне постройки. Вглядеться в неё.

Спящие в утренней рани притихшие попутные деревни. Одинокая дорога по давно покинутым мной местам, в которых редко можно найти что-то, достойное похода. Просёлок, лесная дорога, овраг, покрытое асфальтом шоссе. Просачивающийся через зелень весенней листвы вид текущей близко реки Ветлуги. Отворот дороги

к селу, в котором меня ждала встреча с виденным в детстве сооружением.

Деревянные дома, редкие местные жители. Из подъехавшей легковой машины вышла говорливая тётка с сумками, видимо, существенно освободившими полки магазина, и что-то резко и делово стала объяснять двум тамошним мужикам, сидевшим с тихим разговором на лавке у ветхого забора. Видимо, утро наступило здесь вместе с ней: шумное, бурное.

Возле церкви заметно белел внедорожник, как оказалось, приехавшего из Сочи в родные места пожилого мужчины. Он тоже, видимо, считал нужным навестить ветхий храм.

Церковь в честь Макария Унженского была построена здесь ещё в 1826 году, разрушена в 1930-х и, несмотря на попытки реставраторов, не была восстановлена даже к 2017 году. Но место она держала. Пейзаж. И место держало зрителя, путника.

Зайдя внутрь, под полуразрушенные своды, я подумал о тех, кто, возможно, оказывался в прошлых веках в этих краях и, привозя с собой воспоминания о другой жизни, иным, непривычным взором смотрел на всё вокруг. Продумывал место. Жизнь в нём.

Меня удивляло, как вершилось это чудо зодчества в деревянном крае в те далёкие годы, когда первоначальный замысел жил только в голове архитектора и на его чертежах, в его бумагах. Ни компьютера, ни графического редактора, ни виртуальной реальности. А дело, запечатлённое в кладке, возвышается над унылым пейзажем и поныне.

Несколько удачных кадров из одного из походов за историческим прошлым, на которые вообще было богато для меня то лето, остались со мной. Так фотоискусство помогает быть верным пройденному, увиденному. Быть верным другому, не менее важному искусству – искусству памяти.

Семейное чтение

Анна ЧЕРКАШИНА

Белгород

БАБУШКА ВАЛЯ

Святочный рассказ

– Ещё один подъезд, а потом сразу домой.

– Хорошо, мамочка! – закивала головой семилетняя Варя. А её сестра третьеклассница Танюша добавила:

– Отлично колядовали в этом году. Да, мамуль?

– Да, отлично, – заулыбалась мама. – Но у нас ещё куча дел. А потом на службу, в храм.

Рождественский вечер в этом году выдался необычным. Таким он обычно выглядит в сказках и фильмах: тишина и крупные хлопья снега. Они мягко ложатся на одежду и лицо. Нежно устилают землю. Абсолютная гармония.

Да и колядовали хорошо. Во многих квартирах открывали двери. И нигде они не встретили сегодня сердитого лица. Все улыбались, благодарили.

Варя и Таня очень любили колядовать. Специально каждый год учили новые колядки. Их мама Елена Ивановна поощряла дочек в интересе к старинным традициям. И каждый раз ходила вместе с ними.

В первый раз колядовали по своему подъезду, потом – по соседним. А в этом году решили сходить в ближайший дом. Подаренные сладости мама обычно разрешала девочкам оставить себе, а собранные деньги они отдавали

на добрые дела. И Варюша с Танюшей каждый раз сами решали, кому хотят помочь.

На пятом этаже никто не открыл двери.

– Наверное, все ушли в гости или уехали, – предположила мама.

В одной из квартир на четвёртом жила молодая пара. Они послушали, поулыбались и положили девочкам в специально вышитый мешочек шоколадку и сто рублей.

В другой квартире открыла женщина средних лет.

– Хорош с медком оладушек! А без меду – не таков. Дайте, тетя, пирогов! – тут же громко выдала Варя.

– Пирогов не напекла, – засмеялась женщина. – А печеньки подойдут?

Мужчина из квартиры напротив подарил им ёлочную игрушку. «Сегодня же Рождество», – сказал он, протягивая маленького белого ангела.

Поблагодарив, сестрёнки с мамой спустились на третий этаж и нажали на очередную кнопку звонка.

– Эх, наверное, никого нет, – вздохнула Варя.

– Слышишь шаги? Кто-то идёт, – заметила Таня.

Дверь распахнулась и на пороге показалась маленькая сухонькая старушка. Одета она была в простенькое платье с цветочным узором. На плечах лежала шаль. Она вопросительно улыбнулась.

– А мы колядовать пришли! – решительно заявила Варя.

– Ой, как хорошо, – тихо сказала старушка и опять улыбнулась.

Варя продолжила:

Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всем вам повезло!

Тут к ней подключилась Таня:

Ночь волшебная идет,
Добрая, святая,

Радость светлую несет,
Души озаряя.
Открывайте ворота
Коляде идущей,
Накануне Рождества
Счастье вам несущей,
Чтобы полон был ваш дом
И добром, и благом,
Хорошо чтоб жили в нем
Без забот и тягот.

– Спасибо вам, девочки, – расцвела старушка. Но потом вдруг погрузилась: – Только у меня совсем нет конфет... Как же мне вас отблагодарить? Ой, кажется, на кухне есть печенье!

Она быстро засемила по коридору. Но вернулась с пустыми руками.

– Увы, печенье уже старое, – грустно сказала она и вздохнула.

Потом торопливо стала рыться в карманах изношенного пальто, одиноко висевшего на вешалке в коридоре. Достала маленький кошелёчек.

– Сейчас, сейчас, мои хорошие, – суежилась она.

Распахнутый кошелек был практически пуст. Где-то на дне кармашка притаились немногочисленные монетки. Девочки этого не видели и выжидающе смотрели. А их мама миглом оценила ситуацию, и кровь прилила к её щекам.

«Какой ужас, у неё же совсем нет денег. Как же неудобно вышло... Так неловко. Что же теперь делать?!» – думала она.

Старушка тем временем достала монетки, стала судорожно их пересчитывать. Старенькие пальцы не справились с задачей, и монетки со звоном посыпались на пол. Старушка попыталась присесть, чтобы их подобрать, но не смогла. Варя тут же кинулась их собирать.

Елена Ивановна с ужасом подумала о том, что сейчас дочь положит монетки в мешок для даров. Но дочь собрала их и протянула хозяйке:

– Держите!

– Спасибо, деточка, – ответила та. И вдруг разрыдалась.

Девочки затихли.

– Бабушка, вы чего? – осторожно спросила Варя.

Старушка ничего не отвечала. Слезы продолжали капать по морщинистым щекам.

– Ну что же вы, не надо, не плачьте, – приобняла её Елена Ивановна. – Не плачьте. Всё хорошо. Пойдёмте, пойдёмте...

Она повела женщину в кухню и усадила на стул. Взяла кружку, налила воды.

– Ну вот. Держите. Пейте. Всё хорошо, – тихо приговаривала мама. А Варя с Танюшей с испуганными глазами стояли рядом. Кухонька была чистая. Но на всём вокруг лежал отпечаток бедности. Чистеньким занавескам на вид было уже лет тридцать. Деревянные шкафчики явно прибыли сюда не из магазина, а были сделаны каким-то умельцем-самоучкой.

В этот тихий рождественский вечер стол был пустым и на кухоньке не витали искушающие запахи. Только с чёрно-белых фотографий на стенах смотрели счастливые глаза, полные юношеских надежд.

Через несколько минут все уже сидели на диване в комнате. И слушали Валентину Григорьевну – так, оказывается, звали эту старушку.

– Муж мой, Николай Степанович, умер пять лет назад. А деток-то у нас и не было никогда. Не вышло, – развела руками Валентина Григорьевна. – С тех пор я одна. Всю жизнь работала учительницей истории. Вот тогда было время! Была жизнь... а теперь что?! Никому я не нужна. Ученики, конечно, изредка заходят проведать. По праздникам в основном. В остальное время я сама с собой воюю, – она замолчала и вздохнула.

– Да, тяжело одной... И пенсия наверняка очень маленькая? – спросила Елена Ивановна.

– Да нет... Мне раньше хватало, Леночка, – стыдливо опустила глаза Валентина Григорьевна. – Но вот два года назад поставили диагноз – рак. Но вот всё живу, живу и никак не помру. А лечение дорого обходится. Поистратилась совсем...

У Елены Ивановны зазвонил мобильник.

– Девочки, вы пока тут посидите, поговорите, я отвечу и вернусь, – Елена вышла из комнаты.

На том конце трубки беспокоился муж:

– Ленусь, ну вы где? Уже в храм собираться пора.

– Витя, послушай... Мы сегодня не пойдём в храм, – прошептала она.

– Случилось чего?

– Вить, всё хорошо. Просто у нас сегодня будет гость. Важный. Мы скоро придём. Накрывай на стол, – попросила Елена Ивановна и отключилась.

Елена вернулась в комнату и весело сказала:

– Ну что, Валентина Григорьевна, собирайтесь!

– Куда? – испугалась старушка.

– Как куда? К нам в гости! Сегодня же праздник какой замечательный – Рождество! Будем отмечать!

– Ну что вы, Леночка, – запротестовала Валентина Григорьевна, – Спасибо за приглашение! Но не надо. Я лучше тут посижу. Телевизор посмотрю...

– Ну нет, отказы не принимаются! Успеете ещё телевизор посмотреть, – засмеялась Елена Ивановна. – Одевайтесь, мы вас в коридоре подождём.

Через полчаса вся весёлая компания наконец-то ввалилась домой, где суетился папа Витя.

– Здравствуйте, я Виктор, – улыбнулся он госте. – Давайте повешу ваше пальто.

– А я Валентина Григорьевна, – скромно проронила она.

Тут уж все стали суетиться и заканчивать приготовления к ужину.

– Ух, и проголодалась же я! – сказала Варя, потирая руки и усаживаясь за стол.

Мама засмеялась.

Эта ночь выдалась необычной для всех. Мама, папа и девочки впервые проводили её не в храме, а дома.

«Сходим завтра», – подумала Елена Ивановна, посмотрела на мужа и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ.

Валентина Григорьевна сидела за столом, и всё для неё казалось сказкой: красиво украшенные и вкусные блюда, живой разговор и добрый смех.

Слезы постоянно подкатывали к глазам, но она больше не давала им скатиться по щекам. На минуту замечталась, представила, что Лена – её дочь, Витя – зять, а Варя и Таня – внучки. Что нет больше её страшного диагноза и впереди много счастливых минут.

– А где ваши родители? – спросила Валентина Григорьевна Лену и Витю.

– Мои живут в другом городе. Мы всегда ездим к ним летом. А Витюшины погибли... в аварии, – коротко ответила Лена и замолчала.

Через несколько минут бойкая Варя спросила:

– Мама, наверное, под ёлкой можно уже поискать подарки?

– Может, уже и пора, – с видом заговорщика подмигнул ей папа.

И девочки с радостными криками побежали в комнату, где уже стояли заботливо обернутые и подписанные коробки с рождественскими сюрпризами.

– Это твой, Таня! – Варя отдала коробку сестре, – А этот – ваш! – сказала она Валентине Григорьевне и протянула коробку.

– Мой?! – удивилась та. – Ты, наверное, что-то напутала, Варюша.

– Нет, посмотрите, написано «Валентине Григорьевне», – невозмутимо ответила Варя.

Старушка взяла коробку, которую Лена успела быстро упаковать, пока все сидели за столом, и положить под ёлку. В коробке лежали чай и конфеты.

– Спасибо! – расцвела Валентина Григорьевна.

Лена с Витей только улыбнулись в ответ. А Варя побежала в детскую. Вернулась оттуда довольная и протянула свою маленькую ладошку Валентине Григорьевне. На ладошке лежала звездочка.

– Это мы в школе делали. Ёлочная игрушка, – пояснила она. – Хочу вам подарить. Нравится?

– Какая красота, Варенька, – приобняла её Валентина Григорьевна. – Конечно, мне очень нравится!

Домой старушку провожали всей семьей. Девочки по дороге дурачились и кидали друг в дружку снежками. А потом все вместе искали на небе рождественскую звезду.

– Подождите меня. Я сейчас, – попросила Валентина Григорьевна, когда вся веселая компания поднялась наверх, в её квартиру.

Пока все топтались в коридоре, Валентина Григорьевна сложила в коробку свои рождественские дары. Для Лены выбрала свои любимые бусы, для Вити – позолоченные за-

понки, оставшиеся от мужа. А девочкам решила подарить книжки по истории.

Когда Валентина Григорьевна вернулась в коридор и протянула коробку с подарками, Витя с Леной смутились.

– Не надо, Валентина Григорьевна, ну зачем...

– Ну что вы, ребята... Не обижайте меня. Я ж от всей души, – настаивала она.

– Ну хорошо, – сдались они. – Большое спасибо!

«Какое чудесное Рождество. Какой подарок сделал мне сегодня Господь. Завтра я проснусь, и всё это покажется мне прекрасным сном. Сном, в котором я была кому-то нужна и любима», – с грустью думала Валентина Григорьевна.

Пришло время прощаться. Они ещё раз поздравили друг друга с праздником.

Девочки с родителями вышли из квартиры и уже собирались спускаться по лестнице. Но тут Варюша обернулась и спросила:

– Бабушка Валя, а вы завтра к нам придёте? Или давайте мы за вами зайдём?

Валентина Григорьевна стояла в замешательстве и не знала, что ответить.

– Мы же завтра все вместе пойдём в храм? – спросила Варюша.

– Давайте лучше мы за вами зайдём, – подключилась Таня. – В восемь, хорошо?

– Хорошо, – с радостью и удивлением согласилась Валентина Григорьевна.

– Ну вот и договорились, – улыбнулся папа Витя.

Валентина Григорьевна закрыла дверь и ещё раз повторила: «В восемь».

Потом молча побродила по комнате, достала из шкафа юбку и нарядный платок. Отутюжила всё и повесила на стул.

Засыпая, опять повторила: «В восемь!» Улыбнулась. И сама себе пожелала: «Спокойной ночи, бабушка Валя!»

Наталья КАДОМЦЕВА

Пенза

СЕРЫЙ ДРУГ

Эту невероятную историю рассказал мне мой бывший одноклассник, живущий теперь на далеком Алтае. Учились мы вместе только в первом классе, после чего родители забрали его в поселок Борзовая Заимка, что расположен в тринадцати километрах от Барнаула. Поселились они в старом дедовском доме, да так с тех пор Славик там и живет.

Дед его был охотником. И не просто охотником, а человеком старой закалки, который никогда не брал у природы больше, чем ему или его семье было нужно. Капканов не ставил, а бил только из ружья метко и наверняка. И всегда просил прощения у леса и животного, которое становилось его добычей.

Славик по малости лет деда не понимал и все спрашивал:

– Деда, а, деда, зачем ты прощения просишь? Лес ведь не живой, он тебе все равно не ответит.

Дед только улыбался в усы и отвечал:

– Ошибаешься, внучок, лес – живой. Оглянись вокруг, что ты видишь?

– Ну, деревья...

– А еще?

– Кусты, траву, – принялся перечислять Славик. – Птицы летают.

– Правильно. А еще?

– Муравьи ползают, букашки всякие. Знаю, что тут звери разные живут, только не вижу их.

Дедушка присел на пенек, достал из рюкзака термос с чаем и пару бутербродов. Порезал овощи, посолил, передал нехитрую снедь Славику и продолжил расспросы:

– Хорошо, а что ты слышишь? Прислушайся.

Славик закрыл глаза.

– Птицы поют, ветер шумит, ветки друг о друга стучат.

– Точно, – дед улыбнулся. – А теперь еще раз закрой глаза и очень внимательно послушай.

– Что я должен услышать?

– Дыхание леса. И не просто услышать. А попробуй почувствовать его, как свое собственное. Как будто ты сам стал лесом и это ты дышишь.

Славик закрыл глаза, наморщил лоб и сосредоточенно принялся слушать дыхание леса. Но вместо этого услышал тихий смех деда:

– Не надо так напрягаться, – потрепал он внука по голове, – а то кажется, что ты хочешь в туалет.

Славик рассмеялся.

– Ладно, внучок, пошли домой, а то бабушка твоя волноваться будет. В другой раз еще попробуешь.

Дедушка встал с пенки, собрал остатки еды, прикопал их под кустом, а обертки и мусор убрал в мешок. Каждый раз, когда они приходили в лес, дед учил внука тому, как нужно вести себя здесь, как ориентироваться, какими тропами ходить. Объяснял, как распознать звериные следы. Как выжить, если вдруг заблудился. Дедушка рассказывал, какие животные и птицы живут по соседству с ними, их повадки, даже характеры. Казалось, он знаком с каждым зверем и с каждой птицей.

Славик слушал, дивился тому, как много знает его дедушка, и постепенно научился любить лес так же, как и он. Юноша с уважением относился ко всем лесным обитателям, мог часами сидеть в тишине и наблюдать за их жизнью. В итоге это и определило его будущую профессию. Однажды на распродаже он купил старенький фотоаппарат и с тех пор с ним не расставался. Любимой темой его фотографий стала природа и ее обитатели.

Охотником Славик не стал. Просто не смог. И на современных охотников с их капканами и ружьями с оптикой смотрел с неприязнью. Слишком часто их деятельность напоминала дела обычных браконьеров. Молодой мужчина хорошо знал лес, каждую его потайную тропку и очень часто в своих странствиях по самым удаленным местам находил припрятанные кем-то капканы, а частенько и мертвых истерзанных животных. И не другие звери были в том виноваты. Славик капканы разбирал, уносил с собой, а потом утилизировал. Но они все равно появлялись с завидной регулярностью.

Однажды теплым летним днем отправился Славик на дальний берег небольшого озера, спрятанного в глубине леса. Хотелось ему понаблюдать и пофотографировать бобровое семейство, которое с недавних пор там поселилось. Взял с собой запас еды и воды, маленькую палатку, фотооборудование и приготовился провести в лесу пару-тройку дней. Вышел из дому на рассвете и пошел только ему ведомыми тропками на выбранное место.

Путь его пролегал там, где не ходят даже самые заядлые охотники. Славик любил такие тропки, где оставался только он наедине с Батюшкой Лесом. Молодой мужчина впитывал звуки и запахи, прислушивался и приглядывался к той жизни, которую обычные люди не замечают или не хотят замечать. Тут было свое, особое царство. Славик хорошо знал его и любил.

Внезапно какой-то звук привлек его внимание. Что-то, что выбивалось из привычной картины мира. Какой-то не то стон, не то плач. Неожиданно все другие звуки стихли, словно сам лес попросил Славика: «Прислушайся!»

Молодой фотограф остановился и весь обратился в слух. Воцарилась звенящая тишина. Только комары зудели около уха. И тут снова этот не то плач, не то стон. Славик осторожно пошел на звук. Несколько раз пришлось останавливаться и снова прислушиваться, пытаясь определить направление. И вдруг в буреломе в дальнем конце небольшой поляны Славик увидел его.

Большой серый зверь лежал под кучей разбросанных веток. Его передняя лапа была крепко зажата стальным

капканом. Волк уже перестал биться и только тихо стонал, иногда вздрагивая всем своим крупным телом.

Славик остановился, пораженный открывшимся ему зрелищем. Много раз он видел животных, попавших в капканы браконьеров, но к тому моменту, когда фотографии находил, они были уже мертвы. А тут живой красивый зверь, угодивший в стальную ловушку.

Славик любил всех животных, но к волкам относился с особым почтением. Было время, когда он внимательно изучал все, что попадалось ему об этих созданиях. И всегда возмущался тому, насколько опорочил фольклор этих удивительных зверей. Приписываемые волкам жестокость и жажда крови не просто преувеличены, а вообще не имеют к ним никакого отношения. А устройству их социальной жизни может позавидовать и сам человек. Конечно, в волчьих социумах порой попадались и особи с нестабильной психикой, но такие животные часто становились изгоями и погибали.

Славик не знал, кто перед ним – волк-одиночка, или сейчас из темноты леса за ними наблюдают члены его стаи. Да ему, честно говоря, было все равно. Он застыл как истукан, не зная, что ему делать дальше. И только смотрел на несчастное, попавшее в ловушку животное.

Внезапно волк вздрогнул, глухо застонал и посмотрел прямо на Славика. И такая чудовищная боль отразилась в его глазах, что молодого мужчину будто ледяным душем окатило. Пелена спала, наваждение ушло, и фотограф наконец снова обрел способность двигаться, а вместе с ней и действовать. Не раздумывая больше ни секунды, он бросил свой рюкзак и оборудование и медленно стал приближаться к лежащему зверю.

Шаг за шагом, очень медленно, стараясь глубоко дышать, чтобы самому успокоиться и не передавать раненому животному своего напряжения, Славик двигался к нему. Волк внимательно смотрел, тяжело дыша и время от времени вздрагивая. Славик, кажется, говорил какую-то чушь в стиле «Маугли». Что-то из «мы с тобой одной крови» тихим ласковым голосом. Подойдя почти вплотную, фотограф опустил на колени и медленно поднес руку

к носу зверя. Волк втянул запах и снова посмотрел Славiku в глаза.

– Потерпи немного, сейчас я попробую тебя освободить, – тихо сказал Славик волку, немного отводя свой взгляд. Кажется, он где-то читал, что смотреть прямо в глаза животному – это бросать ему вызов. Вот уж чего меньше всего сейчас хотелось, так это чтобы волк воспринял манипуляции Славика как угрозу.

Волк лежал не двигаясь. Только внимательно смотрел. Славик никак не мог отделаться от мысли, что зверь прекрасно понимает, что происходит, и только поэтому ведет себя спокойно. Лапа волка была сильно повреждена, но Славик не мог понять, насколько все серьезно. Все-таки к ветеринарии он не имел никакого отношения, но очень надеялся, что организм зверя возьмет свое и кости срастутся, а раны заживут.

Фотограф огляделся и заметил крепкую палку, которой он решил воспользоваться как распором. Медленно взял ее в руки, так же медленно поднес к створкам капкана, продолжая говорить со зверем, объясняя ему вслух все свои действия. Славик поставил палку в упор и нажал на рычаг, одновременно чувствуя, как тяжело раскрываются стальные зубья, как напрягается зверь, готовый немедленно вырваться из захвата. Славик и думать боялся, что будет, если он не справится. Если сейчас створки, которые только начали приоткрываться с таким трудом, вдруг снова захлопнутся, причинив волку еще большие страдания. О себе в тот момент он не думал вообще. О том, что может сделать зверь, находящийся так близко от человека, когда этот самый человек причиняет ему боль, тоже.

Славик еще чуть надавил на рычаг, створки капкана разомкнулись, волк немедленно выдернул лапу, чуть помедлил, глядя на человека, и, хромя, скрылся в лесу. Славiku показалось, что еще несколько серых теней унеслись в том же направлении. Он бросил палку и в изнеможении прислонился к стволу сосны. Только сейчас он понял, что весь мокрый от пота, что пот заливает ему глаза, что руки и ноги стали ватными, сердце неистово колотилось, а в

ушах раздавался грохот канонады. Он медленно сполз на землю и прикрыл глаза.

Через час Славик очнулся и огляделся вокруг. Рядом валялся капкан, испачканный кровью, с прилипшей серой шерстью на стальных зубьях. Он убрал его в мешок, собрал свои вещи и неспешно отправился на озерко фотографировать бобров.

Прошло месяцев девять после того памятного случая в лесу. Несколько раз Славик возвращался на то место, где впервые повстречался с волком. Проверял лесные закоулки на предмет капканов. Но серого собрата так больше не видел. Не удавалось ему и сделать снимки стаи, хотя иногда он надолго уходил в лес и все ждал в тишине, вдруг промелькнет знакомый образ.

Славкины фотографии хорошо покупались. Некоторые стали призерами разных конкурсов. Фотографу даже предложили место в известном журнале и хорошую зарплату. Но менять место жительства он не собирался, уезжать из поселка в перенаселенный город и подавно. Поэтому остался в старом дедовском доме. С прежним доходом и с возможностью уходить в лес тогда, когда ему хотелось.

Как-то в марте решил Славик навеститься на то самое памятное озерцо. Нужны были снимки этого места ранней весной. Как всегда, собрал он вещи, еду и оборудование и отправился в лес.

Озерцо было небольшое, но довольно глубокое, скрытое от глаз в глубине леса. Наведывались сюда обычно рыбаки, да и те только, кто хорошо знал лес и не боялся заплутать. Сейчас, ранней весной, тут не было ни души. Славик установил штатив, прикрепил камеру и залюбовался видом.

В каждый сезон озеро открывало свою красоту по-разному. Летом оно утопало в зелени, скрываясь в густой чаще. Сейчас зеркальная гладь была затянута льдом и припорошена снегом, на котором отчетливо проступали следы зверья. Слева чуть дальше от места, где расположился сейчас фотограф, жило бобровое семейство, за чьей жизнью летом он наблюдал.

Внезапно ему захотелось выйти на лед, пройтись по нему, добраться до другого берега и вернуться обратно.

— Что за ребячество, — подумал про себя Славик. — А все же...

И он решился. Взял камеру в руки, вышел на зеркальную поверхность и начал снимать озеро с другого ракурса. Лед был крепкий, лишь слегка потрескивал под ногами. Славика заинтересовали следы зверей, и он сделал несколько снимков.

Постепенно он добрался почти до середины озера, как вдруг под ногами раздался громкий треск, лед раскололся, и Славик понял, что проваливается. Камера ударилась о лед и отлетела в сторону. Славик попытался ухватиться за края, но льдина перевернулась, и он снова с головой ушел под воду.

Одежда насквозь пропиталась ледяной водой и камнем тянула Славика вниз. На миг поддавшись панике, фотограф громко закричал, но только эхо было ему ответом да стая каких-то птиц испуганно взмыла в воздух.

Ноги и руки стало сводить от холода. Славик все отчаяннее пытался вырваться из ледяного плена, но силы стремительно уходили. Казалось, он уже начинает бредить. Перед глазами предстал образ деда, как тогда, в детстве, учивший его умению слушать и слышать лес.

«Только человек, который с уважением относится к лесу, заслужит его уважение, — говорил дед мальчику, сидя у маленького костерка и помешивая ложкой варево в котелке. — Не обижай лес, и он тебя никогда не обидит. Помогай по возможности, и когда-нибудь помогут тебе. Мы — часть этого мира. Только когда мы это осознаем, наша жизнь становится совсем другой. Помни об этом всегда, внучок».

— Дедушка, — немеющими губами, прошептал Славик, — я всегда об этом помню.

Ему показалось, на губах старика мелькнула легкая улыбка. Видение растаяло, и Славик снова остался один в ледяной воде в глубине леса, где практически не ступала нога человека. Сознание тускнело, руки слабели, тело

сковывала неподвижность. Еще чуть-чуть, и Славик камнем отправится ко дну. Он это понимал и смирился.

Вдруг затуманенным взором он увидел какие-то серые тени, вынырнувшие из леса и теперь осторожно приближавшиеся к человеку.

— Помогите, — выдохнул Славик, а может, просто подумал.

Тень склонилась над ним, и он вдруг осознал, что это волк. Тот самый серый красавец, которого когда-то он спас из капкана.

— Не может быть, — вновь выдохнул или подумал Славик.

Волк пристально посмотрел человеку в глаза и оглянулся. Славик мог бы поклясться, что он что-то сказал своей стае, потому что в этот самый миг еще три серые тени подошли к тонущему человеку. Серый вожак снова внимательно посмотрел на фотографа и на своих собратьев, а потом сделал то, чего мужчина никак не ожидал. Он взял зубами куртку Славика и начал медленно вытягивать его из воды. Остальные трое волков будто страховали вожака, расположившись у него по бокам.

Сначала Славик был так поражен происходящим, что попросту отпустил руки и немедленно почувствовал, как вода снова начала его затягивать. Волк уперся всеми четырьмя лапами и негромко рыкнул, как бы призывая Славика ему помочь. Тот очнулся, ухватился руками за лед и начал медленно-медленно вылезать, следуя за движениями вожака. Волк отступал, вытягивая человека за загривок. Остальные звери напряженно следили за происходящим. Минута проходила за минутой, человек боролся за жизнь, а волк его спасал.

Наконец Славик распластался на льду, не веря, что все еще жив. Конечности онемели, надо было немедленно добраться до рюкзака, где была сухая теплая одежда, спички и термос с горячим чаем. Но сил не было. Он прикрыл глаза, за что был немедленно наказан. Оказалось, стая никуда не ушла. Волк сидел рядом и внимательно разглядывал спасенного. Заметив, что человек закрыл глаза и, кажется, собрался умирать, вожак довольно ощутимо укусил его

за руку. Славик вскрикнул и снова очнулся. Волк боднул его, как бы говоря: «Ну, давай, брат, иди уже!»

Славик широко распахнул глаза и уставился на волка. Вожак снова боднул его.

– Ну... ты даешь... брат, – дрожащими губами прошепестел Славик. – Все... иду...

И он пошел. Точнее пополз. Поднимаясь на ноги и снова падая. Но двигаясь в сторону своего лагеря.

На берегу он увидел и других членов стаи, которые сидели и ждали своего вожака и остальных охотников. Вожак же шел рядом со Славиком, порывая, когда ему казалось, что человек снова впадает в забытие. Остальные волки замыкали их строй.

Славик добрался до вещей, дрожащими руками достал одежду, переоделся, развел огонь и налил себе крепкого горячего чая. Волк сидел поодаль и наблюдал. Остальная стая растворилась в лесу, как только нога человека ступила со льда на землю. И только вожак пока не уходил.

Был он необыкновенно красив. Высокий и статный, с крепкими конечностями и широкой грудью. Густой серый мех, темный на спине и боках. Крупная голова с торчащими ушами, которые, как локаторы, вслушивались в сгущающиеся сумерки. Темные пронизательные глаза. В них, казалось, отражалась сама Вечность. Пушистым хвостом он обнял свои лапы и сидел, внимательно глядя на человека. Славик оглядел его лапы. Следов он капкана не осталось, чему мужчина очень порадовался.

Все еще слабо веря в то, что только что произошло, Славик сказал вожаку:

– Спасибо тебе, брат! Без тебя я бы погиб.

Волк поднялся на лапы, потянулся, зевнул, обнажив при этом внушительные клыки, еще раз взглянул на человека, как бы говоря: «Ты уж не плошай так больше», и исчез в темноте. Славик еще немного посидел у костра, вслушиваясь в звуки ночного леса, а потом забрался в палатку и уснул.

Проспал он долго, проснулся, когда солнце было уже высоко. Громко пели птицы, ветер шумел кронами деревьев, лед на озере слегка потрескивал. Славик посмотрел

на предательскую гладь. Где-то там остался его фотоаппарат, но ступать на лед он больше не решался. Славик вздохнул и решил, что потеря камеры не самое страшное событие в его жизни. А вот то, что он не смог сделать снимки вожака, когда он был в такой близости от него, расстраивало.

«Может, оно и к лучшему, – подумал Славик. – Все, что произошло, – только между нами».

– Спасибо тебе, брат! Ты спас мне жизнь. Без тебя я бы погиб, – еще раз проговорил Славик, когда собрал лагерь и двинулся в сторону дома. Ему показалось, ветер принес отдаленный волчий вой.

Случилось это много лет назад. Славик все эти годы продолжал ходить в лес, убирать капканы и фотографировать его обитателей. Но он больше никогда не видел серого друга, хотя ему всегда казалось, что за ним внимательно наблюдают темные пронизательные глаза, в которых отражается Вечность.

Сергей БЕЛОВ

Городец

РЕВИЗИЯ

Безделье сладко потянулось, немного понежившись в кровати, и решительно встало. Пошарив ногами по полу, нашло тапочки и, бодро поднявшись с кровати, направилось к широкой арке. Выйдя на просторный балкон, оно подошло к перилам и огляделось.

Перед ним лежал его родной городок, состоящий из одного ряда домов, расположенных по идеальному кругу с фонтаном в центре. Дома отличались друг от друга и размерами, и формами, от небольших одноэтажных строений до многоэтажных особняков. Особенно выделялся дом Трудолюбия, расположенный на противоположной стороне от фонтана, – в три этажа, с широкими окнами, многочисленными балконами, с несколькими башенками. Дом стоял на большом приусадебном участке, на котором уже чем-то занимался хозяин дома.

– Не успел встать – уже работает, – пробурчало Безделье. – Уже третий раз за год забор перекрашивает.

Мимо сосредоточенно работающего Трудолюбия прошла Приветливость и, широко улыбаясь, поздоровалась с ним.

– Утренний обход – часы по ней можно проверять, – беззлобно отметило Безделье. – И как ей это не надоедает?

Следующий дом принадлежал Озабоченности, которая медленно ходила по своему участку, уставившись в зем-

лю. Не ответив на приветствие, так глубоко она задумалась, Озабоченность удалилась вглубь заросшего сада. Очередной житель городка, Наблюдательность, сидела на ступеньках крыльца, зорко оглядывая всё вокруг. После короткого кивка в ответ на приветствие соседки она прошла в дом и через некоторое время заняла своё привычное место в высокой, выше неё не было строения в городке, башне.

Обогнав Приветливость, буркнув что-то на ходу, сгибаясь под тяжестью огромного тюка, прошла Жадность. Открыв ногой калитку своего участка, она донесла мешок до огромной кучи разнообразных вещей и предметов, вывалила к ней новую партию всякого хлама и, довольная, отправилась отсыпаться.

– Вот у кого надо учиться трудолюбию, – саркастически заметило Безделье. – Даже ночами не спит – собирает все, что плохо лежит!

Протиснувшись в узкий проём, открыться дверь полностью не могла из-за кучек хлама наваленных возле неё, Жадность прошла в обветшавший дом, в окнах которого тоже были видны горы собранных вещей.

Дойдя до калитки следующего дома, Приветливость задержалась на минуту, чтобы посочувствовать Глупости. Та стояла у своей калитки и с недоумением рассматривала что-то на ней. Присмотревшись, Безделье заметила, что ручка калитки привинчена на той же стороне, что и петли.

– Ну, это ещё ничего, – ухмыльнулось Безделье. – В прошлый раз она люстру прикрутила к полу.

Зато у следующего жильца, Аккуратности, всё было в порядке. Небольшой дом был покрашен в яркие цвета, радующие глаз. На огороде на ровных грядках росли ровными рядами овощи. Ровные ряды кустов и деревьев выстроились вдоль забора. По ровным дорожкам прогуливалась хозяйка, оглядывая придирчивым взглядом свой участок.

«Даже придраться не к чему», – подумало Безделье и склонилось на перила балкона.

– Доброе утро!

Приветствие, уже дошедшее до его дома, подняло голову – балкон находился на третьем этаже большого строения.

– Не правда ли, хорошая погода? – произнесло дежурную фразу Безделье, но Приветствие только помахало ей рукой и продолжило свой путь.

– Вот и поговорили. Только и может махать рукой, курица! – пробурчало Безделье, продолжая, однако, следить за ней.

Очередной сосед вовсе не отреагировал на прозвучавшее приветствие. Хозяин, Любопытство, слишком увлёкся разборкой очередного прибора. По всей территории валялись останки разных приборов и устройств, попавших в исследовательские руки хозяина. Безделье относилось с уважением к соседу, считая, что в этом увлечении есть и доля его участия.

Следующий сосед встретил Приветствие упрёком:

– Опоздало на семь секунд.

На его участок страшно было смотреть – идеально подстриженный газон, травинка к травинке, был обрамлён по всему периметру идеально подстриженной живой изгородью. Дорожки, с идеально ровными бордюрами, были покрыты тротуарной плиткой с геометрически выверенным орнаментом. Дом хозяина выглядел так, словно его покрасили только вчера. Ни одна дощечка забора не выбивалась из общего строя.

– Педанто-Пунктуальность в своём репертуаре, – отметило Безделье. – Сначала порядок – потом вежливость.

Безделье посмотрело на дом следующего соседа. Всё было в порядке – Зависть сидела на своём излюбленном месте, высунувшись в чердачное окно своего маленького, невзрачного дома. Заметив приближающуюся Приветливость, она спрятала своё чёрное лицо. Но Приветливость всё равно помахало рукой в сторону дома. Она уже давно знала, что у дома Зависти было множество щелей, через которые она наблюдала за жителями городка.

Последующие три дома тоже не ответили на её приветствие. Там жили Раздражительность, Обидчивость и Запуганность. Это была странная компания – собравшись вме-

сте, похоже, что это была такая дружба, они часами могли молча сидеть, не смотря друг на друга.

Как ни странно, рядом с Запуганностью жила Храбрость. Её маленький домик и голый, без растительности, участок были заставлены силовыми тренажерами, на которых она и проводила всё своё время. Всё её тело, включая уши и нос, были натренированы до немыслимых размеров. Приветливость постаралась побыстрее пройти его дом, – как-то Храбрость чуть не сплющила её ладонь своим рукопожатием.

Хорошо прошла встреча с Душевностью, Вежливостью, Честностью, Надёжностью и Весельчаком. Болтливость задержала её своим стремлением обсудить все проблемы человечества. Высокомерность и Скрытность даже не высунули нос из своих домиков.

Приветливость продолжала свой обход, когда внимание Безделья, хотя оно и видело это неоднократно, привлёк просыпавшийся фонтан – Фонтан Жизни.

Утром это был водоём со спокойной, почти зеркальной, поверхностью, по которой изредка пробегала лёгкая рябь. Постепенно по краю фонтана начинали выплёскиваться струи воды. Волны становились всё больше, сталкиваясь между собой. Рождались быстрые водовороты; встречные движения наваливались друг на друга, вызывая пену и выплёскиваясь из чаши. К полудню весь фонтан бурлил и шумел, словно водопад. Ближе к вечеру вода постепенно начинала успокаиваться, превращаясь в спокойный водоём, по которому медленно ходили невысокие волны. Последним актом фонтана, около полуночи, было извержение из центральной колонны мощных струй воды, устремлявшихся ввысь и рассыпавшихся в вышине на мелкие капельки, падавших обильным дождём на городок. Затем всё успокаивалось, чтобы утром повторить этот вечный цикл.

– Ну ладно, – Безделье вернулось в помещение, – пора заняться делом.

Оно позвонило в колокольчик, и тут же в комнату вошли, словно ждали этого сигнала, два его помощника.

– Вот что, друзья, есть одно очень важное дело. Но мне нужен ещё один помощник. Позовите кого-нибудь ещё...

– А мне это надо? – громко выкрикнул один из помощников.

Безделье застыло на некоторое время, раздумывая, как отнестись к этой выходке, но не успело ничего придумать, как в комнату вошёл ещё один помощник.

– Ну, чего надо? – вошедший субъект присоединился к остальным.

– Это кто, Нехочу? – спросило Безделье у помощника.

– Это Амнеэтонадо. Вы же сами просили позвать ещё одного...

– Ладно, ладно, – перебил помощника хозяин, – я понял. Теперь за дело. Мы с Трудолюбием поспорили, у кого больше почитателей – у меня или у него. Поэтому даю вам три дня, чтобы собрать сведения о тех, кто занимается бездельем, – специально или вынужденно. Честно говоря, судя по размерам наших домов, я думаю, что количество наших почитателей приблизительно одинаково. Но хотелось бы узнать подробности. Нехочу займётся сферой культуры, Зачем – спортом, а новенький – работой. Но если заметите что-то интересное в других сферах, тоже отметьте в своих отчётах. Идите!

Помощники отправились выполнять задание, а Безделье свалилось на кровать и с удовольствием вытянуло тело.

– Хорошо-то как!

Через три дня бригада помощников выстроилась перед Бездельем с папками в руках. Самая тонкая оказалась у Амнеэтонадо, и Безделье решило начать с него.

– Что-то мало накопал, а?

– Шеф, мне достался самый трудный участок, – ничуть не смущаясь, ответил помощник, – ведь трудно среди работающих найти тех, кто ничего не делает. Правда, есть такие профессии, которые предполагают, что часть их рабочего времени будет проходить как бы впустую. Например, пожарные. Даже анекдот есть такой, когда поступивший на службу в МЧС хвастается достоинствами этой работы, но: «как только пожар – хоть увольняйся!» Или библиотекари – выдал книгу и отдыхай. Но здесь вмешивается неугомонная натура, существующая у некоторой части

человечества. Во-первых, такие особи, которые стремятся что-то придумать и чем бы заняться. Во-вторых, люди, обычно это руководители, которые видеть не могут, что их подчинённые не заняты делом. Впрочем, это явление очень широко распространено и в других сферах деятельности человека. Хорошая работа у некоторой части дежурных, главная работа которых – не слезать со своего стула, за исключением коротенького обхода вверенного ему участка. Я думаю, эти люди не жалуются на отсутствие серьёзной работы. Это наши люди. Но есть неожиданный момент. Я не знаю, как к нему отнестись, когда безделье – цель много работающего человека в плане того, что хорошо бы часть работы переложить на механизмы, автоматизированные системы управления. И целые конструкторские бюро заняты многие годы для достижения этой цели.

– Ты это мне в упрёк ставишь? – задумчиво спросило Безделье.

– Ну что вы, без вас человечество или осталось бы подвидом обезьян, или вымерло бы от постоянного труда. – Амнеэтонадо слегка склонил голову.

– Ну ладно, теперь Нехочу.

Первый помощник протянул увесистую папку хозяину.

– Я тоже преклоняюсь перед вашими заслугами. Если бы не вы, то человечество не смогло бы создать те культурные ценности, которые и отличают человека от обезьяны. Это в первую очередь живопись – первые наскальные рисунки появились тогда, когда пещерные люди бездельничали после того, как съели добытого кабана или мамонта. Следующей идёт литература – сытость, появлявшаяся после принятия пищи, требовала послеобеденного отдыха, в течение которого люди обменивались впечатлениями о прошедшей охоте, приключениях, связанных с ней. И с появлением письменности появился такой вид досуга, как написание книг и их чтение, неременный атрибут безделья. А с появлением театра и впоследствии кинематографа свободное, не занятое трудом, время приобрело значение одной из ценностей человечества. А в последнее время повальным увлечением стали информационные сети, где пропадает уйма народу. Не могу назвать конкретную

цифру по всем категориям, но количество ваших поклонников на этих направлениях очень велико!

— Что ж, хороший отчёт. Спасибо. Ну а чем порадует нас Зачем? — Безделье погладило папку с отчётом и отложило в сторону, приняв от подошедшего помощника увесистый том.

— Зачем всё это надо? — пожал плечами помощник. — Я не про отчёт, а про людей, занимающихся спортом и зрителей, так называемых болельщиков. Ну бегают наперегонки несколько мужиков, или бьют два мужика друг друга по морде, или кто-то закинул ядро или диск подальше — что за дело всем остальным до этого? Но должен признать, что аудитория спортивных соревнований, видов которых ужасное множество, очень большая. Конечно, не всё здесь определяется мотивом только чем бы себя занять. Здесь замешаны и деньги, и гонор, и стадный образ жизни. Но в основе, конечно же, свободное от труда время.

— Спасибо, друзья! Порадовали. Теперь можете отдыхать. — Безделье пожало всем руки и проводило до двери.

Оно вышло на балкон. Стоял полдень. Фонтан Жизни бурлил и перекачивал волны, выплёскивая иногда их за свой бортик.

— Ну, теперь мы посмотрим, — торжественно произнесло Безделье, выглядывая Трудолюбие на его участке и собираясь посетить его вечером, — что важнее в жизни человека!

И растянулось во весь рост на своей необъятной кровати.

СКАЗОЧНЫЙ МИКС

Всё было хорошо — и на тебе!..

...Иван-царевич проснулся и посмотрел на окно, в котором виднелось кусочек чистого голубого неба надронами окружавшего его дворец деревьями.

— Какое прекрасное утро! — Приятная благодать разлилась по его телу.

Иван-царевич некоторое время полежал, прислушиваясь к лёгкому шуму на улице, не спеша поднялся с кровати и подошёл к окну. Он махнул рукой деревьям, и те послушно, шелестя ярко-зелёными листьями, склонились в стороны, открывая обзор на тридевятое царство. Всё радовало глаз: ухоженные поля вокруг нескольких деревенок; сами деревеньки с разукрашенными во все цвета радуги домами; извилистые реки с густыми раkitами, росшими по их берегам; вечнозелёный лес, обрамлявший его царство по всему периметру. На зелёных пастбищах безмятежно паслись стада коров вместе с овцами и резвились табуны лошадей. Недалеко от дворца учёный кот приводил себя в порядок, развалившись на золотой цепи. Группа русалок плескалась в озере, синхронно взмахивая хвостами и руками. Куда-то ехал Емеля на своей печке, и пролетела, возвращаясь в свой лес, Баба-яга в модернизированной ступе. И почему-то привлекла к себе внимание обычно остававшаяся вне поля зрения Башня Злодеев, пустовавшая уже длительное время.

Умывшись чистойшей водой из родника, которую недавно двоим умельцам из ларца удалось наконец-то подвести в покои с помощью водопровода, Иван-царевич сел за стол, который уже был заставлен яствами скатертью-самобранкой.

– Ой, Иван-царевич, ты уж меня прости, – начала себя притворно бранить скатерть. – Блины немного подгорели, яйца получились не всмятку, пирог с яблоками ещё сырой...

– Ну ладно, не брани себя, – подыграл самобранке Иван-царевич. – Всё у тебя получается замечательно, особенно пирог. – Он ещё помнил тот случай, когда ему что-то не понравилось и скатерть неделю отказывалась его кормить.

Трапеза уже подходила к концу, когда в столовую ворвался Иван-дурак и на ходу прокричал:

– Беда, Иван-царевич! Пришла оттуда, откуда и ждали, но не ожидали!

– Это как? – удивился Иван-царевич. Он оглядел подлежавшего к нему гонца. – И что за вид у тебя?

С одежды прибывшего стекала какая-то белая жидкость, оставляя лужицы на полу. Сапоги и ноги были облеплены розовой жижей. Иван-дурак сел на лавку и снял хлюпавшие при ходьбе сапоги.

– Да это я переплыл молочную реку с кисельными берегами, чёрт бы её побрал. До моста было далеко бежать...

– Так что случилось? – перебил его Иван-царевич.

Гонец огляделся по сторонам и понизил голос.

– В Башню Злодеев кто-то вселился и грозитя отобрать у тебя тридевятое царство!

– И что он предпринимает?

– Да пока только слышно, как он грозитя за воротами замка. Но уже пошёл слухок, что он собирает рать на битву с тобой...

– Не бывать этому! – стукнул кулаком Иван-царевич по столу.

...И вот он уже скачет и думу думает, кого бы привлечь на свою сторону для битвы с супостатом. Скачет день, скачет второй... На третий день отложил он скакалку и пошёл за сапогами-сороходами. Но оказалось, что они взяли отпуск и убежали на родину к Маленькому Муку, к родственникам – туфлям-сороходам. Пришлось просить знакомую фею, чтобы она соорудила ему, не бесплатно, карету. Тыквы под рукой не оказалось, поэтому карету сделали из кабачка. Получилась коляска, к неудовольствию Иван-царевича. Но делать нечего, надо уже было отправляться на поиски соратников.

Первым делом они с Иваном-дураком, правившим транспортным средством, заехали к умельцам и изобретателям Винтику и Шпунтику. Те, как обычно, что-то собирали у себя в мастерской, не замечая прибывших гостей. Иван-царевич деликатно покашлял, привлекая внимание.

– А, царевич, – недовольный Винтик, оторвавшийся от любимого дела, подошёл к гостям.

– Здравствуйте, друзья! – Иван-царевич сделал озабоченное лицо. – Тут у меня намечается небольшая победоносная война. Но на ней всё может случиться, и мне нужна мёртвая и живая вода. Поможете?

– Ну, самогона у нас хоть плавай, а вот пиво кончилось. Вчера тридцать три богатыря отмечали юбилей Пушкина, и всё пиво они забрали.

– А я еду и не могу понять, откуда над нашим царством такой дух стоит, словно прорвало канализацию, – подал голос Иван-дурак.

– Можно, конечно, новое сварить, но нужно сырьё, топливо. Да и работы будет много...

– За всё будет заплачено. – Иван-царевич натужно улыбнулся. – Неужели ж я не понимаю?

Тут решил подать свой голос Иван.

– Хотелось бы продегустировать товар.

Винтик ушёл в соседнее помещение и вернулся со стопкой мутноватой жидкости. Иван несколько раз понюхал напиток, затем разом опрокинул стопку в рот.

– Хорош! – крикнув и занюхав самогон рукавом, сказал он. – Мёртвого поднимет!

Пришлось следующим посетить Кашея Бессмертного. Побродив по замку в поисках хозяина, гости наконец нашли его в огромном подземелье, набитом сундуками с золотом, серебром и драгоценными камнями. Кашей крепко спал, обняв один из сундуков.

– Умаялся, бедный, – с сарказмом сказал царевич. И приказал помощнику: – Ну-ка, разбуди его.

Иван слегка потряс Кашея за плечо, затем постучал по короне, наконец, пнул его – хозяин даже не приоткрыл глаз.

– Попробуй приподнять крышку сундука, – посоветовал помощнику царевич, что Иван тут же и сделал.

В следующее мгновение он уже хрипел – ему в горло костлявой рукой вцепился проснувшийся хозяин сундука.

– Полегче, Кашей, свои! – крикнул Иван-царевич.

Кашей нехотя отпустил горло несбывшейся жертвы, и Иван-дурак с проклятиями отошёл подальше от бешеного старика. Кашей сел на сундук и спросил:

– Зачем пожаловали?

– Появился очередной злодей, желающий захватить власть в нашем царстве. Хотим сразиться с ним, но нужны спонсоры предстоящей битвы – собрать войско. Поможешь нам?

Кашей почесал голый череп, оглядел своё богатство и, уставившись в потолок, спросил:

– С чего это я тебе буду помогать?

– Ну, если не хочешь просто помочь, то я тебе напомню, что по твоей просьбе я не чинил препятствий, когда отпускал к тебе Василису Премудрую. Ты тогда обещал, что не останешься в долгу.

– Но зато я помог тебе заполучить Василису Прекрасную!

– Тогда я скажу твоей жене, за сколько ты хотел купить её у меня. Я думаю, она не обрадуется, узнав о той мизерной сумме...

– Хорошо, хорошо, – прервал царевича Кашей, оглядываясь по сторонам. – Будет тебе финансирование. Два сундучка золота, надеюсь, тебе хватит?

Иван-царевич и Кашей ударили по рукам. Иван-дурак, чертыхаясь и потев, дотащил сундучки до коляски.

– Ну, теперь к кому? – отдышавшись, спросил он у царевича, задумчиво смотревшего вдаль.

– О, у нас же есть еще три богатыря! – очнувшись от дум, сказал царевич. – Помчали к ним.

Но богатыри неожиданно отказались от участия в битве.

– Ты подумай, царевич! У нас тридесятые игры на носу. Нам тренироваться надо. Чтобы поддержать престиж нашего тридевятого царства!

– Да вы напрягите мозгишки-то! – чуть не задохнулся от возмущения царевич. – Какой и чей престиж вы будете поддерживать, если злодеи захватят наше царство! – И добавил, видя нерешительность в глазах богатырей: –

Обновите перед битвой за мой счёт свою амуницию. Ну как? По рукам?

Дальше царевич ехал с отбитыми ладошками. Тряся ими и потирая их об колени, он чуть не упустил очередного рекрута, появившегося и сразу скрывшегося в траве.

– Стой, дурак! – Он выскочил из остановившейся повозки и подбежал к обочине дороги. – А ну, покажись. И не вздумай убежать.

Кряхтя и пыхтя, из травы показался Мальчик-с-пальчик. Страхивая с себя пыль и паутину, он подошёл к царевичу.

– Вот что, сынок, – подняв его на уровень глаз, сказал царевич, – нам нужна твоя помощь. Будешь у нас разведчиком. Поживёшь во дворце пару дней, откормишься. Согласен?

Получив утвердительный кивок, царевич взобрался в повозку и пристроил нового бойца в уголок сиденья. Постепенно в повозку набилось много пассажиров: Незнайка, комарик с фонариком, Колобок, Золотой петушок, ёжик с палочкой-выручалочкой, белка с запасом изумрудных ядер. На облучок пристроился рядом с Иваном-дураком Черномор, отрастивший опять длинную бороду. Сзади на привязи резво бежали Конёк-горбунок и Бычок – смоляной бочок.

Впереди показался дворец Морозко, и Иван-царевич остановил повозку, приказал помощнику возвращаться во дворец и разместить всех гостей по комнатам. Сам же пешком отправился в ледяной дворец. Морозко сидел под кондиционером и занимался своим посохом.

– Низкий поклон тебе, батюшка Морозко, – поклонился ему царевич. – Позволь зайти к тебе в чертоги.

– Ноги вытирай. И присаживайся, будет хоть с кем поговорить. Снегурка-то ведь опять растаяла. Теперь до зимы не появится. – Царевич нехотя сел на ледяной стул. – Просто так пришёл или по делу?

– Прими мои соболезнования по поводу Снегурочки. – Морозко кивнул головой, и царевич продолжил. – Ты слышал, в Башню Злодеев кто-то опять вселился? – Морозко кивнул. – Ты случайно не знаешь, кто против нас идёт?

– Конкретно кто – не знаю. Слышал только, что главарями у них какие-то Носастый и Ушастый. А кашу заварил Ушастый.

– А ты не подсобишь нам?

– Да у меня весь инвентарь в ремонте, – огорчённо взмахнул руками Морозко. – Если только морально...

Поблагодарив за приём, царевич, не чувствуя своего замёрзшего зада, поспешил на выход.

Попутный ковёр-самолёт, которого царевич уговорил присоединиться к их компании, быстро домчал пассажира до дворца. Приказав всем отдыхать, царевич и сам отправился в покои, где, лёжа в постели, стал обдумывать план дальнейших действий и кого бы ещё привлечь на свою сторону. И незаметно для себя уснул.

Проснувшись утром и приведя себя в порядок, он направился в столовую, по пути приказав выскочившему навстречу Ивану-дураку собрать всех на завтрак. Всё воинство, включая трёх богатырей в новых латах, расселось за столом.

– План простой. После завтрака отправляемся прямо к Башне Злодеев. Когда прибудем на место, будем действовать по обстановке. А сейчас всем приятного аппетита.

Ещё никогда скатерть-самобранка так усердно не работала. Еда, которую она выставляла на стол, исчезала в считанные минуты. Не осталось даже сил убрать посуду, когда все вышли из-за стола.

Перед дворцом компанию уже ожидали транспортные средства: повозка царевича, ковёр-самолёт и Змей Горыныч, которого пригласили три богатыря. Внезапно из-за угла выехала, заложив крутой вираж на повороте, печка, на которой сидел довольный Емеля.

– Вот, заехал к умельцам, – сойдя с печки, доложил он царевичу, обдав парами крепкого первача, – захватил мёртвую и живую воду.

– Надеюсь, ты живой будешь, когда прибудем на место, – царевич похлопал по плечу добровольного помощника. И обратился к своей рати: – Рассаживайтесь, кто куда сможет, и в путь!

...Только поздним вечером все собрались перед Башней Злодеев. Подумав, что утро вечера мудренее, царевич приказал всем отдыхать. Всё воинство достало из своих узелков еду, которую они собрали утром со скатерти-самобранки, подкрепились и, расположившись прямо на траве,

крепко уснули. Только трёх богатырей отправили подальше – чтобы не слышать их богатырский храп.

Утром всех разбудил стук копыт какого-то всадника. Когда он подскакал к сгрудившейся около царевича толпе, все увидели прекрасную незнакомку, упакованную в латы, только руки, ноги, шея были голыми. Всадница соскочила с коня и приблизилась к толпе.

– Кто ты, красна девица? – царевич не мог оторвать взгляд от нее.

– Шапокляк!

– Старуха Шапокляк?! – вырвалось у всего воинства.

– Была старуха, но молодильные яблочки знают своё дело.

– И зачем ты здесь? – внезапно царевичу пришла мысль, что прибывшая может подорвать боевой дух его войска.

– По-моему, я знаю, кто захватил Башню. Так что могу пригодиться. – Виляя бёдрами, она присоединилась к толпе, подняв по пути отвисшую челюсть Ивана-дурака.

...Всё войско выстроилось напротив ворот замка, ожидая приказа на штурм. Царевич стоял впереди, держа под уздцы Конька-горбунка, не зная с чего начать.

– А поговорить? – вдруг раздалось из-за ворот замка.

Царевич отпустил Конька и, обдумывая на ходу речь, приблизился к воротам. Найдя в воротах щель подходящего размера, крикнул в неё:

– Эй, может, сдадитесь?

Почти сразу же Иван-дурак крикнул царевичу:

– Они подняли белый флаг!

Царевич отошёл к своему войску и крикнул:

– Выходи по одному!

Первыми под изумленный взгляд Черномора из раскрывшихся ворот вывалились, смеясь и галдя, тридцать три богатыря, и, толкая перед собой огромную бочку с пивом, скрылись в ближайшем лесочке. Затем рысцой промчалась небольшая группа кикимор во главе с лешим. Нестройной толпой прошла рота старух, за которой следовал взвод стариков, старавшихся держаться молодцами. Поодиночке вышли: Соловей-разбойник, которому, не удержавшись, дал пинка Алёша Попович; Муха-Цокотуха;

Серый Волк с поджатым хвостом; три медведя с виноватым видом. Затем в воротах появился Буратино, крепко сжимавший золотой ключик. Он хотел подойти к толпе, но царевич со строгим лицом показал ему рукой, чтобы он отправлялся за всеми в лес. Долго не появлялся главный злодей, и царевич крикнул:

– А теперь ушастый! – но никто не появился. Подождав немного, царевич повторил, ткнув указательным пальцем перед собой: – Я сказал – ушастый!

Ворота жалобно скрипнули, и перед всеми предстал, белый и пушистый, Чебурашка. Все ахнули.

– Да что ты тут, Чебураха, учудил, а? – спросил царевич, подойдя к нему и присев на корточки, опутившего голову несостоявшегося злодея.

Всё воинство обступило их, смотря на Чебурашку с укоризной и жалостью.

– Когда я покорил весь мир, то захотел властвовать и над тридевятым царством, – вытирая ушами выкатившиеся слёзы, сказал он. – Простите меня...

И кинулся на шею царевичу. Иван-царевич обнял Чебурашку и, не дав непрошеной слезе выкатиться из глаза, сказал:

– Всё будет хорошо!..

– Стоп мотор! Снято! – режиссёр решительно махнул рукой, и вся съёмочная группа зааплодировала. – Съёмки завершены. – Он устало откинулся в режиссерское кресло и, довольный, сказал: – Это вам не Бэтмен с Капитаном Америка. И не Халк с Человеком-пауком. И даже не Железный Человек с Тором. – И добавил: – Голливуд отдыхает!

Ольга КОСОВА

Кстово

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО

Вот уже целых две недели стояла жара. Все садоводы с нетерпением ждали вечера, чтобы полить грядки. Понятно, что когда столько желающих собиралось со шлангами на своих участках, напор воды был минимальным. Марина, нетерпеливо отмахиваясь от зудящих и злых комаров, радовалась, что осталось полить последнюю грядку. Она уже пожалела, что упросила мать разрешить ей с подружкой Нинкой ночевать у них в саду на даче. На днях ей исполнилось четырнадцать лет, и она считала себя вполне взрослой. Разрешение с трудом, но было получено. К тому же их сосед, шестидесятипятилетний Сергей Григорьевич, который почти всё лето ночевал в саду, обещал присмотреть за девочками. Марина с Ниной клятвенно пообещали как следует пролить грядки, запереть садовую калитку и, чуть что, срочно звонить домой. И вот теперь Марина со шлангом стояла на улице, а Нина таскала шестилитровым ведром воду под молодые кустики смородины и малины. Сергей Григорьевич ушёл навестить больную жену в больницу и вот-вот должен был вернуться, а заодно и проконтролировать фронт выполненных работ.

Третий раз за последние полчаса у Марины зазвонил телефон.

– Ну понятно, мама, – пробурчала она. – Без контроля никак. Или передумала? Скомандует сейчас топать домой.

– Мы не пойдём, правда, Марин? – протараторила пробегающая мимо с ведром Нинка. Она торопилась, и вода выплёскивалась ей на ноги, отчего они были у неё ужасно грязные.

– А, перед сном в бочке с водой помою, – отмахнулась она в ответ на вопросительный взгляд подруги. – Вода тёплая-претёплая!

Марина поднесла телефон к уху, зажав его между подбородком и шеей, продолжая свободной рукой отмахиваться от комаров.

– Марин, у вас всё в порядке? – осторожно спросила дочку мать.

– В порядке. Поливать уже заканчиваем. Сейчас салатик доедим, чайку попью и укладываться начнём.

– Подожди укладываться. Тут такое дело... Сергей Григорьевич не придёт сегодня ночевать в сад. Радикулит его разбил. Как вы, не забойтесь? Может, мне к вам прийти? И отец, как назло, сегодня в ночную смену дежурит.

– Не, не, не забоймся!

Марина радостно подмигнула подружке. Свобода! Можно всю ночь не спать, страшилки друг другу рассказывать. Жаль, интернета нет, а то бы ещё и в телефонах зависли.

– И калитку я уже заперла, и домик закрываю, – торопливо стала она успокаивать мать.

– Ну ладно. Я в твои годы тоже уже самостоятельная была. Тогда так. У нас закончите и сходите к Сергею Григорьевичу. Его грядки тоже надо полить. Утром-то проспите. А в жару поливать нельзя. (Марина закатила к небу глаза. Можно подумать, она этого не знала.) – Если не полить, – продолжила мама, – всё засохнет. Тогда тётю Лиду точно инсульт или инфаркт хватит.

– Кто такая тётя Лиди? – прошептала, округлив глаза, подружка.

Она уже давно стояла рядом, прислушиваясь к разговору. И громкую связь включать не надо – всё и так отлично слышно.

– Кто-кто, – прошептала ей в ответ Маринка, – жена Сергея Григорьевича.

А матери громко ответила:

– Сделаем всё в лучшем виде.

Марина получила точные указания, что надо обязательно полить, а что потерпит до следующего раза, и они с Ниной пошли на участок соседей.

Вдруг Марина, которая шла первой, громко ойкнула.

– Ты чего?

– Крапива.

– Нет тут никакой крапивы, – пробурчала сзади Нина. И тут же следом: – Ай-яй, нашла-нашла!

И запрыгала на одной ноге.

Теперь уже Нина взяла шланг. Напор стал сильнее: многие, если не все, так как уже значительно стемнело, разошлись по домам.

Если бы ещё комары не кусались, было бы вообще хорошо.

– Ты сорви веточку и встань рядом. Будешь сразу от нас обеих комаров отгонять, – командовала Нина и сморщилась. – Фу, чем тут у них пованивает? Как будто кто сдох. Или Сергей Григорьевич кого пришиб и боится в сад идти. А на радикулит сваливает. – И пропела:

Хорошо в краю родном
пахнет сеном и... навозом!

– Перестань, – рассердилась Маринка. Ей и без того было не по себе.

Вдруг боковым зрением девочка заметила в стороне какое-то шевеление. «Напор сильный, вот шланг и дёргается», – подумала она, а сама осторожно покосилась на пугало, которое сосед смастерил дня два назад.

– Чтобы скучно одному в саду не было, – объяснил он. – Хозяйка моя в больнице лежит, давление у неё. А тут я вроде как и не один, а с товарищем.

«Товарищ» получился как настоящий. Сергей Григорьевич скотил крест-накрест две доски, натянул на них свою садовую рубашку, старый пиджак и даже галстук повязал. Из пятилитровой бутылки вырезал голову, прикрыл кепкой, нарисовал лицо. Воткнул в землю за шикарный

куст пиона. Издали как настоящий мужик. Не мужик – интеллигент. Только портфеля не хватает.

– Чего же не в платье нарядил? Была бы подруга, – спросил Маринин отец.

– Не, подругу нельзя. Хозяйка у меня ревнивая, – отшутился сосед.

Марина зябко повела плечами. Но не от холода. Было жутковато. Такое чувство, что чучело оказалось немного ближе к ним, чем было, когда они только пришли. Хорошо, что Нина его не видела. Марина всегда считала подружку трусихой.

И всё-таки остаться одним в сумерках, да ещё на чужом участке... Опять шевеление сбоку. И это точно не шланг.

Около тропинки возле бочки с водой в землю у соседней была врыта здоровущая кастрюля. Такие в школьных столовых бывают. Туда Сергей Григорьевич с женой кидали крапиву и осоку, заливали водой, и получалось питательное, но уж очень вонючее удобрение. Особенно когда ветер дул в сторону Маринино участка. Именно этот «аромат» и унюхала Нинка. А теперь эта масса шевелилась и фыркала. Марина боязливо толкнула Нину. Подружки пригляделась и ахнули – ёжик! Страх сразу пропал.

– Поливай дальше, а я его вытащу, – предложила Марина.

Она вдохнула побольше воздуха, присела на корточки и, брезгливо морщась, стараясь не дышать, сунула руку в ёмкость. Подвела ладонь под брюшко животного и потянула наверх. Ничего не вышло. Лапки ёжика были крепко спутаны осокой. Он перебирал лапками из последних сил, чтобы остаться на поверхности и не уйти на дно кастрюли. «Так вот почему ты не смог выбраться», – поняла Марина. И так и этак девочка пыталась вытащить несчастную животину – ничего не получалось.

– Как бы лапки не оторвать, – пробормотала она себе под нос и плюхнулась на землю рядом с ёмкостью. Продолжая поддерживать ежа одной рукой, засунула в кастрюлю вторую руку и, стараясь дышать через раз, девочка стала по одной отрывать травинки, освобождая терпящего бедствие ёжика.

– Потерпи, маленький, потерпи ещё чуть-чуть, – чуть не со слезами уговаривала она его. А ёжик уже и шевелиться перестал. Марина даже думать боялась, сколько времени он провёл в плену, сражаясь за свою жизнь, сколько грязной воды нахлебался. Но ещё больше её ужасала мысль, что если бы мама не наказала им помочь соседу с поливом, ёжик так и утонул бы.

– Ну что там? – нетерпеливо спросила Нина. Она отошла к другой грядке и не видела, что происходит.

– Сейчас-сейчас, скоро уже.

Наконец Колбочка, так она его окрестила, оказался на земле. Марина полила его из стоящей неподалёку лейки с водой, чтобы хоть немного смыть грязь, и попыталась до конца распутать траву, крепко перетянувшую лапки ежа. Но было, увы, уже слишком темно.

– Полежи, маленький. Я перчатки потолще надену и к себе тебя перенесу. У нас отлежишься, – обратилась она к далеко не маленькому ежу и помчалась на свой участок.

– Ты куда? – крикнула Нина, но тут же испуганно замолчала. Слишком громко в темноте и тишине прозвучал её голос. Лучше, чтобы никто не знал, что они тут совсем одни. Всё геройство сразу куда-то испарилось.

– Сейчас вернусь, я быстро, – донеслось в ответ.

Нина стала нетерпеливо ждать возвращения подруги, медленно продвигаясь вперёд со шлангом и оглядываясь на калитку, через которую должна была вернуться Маринка.

Вдруг девочка почувствовала, что совсем рядом с ней около пионов кто-то стоит. И это не Марина.

Нина бросила шланг и пронзительно закричала: она увидела прямо перед собой тёмный силуэт мужчины. Только теперь она поняла выражение «ноги не слушаются». Как в кошмарном сне – хочешь убежать, а сама стоишь на месте, не в силах сдвинуться с места. Её крик, казалось, достиг самых дальних участков садового общества.

– Нина, ты чего? – раздался рядом не менее испуганный голос подруги. Она уже вернулась, но не сразу поняла, в чём дело. И только когда Нина трясущимся пальцем стала тыкать в сторону чучела, беззвучно, как рыба, открывая рот, Марина истерично захохотала.

Вода из брошенного на землю шланга продолжала литься, и под ногами было уже целое болото. Ноги увязали в мокрой земле. Теперь не только ноги, но и руки, и платье и даже волосы у Нины были грязными и мокрыми. Как, впрочем, и у Марины. Только от Маринки ещё и воняло удобрением соседей. Теперь, отходя от страха, девочки хохотали, уже глядя друг на друга.

Когда подружки, наконец, успокоились, они снова вспомнили про ёжика. Но вернувшись на то место, где его оставила Марина, Колючку они уже не нашли.

– А я боялась, что он умер, – проговорила Марина. – Значит, жить будет, раз убежал. А зря. Нет, не то зря, что жить будет, а то, что скрылся.

Девочка прикрыла кастрюлю дощечками, которые нашла, когда бегала за перчатками. Подруги, судорожно цепляясь друг за друга и постоянно оглядываясь на пугало, отправились к себе. Остаток вечера и ночь прошли без происшествий.

Больше Марина уже не просилась переночевать саду ни одна, ни с подругами. Одного раза хватило. А сосед, узнав про ёжика, выкопал кастрюлю и зарыл яму. С тех пор он каждый день выставлял под кустом смородины миску с тюрей из молока и хлеба. Вину заглаживал. Может, кто и приходил, потому что еда из миски пропадала. Простил его ёжик. Пугало он тоже разобрал, потому что Маринка, конечно же, всё рассказала маме. А мама – Сергею Григорьевичу. И они потом ещё долго, весело смеясь, вспоминали эту историю.

Валерий БОХОВ

Москва

РОССЫПЬ

Медуза, лежавшая на галечном берегу, иссыхала. Тонкой струйкой вытекала наполнявшая её влага. Оболочка её сморщилась. Медуза, конечно, погибла бы, если бы не маленький мальчик, который подобрал её своим совочком вместе с песком и галькой и бережно опустил нежное морское создание в воду, где оно ожило.

Туго закрученные океанские волны наперегонки катили к берегу и, достигнув его, рассыпались, оставляя на песке мокрые следы и остатки пены.

Да, волны в океане были именно такими. А берег... Берег принадлежал маленькому островку. И таких микроскопических островков было полно на водной глади. Точнее, островков было ровно столько, сколько звёздочек рассыпается на бескрайнем ночном небе. Одним словом, островков была россыпь.

На каждом островке жил человек. Один или с семьей. Ах, если бы им ещё никто не мешал! Ни стихия, ни ночные налётчики. Больше всего хотелось им, чтобы мирную жизнь их ничто не нарушало. Потому что каждый из этих людей занимался любимым делом.

Одни ловили рыбу. Как же иначе – жить на море и не ловить рыбу? Так ведь нельзя! Они да и другие люди плели для этого сети. Сети плелись из водорослей. А добытая тина высыхала на ветру и солнце и тоже становилась

прочной сетью. Как правило, водорослевые сети опускали в воду для ловли рыб. А тинные сети растягивали между пальмами, растущими на островках. В эти сети попадались летучие рыбы и иногда птицы. Пойманные птицы вносили разнообразие в рацион.

А ещё были мастера-парусники. Из огромных листьев пальм сплетали они чудные парусные изделия. Такие паруса можно было натягивать между стволами. Примитивно? Да, но работает! Но высшее мастерство – это парус в виде воздушного змея. Он маленький, этот парус, но, забираясь в ветряные слои воздуха, он несёт островок с заметной скоростью и в нужном направлении.

Ведь острова надо буксировать! Мало ли: собраться вместе, завалиться в гости... А потом – основная наша зовущая и неосуществимая пока мечта! Вы ведь куда стремитесь в отпуск, в каникулы? Отвечу – к морю, на острова! Нам же сюда не надо. Мы и так уже здесь, на месте. Круглый год! И мы настолько «здесь», что купаться уже не хотим, надоело! А наша мечта – это стремление к Суше, к большой Суше, к континенту! Мы можем, конечно, сплотиться островами вместе, но это будет только заменитель Суши, суррогат, жалкая подделка! Настоящую Сушу это не заменит. Таковую, знаете, чтоб вышел, и сплошь болота до горизонта. А пускай! Или сошёл на Сушу, а там песок кругом, пустыня. Песок, песок, песок... Иногда он ровный, а иногда морщится, сбивается в барханы, которые похожи на волны... Тьфу ты! Стереотип мышления сковывает порою нашу фантазию. Или вылез ты в степь. Знаете, трава по пояс. Маки там или хлеба бушуют. А ты один посередине этого большого мира. А потом рожь от ветра пойдёт вдруг волнами... Тьфу! Опять за привычное цепляешься! Все эти видения Суши пришли к нам из древних мифов и легенд.

Среди островитян есть и строители. Они же и клеевары. Потому что без клея строители на островах мало что могут. Клей делаем из водорослей агар-агар. Долго варить его надо. А дома обычно мы делаем из кокоса и ракушек. По принципу «камень на камень, кирпич на кирпич». Их склеиваем; одно к одному, одно к одному; и

пазл... тьфу ты, дом готов. Остаётся накрыть его пальмовыми листьями.

Среди нас есть и тюкнутые романтики. Конечно! Посудите сами: они добывают только красоту для любования – ракушки там, цветы...

При виде ветки кораллов у вас перехватывает дыхание? Вы вскрикиваете восхищенно? Тогда получается, что и вы из таких же!

Актинии, или анемоны, – «цветы моря». Конечно, красивы и сами цветы, и их названия. Это все морские организмы, обитающие на донном грунте. За ними ныряют. Из них выводят актинидии – стреляющие из класса коралловых полипов. От них пошли уже на поверхности острова – всякие киви. Потом кокосовые. Ну, и мангровые тоже.

В общем, все заросли из водорослей и сухорослей – это всё их заботы.

А из ракушек, добытых ими, часть идет, мы уже говорили, на строительство. А ещё часть – для выдува. Можно просто дуть в ракушки, добываясь разного звучания, можно сигналить, призывно звать кого-то, а можно, собравшись или поодиночке, выдувать мелодии.

Я почему говорю обо всём со знанием дела? Так я же вижу всё, что происходит передо мной. Я смотритель маяка, сижу на неподвижном острове. А ко мне уже цепляется всё прочее население. Их разматывает по морям и океанам шторм или ветер, а я созываю, как могу, – световыми да звуковыми сигналами, отмашками.

Мне подарили огромную раковину с толстыми стенками. Могу дуть в неё, а могу стучать по ней крупной костью. На воде звук далеко разносится, и меня слышат на всех, даже далеко отнесенных, островах.

А ещё мы, островитяне, любим знакомиться и с удовольствием подбираем себе друзей из животного мира.

Морских черепах, например. Некоторые предпочитают, чтобы их островки буксировали черепахи. Расстояния черепах не пугают. Но черепахам надо время от времени в песке откладывать яйца. В них созревает их потомство. За отложенные в песок яйца черепахи могут не волноваться.

Хозяин острова – человек – обкладывает это место кокосами или огораживает камнями; втыкает палку с надписью «Занято». Правда, читать это предупреждение некому, но это не важно, таковы порядок и традиции.

Другие друзья жителей островов – муравьи. Вы задумывались, почему на наших островах ни соринки? Потому что мураши все смолачивают. Малейший мусор. А им что? Остатки рыб, креветок или мидий бросишь; они и довольны. Для всех, кто живёт на воде, всегда важно знать – где юг, а где сегодня nord. Иначе не сориентируешься. Звёзды же не всегда видны! Мураши же муравейники строят всегда с южной стороны пальмы. Так мы договорились! Поэтому наш народ муравейники не разоряет и не обливает горячей водой. И не только поэтому. Я говорил вам, что у мурашей мощные челюсти – жевачки? Так вот, когда враги наши – ночные гости – на нас нападают, то мураши следом за ручными медузами вступают в бой. Муравьи не попадают на глаза; потому как не видны в темноте. Но зато всё, что им на глаза попадает, мгновенно смолачивается. Начиная от сандалий и штиблет. Ну и, конечно, пятки пришельцев их привлекают. Поэтому набег разбойников проходит быстро: схватили сетки с сушёной продукцией, разорили муравейники – и дёру. Опресненную воду и выпаренную соль, если не спрятали, прежде всего хватают. Но первые, кто принимает бой ещё на дальних подступах к острову, – это наши медузы. Медузы разного размера, разной расцветки. Щупальца их разной длины. И что интересно: своих медузы не жалят. А вот тех – тех да! Приходится чужакам, как сквозь заросли крапивы к острову продираться. Ведь остров к острову иной раз не подойдёт! Из-за выставленных в разные стороны деревянных пик.

От ночных грабителей, которые трудиться не любят, детей своих островитяне прячут так. Дети ныряют под свой остров. Там есть подготовленный бугорок с куполом, где можно отсидеться. С собой дети берут молоденьких муравьёв, чтобы их не затоптали. И забирают колышки с указателями «Занято», чтобы не подсказывать налётчикам, где есть яйца для глазуньи.

А когда на воде и на душе штиль, островитяне по одному или собравшись в группы, выдувают на своих раковинах прекрасные мелодии, в которых повторяют свист ветра и шелест волн. Мелодии говорят о восходе и заходе светила, о том, как выплывает загадочная луна, как она робко прячется за вуалью легких облачков, как она взролеет.

Вообще мелодии вызываются тем, что людей трогает: закат, лунная дорожка, туман, рассвет, дыхание океана...

Мелодий островные жители знают много, и слух у них замечательный. Да что там, замечательный – у всех островитян абсолютный слух! Хотя сейчас в консерваторию! Вместе они слаженно выдувают «Оду Океану», браурную «Симфонию бурь», лирические песни о весне на море, гимн-сказку «Суша», баллады «Штиль» и «Отголоски грома», игривую песнь «Брызги».

Не только на саму жизнь влияют ветер, течения, солнце. На воде ведь многое решает стихия. Но стихия, естественно, отражается и в музыке. И хотя стихия и стихи – слова созвучные, но поэзии островной нет. Может быть, пока нет. Поэтому все наши чудесные мелодии звучат без слов.

Вот медузы, мы поняли, очень музыкальны. Стоит заиграть «Оду Океану», как голубые и розовые медузы начинают кружиться парами.

Рассказать вам о ближайших моих соседях? Пожалуйста!

Наши черепахи дружат; поэтому они дрейфуют всегда вместе, у маяка.

На островке живут Юна и Она. Он и она. Такие длинные фамилии у нас носят островитяне княжеского рода. А занимаются Юна и Она добычей морских цветов и красивых раковин.

Конечно, романтики! Взгляните на их островок. Какой пышный сад у них, какие яркие цветники! Только у них над островом вьются бабочки – махаоны, капустницы, перламутровые бабочки. На других островках эти создания не приживаются.

У Юны и Оны есть детишки – пятилетние Нау и Кау. Почему не видны? Или поднырнули под остров, или катаются на морских черепахах, а могут плавать в сопровождении домашних медуз. Может, в гостях у сверстников. Мало ли...

Днем у нас, как видите, спокойно. А вот по ночам...

Исстари нашими врагами, ночными налётчиками, были злобные карлики. Я о них говорил, что они не любят работать. Но головы у них варят, и варят неплохо. Они что придумали? Приспособили сов – этих ночных разбойниц – жить с ними в союзе. Подкармливали птиц. Сейчас живут совы только на их островах. Совы откормлены. Птицы большие, как орлы. А карлики мелкие, крохи. Правда, очень злобные крохи. Угадали, к чему я? К тому, что карлики не выносят жжения медуз и укусов муравьев. Чтобы избежать этого, они науськали сов – с ними или без – совершать ночные налёты на наши островки. Стимул, мотивация – рыба, яйца черепах, фрукты.

Со временем в ответ и мы придумали ПСО – противосовиную оборону. Что это за ПСО? Как увидим сов, так разводим костры. Совы не любят света! Для этого у нас подготовлены кучи сушеных водорослей и плавника. Возле них по ночам и дежури́м.

Я говорю вам про ПСО, говорил про пики, которыми ошетинились некоторые острова. Говорю, что мы придумали... На самом деле всё это – плод раздумий Умной Головы. Это должность. Выборная должность. Он постоянно должен заботиться о народе. Другим тоже не запрещается думать, но у него это постоянная обязанность.

Вон чуть дальше виден его островок. Зовут его Дг – думающая голова.

Например, одна из его идей – соединить островки мостами. Одно время он доводил идею, аргументы до масс, то есть до нас. Мотивировал тем, что мосты не дадут островам расходиться на воде, позволят держаться рядом. Экономим на черепахах...

Потом он опровергал свою же идею – ведь только в споре рождается... Ну, вы помните! Что без черепах будет пусто! Что теснота тоже не финики!

И ещё год он подвергал идею расчётам. Весь песок на своём острове он исчертил. А ответы каждый раз получались разные. Но отрицательных больше. В общем, идею отвергли – основа для опор мостов уж больно зыбкая.

У Дг есть ручные осьминоги, он их прикармливает. Говорит, что, глядя на них, ему лучше думается. А детишки поддразнивают мыслителя:

– Где спрут, там идеи прут!

А вот последнее предложение Дг – основную нашу мечту надо всемерно приближать! И ради этого собираем сейчас экспедицию. Экспедицию в поисках Суши!

И пусть небо сейчас ещё пасмурно, а прошедший ужасающий шторм разметал острова, я уверен, что хмарь уйдёт, пронзённая лучами солнца, а потом выглянет само светило и окатит весь океан светом и теплом, и спасшиеся островитяне соберутся вместе.

А тогда мы сможем сыграть радостную мелодию, смысл которой в том, что можно преодолеть любые трудности даже там, где вся жизнь зависит от океана, от стихии.

И огромная радуга тогда перекроет небосвод над нашими островами.

И женские лица снова станут красивыми, когда на них вместо слез появятся улыбки.

Евгений АЛЮТИН

д. Жуковка, Нижегородская область

ДОБРЫЙ ГНОМИК ВАСЯ

Солнечный лучик пробрался под синюю крышу избы на чердак, скользнул по лицу спящего Васи. Тот лениво потянулся, открыл глаза – пора вставать. Вася выглянул в маленькое чердачное окошко и увидел, что Михалыч уже встал, облился ледяной ключевой водой и бодренько поднимается по ступенькам в дом. Да, Вася, утро не задалось. Не успел он подшутить, как обычно, над дедулей: то тапку Михалыча спрячет под ступеньку, то полотенце утащит с лавочки, а всё потому, что он маленький, шаловливый гном. Когда-то давным-давно он выбрал для жизни этот дом, потому что его хозяин был добродушный, веселый, наивный и такой же маленький росточком старичок. Михалыч уже давно догадывался, что у него живет Вася-гномик на чердаке. Но не сердился, а только хитро улыбался в седую бороду. Да посмеивался: что с него взять, ведь маленький совсем.

А тем временем в городе Настенька, внучка дедушки, вприпрыжку шла из школы, она окончила учебную четверть, да что там учебную четверть – учебный год. И от этого Настюша почувствовала себя взрослой, ведь она перешла в пятый класс! Теперь она большая. В табеле были и тройки, и четверки. Пятерок совсем мало. «Ну да ничего, зато большая, в старших классах буду лучше учиться», – думала, идя по дороге, Настюша. Она была одета в белое платье, за спиной школьный рюкзак,

а на голове небольшие косички с белыми бантиками, вид у нее был довольный и счастливый. Правда, гольфы из белых превратились в серые. Она в соседнем дворе погоняла с мальчишками в футбол. «Мама будет ругаться и за тройки, и за гольфики», – думала, когда уже подходила к подъезду.

Мама ждала Настю из школы и даже купила в честь окончания учебного года торт. За чаепитием мама, к удивлению Насти, не стала ругать ее за тройки в табеле и грязные гольфы, а только сказала: «Теперь, Настюша, ты совсем большая, думаю, в старших классах будешь учиться лучше». И еще добавила, что ей нужно зарабатывать деньги здесь, в городе, а Настю отправит на лето в деревню, дедушке помогать. Будет она там за хозяйшку, ведь дедушка живет совсем один. Настя очень обрадовалась этому предложению, с раннего детства она любила бывать у дедушки в деревне.

Дом Михалыча стоял прямо в лесу. Дедуля вечерами перед сном рассказывал Насте много интересных историй про гномика Васю. Это были их тайны, и даже мама об этом ничего не знала. Внучка никогда не видела Васю-гномика, но очень даже верила, что он не сказочный, а настоящий. Песенку про Васю-гномика она давно уже выучила и сначала пела с дедушкой перед сном, а потом просто одна, когда пропалывала грядки:

Я веселый Вася-гномик,
У меня в деревне домик
С синей крышей, как волна.
А деревня – Жуковка!

Здесь есть ягоды, грибы,
Можно встретить и дубы.
С белкой шустренькой в дупле,
Приезжай, дружок, ко мне.

Научу тебя трудиться,
С ключевой дружить водицей.
Не болеть и не скучать,
Жить без помощи врача.

Сам живу на чердаке,
Вижу тучки вдалеке.
Ночью звезд на небе много,
Через знания к ним дорога.

Гномик помогал Михалычу бороться с кикиморами. Рядом с деревней были болота. И там, в этих болотах, жили кикиморы: первая – Фита, а вторая – по имени Фтора. Обе они были хорошими подругами сказочной Бабы-яги и очень на нее походили. Правда, бусы на них висели из ракушек. Вместо рук у них были лягушачьи лапы. А вместо ног были длинные хвосты, как у русалок. Они ныряли в болотную трясику, а наверх высывали только камышовые тростинки и дули в них со всей силы. В сторону деревни из этих тростинки выдувались тучки, одна тучка Фита, а другая тучка – Фтора. Если сложить два имени, то получится Фитафтора. У жителей деревни на огороде от этих тучек погибали помидоры и другие полезные культуры. А еще с этими тучками отправлялись полчища комаров и слепней. Дедуля говорил, что они с Васей-гномиком подкармливали в кормушках синичек, воробьев, ласточек и стрижей, а взамен просили птичек разгонять тучки и комаров со слепнями в деревне.

Дед был очень рад приезду внучки: «Ой, Настенька, как ты подросла! А реснички у тебя какие стали большие!» У Насти и в самом деле были большие зеленые глаза, выразительно подчеркнутые длинными черными ресницами. Она уже начала нравиться мальчишкам в классе. Вот только они внимание проявляли странным образом. Денис с задней парты периодически дергал её за косички, а Вовка, вечно жующий жвачку, любил кривляться в коридоре во время перемены, тыча в Настю пальцем: «Смотрите, парни, Барби!»

Михалыч повел внучку в дом кормить завтраком. Пока Настя ела, дедушка рассказывал ей обо всем по порядку. Напомнил, что в прошлом году в скворечнике проживали скворцы. Настя запомнила, как они выбирали квартирники-скворечники, потом селились, таскали в скворечники свои вещички: соломинки, разные веточки в клювиках. А позже приносили птенцам в тех же клювиках червяч-

ков, гусениц, слепней. Смешно было видеть, как подросшие птенцы по очереди вытаскивали из скворечника свои попки на улицу, чистюли этикие! Улетели они тогда 6 июня. Как сказал дедушка, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот раз скворцы не поселились, видимо, испугались кота, дедушкиного верного друга, Семы. Он называл кота почтительно, Семен Семеныч. «Я-то думал, они тебя опять порадуют. Да не вышло! Осторожничают скворцы, а на их месте в этом году стрижи поселились». Дед уважительно относился к этой птичке. Как рассказал Михалыч Насте, стриж живет около пяти лет. И выбирает только одну подругу, стрижику, которой верен потом всю жизнь. «Однолюб, есть чему нам, людям, у него поучиться», – добавил дедушка.

– Ой, внучка! Тебе письмо прислал в конвертике Вася-гномик. Я нашёл его в почтовом ящике, – сказал дедушка, – на вот, когда поешь, прочитаешь.

Настя сразу после завтрака вскрыла конверт и начала читать. Вася писал печатным шрифтом. «Наверное, его в школе не учили письму», – подумала, Настя.

ПОПРОСИ ДЕДУШКУ ОТКРЫТЬ ГАРАЖ И ОСТАВИТЬ В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ НЕБОЛЬШУЮ ЩЕЛЬ ТАК, ЧТОБЫ ТУДА НЕ СМОГ ЗАЛЕЗТЬ КОТ.

Просьба гномика была исполнена в то же утро. И какое было их удивление, когда увидели, что в эту щель стали залетать ласточки. Там, в гараже, ласточки принялись лепить гнездо. Михалыч вынес из гаража весь необходимый инструмент, чтобы впредь не беспокоить птиц. А Настя стала следить за котом и выяснила, что Сёма привел кошечку.

Кошечка была бездомной, худенькой и голодной. Настя стала наблюдать за ними обоими. Она выносила им еду на улицу в мисочках. Но Сёма почти всё отдавал кошке. Дедушка, узнав об этом, сказал: «Ну что, Настя, у нас кот не какой-то персидской или английской породы, а простой русской, да еще с добрым русским характером».

«Так вот какой ты, оказывается, Сёма, благородный. Но я все равно буду следить за тобой и твоей подругой, чтобы не проникли в гараж и не разорили гнезда ласточек», – так рассуждала про себя Настя.

Прошло уже десять дней с Настиного приезда. Дни длинные, а ночи короткие. Много дел успевала делать Настенька, помогала дедушке и огород пропалывать, и посуду мыть. Она умела не только картошку почистить, но и суп сварить, этому ее мама научила. Но больше всего ей нравилось пасти козочек и овечек. Правда, они её не всегда слушались, упрямылись, иногда даже бодались друг с другом. Помогал дедушкин волшебный посох. Он был крепкий, сделан из можжевельника. Дед нашёл его в лесу, а чуть позже стал догадываться, что это подарок от Васи-гномика, так как инструкции-стихи по применению посоха пришли в голову Михалыча как-то сами собой. Дедушка научил владеть волшебным посохом и Настю. Когда скотинка далеко уходила от Насти, разбегалась по лугу, Настя три раза ударяла посохом по земле и говорила громко:

Посох, посох! Помоги,
Всю скотинку собери!

Если козочки или овечки бодались, Настя их разнимала посохом:

Ну-ка, драку прекратите,
Посох знает, кто сердитый.

А бывало так, что скотинку комары да слепни заедают, тогда Настя обращалась к посоху:

Коль комарики заели,
Посох, прячь нас всех под ели!

Вот так однажды Настя пасла скотинку со своим помощником-посохом. Смотрит, а к ней бежит навстречу ягненок, совсем-совсем маленький, видимо, только родился. Он крепко стоял на ножках, весь беленький, с рыжими от-

тенками над копытцами. Мама-овца к нему не подходила, и он, наверное, побежал сообщить об этом Насте. Дома, уже на скотном дворе, дедушка сказал:

– Редко, но бывает, когда овечка бросает своего ягненка, не хочет его кормить. Даже у людей встречаются такие нерадивые мамы. А забот у тебя, Настенька, теперь прибавится. Будешь кормить ягненка из бутылочки козьим молочком.

Дедуля сам доил козочек и оставлял молоко, специально для Потапчика, так называли маленького ягненка-мальчика. Потапчик быстро рос, а жил он вместе с козами. И что удивительно, начал самостоятельно прикладываться к вымени козы по кличке Веточка. Хлопот стало гораздо меньше. А Веточка уже кормила маленькую козочку, которую отдали соседи. У соседской козы, иностранной породы, не было молока.

– Вот видишь, Настя, порода нашей козы самая простая, русская, а двух приемышей кормит. Скажу тебе больше, внученька, ведь ты слышала, что сейчас идет война. Сколько детей-сирот Донбасса наша Россия-матушка приняла и обогрела. А все потому, что Россия добрая и справедливая.

Настя слышала о войне из разговоров взрослых и немножко из телевизионных передач, но толком понять, кто с кем воюет, не могла. В её представлении какие-то злые кикиморы болотные, как Фита и Фтора, направляют на Россию тучи, полчища агрессивных, жестоких кровопийц. А вечером перед сном, когда дед закончил рассказывать очередную историю про Васю-гномика, Настя спросила:

– Дедушка, а я по национальности – русская?

В ответ он улыбнулся и ответил:

– Русский – это не национальность, а характер, поведение человека. Вот у вас в классе учатся и татары, и узбеки, и киргизы, разве они – не русские? Русские помогают бедным и слабым. Защищают, всем делятся с ними. Ты, Настенька, во многом русская, во многом... Есть у меня знакомый солдат, доброволец из Луганска, по имени Антон, сейчас он на фронте и воюет за нас с тобой, за нашу Россию. Настенька, напиши ему письмо. А Вася-гномик

его обязательно доставит. Антон будет рад твоей весточке. Это будет тоже по-русски.

Настя после этого разговора долго не могла заснуть, ворочалась в кровати. Ей представлялось, как Вася-гномик на ласточках летит с ее письмом к солдату Антону. А в письме записочка. Настя придумала такие слова:

Храбрый солдат Антон, спасибо тебе за твои подвиги, за то, что ты нас защищаешь. Дедушка хоть и военный, но старенький, на фронт его не берут. Мы все тебя очень любим, приезжай к нам с победой в гости, очень ждем.

Настя уснула. С чердака спустился Вася-гномик. В доме было темно, но в руках Васи был светлячок вместо фонарика. Он знал, что Настя наполовину верит в его существование, пусть это будет так. Пусть и взрослые остаются в душе детьми, верят в добрые и светлые силы. Вася-гномик умел читать мысли людей и всё обо всех знал. Он полюбил Настеньку за ее доброту и трудолюбие. Вася с заботой поправил Настино одеялко, а сам подумал: «Эх, скорее бы подрастали у ласточек птенцы, надо, надо лететь к Антону. Уберегу его от шальных пуль и снарядов, ведь у Антона двое маленьких деток. А дедушка с Настей управятся пока и без меня».

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Татьяна КОТОВА

Астрахань

* * *

Тополь, тополь-великан,
Отправляет письма нам.
Их приносит на балкон
Свежий ветер-почтальон.

Красно-желтая страница
Тихо под ноги ложится.
– Вот и осень, листья сбросим, –
Пишет тополь в шесть ноль восемь.

Спрячу я письмо за рамой
И отвечу телеграммой.
– Не грусти, дружочек мой,
Листья вырастут весной!

Великан

Загрустил как-то раз великан:
Почему я большой, как вулкан?
Как подъёмный строительный кран,
Раз чихну – и вокруг ураган!
А ещё неуклюжий слегка:
Задеваю спиной облака.
Провода обрываю, как нить...
Кто захочет с громилой дружить?

И ответила серая мышь:
 Великан, почему ты грустишь?
 Я ведь тоже все время одна:
 Так мала, что порой не видна.
 Вот и стали друзьями, малыш,
 Великан и обычная мышь.
 А секрет этой дружбы был прост:
 Не имеет значения рост.

Григорий ГАЧКЕВИЧ

Кишинёв

Мужское счастье

Солнцу прокричав «Подъём!»,
 Помахав ему с улыбкой,
 С папой в море мы пойдём
 За большой и малой рыбкой.

Ветер свеж, но не суров,
 Волны есть, но небольшие,
 А вообще-то я готов
 К самой яростной стихии.

Папа держит курс вдоль скал,
 Я забрасываю снасти,
 И, хотя ещё я мал,
 Знаю, в чём мужское счастье.

Счастье – с раннего утра
 Встав уверенно к штурвалу,
 Знать, что мама и сестра
 Выйдут вечером к причалу.

И придёт обжора-кот
 Непременно вместе с ними,
 Он уверен наперёд:
 Мы вернёмся не пустыми!

Любовь СИДОРОВА

Москва

Секреты звёздные миров

Ах, если б я могла не спать!
 Я б столько сказок написала,
 И все миры б я угадала.
 Ах, если б я могла не спать!
 Зачем же нам даётся сон?
 Быть может, чтоб мы отдыхали,
 Чтоб никогда мы не узнали
 Всех тайн Вселенной, тайн миров?

А может быть, наоборот:
 Секреты звёздные миров
 Приходят в гости к нам из снов?..

Цветы и звёзды

Когда ты смотришь на прекрасные цветы,
 То удивляешься: в них столько красоты!
 Пожалуй, стоит и задуматься: откуда
 Пришло к нам на планету это чудо?

Вот смотришь ты на небо, видишь звёзды.
 Их столько! Сосчитать совсем непросто.
 Так много звёзд! И множество цветов,
 И множество таинственных миров.

Миров загадочных, неведомых всем нам,
 Но ведомых и звёздам, и цветам.
 Попробовать бы с ними поиграть,
 Попробовать бы тайны разгадать.

Представим, что и звёзды, и цветы
 К нам прилетели из страны Мечты.
 Цветы и звёзды дарят вдохновение,
 Я посвящаю им стихотворенье.

Цветы и звёзды, звёзды и цветы.
 Как им живётся в той стране Мечты?
 Там дружат все и счастливы всегда,
 Раздоров, споров не бывает никогда.

Цветы и звёзды – дружба их крепка.
 Цветы и звёзды – это на века.
 Когда б все люди так могли дружить,
 На всей планете было б легче жить.

Воздушный мир

Прозрачное море, высокие горы,
 А за горами маленький город.
 На горизонте где-то вдали
 По синему морю плывут корабли.

Прозрачное небо, на небе закат,
 А над закатом плывут облака.
 И если на пляже долго сидеть,
 Что можно на небе тогда разглядеть?

Такое же море, такие же горы,
 И соткан из воздуха маленький город.
 А море шумит, а море зовёт.
 Наверно, в том городе кто-то живёт.

Волшебный мир детства алеет вдали.
 В далёкий мир детства плывут корабли.
 Но где мой корабль? – Затерялся в пути.
 Мне будет непросто мир детства найти.

Пройду я сквозь грозы, миную беду,
 Но верю: мир детства, конечно, найду!

Прощальное слово

Людмила КАЛИНИНА

СОВЕРШАЯ ЖИЗНИ ВЕЧНЫЙ КРУГ...

О поэте Александре Фигареве (1949–2023)

3 ноября не стало Саши Фигарева. Помню его появление в нашем литературном объединении «Данко» в конце семидесятых. Высокий, статный, голубоглазый парень, он улыбался каждому встречному. Казалось, в белокурой гриве волос, во всем облике навсегда поселилось солнце как и в его стихах: «Как ребенок, мир проснулся, / Встал на цыпочки и замер, / И лучисто улыбнулся / Ярко-синими глазами», «Солнышко в чащобе затерялось // Средь осенней непроглядной тьмы. / Но его бунтующая ярость / Озарила чудо Хохломы». Открытость, добродушие, поэтический взгляд на мир – все говорило, что Саше Фигареву на роду было написано, говоря его же словами, «причаститься у пушкинского родника».

На первый взгляд казалось, у этого улыбчивого парня в жизни не было и не будет никаких треволнений, лишь сплошное везенье. Но ведь такое в судьбе поэта невозможно. Да, повезло, родился в лесной деревне Гордеевке сказочного Ковернинского края, на родине Хохломы, в семье сельской учительницы и библиотекаря. В доме всегда ценили книги, потому и начал писать стихи, поступил

в библиотечный техникум. По окончании техникума – армия, десантные войска. Честно сказать, не могу Сашу представить агрессивным, с оружием в руках. А вот в стихах его патриотизм, привязанность к Отечеству бьют через край. Стоит почитать стихи, посвященные фронтовикам – землякам, писателям.

В годы армейской службы состоялась его судьбоносная встреча с Константином Симоновым, который приехал к десанникам поделиться своим творчеством. Писатель показался всемогущим небожителем. Помню, Саша рассказывал, как он набрался смелости и протянул писателю школьную тетрадку со своими стихами. Такие стихи нельзя было не заметить:

В том краю, где жизнь нетороплива,
Я недавно увидал в саду –
В яблоках, потряхивая гривами,
Яблони усталые бредут.

Через некоторое время в часть позвонили из Литературного института, сообщив, что рядовой Фигарев прошел творческий конкурс и принят на заочное отделение. Ездил в Москву на сессии в пригородной электричке, где однажды и повстречал свою будущую супругу Валю. Маленькая комната в общежитии Литинститута, двое детей, материальные трудности, неопределенное будущее... Вот тут и пришлось вспомнить благодетеля Константина Симонова. Рассказывал Саша, как искал адрес приемной писателя, что дальше приемной пройти, встретиться не удалось, как ни пытался. Собирался просить немного – помочь найти хоть какую-нибудь работу и устроить детей в детсад.

В Нижний Новгород (тогда г. Горький) Фигаревы приехали большой семьей, не имея в этом городе ни родных, ни знакомых, ни жилья. Устроились в частном доме в пригороде. У недавнего выпускника Литературного института, казалось, был выход к московским изданиям, ведь там работали однокурсники, но он не умел

пользоваться знакомствами, лишь иногда посвящал им свои стихи. Ему бы ускорить выход книги и вступление в писательские ряды, что в то время давало возможность получить квартиру. «Я не спешу», – отвечал Саша, ведь наступила пора кропотливой литературной работы, отвлекаться – значит губить задуманное на корню. И как ни уговаривал «батьа» (так мы называли руководителя нашей писательской организации Ивана Ивановича Бережного) немного подождать, Саша начал строить кооперативную квартиру. Первый взнос внесла теща, продала свой домик в Подмоскovie и насовсем переселилась к зятю. А то, что квартира на девятом этаже, так это «даже хорошо», – говорил Саша, – никто, кроме дождя, не топает по голове». Он всегда оставался поэтом, не обращая особого внимания на трудности. Конечно, с уходом жены навалились всякие, в том числе бытовые, неурядицы, но Саша не жаловался, только в стихах можно было уловить его смятение и печаль.

О себе он писал «я простак», но эта духовная организация его натуры сообщала не увядающую с годами непосредственность поэзии, что притягивало людей. Замечательный поэт Ф.Г. Сухов написал предисловие к московскому Сашиному сборнику стихов «Светлые колокола», подчеркнув в его поэзии «уважение к русскому слову», «искание сокровищ народной поэтики», «достоинство оставаться самим собой», песенную близость к стихам Бориса Корнилова, ведь «без преемственности не может быть самобытной песни»:

Грузная, во тьме ступая слепо,
Шла гроза и горизонт дрожал,
Полоснула молния по небу,
Словно сталь десантного ножа...

Смелый, молодой, неосторожный,
Совершая жизни вечный круг,
Грохнулся на землю буйный дождик,
Перепутав стропы светлых струй.

В свое время известный писатель-сказочник С.В. Афоншин одобрил самобытный язык сказов Фигарева, благословил их издание. Возможно, с его доброго напутствия основными темами в творчестве Саши становятся ковернинское братство, хохлома, волшебное озеро Светлояр. Нет, поэт не погряз в своем привычном узком мирке, он смотрел на мир широко открытым сердцем с думой о будущем России. Вот, к примеру, строки из его «Молитвы», написанной в 1989 году:

Пусть навсегда осилит
Беды свои страна,
И возродится Россия
Могучей на все времена!

Лучшие лирические стихи говорят о его тонком пространственном мышлении даже в такой, казалось бы, «отработанной» поэтами теме, как поклонение любимой женщине:

Сквозь окошко в узорах мороза
Я на женщину эту гляжу.
Я люблю так давно и серьезно,
Что об этом уже не скажу.

Я дышу на окно осторожно,
Среди хрупких, хрустальных ветвей
Вспыхнут очи, которых дороже
Я не видывал в жизни своей.

Пришло время, и стихи, сказы, воспоминания А. Фигарева стали выходить солидными книгами, получили заслуженно высокую оценку (Ф. Сухов, О. Рябов, Ю. Адрианов, В. Ханов). Вспомним его избранное «Моя Хохлома», изданное недавно при финансовой поддержке Н.Г. Смирнова. Стихи его были опубликованы в антологии «Русская поэзия. XX век» под редакцией В.А. Кострова и Г.И. Красникова; сборнике «Очей очарованье» (Пушкинское Болдино в советской литературе), составитель

профессор В.И. Баранов; «Питомцы волжских берегов...» (Стихи нижегородских поэтов XIX–XXI вв.) и других коллективных изданиях. Произведения Александра Фигарева в современной литературе достойно представляют нижегородскую поэзию.

Десять книг, ряд публикаций в коллективных сборниках и журналах...

Много это или мало?

Качество русской литературы никогда не определялось количеством изданного, сразу вспоминается единственная прижизненная тоненькая книжка стихов великого М. Лермонтова. Да, в который раз убеждаюсь: надо заново перечитывать поэтов-нижегородцев.

Спасибо, Саша, за твой поэтический голос, который останется с нами и в счастливые, и в тревожные годы.

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск тридцать пятый (№ 2, 2023)

Главный редактор *О. А. Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Шеф-редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Лев Зелексон*

В оформлении обложки использовано
фото *Николая Мошкова*

Подписано к печати 05.12.2023. Выпущено в свет 27.12.2023.

Бумага 60x84¹⁷₁₆.

Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 27,9. Тираж 1000 экз.

Свободная цена.

16+

Учредитель и издатель ООО «Книги»

Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2,

ООО «Книги»

Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,

428019, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13